НОВЫЙ МИР

1

1962

1
НОВЫЙ МИР
1962

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII | № 1 | Январь, 1962 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

С. ЗАЛЫГИН

★

ТРОПЫ АЛТАЯ

Роман

Глава первая

Давным-давно исхожены все тропы на обетованной земле. А между тем нет путей таких, таких дорог, чтобы они не звали и не манили, не волновали.

Не бывает рассветов ни в горах, ни в степи, чтобы они не обещали неизведанного дня, и даже в пустыне, где солнце, поднимаясь, всякий раз освещает одни и те же дали, сегодня дышится совсем иначе, чем вчера.

Не бывает в пути двух одинаковых закатов, и дважды не занимается одним и тем же огнем бивачный костер...

Пусть известна горькая правда — путешествие ничто не изменит на географической карте, не укажет новых троп, не откроет ничего нового в природе,— пусть так, все равно ко всему, что вокруг, ты будешь стремиться приложить себя без остатка: свой слух, свое зрение, свой ум, все свои чувства. Быть может, счастливцу, который пройдет этими же путями много-много лет спустя, более зоркому и внимательному, чем ты, все-таки пригодятся твои глаза, твой слух, твои мысли, и он откроет то, что не дано было открыть тебе.

Так велика бывает в путешествии жажда слышать и видеть, что мгновениями начинает казаться, будто горы, и леса, и реки, и дали были бы совсем-совсем другими без тебя.

И так проникаешься чувством вечности природы, что запросто можешь представить себе горные вершины, хребты, кряжи и бесконечные просторы за тысячи лет до тебя и на тысячи — после.

Путь — это встречи, новые знакомства, новые друзья. А узнавание человека — разве это не путешествие в неизвестное?

В пути же человек бывает один, как нигде. А разве одиночество не обогащает человека?

* * *

— Готовы, нет ли? — Шофер забарабанил в брезентовый полог, натянутый над кузовом «ГАЗа-63».

Слышно было — в кузове двигали что-то тяжелое, кто-то стучал молотком, и чей-то голос торопливо спрашивал:

— А пилу? Куда девать пилу, чтобы безопасно?

Заглушая мотор, стук молотка и этот беспокойный голос, водитель снова забарабанил в полог.

— Готовы? Трогаю!

Из кузова ответили:

— Сейчас, сейчас! Еще одну минутку!

— Третий день минуты считаем! Все вышли!

Водитель хлопнул дверцей, положил руки на баранку, ногой уперся в стартер: приготовился ждать. Но тут же закричал снова:

— Готовы, нет ли?

— Сейчас, сейчас! Еще одну...

— Э-э-э, черт!

Гудок заполнил полутемный подъезд, вырвался на улицу, а за ним выкатился и «ГАЗ-63», развернулся вправо, метров через сто — влево и, обгоняя громоздкие пассажирские машины, троллейбусы, «победы» и «волги», устремился по асфальту проспекта под уклон, в сторону реки.

В застекленных узких окошечках кузова показались лица — молодые и совсем юные, все возбужденные тем чувством, которое неизбежно возникает у каждого в самый первый, изначальный момент путешествия.

Ближе к реке проспект становился все непригляднее, бульвары исчезли, красивые дома уступили место неуклюжим деревянным постройкам, а потом он пересек высокую железнодорожную насыпь.

Во всех городах такие насыпи и выемки одинаково неуютны, покрыты одной и той же пылью, одна и та же лебеда чахнет на откосах, но здесь, в самом центре большого города и уже в виду раздольных речных просторов, где только бы и развернуться набережным, скверам, паркам, эта насыпь и эти деревянные постройки были особенно не к месту.

Сразу же за насыпью машину остановил милиционер. «ГАЗ» завопил, завизжал тормозами, как будто кто-то придавил его на бегу.

Водитель выскочил.

— Экспедиция! Высокогорная! Вылазь! Приехали! Разводи костер! Разбивай палатки!

Через глубокий овраг, по дну которого бежала мутная речушка, а по склонам тесно, как бы поддерживая друг друга, жались избушки, был построен новый мост, высокий и еще совсем светлый, незапыленный, а с моста старого узкого, как бы вдавленного в склоны, саперы переносили трамвайную линию.

Кирками и ломами они по команде очень молоденького, но уже с чапаевскими усами лейтенанта все враз нажимали на полотно трамвайного пути, и полотно — длинная его полоса метров около сорока, со шпалами, с пропитанной черным маслом землей — всякий раз, как лейтенант кричал «Взяли!», скрипя, подвигалось к новому мосту.

Здесь же рядом, на подступах к новому мосту, люди, торопясь, разрушали несколько домишек.

Эти три или четыре домишки, покосившиеся, по самые окна вросшие в землю, были крайними в избяной толпе, заполнившей овраг, стояли совсем рядом друг к другу и все-таки друг на друга не глядели. Они кончали свое существование каждый сам по себе: были уже без крыш, без крылечек, без оград и все еще упорно отворачивались друг от друга. Немного поодаль разрушали еще один дом — этот был совсем крепким, двухэтажным, и бревна падали с его стен, грохоча и поднимая огромные столбы пыли. Казалось, дом горел и весь был окутан дымом.

Еще по направлению к мосту связисты тянули неглубокими траншеями кабели, в четырехугольных ямах рабочие устанавливали железобетонные опоры новой трамвайной линии. Тут же прокладывалась нитка водовода из чугунных труб.

Грохот стоял здесь невероятный, но все-таки и он то и дело заглушался поездами. Электропоезда неслись по насыпи почти над самыми головами людей то вправо, то влево, и тогда все как будто исчезало из глаз, потому что в этот момент нельзя было не зажмуриться, и даже после то-

го как поезда уносились прочь, земля еще вздрагивала и струилась тонкими ручейками в траншею водовода, покрывая серыми пятнами его лоснящееся гудроном тело.

Машин перед мостом — легковых, пассажирских, грузовиков, самосвалов — скапливалось с каждой минутой все больше. Шоферы и пассажиры прежде всего высказывали свое недовольство, высказывали его громко и неучтиво, потом начинали объяснять друг другу все, что происходит перед мостом, спустя некоторое время начинали подавать советы рабочим и саперам и безжалостно критиковать все, что, по их мнению, заслуживало здесь критики.

Пассажиров экспедиционной машины «ГАЗ-63» неожиданная задержка в самом начале пути привела в явное уныние.

Дней уже пять или шесть эти люди томились ожиданием той минуты, когда они тронутся наконец в путь, но что-нибудь случалось обязательно, что их останавливало: не было запасных канистр под горючее, по оплаченным уже счетам нельзя было получить продукты на базе горпищеторга, начальник экспедиции профессор — доктор географических наук Вершинин со дня на день откладывал выезд, когда же он решил отправить экспедицию вперед, а потом догнать ее в селе Шебалино на Чуйском тракте, выяснилось, что зоолог Лев Иннокентьевич Реутский к ружьям шестнадцатого калибра запасся патронами калибра двенадцать.

Совершенно спокойно в кабине сидел Лопарев — помощник профессора Вершинина. Кожаный изрядно потрепанный картуз Лопарев надвинул на глаза. Всякий раз, как по насыпи грохотали поезда, он слегка приподнимал картуз и смотрел на все вокруг немного усталым, но внимательным взглядом.

В кузове ехала молодежь: студенты-практиканты и младшие научные сотрудники, но был среди них географ Рязанцев, чуть сутуловатый, с серыми неяркими глазами, в очках — этому давно перевалило за сорок. Ему не просто было скрыть прямо-таки мальчишескую досаду, вызванную остановкой, но теперь он бродил — руки за спину и на все вокруг глядел из-под очков так, будто не столько глядел, сколько слушал: голову чуть-чуть набок, прищурив глаза.

И хотя он был очень внимателен ко всему, что увидел здесь и услышал, он по-прежнему переживал странное для его лет нетерпение—хотел обязательно ехать, мчаться вперед, вперед. Он хотел другого неба над головой. То, которое простиралось над ним — ясное, с редкими пухлыми облачками,— его никак не устраивало; хотел скорее устать, изнемочь от пешего пути; хотел ночлегов в палатке.

Он ни о чем не думал не только в прошедшем времени, но и в настоящем. Все для него стало будущим временем, но все-таки Рязанцев глядел вокруг внимательно. Спрыгнул в одну траншею и пощупал прохладный, покрытый гудроном трубопровод, поднялся по лестнице наверх, вошел в пестрое облако, которое обволакивало разрушаемое двухэтажное здание.

Постоял он и около маленьких домишек, с которых венец за венцом сбрасывали неровные, почерневшие от времени бревешки.

И когда спустя несколько часов машина снова тронулась в путь и утром миновала высокий берег Оби с бледным рисунком Барнаула, потом деревянный городок Бийск, Рязанцев и это все запоминал.

За селом Сростки показалась Катунь; давно уже нарисованная воображением Рязанцева, она вырывалась из теснин и ущелий в широкую долину, была еще вся взволнована и Рязанцева взволновала тоже.

Он ею любовался.

Крутые, нестройно поющие волны и даже какая-то неопрятность реки — размываемый тальниковый берег той стороны, клочья пены, мутные

пятна в зеленой глубине — все было для него отрадным, и он безоговорочно отдал ей предпочтение перед Бией: та была и уютнее и светлее — отстоялась в глубинах Телецкого озера, из которого брала исток свой. Та была быстрой, но быстрой размеренно и четкой в берегах своих. От нее нельзя было ждать каких-то перемен.

Катунь больше пришлась Рязанцеву по сердцу еще и потому, что она мчалась «оттуда»— оттуда, куда он так стремился, из его будущего, в котором он уже жил эти дни. Катунь не столько растрогала его, не столько умилила и утешила, сколько еще больше взбудоражила его желание быть «там». Она несла отражение того дремучего кедра, который его ждет и никак не дождется.

Между тем синева Алтайских гор, их аромат и тот заветный кедр ничуть не приближались к Рязанцеву, хотя Владимирогорский и вел машину со скоростью около восьмидесяти километров в час: ненастье двигалось на Горный Алтай с северо-запада еще быстрее.

Наступала пора, когда мир повсюду становится одинаковым — что в горах, что в тундре, потому что он простирается перед вашим взглядом всего на три шага, а в тумане слышится лишь собственный голос да шелест туч.

В этом ненастье на высокогорной тундре Семинского хребта отряд и разбил свой первый стан.

И вот тут-то, лежа в одной из палаток, Рязанцев снова стал переживать все то, что видел на пути в экспедицию. Должно быть, все-таки наступило то будущее, ради которого он тогда смотрел, слушал, запоминал. Теперь он снова и еще явственнее слышал грохот, в котором разрушались старые, потускневшие домишки рядом с новым, таким светлым мостом.

И еще он вдруг вспомнил сейчас очень ясно конверт с двумя почтовыми марками: крупной — оранжевого цвета и маленькой — фиолетового.

В одном из трех домишек, в окне, через которое видны были перевязанный бечевкой матрац, черный потрепанный чемодан и какой-то нехитрый домашний скарб, стоял этот конверт, прислоненный к стеклу.

Адрес на конверте был написан крупными буквами — оно должно было пойти в город Красный Кут на имя Синеокой Марии Федоровны. Фамилия была такая у женщины — Синеокая.

Уже крыши не было у домика, стропила упали на землю, а письмо все еще стояло на подоконнике, рядом с незатейливым цветком, распустившимся в консервной банке.

Исчез из дома матрац, перевязанный бечевкой, и черный истрепанный чемодан — о письме как будто все забыли.

Выставили из оконца рамы. Домишко глянул потемневшими проемами, в которых негде было уже играть солнцу, золотистые стружки на белой вате, уложенной между рамами, тоже поблекли — им не в чем стало отражаться,— письмо все еще лежало на этой вате.

Наконец к письму протянулась крупная мужская рука, а потом домишки совсем не стало — торчали только какие-то гнилые столбики, рассыпана была по земле серая с черными углями зола, коричневые опилки, но и эти признаки жилища тут же смел бульдозер.

Люди торопливо побросали свой скарб в машину, забрались сами и уехали. Говорили, в район нового строительства, в квартиру на пятом этаже.

Воображение Рязанцева не последовало, однако, за этими людьми на пятый этаж, а привело его в город Красный Кут, к Марии Федоровне.

Невозможно было представить, чтобы Синеокая Мария Федоровна оказалась некрасивой, крикливой, вообще чем-нибудь неприятной, просто старой. Ей лет тридцать пять, не больше. Она русая, с косами.

Город Красный Кут, в котором она живет, где она прочтет письмо о том, что ее родственники переехали в новый дом, на пятый этаж,— тоже чем-то приятный город.

Несколько довольно больших каменных домов на площади и, если выйти из дверей райисполкома, по левую руку, кажется,— небольшой ресторанчик. Проездом когда-то бывал Рязанцев в этом городке уже давно, больше десяти лет назад. Река в Красном Куте — Еруслан, зеленая от водорослей, перегороженная запрудами и потому неподвижная; берега реки покрыты кустарниками, кое-где по берегам — дубравы. Большой или просто Еруслан? Никак не мог Рязанцев этого вспомнить, тем более что там, в сухих степях Среднего и Нижнего Поволжья, все реки, кроме самой Волги, «большие»: Большой Иргиз, Большой Караман, Большой Узень... Речка Куба, которую летом легко переезжают на машинах, и та Большая. Впрочем, не зовется ли она Соленой?

Ладно, Большая или Соленая эта самая Куба — не о ней Рязанцеву хотелось вспоминать... Хотел вспомнить Синеокую Марию Федоровну. Не верилось, что он ее никогда не видел. Когда-нибудь видел, но не знал, что это она, не заметил. Прошел мимо и не заметил. Вот так многое он, наверно, не заметил в жизни...

Помнится, когда Рязанцеву минуло сорок, друзья поздравляли, говорили, что пятьдесят он встретит уже известным, выдающимся ученым. Как всегда в таких случаях, сказано было много лишнего, такого, из-за чего позже, наедине с самим собой, за друзей становится неловко, за себя — стыдно.

Но вот что было сущей правдой — он был готов к большим трудам. Прежде всего потому хотя бы, что научился отстаивать свое время. Если этого не делать, время распадется на такие мелкие крупицы, что потом их не сыщешь, не соединишь в нечто целое, не найдешь, кто назвал твою фамилию на выборах какой-то комиссии, кто подсунул тебя в качестве докладчика на очередной конференции.

Комиссии нужны, доклады тоже нужны, но больше всего нужны дни, с утра до ночи посвященные одной только мысли, одной главе, одной странице твоего труда.

Тысяча метров — всего километр. Но двенадцать часов, разбросанные в разных месяцах и годах, никогда не равны одному дню. Никогда мелкими частицами человек не переделает и не передумает всего того, чем он сосредоточенно жил, что совершил в течение одного дня.

Потом наступили годы, когда он перестал вести ревнивый счет своим статьям и своим книгам, потому что самое главное, что он должен был написать, теперь всегда стало заключаться для него в книге еще не написанной, а только задуманной.

Наконец все окружающее стало ему служить. Музыка ему служила — не столько его услаждала, сколько помогала думать. Погода любая помогала. Если просыпался утром и было ясное, безоблачное небо, у него возникало веселое, энергичное настроение, а если ненастно было, он и ненастью радовался — сосредоточеннее и как-то уютнее думалось, когда пасмурно.

Был он здоров — само ощущение здоровья ему помогало; был нездоров — нездоровье освобождало от тех самых обязанностей и хлопот, которые мешали работать над самым главным.

Детишки, Толька и Мишутка, приносили хорошие отметки из школы — отметки эти неожиданно воодушевляли его. Баловались они в школе, являлись с двойками — он сердился и работал со зла.

И вот когда он должен был закончить одну, кажется, неплохую книгу, другую продолжить, третью начать, начать, конечно, самую важную, умер Сеня Свиридов.

Смерть Сени не была трагической, не могла быть такой, потому что трагической была его жизнь, по крайней мере последние ее годы: рак пищевода и два инфаркта.

Очень будничная, очень приземленная трагедия. А он, Сеня Свиридов, уже с тяжелым недугом успел жениться, успел завести детишек.

Сеня — друг, земляк и однокашник — был бессребреник, даже заклятые противники никогда не могли упрекнуть его в какой-то корысти. Но что верно, то верно: крови он испортил людям невероятно много. Всяким — и плохим и хорошим.

Мог очень толкового ученого, против которого у него и половины знаний не хватало, в пух и в прах разнести в печати — мастер был писать едкие, дух захватывающие статьи. Мог молодого поддержать, похвалить, да так, что у того голова шла кругом, пока через много лет не наступало горькое отрезвление,— мастер был поднимать, увлекаться и в других вселять уверенность. Мог, совсем некрасивый, болящий, пленять женщин, обладая совершенно искренним убеждением, что, кроме великого счастья, он женщинам никогда и ничего не приносил. Ему верили.

Многое он мог в общении с людьми, а, должно быть, было бы лучше, если б мог он меньше.

Он то и дело спасал людей от душевного холода, но и обжигал со страшной болью как-то очень просто, улыбаясь. От себя тоже не скрывал, что все мог, а ничего не создал, наверное поэтому и улыбался, когда говорил людям страшные для них вещи. А может быть, это потому, что не боялся никаких невзгод.

Сеню жалеть было нельзя: плохой или хороший, но точно такой, как он, обязательно должен был существовать человек на свете— Сеня в это верил и всех окружающих мог в этом убедить. Без слов, одним своим взъерошенным видом, одними всегда заинтересованными в чем-то глазами.

Чтобы с ним дружить, никогда нельзя было принимать его целиком.

И Рязанцев проводил с другом многие-многие вечера, спорил, читали они вместе, вместе писали, но каждую минуту Рязанцев отделял вздорные, горячечные Сенины слова от его очень умных, чутких и оригинальных суждений, прожекты — от проектов, выдумки — от дум.

У Рязанцева выработался как бы особый рефлекс, он иным своего общения с Сеней и представить не мог, а может быть, даже не хотел: Сеня научил его разговаривать, все время думая, не просто слушать, а соглашаться либо не соглашаться.

Когда же Рязанцев возвращался домой, Зоя, жена его, спрашивала: «Ну как, побеседовали с Сеней?» — «Было дело...» И хотя Зоя не очень-то близка была к делам и заботам своего мужа — у нее дел и забот было достаточно на работе,— она говорила: «Ну, ложись скорее! Отдохни! Может быть, цитрамон выпьешь?»

Но был человек, которому Сеня достался весь — со всеми его прожектами и выдумками, с капризами, с двумя инфарктами, раком и расстройством нервной системы, с алиментами от прежнего брака, со страстью к нестерпимо громкой музыке и лютой ненавистью к любым домашним обязанностям.

Этим человеком была жена Сени — Полина. Казалось Рязанцеву, будто перед ней Сеня иногда оправдывается. Невероятно: никогда и ни перед кем Сеня не оправдывался, но тут — было. Запомнил Рязанцев такой случай.

Шел у них с Сеней разговор о процессах болотообразования. Сеня был настроен нервно, здравые мысли у него иногда только проскальзывали, в основном же он ругал каких-то людей дураками, бюрократа-

ми, ханжами за то, что эти кто-то, неизвестно кто, не хотят как следует разрабатывать торфяники, не хотят бескорыстно служить Советскому государству. Самое лучшее было уйти, но Рязанцев обещал Полине побыть с Сеней, пока она «сбегает» в театр посмотреть узбекского трагика в «Отелло».

В двенадцатом часу, когда Рязанцев уже окончательно, кажется, изнемог, Полина «прибежала». Сняла чудесную брошь и, наверно не напрасно, сказала, что в театре с этой броши никто глаз не спускал, в соседней комнате привела в порядок Сеньку-младшего, матрасик его утащила на кухню, приготовила «мужикам» ужин и в халатике, с ногами забралась к Сене на диван. Просияла: готова была слушать каждое его слово.

Она была еще молодая, и еще так много в ней могло быть перемен к лучшему: если бы она пополнела чуть — это ее украсило бы, если бы немного меньше стало на лице ее внимания — она бы еще помолодела, если бы у нее появилось хоть немного времени для себя — ей каждая минута служила бы, служила уму ее, ее радостям.

А Сеня лежал на диване весь серый, в морщинах: время, казалось, уже было ему в тягость, одни глаза жили. Он отправил жену еще похлопотать насчет ужина и сказал:

— Не верю. Нет, не верю!

— О чем ты? — спросил Рязанцев.

— Не верю, будто под старость человек должен упрекать себя в том, что неправильно, не так прожил молодость!

— Почему же?

— Потому! Какое право он, старый, вроде бы уже не жилец, имеет судить молодого, живущего? Кто из них глубже чувствует, что такое счастье? Кто из них лучше знает, что это значит — жить?!

Рязанцев подумал: «А жену ты все-таки отправил, прежде чем это сказать». Сене же кивнул.

— Может быть...

И с того вечера стал видеть, как умирает друг.

Они договорились о том, что вместе будут писать книгу — один Сеня уже не успел бы ее закончить. Книга должна была получиться листов на двадцать пять печатных. Сеня же подумал и сказал, что он успеет написать не более десяти — двенадцати листов.

Когда Сеня был очень плох, лежал на своем диване и кричал, что его лечат не медики, а ветеринары, или когда он вдруг объявлял, что через месяц отправится в Горный Алтай, или принимался вдруг звонить по телефону и справляться, каким образом он сможет поехать на Суматру — ему нужно поглядеть самое южное в северном полушарии болото,— Рязанцев говорил ему: «Слушай-ка, Сеня, нам в этом году нужно кончить книгу...» — и Сенины мысли приходили в полный, иногда даже идеальный порядок. Они работали, торопились, прекрасно друг друга понимая: им обоим было некогда. Всемогущее «некогда» и здесь делало свое дело.

Но это восклицание друга «Нет! Не верю!» заставляло Рязанцева иногда преодолевать «некогда», и, наблюдая, он замечал, что в Сене самым стойким против смерти было то, что было в нем самым хорошим: смелый его ум, его пренебрежение к житейским невзгодам, и к своему недугу прежде всего, его желание до конца быть небесполезным на земле. Когда позже сознание стало приходить к нему только временами, он и тогда больше всего заботился о книге. Ничего другого от него и нельзя было ждать, но вдруг Сеня стал высказывать еще не обычные для него суждения.

Сказал однажды:

— Мало мы знаем друг друга...

— Кто — мы? — спросил Рязанцев.

— Люди... Радио, телевидение, кино — все это показывает людей вширь. Количественно. Внешне. Но теряем один примитив: старый, добрый, испытанный веками жанр — жанр дружеской беседы. Как бы людям не потерять в этом... Учти.

Сене можно было так говорить: «Учти»,— он уходил, Рязанцев оставался в этой жизни.

Закончили главу о режиме деятельного слоя в условиях вечной мерзлоты. Сеня снова повторил:

— Мало мы знаем... На Алтай бы мне надо...

— Зачем?

— Обязательно — зачем. Ну не знаю зачем. А вот почему — знаю... В молодости бродим по белу свету, учимся видеть. Научились, повзрослели, и тут некогда путешествовать и неохота опять же. Потом — очень хочется, но когда уже здоровья нет, и в самом деле нельзя. Так и живем с юношеским, а то и с детским ви́дением земли нашей...

Прошло около года после смерти друга, и вот Рязанцев поехал на Алтай. Зачем? Точно не знал... Почему? А может быть, как раз потому, почему Сеня на Алтай собирался?

В тот раз, когда Рязанцев с Сеней заканчивали главу о режиме деятельного слоя в мощных торфяниках, Сеня сказал:

— Ну, раз я не успел побывать на Алтае, Поля побывает...

— Когда?

Сенино тощее плечо показалось в вороте рубашки.

— Наверное, теперь уже скоро... С профессором Вершининым поедет. Карту растительных ресурсов составлять. Тоже мне ресурс — этот самый Вершинин!

Эта глава была последней, которую они написали вместе. Следующую Рязанцев только приносил Сене для чтения. Сеня, слушая, говорил:

— Самое главное в рукописи — обнаружить то место, над которым нужно думать.

И думал. Часть вторую Рязанцев писал уже совсем один.

Полина в их работе участия не принимала, а могла бы. С тех пор как Сеня слег окончательно, она ушла с кафедры и дома редактировала издания исследовательского института. Казалось бы, по части издательских дел могла и помочь мужу, но нет — она только присутствовать любила при работе, останавливала их, когда они уж очень яростно начинали спорить, часов в десять подавала горячий чай, часов около двенадцати делала условные знаки Рязанцеву: «Пора уходить».

Слова Сени о том, что Полина «уже скоро» поедет на Алтай, Рязанцев тогда не принял всерьез, но уже вскоре после смерти мужа она стала работать в лаборатории профессора Вершинина.

Нынче Вершинин, как всегда, задержался в институте, должен был выехать позже и догнать свои отряды.

Всего в экспедиции было два отряда — один, «высокогорный», шел по верхней границе леса, и возглавлял его Лопарев, другой, «луговой», выехал недели на три раньше и двигался по нижней границе лугами, поймами и долинами. Руководила луговым отрядом Свиридова.

Она была сейчас где-то внизу, по ту сторону облаков... Там у них могла быть и очень хорошая, ясная погода, и при ярком солнце среди буйных луговых трав путешествовала Полина Свиридова, вдова...

Глава вторая

Легко и просто знакомства возникают в вагонах и на курортах; встретились, познакомились, расстались. Было, не стало.

Но вот людям выпадает случай вместе путешествовать: по очереди варить суп на костре, поровну делить хлеб, одному до полуночи, другому за полночь присматривать за лошадьми, днями же вместе отыскивать броды на реках и глядеть на далекие вершины.

А иногда приходится в промозглых от сырости палатках вместе проклинать туманы и мечтать о солнце.

И если все это предстоит людям, первые разговоры, первые знакомства возникают робко, неуверенно: они приобретают тогда особый смысл.

В трех палатках, что были разбиты экспедицией, жили шесть человек. Рязанцев с Лопаревым выбрали место вблизи замшелой каменной глыбы, чтобы она заслоняла палатку от ветров, рядом с ними поселились Андрюша Вершинин, студент третьего курса университета, и зоолог Реутский, в очках, со светлой бородкой клинышком, тот самый, что запасся патронами двенадцатого калибра к ружьям калибра шестнадцать.

Худощавый смуглый Андрюша, хотя ему и было всего двадцать лет, вот уже четвертый сезон проводил в экспедиции.

Закалился он необычайно. Холодные туманы так и не заставили его хотя бы однажды надеть дождевик, он предпочитал безрукавку, по ночам он не забирался в мешок, а подстилал его вместо матраца, накрываясь дождевиком и ватной курткой.

В третьей палатке жили Рита Плонская и Онега Коренькова, студентки: одна — Иркутского университета, другая — Уральского лесотехнического.

Рите Плонской было двадцать три — она выглядела старше своих лет, Кореньковой недавно исполнилось двадцать, но никто ей не верил, ей давали семнадцать и меньше.

Все эти люди встретились впервые, близкого знакомства между ними не налаживалось, и никто не брал на себя такой обязанности — подружить всех между собой.

Так было до тех пор, пока не выяснилось, что никто никого не отверг, а каждый мысленно протянул другому руку.

Андрюша Вершинин был назван «Челкашом» потому, должно быть, что носил невероятно потрепанную шляпу. Кто его так назвал, осталось неизвестным, он же принял прозвище без малейших колебаний, продел в дыру шляпы журавлиное перо, которое подобрал недавно в траве, и вид у него стал еще более живописный.

Кандидат биологических наук Реутский почему-то стал «доктором наук», и притом медицинских; похожая на цыганку Рита Плонская — «Биологиней», потому что была студенткой биологического факультета.

Начальника отряда Михаила Михайловича Лопарева, всегда сосредоточенно торопливого, строгого, смелая Биологиня назвала как-то «Михмихом» и вопросительно уставилась на него огромными дерзкими глазами, которые были все-таки чуть-чуть смущены в это время.

Лопарев в ответ слегка, почти незаметно улыбнулся — имя утвердилось за ним.

Рязанцев остался тем, кем был,— Николаем Ивановичем. Должно быть, его возраст имел значение.

Зато с Кореньковой случилось вот что.

Звали ее Онегой. Имя вызывало недоумение: оно было краси-

вым, женским и милым, никто не решался его переделать, но всем показалось странным, что так зовут Коренькову. Рязанцев, услышав это имя, тоже удивился, переспросил и стал про себя молча произносить названия русских рек: Волга, Кама, Нева, Свирь, Десна, Двина... Ни одна из них так не отвечала женскому имени, как Онега.

— И все-таки, товарищ Коренькова, я буду называть вас как-нибудь иначе! — сказал Рязанцев, и все поняли: Онега должна быть женщиной статной и с косами. Перед ним же стояла девчушка — маленькая, толстенькая, подстриженная, очень застенчивая.

Она подняла к Рязанцеву свое почти детское лицо и спросила:

— А как же вы будете звать меня, Николай Иванович? Скажите!

Тут он решил:

— Онежка!

И стала Коренькова Онежкой — с этим все согласились, это ей больше подходило.

В Лесном институте среди подруг имя Онега почему-то не прижилось. Потому, может быть, что ему завидовали. В институте Коренькову звали Ольгой. Зато в школе-интернате, в которой она училась, ее именно так и звали — Онежкой. Сам того не подозревая, Рязанцев сделал открытие, и Коренькова вдруг сразу прониклась к нему уважением, таким же, какое она всегда питала к педагогам. Кроме того, угадав ее школьное имя, Рязанцев как бы отказался зачесть ей по крайней мере три-четыре года, и она снова стала шестнадцатилетней.

Рязанцев все посматривал на Онежку внимательно, хотел привыкнуть хотя бы к ее уменьшительному имени.

Стояло ненастье. Онежка ежилась на холоде, хлопотала больше всех у костра, готовила пищу, мыла посуду. Было замечено у нее еще такое свойство: если кто терял какую-нибудь вещь — ложку, зубную щетку, портянку, топор, ведро,— то, поискав немного, спрашивал у Онежки, где эта вещь может быть. Она морщила лоб, что-то такое вспоминала, шла вправо, влево и обнаруживала эту вещь.

Рязанцев всякий раз удивлялся, но всякий раз отмечал, что уж очень она проста, Онежка. Простота украшает, а все-таки должно в человеке присутствовать что-то не видимое с первого взгляда, о чем можно лишь догадываться и что рано или поздно удивит вас.

В Онежке, курносой, послушной и аккуратной, с ее грубыми, серого цвета волосами, которые она повязывала косынкой, нельзя было заметить даже признака того, чем когда-нибудь и кого-нибудь она смогла бы удивить. Она вся была на виду.

Какая она была в детстве, какая она есть и какая она будет когда-нибудь — уютная, ко всему снисходительная маленькая женщина,— все это было видно словно на ладони. В своей неизменной пестренькой косынке, в телогрейке, она ловко чистила картошку, аккуратно собирая в фартук завитые кожурки, большой ложкой черпала из ведра, сощурившись, вся внимание, высовывала язычок из маленького круглого ротика и осторожно, чтобы не обжечься, пробовала свою стряпню. Потом солила. Снова пробовала, добавляла лук.

Может быть, это так и было — он действительно видел тогда Онежку всю...

Время шло, ползли по вершинам Семинского хребта тучи, моросил дождь.

На четвертые сутки ненастья около полудня тучи немного рассеялись. Видно было, что просветлело ненадолго, на каких-нибудь несколько часов. Лопарев же все-таки решил пройти маршрут.

Он сказал Онежке, что они вместе пойдут «в поле». Онежка торопливо надела серый, не по росту большой комбинезон, выпустила его поверх сапог, чтобы вода не скатывалась за голенища, на голову натянула резиновую купальную шапочку и сказала, что готова.

Шли молча. Лопарев впереди, Онежка шагах в двух или трех за ним. Все время она глядела в затылок Лопареву: волосы у него были коричневого цвета и блестящие, уши из-под кожаного картуза торчали в стороны размашисто, кончики их были прозрачны, словно у маленького ребенка, шея сухая, с проступающими жилами, очень крепкая, сильная... Онежка все это рассмотрела.

Остановился Лопарев среди низкорослого кустарника, на ветвях которого, словно водоросли, шевелились обрывки тумана. Совсем низко, как раз над головой Лопарева, покачивался сплошной облачный полог, темный, плотный; сквозь него не видно было ни солнца, ни неба. Несколько влажных каменных глыб да еще стволы каких-то погибших деревьев, прямые, почти без ветвей, казалось, поддерживали этот полог, но непрочно — каждую минуту он мог рухнуть.

— Видимость удовлетворительная...— произнес Лопарев, глядя вниз.

Ниже вершины, на которой они стояли, располагалось как бы кольцо, покрытое мхом, травой, ползучей березкой. Ширина этого кольца была метров сто, не больше; а дальше и в ту и в другую сторону падали склоны, сначала с изувеченными деревцами, ниже — с редким и хилым леском, а еще ниже склоны были уже покрыты настоящим лиственничным лесом, густым и совсем темным в этот пасмурный день.

По склонам там и здесь ползали небольшие, будто заблудившиеся тучи.

— Значит,— сказал Лопарев,— мы с тобой на высоте две тысячи шестьсот, около двух с половиной тысяч метров. Вот тут, на этом кольце, подобие высокогорного тундрового плато, а где кончается плато, там и верхняя граница леса. Очень интересное место.— На этом он закончил описание обстановки и уже совсем другим тоном, тоном распоряжения, сказал: — Пойдешь по склону вниз. Понятно?

Удивительный голос был у Лопарева: негромкий, он, казалось, мог загрохотать в горах. Онежка подумала: так сейчас и случится. Она поежилась, поглядела вверх, не обрушатся ли на них темные облака. Лопарев же и дальше говорил совсем спокойно, сдержанно и небрежно. В этой небрежности Онежка снова услышала что-то очень сильное.

Вот уже недели две прошло с тех пор, как она впервые услышала Лопарева. Шли сборы в экспедицию, суматоха стояла невероятная, каждый что-то говорил, кто-то кого-то и куда-то обязательно посылал, чаще всех — Онежку. Появлялся Лопарев, спрашивал: «Это зачем?» или даже по-другому: «На кой черт?» — и его негромкий голос вдруг останавливал суетливую беготню, сразу переставала существовать необходимость всем вместе говорить, перебивая друг друга.

Очень часто Лопарев говорил, ни к кому не обращаясь, будто только для себя самого, а к Онежке он еще ни разу ни с чем не обратился, сегодня они разговаривали впервые...

Онежка кивнула, сказала:

— Понятно...— И приготовилась слушать голос Лопарева дальше.

— Так вот, маршрут — вниз по склону. Через каждые сто шагов останавливаешься. Что нужно? Записать показания анероида и термометра — раз...

Онежка нащупала рукой футляр с анероидом, который висел у нее на боку. Она знала барометрическое нивелирование и надеялась, что ошибок не сделает. Лопарев дал ей время тихонько, молча улыбнуться, погладить кожаный футляр и продолжил:

— Выбираешь типичную лиственницу — два. Выбрала. Записываешь, что положено, в таблицу: высоту дерева, диаметр на уровне груди, состояние дерева. Особенное внимание обращай на суховершинность. Считаешь число иголок в пучке, берешь образцы шишек — это три. Еще через каждые триста шагов указываешь тип леса, бонитет, густоту стояния — это четыре. Все. Ну как, ясно?

— Ясно,— ответила Онежка.

— Можешь идти.

Она повернулась и пошла. Хотела посмотреть, глядит ли ей вслед Лопарев или он тоже отправился по противоположному склону, но поворачивать голову было нельзя: легко можно сбиться, считая шаги... Двадцать... Сорок... Сто... Оглянулась — Лопарев стоял совершенно в той же позе, заложив руки за спину.

— Ну говори,— крикнул он сверху,— какие будешь делать записи? Ну?..

Онежка вздрогнула: голос звучал совсем рядом с нею... Торопливо расстегнула футляр анероида и потом все, что записывала в полевой журнал, выкрикивала Лопареву тоненьким, прерывающимся голоском, а он стоял наверху, руки назад, и кивал. Кивнул в последний раз, повернулся, ни слова не говоря, пошел в обратную сторону.

Онежка понимала, что́ нужно было Лопареву. Некоторые ученые утверждают, будто лиственница — вымирающее на Алтае дерево, Лопарев же хотел доказать, что это не так, хотел установить, что даже на верхней границе леса угнетаемая ветрами и морозами лиственница все-таки сохраняет прежнее число хвоинок в пучке, и шишки на ней не мельчают, и семена обладают прежними свойствами. Значит, вымирания нет, есть только борьба за существование на высотах около двух с половиной тысяч метров, такая же, как и у всех других пород. Если бы вымирание началось, так здесь оно началось бы прежде всего.

Не то чтобы Онежка всегда была очень внимательна на лекциях профессоров и доцентов в Лесном институте, но сейчас память не изменила ей, ей вспомнилось все, что они говорили о лиственнице: что она хороша в аллеях и в групповых посадках, что из древесины ее — красно-бурой, яркой, налитой, прочной, как у дуба,— получают лаки, из коры — дубильные вещества, из хвои — эфирные масла...

Онежка шла по азимуту вниз и вниз, выполняя все, что говорил ей Лопарев. Ей казалось, он очень толково объяснил, что и как нужно делать. Чем дальше, тем почему-то было легче и легче идти, и она шла, приминая высокую мокрую траву, отряхивая с травы серые капли влаги, и следом за ней возникала тоненькая зеленая дорожка.

Работа спорилась. Петь хотелось, но Онежка не запела: поняла, что ее голос будет лишним в пасмурном безмолвном лесу.

Потом, когда она пересчитывала число хвоинок в пучке, вдруг представила, что в руках у нее не хвоинки, а большие, взрослые деревья. Будто она склонилась над лесом, лес этот совсем не такой, как здесь, на склоне,— хилый, низкорослый, туманный,— а огромный, тенистый и солнечный, но почему-то он весь у ее ног, и она запросто берет в руки одно, другое, третье дерево...

Деревья живут сотни лет — она столько же... На ее глазах маленькое опушенное семя сибирской лиственницы дает росток, на ее глазах появляется дерево-подросток и вырастает затем в великана. Даже и этого ей было мало. Одно за другим поколения лиственниц покрывали горы, долины, еще какие-то земли — она все видела.

Легко и просто, как легко и просто приходилось ей летать во сне — оттолкнувшись от земли, мчаться куда-то ввысь,— было ей теперь

увидеть лиственницу через тысячи лет, узнать, что она не вымирает, наоборот, лиственничных высоких и светлых лесов становится все больше и больше на земле.

Еще, побывав где-то очень далеко, разволновавшись, размечтавшись, Онежка спросила себя: вот это и есть, может быть, то самое, что называется не совсем ясным, но красивым словом «открытие»? От-кры-тие?!

До сих пор и в школе и в институте она слышала о множестве открытий, сделанных в разное время необыкновенными людьми. Все это нужно было запомнить, чтобы потом рассказать на экзаменах, рассказать на «хорошо» и даже на «отлично». Но тут вдруг она почувствовала себя причастной к открытию, прикоснувшейся к нему. Пожалуй, одна она не смогла бы к нему прикоснуться, если бы не Лопарев. Вслед за ним, сильным и уверенным, лучше вместе с ним, она могла это сделать, могла доказать, что лиственница не умрет никогда и ни за что. Поразительно это было для нее.

Так работала Онежка, улыбаясь, оставляя зеленые тропки на серой от влаги траве.

Но была у нее одна тревога: когда Лопарев там, наверху, объяснял ей, что и как нужно делать, она все понимала прекрасно, но постеснялась спросить у него об одной мелочи. Знала, обязательно нужно спросить — и не спросила. Побоялась, что Лопарев подумает о ней плохо, решит, что она лентяйка и трусиха.

Он сказал, чтобы она шла по азимуту вниз и вниз. А далеко ли? Сколько времени? Где и когда они встретятся?

Если бы Лопарев сказал, что Онежка должна идти до поздней ночи, до тех пор, покуда у нее хватит сил, она так и сделала бы, и сил у нее хватило бы надолго. Но вот ей предстояло самой решить, когда же повернуть обратно, и для этого решения сил не хватало, и она шла все вперед, всерьез думая, что, наверно, придется заночевать в лесу.

Была у нее надежда на какой-либо случай: вдруг путь ей преградит отвесная скала или лесной зверь заставит повернуть ее обратно...

Онежка росла в сибирском далеком леспромхозе, леса не боялась, но и опасностями, которые он таил, никогда не пренебрегала, теперь же нетерпеливо ждала какого-нибудь страшного случая.

И такой случай наступил.

Тучи снова потянулись с запада, темные, непроницаемые. Не то что продолжать в этой мгле работу — просто двигаться было очень трудно, а Онежка обрадовалась. Досадовала только, что тучи пришли слишком рано, могли бы повременить час-другой, и она успела бы сделать больше.

Онежка повернула обратно. Свой след — зеленоватую полоску на серой траве — она быстро потеряла, может быть, трава и на этой полоске снова уже покрылась влагой. Онежка двигалась теперь только по компасу.

Стали встречаться ей на пути каменные глыбы. Она что-то не замечала их, когда спускалась вниз, а глыбы между тем смыкались все теснее и теснее, под ногами совсем исчезла трава, склон, каменистый, скользкий, становился все круче.

Потом Онежка заметила: и справа и слева туман оседает, чуть светлеет. Может быть, справа и слева был обрыв, а она шла по гребню?

Онежка поежилась от этой догадки, но бодро шагала вперед и вперед, только стала нагибаться кое-где, чтобы руками нащупать мелкие камни. Камни нашлись не сразу — скала была сплошной, прочной, а найдя их, Онежка бросила один камень в одну, другой — в другую сторону. Прислушалась...

Камни — сначала один, потом другой — ударились где-то далеко внизу, звуки донеслись к ней глухие, несильные.

Так и есть, она шла по гребню!

И опять Онежка не испугалась, только стала двигаться осторожнее. Она сама желала необыкновенного случая, трудного препятствия — и вот дождалась.

Онежка не боялась до тех пор, пока не стало вдруг темно. Темнота подступила неожиданно и непонятно почему. Где-то далеко впереди вспыхнул яркий свет, который не то ослепил ее, не то сжал, сдавил тучи, и тучи в одно мгновение почернели от этого.

Вот тогда, не поняв, что же произошло, она испугалась. Хотела сделать еще несколько шагов вперед, миновать круглый, скользкий выступ, на котором так неудобно и трудно было стоять, но побоялась шевельнуться.

А мимо в это время помчалась черная-черная туча, за которой следовала волна света,— как будто вся земля вращалась из ночи в день.

Вся земля вращалась, и только Онежка стояла на круглом и скользском камешке неподвижно.

Туча краем задела Онежку, и она зажмурилась от кромешной тьмы, в которую погрузилась сразу, а через мгновение закрытыми глазами, лицом, руками ощутила яркий, слепящий свет.

Медленно открыв глаза, Онежка увидела, что стоит на самом краю отвесной скалы, к подножию которой один за другим уже начали падать яркие осколки, и вот сейчас она сама тоже соскользнет с камня и выпадет из черной тучи в эту вспыхивающую бездну.

Невыносимо было видеть, как это случится, как, распластанная, она рухнет вниз, ударится о камни, как все кончится раз и навсегда. Чтобы не видеть, Онежка закрыла глаза...

Ее пошатнуло. Она зачем-то протянула вперед руки, колени у нее дрогнули, согнулись.

Там, внизу, куда она падала и все-таки не упала, краски уже перемешались невероятно, трава была синей, ветви караганы — ярко-желтыми, выпуклыми, словно под увеличительным стеклом, камни — зеленого и еще какого-то смешанного, на глазах меняющегося цвета.

Это была радуга...

Осторожно прикасаясь подошвами сапог к поверхности камня, Онежка сошла с него, поглядела кругом и двинулась вперед по вершине гребня, который был теперь весь открыт глазам. Она прошла на головокружительной и страшной высоте, а потом ступила на мягкую и влажную траву склона, поднялась немного вверх, и тут перед ней предстали все те глыбы, из которых возникал гребень, и лезвие самого гребня, все кручи, которыми она прошла в тумане. Неужели действительно прошла?!

А когда Онежка различила на гребне камень, с которого она падала и не упала, слезы хлынули у нее. Она опустилась на траву, зная, что будет плакать долго и горько, до тех пор, пока само собой не придет откуда-то успокоение, пока она не станет изнемогать от слез.

Картины, одна страшнее другой, возникали перед ней: она видела себя неподвижной, распластанной на сизых, все еще играющих красками камнях, искалеченной, неузнаваемо изуродованной.

Потом представила, как о ней плачут дома, в ее родном леспромхозе, далеко-далеко отсюда, а потом снова чье-то распластанное тело померещилось среди камней.

Всю глубину невысказанной обиды она пережила сейчас: почему это возможно — погибнуть вот так глупо и случайно? Ни к чему? Ни для кого? Ничего еще не испытав в жизни, не увидев жизнь?

Ее ведь никогда еще и никто не любил! И она тоже — никогда и никого.

Письма школьного товарища Феди Струкова, в которых он называл ее Онежкой, были такими робкими, так в них было все правильно, что их можно было прочесть кому угодно. И в институте она прятала письма от подруг просто так, чтобы было все, как у других. Эта робость Феди Струкова обернулась сейчас для Онежки такой горечью и досадой, словно всю жизнь ее всегда озаряла любовь и только что, сию секунду, она любовь эту каким-то образом потеряла.

Глядя сквозь слезы на скалы и радугу, Онежка в первый раз в жизни подумала, что ведь и дальше могут ей встретиться еще более страшные пропасти и несчастья.

До сих пор она спокойно проходила мимо чужого горя, мимо трудных женских судеб, почти не запомнив их, не заметив, не почувствовав ничего, потому что была убеждена, будто горькие слезы никогда не потекут из ее глаз, что чья-то неразделенная любовь, когда один любит, а другой только думает, что любит, чье-то несчастье оттого, что не рождались дети, или другое — что дети рождались, но несчастными,— все-все это тоже чужое, не ее. С ней этого не может случиться...

Но вот она стояла над пропастью, пролила слезы и сквозь слезы увидела, как это просто — изувечиться, погибнуть, и впервые, кажется, по-настоящему поверила, что бывают на свете несчастья, что несчастье может случиться и с нею тоже... Молодость, щеки, розовый оттенок которых она всегда чувствовала, большие добрые детские глаза — ничто не могло защитить ее от этого.

Онежка никогда не мечтала о чем-то необыкновенном — о необыкновенных путешествиях, о необыкновенной, никому больше не доступной любви, о каком-то великом счастье, она не требовала от жизни ничего большого и значительного и была уверена, что и жизнь поэтому не имеет никакого права наносить ей обиды, подвергать испытаниям.

Она никогда ни одним словом не оскорбила жизнь. Если при ней говорил кто-то: «Пропади все пропадом!», «Какая это к черту жизнь!», если заходила речь о самоубийстве, ей было до слез жаль такого человека, и в то же время она была возмущена им: она думала, что люди, может быть, еще могут оскорблять друг друга, но всю жизнь — никогда!

В большом ли, в малом ли — все равно она всегда одинаково верила не в худшее, а в лучшее. Говорили о войне — она верила, что войны не будет потому, что ее не должно быть; говорили о болезни — она была убеждена, что больной человек выздоровеет; шла на экзамен — верила, что не провалится; если у нее не было билета в кино — снова надеялась, что купит билет перед самым началом сеанса.

Случалось, Онежка проваливалась на экзаменах и билет в кино тоже не удавалось купить — это ее удивляло, но не расстраивало.

Никогда Онежка не говорила плохо о людях и от людей ожидала только хорошего. Встречаться с плохими людьми — это несчастье, а любое несчастье ей претило, было чьим-то, но не ее.

Но вот она впервые почувствовала себя большой и сильной, поглядела на будущие поколения лиственниц, подумала, что, может быть, и ей предстоит открыть что-то, еще не известное.

И жизнь сейчас же отомстила за эти мечты, привела ее на самый край бездны, испугала...

Когда Онежка вернется в лагерь, разве кто-нибудь догадается, узнает о том, что с ней случилось? Переживет хоть частицу того, что пережила она? Ничуть не бывало. Вот если бы Онежка рассказала обо всем, разревелась, изругала Риту за то, что та осталась в лагере, а не пошла с ней в этот маршрут, надулась на Рязанцева, потому что он только и

делает, что лежит в палатке и пялит на всех глаза, обидела бы Доктора медицины просто так, ни за что, тоже просто так сказала что-нибудь злое Челкашу,— вот тогда все они поняли бы: что-то с ней случилось, проявили бы к ней заботу, внимание.

Но Онежка промолчит, никого не испугает своей чуть-чуть не состоявшейся смертью, и никто-никто не обратит на нее никакого внимания, не пожалеет и не поймет как раз тогда, когда она страдает оттого, что ей необходимы и внимание, и жалость, и понимание, и ласка — все добрые и умные человеческие чувства, сколько их есть на свете.

Вот награда за скромность: одиночество... Она этого не знала до сих пор.

Больше всего она была обижена на Лопарева: он послал ее в этот страшный туман. Он где-то здесь сейчас, в горах, может быть совсем близко, и, если бы захотел, мог бы ее найти и увидеть всю в слезах, понять... Если бы он сейчас приблизился к ней, она разревелась бы пуще прежнего, пусть слезы лились бы ему на руки.

Не скоро еще, продрогшая, мокрая до нитки, Онежка поднялась с земли. Когда поднялась, подумала, что стала совсем-совсем не той девчонкой, которая проснулась сегодня утром в палатке с таким ощущением, словно в двадцать лет ей довелось родиться снова, которой люди отказывали в этих двадцати, а давали семнадцать, даже шестнадцать лет и, должно быть, правильно при этом поступали. Двадцать, а может быть, и больше, ей стало только сегодня, сейчас.

Медленно, не оглядываясь, Онежка поднималась по склону. День, казалось ей, закончился, было странно, неуютно даже оттого, что до сих пор светло и солнце в небе. Ей же хотелось поскорее прийти в лагерь, забраться с головой в спальный мешок, забыть обо всем на свете. Забыть хотя бы до утра, а если можно — на долгий-долгий срок. Онежка вспомнила, с каким усердием, даже с упоением хлопотала она у костра, готовила обед, мыла посуду, наводила порядок в палатке, потому что Рита всегда этот порядок нарушала, разбрасывая вещи. Вспомнила, грустно усмехнулась.

Лопарева Онежка увидела на том же месте, где они расстались. Он сидел верхом на старом, полусгнившем и вывороченном из земли пеньке, а когда увидел ее, встал — руки за спину.

— Жива? — спросил Лопарев, когда Онежка подошла к нему совсем близко.

Она долго молчала, потом подтвердила тихо:

— Жива...

— Значит, все в порядке.— Сильным и ловким движением небольших рук Лопарев вдруг вскинул на плечо пенек, на котором сидел, через другое плечо оглянулся.

Онежка его не узнала — такое у него было радостное, веселое лицо.

— Находка! — сказал он.— Потащу в лагерь!

Похлопал по пеньку рукой и пошел вперед. Онежка — за ним.

Когда Лопарев спросил, жива ли она, вопрос этот, нескладный и грубый, насмешливый, поразил ее. Но о чем еще и в самом деле можно было ее спросить?.. Вокруг были горы, все в необыкновенных красках начинающей блекнуть радуги, далеко внизу — долина с реками, деревнями, стадами и с тенями облаков... Нет, день ничуть не стал короче от всего того, что уже произошло сегодня. Было около пяти вечера.

«Почему он такой радостный, Михмих? — подумала Онежка.— Красиво кругом?» Догадка пришла к Онежке: рад, что она вернулась цела и невредима?

Она шла за Лопаревым, молчала, глядела в его коричневый затылок с едва заметными седыми волосками и уже готова была простить ему все:

что он послал ее в туман, что не стал искать ее, что он ни словом не может ее пожалеть,— когда Лопарев вдруг остановился, сбросил на землю пенек и, весь потный, ласково сказал этому пеньку:

— У-у-у, проклятый! Образина-то, надо же? — И засмеялся. Еще раз осмотрел внимательно пенек и только между прочим, не глядя на Онежку, спросил: — Ну как в тумане-то? Я думал, гробанешься чего доброго!

— Вы это с кем разговариваете? — спросила Онежка.

— С тобой, ясное дело...— ничуть не смутился Лопарев.

Онежка не стала отвечать ему, сама спросила:

— А что вы стали бы делать, Михаил Михайлович, если бы я... как это вы говорите... и в самом деле гробанулась?

Тут Лопарев серьезным и деловитым взглядом окинул Онежку всю с ног до головы.

— Сколько килограммов?

— Каких? — не поняла она.

— Обыкновенных. По тысяче граммов каждый.

Снова она долго не могла понять вопроса, а потом провела рукой по руке, по лицу, почувствовала, как покраснела вся, и тихо-тихо ответила:

— Давно уже не взвешивалась... А вообще пятьдесят три...

— Пустяк! — Он повел плечами.— Вот эта штука,— он хлопнул по пеньку,— наверняка пуда три. С гаком. Ничего, тащу... Утащил бы и тебя!

Лицо у него было все в поту, в земле и в трухе: он испачкался о пенек; уши — оттопыренные и прозрачные, как у ребенка, а коричневые глаза — по-хозяйски строгие. Он был сильный. Действительно, он ее запросто унес бы на своих плечах, если бы она вдруг сломала руку или ногу...

— Михаил Михайлович, ну, а если б я... совсем?

Теперь не понял он.

— То есть как это — совсем?

— Очень просто: упала бы с какой-нибудь скалы в тумане, мало ли что может быть, и гробанулась... Сейчас лежала бы на камне... изувеченная... мертвая...

— Выдумываешь! — засмеялся Лопарев.— Трусиха! Знаешь, так не бывает!

Он сказал это с таким убеждением, что Онежка вздрогнула вся. Приостановилась. Почему так не бывает? Почему так не могло быть с ней, если всего лишь часа два назад так было? Лопарев же медлил с ответом на ее безмолвный вопрос и только после долгой-долгой паузы заговорил снова:

— С первого же раза и совсем? Не бывает. Человек много раз споткнется, потом, смотришь, грохнулся. Почему грохнулся? Не боится больше спотыкаться, вот почему. Привыкает. Начинает думать, будто спотыкаться — это можно, это не беда. Тут как раз беда к нему... В общем, философия. Ты думаешь, для чего мне эта коряга?

Коряга интересовала Онежку, как только она ее увидела, но не сейчас. Сейчас она обдумывала слова Лопарева, он этими словами заставил ее сосредоточенно размышлять. Однако Лопарев был настойчив.

— Так вот, скажи, для чего мне коряга?

— Ну, не знаю...

— Думаешь, зря тащу, надсаждаюсь? Шалишь, брат! — Он кому-то погрозил кулаком.—Точно, шалишь! Вот приволоку ее домой, ровненько сделаю пилой срез, рассмотрю во всех подробностях, голубушку. Дереву было триста лет. Не веришь? Спорю на что угодно! Не смотри, что пе-

нек тонкий. Условия внешней среды — не очень-то растолстеешь на верхней границе леса. Ну вот, триста лет, и за все триста лет климат здесь отпечатался. В институте учила? Знаешь?

Онежка учила, знала, но тут она захотела, чтобы Лопарев говорил и дальше. Она промолчала. Лопарев же теперь не заставлял себя долго ждать.

— Во влажные годы прирост у дерева большой. В засушливые — годовые слои совсем тонкие, сливаются. И пожалуйста, на этом пеньке летопись осадков за триста лет. Вот тут можно рассмотреть: самый продолжительный засушливый период наступил, когда лиственнице этой было лет сто... Длился он девять лет. Пусть двенадцать. Еще через семьдесят то ли восемьдесят лет — дома сосчитаю точно — снова засушливый период, еще спустя полвека...

— Ну а что же дальше? Что теперь?

— Теперь вот что. Если лиственница вымирает, как говорят иные ученые мужи, так у нее таких трудных периодов должно быть в жизни больше, и они будут продолжительнее, чем у других деревьев. У ели, к примеру. У сосны. Так?

— Так...

— Ну а если срез лиственницы дает совершенно такую же картину роста, как деревья других пород, это значит вымирает она или нет? Твое мнение?

— Нет, не вымирает!

Лопарев не скрывал радости.

— Видишь! — сказал он.— И до тебя дошло! Верно, не вымирает! Куда мы с тобой заглянем через этот пенек? На три века назад, а значит, и вперед на столько же, как не больше! Открытие! Это тебе понятно? Доходит? — И, не дождавшись ответа, взвалил пенек на плечо.— Пошли! Не терпится мне! Теперь я таких пеньков наворочаю гору! Своя методика! Сила! Железобетон!

Снова шли по тропе, снова Онежке хотелось сказать, что лишь сегодня, совсем недавно, пересчитывая число хвоинок в пучке, она тоже побывала там, в далеком будущем, и прикоснулась уже к открытию. Напрасно Лопарев думает, будто это ей недоступно. Но что-то мешало так сказать, и только возник вдруг какой-то мотив, который, кажется, ее сопровождал, когда все это было с ней. Она сказала Лопареву, что у нее ведь полная сумка шишек лиственницы. Как Лопарев велел, так она и собирала эти шишки.

Он не расслышал.

— О чем ты? — А когда она повторила, махнул рукой.— Выбрось!

— Что?

— Да шишки-то!

— Шишки?! Но ведь я же их собирала!

— У академика Сукачева такая, брат, коллекция шишек лиственницы сибирской, что нам в жизнь не собрать! Проще поехать в Ленинград и там эти шишки изучать. Ясное дело, мы тоже их будем собирать, но только по другой методике. А эти можешь выбросить.

— Но я же их собирала! Записывала! Лазила по скалам! В тумане! Для чего же все это?!

— Для практики! Скалы для практики! Туман тоже! Поучиться коечему. Почувствовала? Перетрусила в тумане? А? Подожди, приедет начальник, профессор — доктор Вершинин, ты у него и не такую еще практику пройдешь!

Такой между ними был разговор: Лопарев сначала обескураживал Онежку, обижал своей грубостью, но тут являлся еще и другой, сокро-

венный смысл его слов, смысл, который отвечал только что пережитым и еще не остывшим в ней чувствам.

Как только они снова встретились, первое, что Лопарев сделал,— спросил, жива ли она. Вопрос был небрежный и обидный, но Онежка не обиделась — ей и в самом деле нужно было убедиться, что она жива...

Потом он обидел ее снова, засмеявшись и назвав трусихой, но тут же объяснил, почему не следовало ей бояться там на скале, над пропастью. Как будто знал все, что с нею случилось.

Об открытии, о том, что лиственничный пень нужен ему, чтобы заглянуть на триста лет назад, на триста вперед, он говорил с ней тоже пренебрежительно: «И до тебя дошло?!» Но Онежка была Лопареву благодарна: без этих его слов она могла бы забыть то чудесное настроение, которое ее тогда сопровождало. Забыть навсегда.

Теперь Лопарев сказал: все, что она делала в горах,— все это пустяки, только «для практики». Ей бы обидеться, разреветься, наговорить ему дерзостей. Но Лопарев спросил ее: «Прочувствовала?» И почему-то это слово заставило ее понять, что и в самом деле записи в журнале, показания анероида, шишки, которые она собрала, иголки, которые пересчитала в пучках,— это не главное. Главное — то, что она пережила в горах, «прочувствовала» там, на краю пропасти. И Онежка не заплакала, сказала:

— Там было очень красиво... когда засверкала радуга...

И только сейчас увидела, как это действительно красиво было: ночь отступает, а навстречу ей мчится весь в радуге яркий день, она же стоит над самой пропастью с вытянутыми вперед руками. Ждет... Ждет чего-то. Ах, если бы Михмих был в тот момент у подножия скалы и видел ее, Онежку, красивую, всю в радуге, на огромной-огромной высоте!

И умный и глупый Михмих! Ничего не видел, ничего не знал! Не знал даже, на каком языке говорил он с нею сейчас!

Оглянулась вокруг... Все те же горы, те же дали. Но теперь она убедилась, что не может отказать ни в доверии, ни в любви этому миру, который чуть-чуть не бросил ее в пропасть, едва не погубил... Ведь любят не только за то, что приносит тебе счастье. Любят, когда знают, что любовь — это испытание. Любят, когда не знают, чего ждать от любви.

В лагере их встретили так, как должны были встретить: никто ничего не заметил, ни о чем не догадался.

Только Рита спросила:

— Ну, прогулялась с Лопаревым? — Но спросила потому, что всегда и без всякой необходимости любила в таком духе говорить и спрашивать.

Доктор медицины отметил, что обед готов, но никто не знает, вкусно или нет получилось. Нужно, чтобы Онежка сняла пробу.

Андрей возился с сетками для гербария, не сказал ничего, Рязанцев же уставился на Онежку из-под очков.

— А ведь без вас здесь было плохо,— сказал он.— Неуютно было...

Вечером, уже перед самыми сумерками, Лопарев зачем-то заглянул в палатку девушек. Потянул носом громко, и не один раз.

— Это что же, одеколончик? Духи? Нежности?

— А разве вы не заметили, уважаемый Михмих,— ответила ему Рита,— что Онежка — лирическая девушка? Подушить вас ее духами? Если начальству не полагается, сделайте для меня исключение!

Никаких исключений Лопарев не признавал, он спросил:

— А цветочки? Вся палатка разукрашена цветиками?

— Она же... Онежка...

— Спальные мешки заправлены конвертиками... Не палатка — детский садик!

— Все она же. Вам не нравится, Михмих?

Лопареву не нравилось. Не любил Михмих «всяческие нежности» в экспедициях. Он Рите не ответил.

Онежки во время этого разговора в палатке не было: она хлопотала у костра, готовила ужин.

В ненастные дни всегда разжигал костер Андрюша Вершинин, потому что дело было не из легких: ни одной щепки, ни одной веточки нельзя было найти сухой вокруг, и Андрюша хранил в своей палатке небольшое полено, от этого полена настругивал стружку, и от стружки уже загорался у него огонек, который он передавал из рук в руки Онежке.

Сегодня она почему-то решила разжечь огонь сама, без Андрюшиного участия, хлопотала долго, упорно, покуда нащепала лучинок и обмакнула их в керосин.

Когда же огонь занялся, становилось уже сумрачно. Тени поблекли, солнечный свет потускнел, день кончался.

И примечая, как день уходит, как он кончается, Онежка припомнила, что до сих пор самое радостное и самое значительное в ее короткой жизни наступало тогда, когда тоже что-нибудь обязательно кончалось.

Не было большего события в ее жизни, чем то, которое называлось окончанием школы. Потом кончился первый учебный год в Лесном институте, второй, третий; кончались один за другим семестры, зимние и летние экзаменационные сессии, и даже самый желанный день уже не очень далекого теперь будущего, и тот назывался днем окончания института.

Нынешний же день весь был началом...

Когда рассеялись тучи, она пошла с Лопаревым в маршрут, и это было началом ее первой работы в лесу. Потом она пересчитывала хвою в пучках лиственницы и нечаянно заглянула в такое далеко, о котором не имела прежде никакого представления. Но, заглянув, поняла, что это тоже только начало, что теперь она часто будет бывать там, в будущем.

Сегодня она открыла Лопарева, такого, о котором никогда и никто до сих пор, наверно, не подозревал. Сегодня она и сама открылась себе. От сегодняшнего дня и дальше в ее жизнь, как от какого-то начала, продолжатся все эти открытия...

Огонь костра разгорался, становился все сильнее, горячее. Онежка чувствовала его и руками и лицом. Сырой валежник занимался теперь в этом огне ветка за веткой.

Онежка торопилась, ужин надо было готовить скорее. Сама она вся была полна впечатлений дня, совсем забыла о еде, но то, что другие ждут ужина с нетерпением, забыть не могла, хорошо знала, что ее хлопоты очень были нужны Рите Плонской — Биологине, и мечтательному Рязанцеву, и беспомощному кандидату наук, Доктору медицины Реутскому, и всегда чем-то занятому Андрюше Вершинину, которого совсем напрасно, только из-за рваной шляпы, назвали Челкашом.

Все, но каждый по-своему, нуждались здесь в Онежке, и она отвечала тем, что ласково и по-женски заботливо любила тоже всех и каждого по-своему.

Она отчетливо знала, кого и как она любит. Не могла сказать этого только о Лопареве.

Лопареву ей хотелось в чем-то подчиняться, хотелось, чтобы он шел куда-то вперед своим быстрым и размашистым шагом, а она бы торопилась за ним. Хорошо, если бы ей было трудно за ним успевать, так труд-

но, что Лопарев стал бы помогать ей: вел бы ее за руку, как маленькую девочку. Такие возникали у нее незатейливые, но волнующие мечты...

И еще Онежка думала, что открытие — это, должно быть, вовсе не конец чего-нибудь, а начало — начало новых, едва возникших, не совсем еще ясных, но уже сильных желаний...

Глава третья

Звенели цепи на скатах «ГАЗа-63», доносилась из кабины ругань Владимирогорского, но тут уже все могли оценить его мастерство. Владимирогорский не только сам нигде не застрял — по крайней мере с полдюжины машин вытащил из кюветов. Законов и правил для него, кажется, никаких не существовало, кроме одного: по дороге выручать своего брата шофера.

Палатки были разбиты где-то вблизи села Усть-Чара, из села изредка доносились в лагерь голоса людей, чуть позже замерцали в той стороне неясные огоньки... Все тот же туман был под ногами — плотный, вязкий.

А утром — солнце!

Внизу, в долине, туман еще оставался, но и там он таял, слегка дымясь: по снежно-белой его поверхности кое-где струился нежно-розовый свет, свет стекал в желтые лужицы, а лужицы эти просачивались на деревню, еще пасмурную и только едва-едва видимую под туманным пологом, с мокрыми кровлями и почти черной зеленью на огородах; густой хвойный лес по склонам невысоких гор светлел и светлел на глазах, так что казалось, будто совсем скоро он станет голубым, а по воде ручьев откуда-то с вершин гурьбой катились маленькие солнца, мчались и звенели, ударяясь о берега, о камни и друг о друга.

Тут Рязанцеву показалось, будто он сам причина всему этому: так хотел, так желал, что ненастье отступило перед желанием и солнце поднялось навстречу ему, туман стал таять, лес начал светлеть, в ручьях заблистали солнечные отражения.

Рязанцев подумал: «Ну, теперь пора!» — и скользкой тропой стал спускаться от палаток вниз, к реке.

Взошел на мост.

С деревянного моста было видно, как река выбегала из-за ближней горы. Она будто сразу же почувствовала простор долины, сделала одну и тут же вторую петлю, раздвоилась на рукава, и один рукав принялся размывать голубоватый левый берег, добывая из него серые круглые булыжники, второй устремился вправо, ударился о скалу, приземистую, незаметную, но прочную, отскочил от нее и побежал прочь по деревенским огородам.

Оба рукава соединились метров за триста ниже моста, вместе они еще раз попытались свернуть куда-нибудь в сторону, но уклон толкал их к скалам, и вот уже, обнявшись, правый рукав, совершенно прозрачный, а левый чуть взмученный, они стиснуты ущельем. В одно мгновение перемешались их воды...

Там, неподалеку от ущелья, по другую сторону села, Рязанцев заметил плотину. А он любил сооружения на реках — всякий раз как-то по-своему они вписываются в пейзаж, по-своему в нем присутствуют, по-своему его меняют. Только плотины да вот еще разве мосты создают такие картины, в которых первозданная природа соседствует с созданием рук человеческих.

Не торопясь, пошел через село. Кто же ему повстречается первым на

крутой улице, которая сначала поднималась на взгорок к двухэтажным домам, потом снова спускалась вниз, к плотине?

Ему хотелось бы встретить какого-нибудь очень симпатичного человека, заговорить с ним, познакомиться.

А вдруг это будет женщина — высокая, со светлыми косами и синеокая? Не случилось: первым встретился алтаец верхом на мухортой лошадке. Поглядел на Рязанцева — видно было, сразу признал нездешнего, прикоснувшись к засаленной меховой шапке, сказал:

— Здрасьте!

Очень правильно он сделал, первым встретившись Рязанцеву.

Потом встретилась учительница — молоденькая, в коричневых туфельках на высоких каблуках. Геройством было сразу после ненастья пройти по улице в таких туфельках!

Конечно, это была учительница — она несла целую стопку тетрадей под мышкой. Она шла по другой стороне улицы и чуть впереди Рязанцева, но невольно то и дело обращала лицо к солнцу, и Рязанцев видел это лицо — озабоченное, серьезное и пригретое солнечным теплом.

Учительница первый, ну, может быть, второй год как сама перестала учиться — сдавать зачеты, экзамены, писать контрольные,— а сейчас в школе экзамены принимала... Вчера контрольную писал один класс, сегодня другой будет писать. И вот она поглощена событием, хочет событию соответствовать и серьезностью и туфельками...

Ушла... Тяжелая красная дверь школы с куском автомобильной покрышки вместо пружины захлопнулась за ней.

Плотина была в обширном дворе красивого дома под железом, на доме висела вывеска — «Райкомхоз».

Коммунальное хозяйство — это городской транспорт, системы водоснабжения, канализации и ливнестоков, сети теплофикации, банно-прачечные тресты и гостиницы.

Здесь, в Усть-Чаре, ничего этого не было. Ничего этого не было, а райкомхоз был!

Рязанцев тотчас представил себе и начальника райкомхоза, а может быть, по-другому он именуется — директором, управляющим, заведующим,— который каждый день с толстым портфелем является в свою резиденцию руководить хозяйством, которого нет.

Начальник этот должен быть толстым и благодушным, он уже сменил в Усть-Чарском районе с полдюжины руководящих должностей до того, как принял коммунальное ведомство, ни одна должность его не смогла обеспокоить. Фамилия у него Пересядько, Кубышкин, Авоськин — еще что-нибудь в этом роде.

Если бы из дверей райкомхоза вдруг вышел Пересядько, они бы поговорили.

«Руководите, дорогой товарищ Авоськин?» — «Руковожу, товарищ Рязанцев!» — «Трудно приходится? Задач у вас такое множество? Проблем?» — «Не говорите, товарищ Рязанцев! С утра до ночи все мысли, все — проблемы. Недосыпаю. Недоедаю...»

Ни Авоськин, ни Кубышкин не в состоянии были испортить Рязанцеву настроения, его рассердить, растревожить.

Плотина, и та не испортила настроения у Рязанцева, хотя и являла собой зрелище очень грустное.

Береговые ряжи основательно уже сгнили, в таком же состоянии была, вероятно, и подводная часть: в нижнем бьефе весело подпрыгивали фонтанчики, и были они заметно мутными.

— Фильтрует,— вслух вздохнул Рязанцев.— Грунт из-под основания вымывает даже при таком напоре.

Прошел вдоль деревянного лотка, лоток рассохся, едва-едва отдавал сыростью — давно уже не было в нем воды.

Через узкое оконце заглянул в крохотное здание станции — пол разобран, оборудование снято... «Ах, товарищ Авоськин, товарищ Авоськин!»

Вернулся на плотину, сел на упорный брус.

Река сбегала вдоль по неровной каменистой лестнице, то ступала осторожно, то стремительно прыгала со ступени на ступень, а там, уже вдали, горы были ниже, и казалось, будто около горизонта река бежит по самым вершинам.

Так было в долине, а слева, на востоке, словно кроны огромных деревьев, возвышались горы, дремучий лес гор. Деревья выглядели там будто хвоинки, белые облака, кое-где заблудившиеся среди дремучего леса гор, похожи были на гусиный пух, а маленькое яркое солнышко, приютившись на самой высокой горе-кроне, будто удивлялось там, как это оно смогло и долину, и небо, и горы залить своим светом.

Представления об Алтае, которые жили в Рязанцеве с детства, со времен первого путешествия, его ничуть не обманули.

Где-то среди леса гор течет еще одна река — река Коргон. Рязанцев чувствовал ее близость и радовался ее красоте: не могло быть некрасивой реки в этих горах.

В отдельных же картинах, в подробностях он помнил реку Коргон, какая она бывает и при свете солнца и во тьме.

Помнил во тьме, потому что трем мальчишкам не хватало дня, чтобы видеть вокруг себя, и они еще ночью шли берегом реки.

Нужно было им обязательно заглянуть в древние, заброшенные каменоломни — когда-то знаменитые яшмы добывались на реке Коргон...

И при свете берестяных факелов они заглядывали в деревянный, вросший в землю сруб, в котором жили когда-то каторжники, добытчики яшмы, и в глубокие выемки среди скал, и в круглые отверстия шпуров.

На тропах по берегам Коргона и возникла дружба между мальчишками — Рязанцевым, Свиридовым, Черновым.

Воспоминания заставляли Рязанцева радоваться тому, что нынче он в селе Усть-Чара. Вот оно какое — несколько улочек и шестигранная, неуклюжая, но прочная пожарная каланча с каменным фундаментом.

Она, наверно, давно стояла, эта каланча, еще когда мальчишки путешествовали по Алтаю...

Если бы они достигли Усть-Чары, увидели бы ее точно такой же, какая она сейчас.

Но Усть-Чары они тогда не достигли. Их много путешествовало, мальчишек, выпускников неполной средней школы,— помнится, человек десять. Трое рвались вперед, все дальше, уходили в верховья рек Сентелека, Коргона, Кумира. Заметили на карте крупного масштаба маленький кружочек, надпись курсивом, и почему-то представилось им, что это предел всяческих желаний. Может быть, так звучит: «Усть-Чара... Усть-Чара...»

Но остальные семеро не слышали в этих словах ничего, не хотели идти до Усть-Чары. Их было большинство, тех, кто не слышал и не хотел, они были правы — приближался уже учебный год, холоднее становилось в горах с каждой ночью.

Вернулись...

Вернулись, но трое обещали друг другу — когда-нибудь, может быть не скоро, может быть очень не скоро, но обязательно достигнуть Усть-Чары...

Не довелось осуществить мальчишескую мечту Сене Свиридову.

Не довелось и Василию Чернову. На Новодевичьем кладбище в Москве, в нишах старинной кирпичной стены, стоят урны с прахом воздухо-

плавателей. Воздухоплаватели летели на дирижабле, чтобы взять легендарный экипаж дрейфующей станции «Северный полюс». Среди других — урна с надписью: «Самый молодой член команды дирижабля бортрадист Василий Дмитриевич Чернов».

Из троих один только Рязанцев достиг Усть-Чары.

Утром 6 июня 1960 года.

Глядел вдаль, туда, где в берегах из яшмы мчится Коргон, слушал, как туда же торопится по каменным ступеням Чара-река, и казалось ему, будто не один глядит он и слушает тоже не один. Вспоминал такие подробности первого мальчишеского путешествия на Алтай, что казалось — одному не под силу их было вспомнить...

По тропинке подошли к Рязанцеву двое.

Один из них представился:

— Райкомхоз.— И протянул руку.

— Как? — не понял Рязанцев.

— Райкомхоз! — Человек рекомендовался не по имени-отчеству и не по фамилии, а названием учреждения: «Райкомхоз».

Рязанцеву тоже пришлось отрекомендоваться:

— Рязанцев. Научный сотрудник экспедиции Академии наук.

Райкомхоз — вот он какой был: в синей шелковой рубашке с короткими рукавами, в очень широких чесучовых брюках, в соломенной шляпе — необыкновенно радостно сказал:

— Мы так и думали, что из экспедиции. У нас тут телеграмма была вашего главного академика...

— Вершинина?

— Вот именно!

«И тут успел!» — подумал Рязанцев про Вершинина, который никогда не пропускал случая телеграфно, срочно, солидно предупредить множество людей о своем приближении. Райкомхоз, между тем, был, кажется, чему-то рад: черные с коричневым глазки его на полном и смуглом лице были очень приветливы. «Русский? — подумал Рязанцев.— А может быть, алтаец? Дела не меняет; одним словом, Райкомхоз — то ли Авоськин, то ли Пересядько».

— Плотину оглядываете? —спросил Райкомхоз.

— Так... Немного...

— А вы глядите, глядите! Это нужно! Крайне необходимо! Костин тоже оглядывает, будто в первый раз видит.— И кивнул в сторону своего товарища.

Тот в самом деле ходил по мостику над щитами, сумрачно глядел вниз из-под лохматых бровей. Поравнявшись с Рязанцевым, посмотрел на нового человека внимательно, прикинул: что бы этот человек мог здесь значить? Тоже поздоровался:

— Костин, Петр Никодимович. Управляющий районной конторой госбанка. Значит, из академии? Порядок! Присядем.

Все трое опустились на упорный брус рядом с воротом для подъема щитов. Рязанцев вздохнул: только что сидели здесь Сеня Свиридов и Вася Чернов.

Управляющий банком раскрыл стальной портсигар с изображением Спасской башни на крышке.

— Прошу! — Постучал портсигаром по брусу.— Сколько будет стоить? Ремонт?

— О чем вы?

— О ремонте. Сколько стоит?

Рязанцев пожал плечами, хотел ответить, что он не специалист по строительству, но ему показалось проще назвать цифру. Ряжи полуразрушены, контрфорсы покосились, водобой фильтрует...

— Тысяч четыреста пятьдесят!

Костин расправил брови.

— Так. Точно.

А Райкомхоз, тот подскочил, шлепнул себя по карманам и тут же Рязанцева по плечу.

— Как в аптеке! Не верите? Инженер приезжал из края, обмеривал, считал, справочников у него куча мала, а что насчитал? Четыреста пятьдесят семь тысяч и двести шестьдесят рублей с копейками!

— Семьдесят восемь копеек,— уточнил управляющий банком.

— Брось ты свои копейки! — рассердился Райкомхоз. Поболтал на себе чесучовыми штанами, в карманах зазвенели у него монетки, и он словно собрался их выбросить.

«Расхрабрился!» — подумал Рязанцев, а Райкомхоз уже спрашивал его:

— А сколько стоит построить новую? Такую же, на сорок пять киловатт?

Спрашивал быстро и так настойчиво, что Рязанцев снова не успел объяснить, что он совсем не специалист, а вместо этого так же быстро спросил:

— Лоток новый? И здание станции тоже новое?

— Подчистую — заново!

— Пятьсот пятьдесят!

— Во-от! — восторженно произнес Райкомхоз, поморгав сначала черными удивленными глазками.— Во-от как, видел? То-то!

Должно быть, когда они еще приближались к Рязанцеву, поспорили между собой. Управляющий говорил, что нет никакого смысла затевать разговор с этим зевакой на плотине, а Райкомхоз хотел поговорить обязательно. Теперь Райкомхоз торжествовал, снова хлопал Рязанцева по плечу.

— Хотите знать — как в аптеке! Ошиблись на одиннадцать тысяч! Считай — как в аптеке.

— На двенадцать! — поправил управляющий, но поправил как-то ласково.— Без трехсот рублей — на двенадцать.

— По смете — пятьсот тридцать восемь триста. Ну, триста рублей в таком деле — копейки, так и не считай копейки-то,— посоветовал Райкомхоз.— Не считай! Не аптека ведь!

Управляющий банком Райкомхозу не ответил, снова спросил у Рязанцева:

— А вот скажите, товарищ, сколько, по-вашему, лет этой станции? Сколько она существует?

Райкомхоз глядел встревоженно. «Очень хочет, чтобы я снова правильно ответил»,— подумал Рязанцев.

Вспомнились Рязанцеву другие сельские ГЭС с деревянными плотинами — все они быстро выходили из строя... Подумал.

— Пятнадцать!

— Ошиблись! — сказал управляющий.— Вот когда ошиблись! Хотите знать — тринадцать лет.

Райкомхоз, будто извиняясь перед Рязанцевым, вздохнул:

— Правильно говорит — тринадцать лет! Попозже этого времени, уже осенью, по снегу, ее открывали. Так было торжественно — и не сказать...

Но тут Райкомхоз взглянул на управляющего, управляющий — на Райкомхоза.

— Ну!.. Ну-ну-ну! А? Что? Как?

Все это Райкомхоз выпалил сразу, управляющий же ему ответил одним только протяжным:

— Да-а-а...— Обернулся к Рязанцеву.— Ошибку мы дали, товарищ научный работник...

— Очень может быть,— согласился Рязанцев.— Может быть, я же ведь...

— Мы ошибку дали, товарищ сотрудник Академии наук! Тринадцать лет станция эта работает, а существует, правильно вы говорите, существует пятнадцать лет! На ней два года турбины меняли, не было таких маленьких турбин, для нее подходящих!

Райкомхоз ликовал:

— Точно! Два года не могли поставить турбины! Два года!

Управляющий банком спросил задумчиво:

— Наука? А? — Спросил и просветлел: брови у него раздвинулись, сухощавое смуглое лицо словно помолодело.

А Райкомхоз, наоборот, посерьезнел, когда подтвердил:

— Наука! Да!

Рязанцев же, хоть и понимал, что успех его совершенно случайный, не удержался и так благосклонно, с чувством достоинства пожал плечами.

— А как же!

Чувство досады, вызванное появлением этих людей, исчезло, он подумал: «Поговорили... Очень хорошо! Сейчас они вежливо и уважительно распрощаются. А потом будет еще приятнее здесь одному... Уж не рассказать ли, пока не ушли, как много лет назад, мальчишкой, я стремился достигнуть Усть-Чары?»

Но прежде чем Рязанцев решил, стоит ли говорить об этом с незнакомыми людьми, они оба придвинулись к нему.

— Ваше решение? — спросил управляющий банком.

— Ваше мнение, дорогой товарищ? — спросил Райкомхоз.

— О чем? Какое?

— Ну как же? — пояснил управляющий банком.— Вы определили: ремонт стоит четыреста пятьдесят семь, новая — пятьсот тридцать восемь. Срок службы тринадцать лет. Так что же вы прикажете, через каждые тринадцать лет полмиллиона в эту речку вколачивать? Вколачивать, да еще в малую воду и без света сидеть?

— Ничего никому не приказываю! — удивился Рязанцев.

— Не в том дело! — Райкомхоз протянул перед собой обе руки.— Двадцатый век, советская власть, спутники летают, а в райцентре электрификации нет! Вот в чем дело!

— Так я не специалист! Право же, нет!

— Наука должна помочь! — заявил управляющий.— Должна!

А Райкомхоз снова принялся разъяснять, в чем дело:

— Дело в том, что всему райкому, всему райисполкому, всему партийному и советскому активу нельзя сказать: «Мы не специалисты!» Нам решение принимать! Нам перед народом решение доказывать, мобилизовывать людей! А на что мобилизовывать? Кабы они совсем не видели электричества, люди тогда еще год и два провели бы в потемках. А сейчас поди-ка объясни, что они без света должны сидеть. Можно?

— Нельзя...

— Правильно! Нельзя! А можно что?

— Что? — настаивал управляющий.— Не у кого-нибудь, у науки спрашиваем — что?

— Ну... как вам сказать... Если тепловую станцию? На жидком горючем? Если в самом деле тепловую?

— Повозите-ка жидкое-то из самого Бийска! — ответил управляющий.— Повозите-ка! Киловатт-час как раз рублями запахнет! Свет, он тоже должен быть по карману.

— Ну что же — дорого будут платить! И дорого, а будут!

— Верно, куда денутся — заплатят. Заплатят, а о советской власти как подумают? Не подходит! Это вам не частный капитал — пользоваться случаем!

— Ну а если на дровах? Если на дровах?

— Двадцать восемь рублей за кубометр! — тотчас дал справку управляющий банком.— Устраивает? Не возражаю, хотите — платите!

— Так дорого? В лесу живете, и так дорого?

— Франко-лесосека — семь рублей. Семь с полтиной. А доставка? Дороги в горах — какие дороги? Только гужом. А гужом, живым тяглом туда доехать, там погрузить, оттуда приехать, разгрузить — человеко-день и коне-день. Итого — тридцать три рубля. Прямых. Плюс за лошадьми уход, зарплата конюхам — раз. Сенозаготовка — два. Спецодежда — три. А непогода, завал в горах? Туда-обратно съездили, дров ни полена. Что же это фактически?

— Фактически,— разъяснил Райкомхоз,— ползимы без света.

— Так ведь лес-то рядом! Вот он!

— Прикажете, значит, оставить райцентр без зеленого друга? Года за два мы окрест все облысим. Дай пример, охотники найдутся! А дальше? Дальше, спрашиваю?

— Тут дело такое,— доверчиво и даже как-то очень благожелательно разъяснил Райкомхоз,— с горы свезти лес — проще простого. Срубил во-он ту лесину — она сама по себе в деревню прикатится. А насадить его там? Труднее трудного! Теперь дальше: двадцатый век, советская власть, а тут крайне нужный человеку хлорофилл — под корень! Можно ли?

— Нельзя...

Рязанцев размышлял вслух:

— Может быть, другую ГЭС построить — деривационную, на отводящем канале? Подпорное сооружение сделать долговечным, из каменной наброски?

Стал говорить о схеме деривации, о принципе ее действия, присматриваться к местности и объяснять, что местность вполне позволяет такую схему осуществить.

Управляющий кивнул.

— И над этим думали. Крепко думали! Нельзя!

— Да почему же?

— Взрывных работ, скальных получается три тысячи восемьсот, считайте — четыре тысячи кубометров. В крае организации подрядной нет, чтобы взялась выполнить. В Новосибирск надо ехать. А тем это пустяк, слону дробина — им дороже стоит сюда приехать, работы организовать, технику безопасности.

— Договоритесь с местными рудниками.

— С ними договор простой: плати, еще плати и еще раз плати! Прямые, накладные, проездные. Кабы у нас была станция на тысячу киловатт, это все оправдывается. А из-за пятидесяти киловатт с нами никто чикаться не желает — не из-за чего. И строительная стоимость этого самого киловатта — двадцать две с половиной тысячи — подсчитана. Устраивает вас? Устраивает — соглашайтесь! Только я через банк вам такую смету не пропущу!

Все получалось совсем не так...

«Прохлопали с плотиной?» — нужно было бы спросить Рязанцеву у этих людей. «Вот маемся... Ошибку дали...» — «Места у вас тут уж очень красивые! Очаровательные места!» — «Это верно — в местечке живем веселом... Закурите?» — «Некурящий... А вы, знаете, я еще четверть века тому назад, мальчишкой, хотел побывать в Усть-Чаре. Не

удалось. До Коргона только дошел... Скажите, вон та пожарная каланча давно построена?»

Таким, казалось бы, должен быть разговор между ними...

На самом же деле Костин допрашивал его:

— Так что, согласитесь полмиллиона платить? Или — не согласны?

И Рязанцеву ничего не оставалось, как самому перейти в наступление.

— В свое время что в районе было сделано, чтобы ГЭС эту спасти?

Управляющий сказал:

— Ясно!.. Материалы следствия и экспертизы у районного прокурора. Интересуетесь, можно познакомиться. Ответчик — вот он, райкомхоз! — Кивнул в сторону своего товарища.— И мнение такое существует — посадить!

— Посадить?! — не сразу понял Рязанцев. — Нет, что вы! Я не об этом спрашиваю! — Хотел оглянуться в сторону Райкомхоза, но представил себе его полное жизнерадостное лицо таким грустным, с таким выражением отчаяния, что замешкался как-то.

А Райкомхоз ждал, когда приезжий ученый к нему обратится, не дождавшись, тронул Рязанцева за рукав.

— Верите ли, кабы я знал, что электричество тут без меня так ли, иначе, а будет,— черт с ним, отсидел бы пять лет! Куда ни шло!

Рязанцев поглядел на Райкомхоза, на полное и свежее лицо, заглянул в черные, какие-то женственные глаза — поверил. Удивился — знакомому, близкому человеку и то, наверное, поверил бы в этом не сразу. Вспомнил, что таким именно он заведующего райкомхозом и представил, когда увидел вывеску этого учреждения,— полным, жизнерадостным. Таким и совсем не таким.

— Я как только райкомхоз принимал,— рассказывал дальше Райкомхоз,— в пятьдесят третьем году, сразу спросил: «А за ГЭС чья отсидка будет?» Она уже тогда на слюнях держалась — лес-то был поставлен сырой, невыдержанный, и с напором она не управлялась. Так и спросил, Костин, ты помнишь, ты тогда в исполкоме был?

Управляющий банком кивнул, он помнил. Рязанцев спросил:

— Ну и что же вам ответили?

— А что тут ответишь? «Постараемся, чтобы никто не садился. Но ежели кто сядет — так ты!»

— Не соглашались бы на таких условиях принимать райкомхоз! — возмутился Рязанцев.

— Дело поручают, об этом не спрашивают, за что ты согласен отвечать, за что не согласен! Точно, Костин?

— Точно!

— Вы писали, сигнализировали? — спросил Рязанцев.— Писали, куда следует, о состоянии плотины?

— Пользы-то? Каждый усть-чарский житель — этой плотине свидетель... Латал я ее, как мог, ремонтировал, субботники организовывал... Мертвому припарки! А бумаги — тем более припарки!

— Не пробовали по-другому дело поднять? Методом народной стройки?

— Метод-то он метод, да только на один раз! — ответил управляющий. И не дождавшись даже от Рязанцева его «почему?», ответил: — Потому! Вот она была этим методом построена и нет ее! — Постучал по деревянному брусу плотины портсигаром.— Ее нет, а, думаете, ее метод останется? Метод — он там, где результат!

— Наконец, если и то, и другое, и третье нельзя — так собрать жителей Усть-Чары, посоветоваться с ними, как быть. Тут бояться нечего! Выходить надо к народу!

— Как это нечего! — возразил управляющий банком.— Как это нечего?! Выходить надо с каким-то мнением, обсуждать его, а не просто так: «Помогите умишком, христа ради, кому как бог на душу положит!» И знаете, о чем они спросят? «Наука как советует? Вы не знаете — такая вам и цена! Пригласите научных работников, академиков! Пусть решат!» Вот как скажут!

Райкомхоз, улыбаясь, подтвердил:

— Это точно!

Не удавался спокойный разговор...

— Ну знаете ли,— заволновался Рязанцев,— станция на пятьдесят киловатт для науки не проблема! Тут ваши особые условия, когда и то нельзя, и другое — и вообще ничего от науки взять нельзя!

— Я так думаю,— управляющий банком поглядел в небо,— спутники там летают, но для ученых, которые их изобретали, тоже «нельзя» этих было не меньше! И металл обыкновенный применить нельзя и горючее нельзя. А без нельзя есть ли наука? Без нельзя — он тоже действительный академик! — Показал на Райкомхоза, хотел, должно быть, кончить, но потом еще сказал: — У меня, когда-нибудь дождусь, будет разговор к ученой агрономии. Вот Усть-Чарский район год от года хлеба дает все больше. За счет чего? Площади увеличиваем. А где наука, спрашиваю, если урожайность с гектара только что довоенной осталась? Спрашивается, где же она в ответственное время находится?

— Ну хорошо,— сказал Рязанцев,— а такое вы можете понять: в науке тоже люди, а люди могут ошибаться?..

— Наука, товарищ ученый, она — как сапер: прокладывает для наступления пути. А саперы, слыхали наверно, ошибаются один раз. И еще спрошу: а что, ошибочная наука — наука?

Костин была фамилия у этого человека... Рязанцев подумал, что фамилия происходит не от человеческого имени — Костя, Константин, а от слова кость, костяной... Сухой такой, поджарый, весь будто бы костяной он был. Приподнял шляпу, чтобы вытереть пот с головы,— голова у него оказалась лысой и тоже костлявой. Такую бы голову не брить, а прятать под волосами. Но видно было — неглупый человек.

Хотел Рязанцев спросить в ответ: а любое ошибочное дело — дело? Но Костин вдруг еще заговорил:

— Корову подоить... Тысячу лет человек этим делом занимается, а тут наука провозгласила: «Многократная дойка!» В одном нашем районе двое ученых диссертации писали. Теперь снова совхозы мучают, уже другие, которые за двухкратную. Тоже наука. Тоже к двадцатому веку и к спутникам пристегиваются!

Рязанцев и сопротивлялся и спорил, но о многом он и сам думал не раз так же, как этот Костин.

В это время Костин и сказал:

— Ездят из институтов, из академий... Разные ездят. Ну, пошли, райкомхоз. Дела ведь...

Райкомхоз протянул руку Рязанцеву.

— Бывайте здоровы!

С крыш усть-чарских домиков струилось тепло, лужи на улице подсохли, кое-где покрылись замшевой кожицей, прохожих стало больше. Рязанцев шел обратно в лагерь. Учительница встретилась знакомая, тоже шла домой, опять со стопкой новых тетрадок под мышкой.

Значит, уже другой класс написал контрольные, судьбы других ребят решались: кто написал на пятерку, а кто и на двойку...

Река за огородами звучала теперь приглушенно, меньше было ее слышно, потому что больше в жаркий воздух неслось отовсюду разных звуков: с деревянного моста на Чаре, с огородов, от больших двухэтаж-

ных домов в центре села. Ближние горы тоже будто бы шелестели деревьями, травами... Теплый воздух мерцал над россыпями камней в горах, казалось, шевелил камни, они тоже звучали. И дали не были безмолвны: доносился плеск убежавшей туда Чары и еще каких-то рек, может быть Коргона.

Рязанцев шел к лагерю, три палатки виднелись на склоне горы, они уже успели побелеть во время ненастья, и, кажется, две машины там было... Правда, две: грузовая и газик.

«Уж не Вершинин ли догнал экспедицию?» — подумал Рязанцев.

Глава четвертая

Рита Плонская и Онежка Коренькова жили в одной палатке, а подружиться до сих пор не могли.

Однажды, когда они лежали в спальных мешках, Рита услышала вдруг: Онежка вздыхает.

Время в палатке перед сном — иногда каких-нибудь минут десять, а иногда, если не очень устали за день, и целый час — было временем бесед между ними, а тут Онежка так откровенно вздыхала.

— О чем ты?

— Так... Ни о чем...— шепотом ответила Онежка. Вздохнула снова...

— Ну-ну! Все так говорят: «Ни о чем!» Скажи!

— Правда, ни о чем...

— Ну не о себе же самой, в самом-то деле?

— Ага...

— Что — «ага»? Скажи.

— О себе...

— Почему?

— Колет...

— Что? Где?

— Вот тут...— Взяла Ритину руку к себе в спальный мешок.— Вот тут где-то... Желудок... Да?

Рита была разочарована, и засмеяться ей хотелось над Онежкой и сказать хотелось что-нибудь такое, что детям говорят: «Бо-бо? Ничего, спи... До утра заживет... Бай-бай!»

Но тут она вдруг ответила:

— Нет... Не желудок. Это у тебя такое, о чем никому не надо говорить вслух... Особенно мужчинам.

Ничего ровным счетом Рита не понимала ни в этих, ни в других болезнях; высокая, тоненькая, даже хрупкая, она переболела в раннем детстве, а теперь была совершенно здоровой девушкой, болезни представлялись ей чем-то отвлеченным, таким же, как, например, старость.

Однако она произнесла свой диагноз с необыкновенным значением. Потом подумала: «А вдруг Онежка и в самом деле больна? Вдруг захворает? Умрет?» Засмеялась над собой: «Пустяки!»

Помолчала и еще проговорила:

— А потом, если пожалуешься, все подумают, что ты отлыниваешь от работы. Все люди такие — привыкли думать наоборот...

Онежка не спала в эту ночь, Ритины слова ее смутили, испугали... Какие-то предчувствия ее тревожили, до самого утра она пыталась их прогнать, говорила себе, что она трусиха, упрекала себя.

А Рита спала спокойно. Она знала, что теперь Онежка приблизится к ней.

И в самом деле, на другой день Онежка все время старалась быть к Рите ближе.

Правда, было такое чувство у Риты, что пора бы уже стать благоразумной, пора, пора! И разыгрывать маленькие хитрости вроде хитрости с Онежкой — тоже детское занятие. Но что сделаешь? Не могла от этого избавиться!

Избавиться, должно быть, и в самом деле было нелегко — ее привычки пришли к ней в раннем детстве, она даже знала, когда и как пришли...

Маленькой, не по-детски изящной девочке, любимице матери, отца, всех окружающих ее взрослых, эти взрослые казались таинственно-счастливыми людьми.

Они составляли иной мир. Мир взрослых можно было видеть на каждом шагу, можно было всегда ему подражать, любоваться им, изображать его в играх, можно было даже войти в него и поверить, что ты останешься в нем навсегда.

На самом же деле только казалось так. Взрослые разговаривали с девочкой ласково, весело, иногда как с равной, но все это до тех пор, пока им так хотелось. По первой же своей прихоти они отсылали ее прочь, объясняя ей, что она — ребенок.

И девочка оставалась совсем одна, одна среди множества людей, потому что сверстницы и сверстники давно уже возненавидели ее за ее взрослость. Она не плакала — она презирала детей, а все ее упреки и слезы обращены были к взрослым. Но взрослым нельзя было даже пожаловаться — так были они жестоки.

Просыпаясь утром в своей кроватке, она говорила:

— Какова погода? Снова ненастье, снова антициклон! В таком случае я надеваю темное платье, а гулять выйду в плаще! — И верила при этом, что выросла за ночь, а каждый день неизменно разочаровывал, ранил ее.

Свое страстное желание она не облекла еще в слова. Зная множество фраз, которыми говорили между собой взрослые, она ни слова не находила о самой себе, о своих чувствах.

Но если бы она смогла обдумать все, что с нею происходит, к чему она стремится, обдумать и выразить словами, это прозвучало бы, вероятно, так: «Покорять!»

Конечно, было бы счастьем для нее, для всей ее судьбы, если бы в детстве она никого так и не покорила бы, если бы ее маленькое сердечко сначала само покорилось какому-нибудь вихрастому парнишке из пятого или шестого «А» или «Б» класса.

Но случилось иначе.

Шестнадцать лет назад, в день Первого мая, она участвовала в детском утреннике. Юные артисты танцевали, декламировали, пели, выступления сопровождались бурей оваций. Не каждой артистической звезде удавалось в жизни снискать такое же неподдельное признание зрителей.

И была среди юных артистов Маргаритка — она выглядывала из-за декораций, дрожала от страха, слезы катились у нее по щекам.

Руководительница придерживала ее за плечо.

— Ну ничего! Ничего, милая! Ты же самая старшая в этом танце, тебе нельзя волноваться!

А может быть, именно потому, что Маргаритка так боялась, зрители так поверили ей, поверили, будто над головой у нее вьется злой ястреб. И когда, дрожа от испуга, взмахивая ручонками, она исполнила коротенький танец и позвала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!»,— а другие девочки, совсем еще малютки, в желтых платьицах и красных туфельках, сбежались к ней на зов, окружили ее тесно-тесно, зрители восторженно ее приветствовали.

Она же не могла уйти со сцены. Снова, снова танцевала, отгоняла прочь воображаемого ястреба, страшась его и в то же время против него восставая, а созвав своих цыплят, торжествовала. Ей кричали из зала, ей улыбались, для нее одной смеялись и радовались.

Каждое лицо, которое она видела в рядах, излучало для нее разноцветные круги, и восторг приходил к ней таким сильным, каким совсем недавно был страх, еще сильнее...

В ярко-желтом свете электрических ламп она как будто таяла, она стала ощущать сильный, волнующий аромат света, так что спустя уже много лет была убеждена, будто существует «желтый запах», головокружительно сильный, дурманящий.

Ночь после этого она не спала. Лежала с открытыми глазами в своей кроватке, а с нею повторялось и повторялось все сначала. Что это такое, что с ней происходило? Как называется? Названия всему этому она опять не могла дать, лежала в темноте и шептала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!»

Если бы тогда она сумела найти слова, она сказала бы этими словами: «Сегодня я покорила взрослых!»

Она не рассуждала таким образом, не обладая еще логикой вопросов к самой себе и ответов на эти вопросы, но убеждение в том, что если страстно желаешь, желаешь до страдания, то рано или поздно желание это сбудется, такое убеждение, такую радость своей победы она пережила сполна.

Лишь спустя годы она назвала это словами, сказав себе: «Буду покорять! Буду подчинять себе других, ничего другого я так не желаю, ни из-за чего так не живу, как из-за этого желания!»

Она училась хорошо: нужно было завоевать признание учителей.

Отец — инженер-строитель, всегда очень занятый, нервный, и мать — полная, вздорная красавица, в прошлом наблюдательница метеорологической станции, не чаяли в ней души и почти всегда были между собой в ссоре, а она ссорила их еще больше.

Ей было и стыдно перед ними до слез, но их так легко было столкнуть между собой — глупых взрослых!

Классе в седьмом с нее не спускал глаз рыженький, веснушчатый мальчуган. Он появлялся в школьном дворе, перелезая через забор,— так она велела.

Потом она приказала ему прыгать с этого забора, и он прыгал и вывихнул ногу.

Она горько плакала, казнилась, в воображении обливая слезами веснушки своего героя, но когда герой вернулся в школу, снова велела ему прыгать. Тогда заплакал он, а у нее в тот же миг возникло к нему чувство презрения, даже ненависти.

Позже эта потребность подчинять никому не приносила столько несчастья, как ей самой. Она томилась ею, изнывала.

Поступила в Горный институт, там были почти одни мальчишки. Она мечтала покорить их. Но когда в студенческом общежитии гремели песни, в разгар веселья она нередко тускнела, грусть на нее нападала отчаянная.

Над кем-то ей нужно было проявить свое превосходство, и чтобы это было очевидно для всех, чтобы кто-то при всех не спускал с нее глаз, чтобы кто-то если уединялся с ней, так обязательно для того, чтобы изливать ей свою душу.

Достаточно было, чтобы ничего этого не было, и она впадала в отчаяние.

С возрастом Рита хорошела, а ей то и дело казалось, будто детское ее обаяние обладало какими-то сильными свойствами, теперь утерянными.

Главное, его не нужно было скрывать в детстве ни от кого, теперь же у него появился враг. Врагом были «все».

Впервые она увидела этого врага в том же Горном институте, когда ее «проработали».

Ребята, из которых многие еще вчера млели перед нею, теперь выступали, и каждый начинал свою речь: «Мы все...» И они говорили, что Маргарита — способная девушка («мы все в этом убедились еще на первом курсе»), что она красивая («все это скажут, никто не будет спорить»), что она эгоистка («все это поняли»), что она убежала из колхоза с уборочной («всех это возмутило»).

В школе так не бывало. Там привыкли к тому, что Рита Плонская не как все. И Рита по-прежнему не хотела подчиняться никому, а всем — тем более. И не понимала: если человек способный, красивый, не как все и в отличие от всех, почему он должен быть как все? Ведь ум, красота, еще что-то, присутствие чего она всегда и во сне и наяву чувствовала в себе, для чего-то ей были даны? Для чего? Чтобы отличаться от всех, не быть как все!

И в то же время помимо воли, тянулась ко всем, все нужны были ей как воздух: ведь покорять кого-то одного ей нужно было даже не для себя, а для всех, чтобы все это видели!

Наконец «все» поразили ее своей необычайной, еще не знакомой ей прежде силой, какой-то только «всем» принадлежавшей правдой — незримой, но очевидной и могущественной. А ее всегда непостижимо влекло к себе все сильное.

Никто из ребят не сказал бы ей один на один того, что говорил на собрании, никто! Каждый побоялся бы это сделать — от каждого из них она могла бы в любой момент попросту уйти, встать и уйти, и не молча, а сначала сказав какие-то обдуманно-оскорбительные слова. Никто не избежал бы самой обыкновенной ссоры с ней.

Но перед «всеми» она не могла ничего — сидела и слушала, что про нее говорят, не могла поссориться со всеми. Раньше «все» были для нее множеством «одних» — только и всего. И потому, что она никогда не уступала «одному», не чувствуя у «одного» превосходства над собой, она не понимала уступок «всем».

Теперь она так же ненавидела всех, кто ее прорабатывал, как преклонялась перед их могуществом.

Как в детстве, когда она и ненавидела взрослых и обоготворяла их.

Она забросила занятия, и ее исключили со второго курса. Через тетушку устроилась на биологический факультет университета. На факультете были одни девушки.

В экспедиции Рита была впервые.

Холодные ночи в палатке, переходы, ненастья и другие тяготы походной жизни если не привлекали ее, то и не пугали: она была не из трусливых. Боялась другого — оказаться с людьми, среди которых некого будет покорять и некому будет удивляться тому, как она покоряет.

Первые дни принесли ей прямо-таки счастье — маленькая незаметная Онежка с одного взгляда стала ей подчиняться.

Потом Онежка ее разочаровала: Рита заметила, что так же легко, так же охотно и непринужденно, как ей, Онежка подчинялась всем, для каждого готова была что-то сделать, на всех смотрела с обожанием. Нужно было отобрать ее у всех.

Чем дальше, тем больше Рита убеждалась, что своей обыкновенностью, простотой, глазами, лицом Онежка выражала «всех».

В Горном институте, в 234-й академической группе, кроме нее, были еще три девушки, и теперь ей казалось, будто все три были очень похожи

чем-то на Онежку, а Онежка на них. Всех трех, ничем не приметных — ни красотой, ни голосом, ни способностями,— ребята, когда прорабатывали Риту Плонскую, ставили ей в пример: какие они простые, какие обыкновенные, хорошие и товарищеские.

И теперь ей казалось, что, покорив Онежку, она подружится с ней, как ни с кем другим в своей жизни. А потом доверится ей, и это будет ее союзом со «всеми».

Давно-давно жила в Рите тайная мечта — изменить самой себе, стать хотя бы ненадолго такой же, как «все», испытать, что это значит.

Она мечтала о том, как, подружившись, будут они лежать в палатке тесно-тесно друг к другу, чувствовать тепло друг друга и как будет она шептать: «Онежка, милая, я не могу, я не хочу быть такой, как все! И я не могу быть такой, какая есть!» И плакать будет... А потом долго еще — ночью, утром, на другой день — будет ощущать всю сладость отступничества от самой себя. Только один раз она это сделает, и только одна Онежка будет об этом знать. А больше никто и нигде — ни дома, ни в Горном институте, ни в университете.

Если нужно будет, она и сама перестанет об этом знать — забудет, и все.

Проходили минуты нежности...

«Боже мой! — восклицала Рита про себя,— какие волосы у этой девчушки! Какие жесткие! Какого некрасивого, грубого войлочного цвета! Нет и не может быть такой прически, которая придала бы им хоть какую-нибудь привлекательность! Что же со мной происходит, если я хочу дружбы этой девчонки, хочу ее участия, хочу плакать перед ней?! Все, что когда-нибудь и хоть сколько-нибудь привлекало меня, все было красивым. А это?»

Без зависти, пусть даже без самой ничтожной зависти, Рита не знала ни уважения к людям, ни любви к ним. Спустя же некоторое время она снова говорила себе: «Должно быть, это хорошо, что Онежка такая обыкновенная! Должно быть, такая она и нужна мне!»

Но еще прежде, чем излить Онежке свою душу, пожаловаться ей на «всех» и в то же время — хотя бы ненадолго — самой стать как «все», Рита хотела поговорить с Онежкой об Андрее.

Обязательно!

Рита, как только увидела Андрея, сразу же поняла, что его она не в состоянии покорить. А этого было достаточно, чтобы его невзлюбить, чтобы испытывать при нем тягостное беспокойство и тревогу, чтобы искать союза и дружбы с теми, кто Андрея тоже не любит.

В этом и состоял ее план: обязательно подчинить себе Онежку, чтобы быть против Андрея не одной, а вдвоем.

Теперь ей казалось, что маленькая хитрость удалась — Онежка чуть напугана какой-то несуществующей болезнью, покорна старшей подруге, и можно начинать...

День они провели на делянках, собирали шишки, подсчитывали число всходов на полянах и затененных площадках. Устали. Устали, а снова не спалось, снова они молча слушали ночную песню леса, доносившуюся с горных вершин... И тут Рита спросила:

— Послушай, Онежка, тебе нравится Андрюшка?

— Кто? — прошептала Онежка.— Кто? Повтори!

И она повторила:

— Андрюшка.

— Мне Андрюша нравится...

— А мне нет!

— Почему?

— Не производит впечатления мужчины!

— Почему?

— Ну, дорогая моя, не знаю! Не производит, и все! Может потому, что возится со своими травками, как девчонка. Ботаника — не мужская специальность!

— Какое же впечатление он производит?

— Никакого.

— А так может быть?

— Как?

— Чтобы человек не производил впечатления?

— Чаще всего! В нашей экспедиции никто не производит на меня никакого впечатления! А иногда — первое впечатление интересное, а потом — разочарование. Очень часто так.

— Почему?

— Онежка, дорогая! Странный вопрос, и все один и тот же — «почему?» Детский! Ты этот вопрос задавала самой себе?

— Какой?

— «Почему?» — Рита почувствовала: она не владеет разговором и не овладевает Онежкой. Сказала сердито: — Милая, ты мало видела людей. А когда увидишь... Что ты увидишь? Все одинаковы, мало этого — все требуют, чтобы никто ничем не отличался, чтобы каждый был похож на всех! Чтобы человек не был особенным!

— Ты особенная?..

— Может быть... Хотя бы тем, что хочу быть особенной... Разве этого нельзя хотеть?

Рита совсем не предполагала говорить в этот раз о себе, но так случилось, что заговорила. Она собиралась только вместе с Онежкой «проработать» Андрюшу и с ней подружиться. О себе же — в другой раз. Но Онежка спросила ее:

— А если ты особенная только тем, что ничего особенного не видишь в других?

Тут нельзя было ошибиться... И Рита не ответила.

Онежка снова спросила:

— Как же ты живешь с нами?

— С кем?

— Со всеми нами в экспедиции... С людьми?

— А что же я могу? Не жить?

Никак не могла поверить Рита, что, задумав покорить Онежку, сама оказалась поверженной. Она не могла себе представить, что так случилось с нею, Ритой Плонской, которая обладала чем-то необыкновенным. Его, это необыкновенное, нельзя было узнать, нельзя было увидеть, но так и должно быть — самое необыкновенное и должно быть невидимым. И не зная, что же это такое, чего нет и не может быть ни у кого, она в это верила. Она «этому» радовалась, «этим» гордилась, и даже все, что было вокруг нее хорошо и что было плохо, все «этим» оценивала, «этим» ощущала.

Видела очень красивую женщину, очень красивую, и завидовала ей, а потом успокаивала себя: «Но у нее же нет «этого»! Его нет ни у кого!»

Видела красивого мужчину или юношу, и между нею и этим человеком, потому что они оба были красивы, возникали как бы позывные — полуслова, полувзгляды. Она думала: вот такой мог бы распознать ее «это» и тотчас влюбиться в нее!

Когда ее обижали, ей было обиднее, чем другим: тот, кто обижал, не хотел заметить в ней присутствие «этого» и тем самым наносил ей еще одну душевную рану. Толкал ее кто-нибудь в трамвае, так толчок нередко приходился прямо по «этому».

Обижала кого-нибудь она — совесть начинала ее тревожить, она успокаивала себя: «Мне можно — у меня есть «это».

А желание обязательно подчинять себе кого-то, кого-то покорять?

Может быть, оно появилось до того, как Рита почувствовала свое «это», но потом стало властным требованием и частью «этого»?

Сейчас, в палатке, когда ей очень грустно было и обидно, она как будто обиделась не за себя, а за «это». Но в конце концов она обязательно покорит человека, а потом откроется ему так, как хотела открыться Онежке.

В конце концов никто ведь не видел ее поражения, она же, если захочет, завтра же покажет всем, как человек может быть покорен ею. Такой человек в экспедиции был, только она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом раньше времени узнал. Захочет — и покорит. При всех! Все увидят, как люди могут быть ей покорны!

И Рита уснула, думая о том, что она еще покажет себя, что все ее увидят.

А Онежка не спала в эту ночь.

Ах, как хотелось Онежке дружбы с Ритой — с красивой, со старшей! Не начинался бы этот разговор, и тогда оставалась бы небольшая, осторожная, но все-таки дружба между ними, понимание. А теперь?..

Каждый день Онежка запоминала новые названия растений. Три из них почему-то неотступно звучали все время: «Истод, адонис, эдельвейс». Совершенно особенно они звучали, и ей необходимо было кому-то много-много раз их повторить, чтобы спросить: правда ли, что они звучат, как не звучит больше ничто? «Истод, адонис, эдельвейс?» У кого теперь об этом спросишь? Немного странно, а все-таки?

Онежка знала, что прежде чем сказать друг другу о себе, люди обязательно говорят сначала о ком-то третьем. Так всегда бывало и в школе-интернáте и в институте — кто-то третий был зеркалом, в котором двое других прежде разглядывали друг друга.

Тут третьим был Андрюша, это понятно. Но как Рита произнесла слово — «Андрюшка»? Как его повторила?

Повторила так, что Онежка не могла уже Рите поверить. Не поверила первому слову, насторожилась. И не ошиблась: дальше она не могла уже ни с одним Ритиным словом согласиться...

Онежка спросила себя: а кто ей больше всего нравится в экспедиции? И подумала, что, пожалуй, и в самом деле Андрюша. С ним было очень просто, не так, как с Рязанцевым, и тем более не так, как с Лопаревым, которого она почему-то не могла не смущаться... С Андрюшей было очень легко в лесу — он работал, будто удовольствие доставлял и себе и другим.

Онежка даже подумала, что любит Андрюшу. Ей просто было так подумать, потому что она всех любила в экспедиции так, как дети любят взрослых.

Глава пятая

Почти месяц как работал в долинах Алтая луговой отряд Полины Матвеевны Свиридовой и больше двух недель на верхней границе леса — отряд Лопарева. А начальник экспедиции, доктор географических наук Константин Владимирович Вершинин, все еще завершал самые неотложные дела в институте.

После того как дела эти остались позади, они показались ему не

столь уж важными и неотложными, тем более что некоторые из них все равно пришлось отложить до осени.

Но, пока дела цеплялись за него, они словно обладали собственным разумом, хитростью, тактикой и даже стратегией, и все это было направлено к одной цели: как можно дольше задержать Вершинина в институте.

Одна за другой вдруг возникали встречи, которые никак нельзя было отложить, корректуры и подписание «трудов» к печати, которым у такого плодовитого автора, как профессор Вершинин, никогда не было конца и которые имели свойство обязательно совпадать с теми самыми датами мая, начала, середины и чуть ли не конца июня, какие намечались как самые последние, потом — самые крайние, наконец — самые крайние из крайних сроки выезда.

Торопился Вершинин ужасно. Злой был, обеспокоенный своим опозданием, растревоженный заботами о том, что происходит без него в отрядах: если все там плохо, работы сорваны — как наверстать упущенное время, если все хорошо — как объяснить, что хорошо без него, без его руководства?

Вспомнил, что каждый год собирается закончить полевые работы по «Карте растительных ресурсов Горного Алтая» и каждый год убеждается: мало еще материала, и того и другого не хватает, чтобы приступить к окончательной камеральной обработке.

Неужели и в нынешнем году так будет?..

С нетерпением ждал, когда же наконец появится Чуйский тракт, знакомые горные вершины.

Он эти вершины столько раз фотографировал, описывал, отмечал на картах, что с некоторых пор они стали для него чем-то вроде собственности. Иногда даже появлялось такое ощущение при виде гор и долин, будто в природе все это — вершины, кряжи, хребты, ручьи и реки — существует лишь внешне, словно в панораме, тогда как подлинный Алтай с его растительностью, животным миром, геологией, историей и всеми ресурсами остался у тебя дома, в ящиках письменного стола, в картонных папках с рукописями и полевыми дневниками и еще — в напечатанных уже статьях.

Такое ощущение подтверждалось еще и тем обстоятельством, что в середине нашего века ни один ученый, ни одна экспедиция, посетившая Горный Алтай, не могла обойти доктора географических наук Вершинина, не могла не сослаться на него в своих «трудах» и отчетах — ее сейчас обвинили бы в недостаточном изучении литературы об этом крае.

И Вершинин мчался на газике проселками, хотя и знал, что окружными, но профилированными дорогами ехать и надежнее и, пожалуй, даже быстрее; ругался на паромных переправах с шоферами, которые не пропускали его машину без очереди, хотя доподлинно ему было известно, что ругань с этим народом никому еще и никогда не приносила пользы.

Но он спешил в страну, которую мысленно так нередко и называл «моя страна», «мой Горный Алтай», понимая под этим страну в географическом смысле, которая создала ему репутацию крупного ученого в то время, как другие страны Западной Сибири — Барба, например — ему в этом отказали. И вообще ни одна страна для него так много не значила, его так не встречала — ни Горная Шория, ни Кулунда, ни Васюганье, ни верховья Енисея.

Наконец, в экспедиции ожидала Вершинина встреча с сыном, а вот уже сколько лет Вершинин-старший стремился передать сыну свои знания, вручить ему ключи от этой страны. Сначала он не отдавал себе отчета в этом желании, в этой мечте. Как-то странно было, что Алтай и

в самом деле, что ли, его недвижимая собственность, а потом он даже стал представлять себе некий торжественный акт вручения сыну чего-то очень важного, чего-то единственного, такого, чем больше никто и никогда на свете не обладал и обладать не будет...

Вот какая страна лежала перед Вершининым-старшим, вот куда он торопился!

А между тем настроение у него было нервное, тревожное, и он думал: почему бы это? Опаздывает? Так, слава богу, не привыкать, редкий год он выезжал в экспедиции вовремя. Переживание каких-то неудач? А каких, спрашивается? Как раз заметных неудач у него в последнее время не было, все шло своим чередом, приблизительно так, как должно было идти, и даже намечались определенные радужные перспективы, о которых он хотел рассказать сыну. Неудачи были в прошлом, но и тогда он их не боялся. А теперь — что? Камни в печени? Радикулит? Ишиас? Просто приближающееся шестидесятилетие как таковое? Нет, он чувствовал, что его организм вошел в норму старшего возраста. Не сразу организму удался такой переход, но все прошло более или менее гладко, болезни были, сердце пошаливало, а потом сердце привыкло к тому, что ему около шестидесяти... И весь организм тоже к этому привык. Наверное, это настроение было чем-то другим, было таким состоянием, когда об одном предмете думаешь сразу и хорошо и плохо, когда хочешь сделать одно, а делаешь другое...

Он вот знал, что ему давным-давно нужно быть в экспедиции, а ехал только теперь... Ехал проселками, хотя трактом надежнее. Водителю своего газика то и дело без необходимости выговаривал «под руку», хотя сам водил машину и знал, что этого нельзя делать.

Нехорошее начало... Неужели начало попросту никуда не годное?

Откуда это вдруг промелькнет мысль о том, будто все на свете устроено бестолково и только одно существо — ты сам — порядочное и умное? От недостатка ума или от избытка желчи в кишечнике? Куда-то потом эти мысли исчезают — и начинаешь думать, будто все в мире идет так, как и должно идти, только один-единственный болван этого не понимает...

Или все оттого, что состав нынешней экспедиции, и даже не всей, а высокогорного ее отряда, какой-то необычный, собственный его аспирант Лопарев командует там сейчас и, конечно, командует не так, как нужно...

Рязанцев там же...

Ни для кого в институте не было секретом, что Вершинин и Рязанцев если не на ножах, то и не без ножей. И вот однажды Вершинин пригласил Рязанцева с собой в экспедицию.

К слову пришлось. На одном заседании ученого совета Рязанцев что-то такое критиковал, задел и лабораторию Вершинина, и Вершинин бросил реплику, что, дескать, чем тут болтать, съездили бы со мной в экспедицию и посмотрели, как и что делается. Хотел припугнуть кабинетного ученого. А тот взял и согласился. Отпуск у него подходил очередной — пожертвовал отпуском.

Тогда-то, кажется, и возникло это тревожное чувство, этот вопрос: хорошо или плохо?

Хорошо, что будет возможность с Рязанцевым поспорить без повестки дня и без протоколов. Плохо, если и тут Рязанцев не изменит своему обычному спокойствию. Официальному спокойствию — иначе Вершинин тон этот назвать не мог.

Хорошо, что в отчете экспедиции, кроме самого Вершинина, будет упоминаться еще одна известная в институте фигура. Бывало, в иные годы для участия в своей экспедиции Вершинин привлекал вузов-

скую профессуру, и тогда отчеты просто сверкали именами. Плохо, если Рязанцев вдруг заговорит таким тоном: «Прошлым летом профессор Вершинин любезно пригласил меня в свою экспедицию, и я имел возможность познакомиться...» Лучший способ распознать противника — идти с ним на сближение. А все-таки...

Хорошо, что в экспедиции будет спокойный, рассудительный человек. Плохо, если этот человек сойдется характером с Лопаревым, они двое — с зоологом Реутским, трое — они сойдутся с молодежью, и в конце концов они будут все вместе, а начальник будет один. У начальника собственный сын в экспедиции, и начальник останется один! Каково?

Хорошо иметь дело с правильными людьми, о выступлении которых в ученых советах, в парткомах, на конференциях никто никогда не скажет «Здорово!» или «Боевито!», тем более никто не скажет «Вот так треп!», а все обязательно сойдутся на одном: «Правильно!» С теми, о которых никому не придет в голову поставить вопрос по какой угодно линии: профсоюзной, партийной, бытовой, по линии политического просвещения или по основной работе.

Но как это плохо — жить с таким человеком бок о бок и все время ощущать, что ты никак не согласуешься с ним... «Мы с вами не рифмуемся!» — сказал однажды Вершинин Рязанцеву.

С самим собою ты уже согласился давным-давно, согласился в том, что какой ты есть, таким и должен быть, а этот правильный на тебя все еще таращит глаза: «А согласился ли?..» «Пошел ты к черту!» — отвечаешь ты ему, а между тем еще до встречи с ним, где-нибудь в пути, вот так же, как сегодня, потряхиваясь в газике, начинаешь словно в порядке следствия или от лица какого-то начальника отдела кадров рассматривать свою жизнь.

Событий много, жизнь была неспокойной, напряженной. Всегда нелегкие задачи, всегда ответственность. Скучать, предаваться меланхолии давно уже было некогда — работа. Захочешь вспомнить жизнь, а в памяти все заслоняет послужной список: с какого года по какой состоял в одной или в другой должности, какие задачи и научные темы решал, под какими названиями, в каких издательствах и какого объема в печатных листах публиковал свои труды (форма по учету научных кадров № 2) и, наконец, когда и какие ученые советы присваивали тебе ученые степени и звания, а ВАК их утверждал...

И не протестуешь, нет. «В целом» резолюция принимается, поправки вносятся совсем незначительные... Время поправок давно уже минуло. Теперь достигнуть бы в трудах своих несколько большего, чем достиг, чтобы труды были отмечены справедливым признанием, и тогда уже надобность в поправках отпадет окончательно.

Достигнуть звания члена-корреспондента «большой» Академии. Все эти сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, все узкоколейные академии раз и навсегда остались бы позади, действительное членство в АН СССР — тоже раз и навсегда — впереди... И все. Больше никаких поправок к «целому».

Но тут — упрек. Если бы, предположим, упрекала тебя очень красивая женщина, упрекала в том, что ты прошел мимо счастья, не разглядел его — это было бы и понятно и даже логично. А то ведь пристальным-пристальным взглядом глядит на тебя точно такой же трудяга от науки, как ты сам, только ниже степенями и званиями, да еще — «правильный»!

Нет, право, найти бы такой повод, чтобы послать его к черту, и не просто так, слова ради, а к черту всерьез, принципиально. Раз и навсегда!

Не выходит!

И не выйдет... Потому что этот правильный Рязанцев — не очень общительный — обладает свойством всегда быть с кем-нибудь. По большей части молчаливо он заинтересован кем-то, ничуть не скрывая пристального внимания то к одному, то к другому человеку. И многие не только не чувствуют от такого внимания ни малейшей неловкости, но еще и платят ему тем же — начинают интересоваться им самим.

Так случалось, и нередко, с людьми, которые к Рязанцеву, казалось бы, совершенно никакого отношения не имеют, а к Вершинину имеют непосредственное отношение.

Послать к черту Рязанцева — не задача, предлог всегда найдется, а как после этого посмотрит на тебя твой собственный сын? Как это ему объяснишь? Почему бы это — официальным тоном или между прочим,— но только пожилой человек, профессор обязательно должен объяснять свой поступок сыну, двадцатилетнему мальчишке, шилишперу?!

Из всех рассуждений о том, почему этакий правильный человек в экспедиции хорош и почему он там плох, какие Вершинину приходили в голову, самым главным было, конечно, следующее рассуждение: «Плохо, если он сойдется с Лопаревым, они двое — с зоологом Реутским, трое — они сойдутся с молодежью, и в конце концов они будут все вместе, а начальник будет один. У начальника собственный сын в экспедиции, а он будет один! Каково?»

Вершинин за какие-нибудь сто километров, которые он проехал ужасно скверной дорогой от молодого, разбросанного и нескладного городка Чесноковска до старинного и тихого села Буланихи, несколько раз привел эту цитату из самого себя, и заключительное слово этой цитаты — «каково?» — повергало его в недоумение.

А ведь недоумению стоит появиться одному, как уже появятся за ним и другие. Им все равно, откуда появляться, недоумениям,— из будущего, которое еще не пришло, или из прошлого, которое кажется уже давным-давно забытым...

Около тридцати лет назад Вершинин женился в первый раз, женился по любви, и вдруг — недоумение: брак распался. Оказалось, ошибка, не то, совсем-совсем не то. Женился снова. На этот раз с супругой сложились добрые отношения и очень ровные чувства, а когда уже через много лет задумался — почему так? — оказалось, что и к этой женщине никаких чувств у него не было. «Ну и что же,— сказал он себе,— хорошее отношение к хорошей женщине — это положительный стандарт нашего времени. Не хуже, а гораздо лучше, чем у многих других!»

А что он еще мог тогда сказать? Что горячую и к тому же семейную любовь создали романисты специально для нужд своей профессии, чтобы затем было что ниспровергать на глазах читателей? Он не любил романы с «воздыхательным материалом».

О своих же семейных отношениях говорил, что они сложились «положительно». Спрашивал его кто-нибудь: «Ну, как семейные дела?», имея в виду отношения его с женой, он так и отвечал: «Положительно!»

Тем самым недоумение рассеивалось еще до того, как оно могло бы возникнуть.

Зато другое тут же возникало: дети.

Дети были единственной для него логикой и единственной правдой любви. Но это вовсе не значило, будто дети не вызывали разочарований и недоумений. Скорее наоборот — подлинные разочарования и недоумения тут-то и возникали.

Детей было трое.

Старший сын был назван Орио́ном. И действительно, парень выдал-

ся недурен собою, рос богатырем, делая успехи в спорте, и этого было более чем достаточно для того, чтобы отец угадывал в нем будущую звезду первой величины в географии.

Но лет шестнадцати Орион вдруг увлекся военным делом, увлечение это вопреки отцовским надеждам привело его в училище пограничной службы.

Теперь, окончив училище, он преследовал нарушителей на южных рубежах страны, а когда приезжал в отпуск домой, немало радовал «батьку»: без конца смеялся, ел-пил за троих, никак не мог надивиться отцовской учености и, должно быть поэтому, в присутствии отца становился словно старше, отец же чувствовал себя младше, иногда даже каким-то странно молодым.

Вообще встречи с Орионом приносили отцу неизвестные прежде ощущения.

Встречи эти были всегда желанными, причем Вершинин-отец на какое-то время вдруг переставал узнавать себя. Все во время этих встреч для него исчезало: все проблемы его науки, тематика, программы и методика его лаборатории, и, что особенно его поражало, вся сложность его отношений с людьми ученого мира переставала для него существовать. Он целиком погружался в тот мир, из которого являлся Орион, и затаив дыхание слушал о том, как в течение суток сын по пятам преследовал нарушителя, как на спортивных соревнованиях военного округа он в третьей попытке установил первенство по тройному прыжку в длину с разбега.

Сначала приходило к Вершинину-старшему никогда в жизни так остро не переживаемое чувство спортивного азарта и спортивной чести, потом он сам входил в эту жизнь, где все было подчинено откровенному желанию победы, где быть сильнее — значило быть лучше, быть умнее, быть достойнее, быть красивее своего противника. Вершинин понимал, что и у Ориона, помимо спорта, есть еще другая жизнь — более сложная, более тревожная; что и у него отношения с людьми основаны не только на спортивных победах и поражениях, но еще и на чувствах и на взглядах, но странно, между ними при всякой встрече общение возникало лишь в пределах этого круга: кто кого и при каких обстоятельствах победил. И Вершинин припоминал свои былые, еще студенческие достижения в велосипедных гонках на длинные дистанции, а себя — таким человеком, которого никогда в жизни наука не увлекала и даже не манила, который попросту совершенно ничего о науке не знал.

Никогда он таким человеком не был, но так действовал на него старший сын — и неожиданно, и радостно, и в то же время не вселяя никаких надежд и стремлений. Сын приносил ощущение молодости, но какой-то первобытной. Вершинину же отцу в его возрасте, должно быть, нужно было омоложение, а не сама молодость.

Орион уезжал, и Вершинин-старший тотчас чувствовал, что сын уехал вовремя: пора было возвращаться к науке, к самому себе.

Грустно становилось, обидно за себя, за то, что стареешь, за то, что так долго верил, будто твой сын — это ты сам.

Потом родилась девочка. Ее, Вершинин назвал Вегой. Но Вега совсем ничем не блистала, долгое время была в семье незаметной и незаметно росла, тем более что сначала детство ее совпало с военными годами, потом с годами, когда отец был в продолжительных поездках с экспедициями и, наконец, когда он усиленно работал над докторской диссертацией.

Дочь стала взрослой неожиданно для отца, оказалась крупной девицей, иногда веселой, а чаще спокойной, по-женски деловитой. Нынче она перешла на последний курс медицинского института.

С матерью Вега дружила, к отцу же с детства относилась снисходительно, никогда не вникая ни в его дела, ни в настроения.

Конечно, это была не мужская снисходительность сильного к слабому; и не детская, когда ребенок прощает взрослому какую-то обиду; снисходительность дочери была непоколебимой уверенностью в том, что отец никогда ее не поймет и требовать, ждать от него хотя бы капли понимания бесполезно.

А понимать, собственно, было нечего: девчонка как девчонка, училась с троек на четверки, бегала на танцульки, выбирала специальность, чтобы было не очень трудно и не очень неинтересно.

Он это знал и все-таки баловал дочку. На нее нельзя было возлагать никаких надежд, кроме одной: желать, чтобы она была счастлива доступным ей счастьем. Он этого и желал ей. Вероятно, в том, как дочь была снисходительна к нему, сказалось нечто подлинное в отношении к нему его жены. Даже наверное это было так. Ну что же, он и на это не обижался. Думал, что, может быть, высокомерие Веги когда-нибудь сможет оправдаться. Что и в самом деле в ней откроется что-то такое, чего он не сумел в ней разглядеть. «Кто знает,— думал он,— что будет, если не разрушать в ней ее заблуждений, как разрушают романисты созданную ими же любовь? Кто знает? А если...»

И вот был еще сын Андрей.

Собственно, он тоже не Андреем был назван, а Цезарем, но когда получал паспорт, каким-то образом — каким именно, отец и до сих пор не знал — ухитрился переменить имя.

Впервые Андрей отправился с отцом в экспедицию еще Цезарем, в двенадцать лет. Рановато было путешествовать мальчишке, все боялись, что он будет мешать, но Цезарь просил, умолял, начиная чуть ли не с восьмилетнего возраста, в конце концов забрался в экспедиционную машину, и отец скрепя сердце уступил. А потом эту поездку ставил сыну в заслугу — так хорошо мальчонка себя вел, научился кашеварить, разбивать палатки, собирать гербарии. Мало того, что отец хвалил Цезаря — он и себя не забывал, и о себе рассказывал, как он смело, как уверенно сына воспитывает. Цезарь улыбался. Дети все замечают, они не могут чего-нибудь не заметить ради того, чтобы простить. С тех пор не проходило года, чтобы в каникулы Андрюха-Цезарь не отправился то ли с отцом, то ли с кем-нибудь из его сотрудников, наконец — просто с туристами в заманчивые края: бывал он и на Алтае, и в Саянах, и даже один раз был в Монголии.

Вершинин-отец долго не верил, а еще дольше старался не верить, что Андрей оправдывает его надежды — и те, которые он возлагал на Ориона, и те, о которых не смел и думать, когда родилась Вега, и те, наконец, с которыми было связано появление на свет последнего ребенка — в прошлом Цезаря, ныне Андрея.

Андрей же рос и рос и, казалось, делал это так, чтобы окончательно рассеять все сомнения отца.

Когда же сомнения рассеялись окончательно, без остатка и отец уверовал в него, Андрей вдруг стал совершать поступки, которые не хотел отцу объяснять, отец же не мог понять их сам.

Впервые Андрей привел отца в полное замешательство три с лишним года тому назад. Окончив школу, он отправился поступать в университет с письмом отца к декану географического факультета. Сдал экзамены. Поступил. А когда приехал на первые зимние каникулы домой, выяснилось, что поступил и учится не на географическом, а на биолого-почвенном факультете.

— Ты что же это, Андрей! — только и мог сказать отец.— Посоветоваться во всяком случае нужно было! Написать!

— А зачем?
— То есть как зачем? Я же тебе как-никак отец...
— Это дело другое. А зачем советоваться? Какой смысл?
— Выслушать мое мнение... Совет.
— А что бы от этого изменилось, как ты думаешь?
— Так-таки ничего?! Совершенно?!
— Совершенно ничего!

Вот он какой вырос, Андрюха-Цезарь! Откуда самонадеянность? Хамство откуда? В кого вырос, шилишпер?

Вот он каким является, Андрюха-Цезарь. «Является» — становится новым, незнакомым до сих пор явлением — и требует каких-то поправок к твоему существованию.

Он упрямый, грубый, а ты не его упрекаешь, а себя, потому что он и ты — это что-то настолько близкое, ближе чего нет и не может быть еще что-нибудь. Подумать только — его ревнуешь! К нескольким университетским профессорам, которые учили Андрея хуже, чем он сам мог бы его учить, ревновал. К тем, которые повинны были в том, что Андрей учится не на географическом, а на биолого-почвенном факультете, тоже... И вот еще один человек — Рязанцев!

Когда Вершинин приглашал Рязанцева с собой в экспедицию, он и не подумал, что этот человек неизбежно встретится там с Андреем, что они могут даже в одной палатке поселиться. Вот так и бывает, что самое очевидное вовремя не приходит в голову!

Совсем несложным делом было для Вершинина-старшего объяснять людям разные вещи, иной раз такие, о которых он сам имел весьма отдаленное представление. Другое дело — объяснять и себе и сыну собственные поступки и намерения, свою неуверенность и даже робость! Он уже не раз репетировал предстоящий разговор — в кабинете, а иногда в горах, в поле, размахивая палкой и сорвав с головы шляпу. Каждая репетиция, покуда он ее проводил, казалась генеральной, но уже на следующий день было очевидно, что она не имеет никакого значения.

Уже и «подход» к сыну был: они не в первой экспедиции путешествовали вместе, им было что вспомнить, а от воспоминаний до заветного разговора — один шаг. «Подход» был, разговора все не было. Все казалось, будто шилишпер знает об отце что-то такое, чего отец сам о себе не знает.

Теперь своими руками создал такую экспедицию, пригласил в нее таких людей, которые запросто оставят тебя одного... Лопарев сойдется с Рязанцевым, они двое — с зоологом Реутским, трое — они сойдутся с молодежью, а он окажется совсем один. Каково?

И, пожалуй, тем скорее они найдут общее между собой, чем раньше Вершинин приедет в экспедицию. Очень просто: без него они друг друга не узнают, но как только он появится, они посмотрят на него, потом друг на друга и тут же еще раз познакомятся.

В конце концов не знаешь — торопиться тебе или нет?

В последние годы, не так уж, правда, часто, зато все сильнее подступало желание быть успокоенным. А что такое успокоение? Это не тишина, и не домашний уют, и не положительный отзыв о тебе в рецензии какого-то крупного ученого, столпа науки. Должно быть, успокоение — это когда наступает и тишина, и уют, и появляется положительная рецензия, и еще многое-многое другое, но только все это сбывается не само по себе, не из чужих рук ты все это получаешь, а собственными усилиями. Тут есть и некоторая хитрость перед самим собой: в том, как ты себя убеждаешь, будто добился как раз того, о чем мечтал.

Были у Вершинина знакомства, которые успокоение создавали.

Вот уже несколько лет, как он близко сошелся с краеведами город-

ка Н. и мог бы многое рассказать о своих друзьях... Если бы кто-нибудь о них спрашивал. Если бы сведения о краеведах отдельным пунктом включались в ежегодные научные отчеты...

Были разные люди среди краеведов в городке Н.

Пионеры и пионервожатые, совершающие походы к истокам ручьев и речек, к местам стоянок древнего человека и к памятным местам времен гражданской войны.

Учителя географии и биологии, создававшие в школах «уголки природы» и «живые уголки» с белками, зайцами, ужами и ежами.

Преподаватели педучилища и пединститута, увязывающие курсы своих лекций с жизнью.

Пенсионеры, увязывающие остатки своей жизни с событиями времени.

Для ведения широких собраний дважды в месяц по воскресным дням с десяти утра до часа-двух дня, для переговоров с заместителем председателя горисполкома по вопросам расширения музейных помещений, издания печатных трудов тиражами до двухсот экземпляров, для представительства в Географическом обществе краеведы путем открытого и прямого голосования выбирали в городке Н. руководство: заслуженного в городе профессора или заслуженного учителя, а при наличии вполне добровольного согласия — самого зампредгорисполкома.

Все обретают любовь к краеведению одинаковым образом: великое или малое, но что-то стремятся открыть вокруг себя.

Все, кто уходит из краеведения, уходят разными путями. Как во всякой любви, любят по одной-единственной причине — потому что любят; для того чтобы разлюбить, причинам нет конца.

И пионеры, совершив три похода в истоки рек и к памятным местам, подрастали, поступали в вузы, назначали друг другу встречи у кино и театров, забывая о том, что как раз в этот час в Обществе краеведов обсуждается план работы.

Учителя географии и биологи «уголкам природы» и «живым уголкам» вдруг начинали предпочитать уголки семейные.

Преподаватели пединститута обзаводились учеными степенями кандидатов, званиями доцентов, и опасности отрыва от жизни их переставали устрашать.

Только одна категория краеведов в городке Н.— пенсионеры — до последнего дыхания оставалась верной обществу, не уставая любоваться своим краем — его изумительным прошлым, его грандиозным настоящим, его исключительным будущим.

Пенсионеры... Чудаки, наивные люди выдумывают себе дело, если уж дело обходится без них... «Тыбики», к которым жены, сыновья и дочери, а вслед за ними и внучата то и дело обращаются со словами: «ты бы сходил...», «ты бы присмотрел...», «ты бы посмотрел...» Ограниченность. Наивность.

Но так мог подумать о краеведах кто-нибудь, только не Вершинин, только не он!

Он был к ним внимателен, и старики краеведы с ним переписывались — по одной ученической тетради за прием — и ответов ждали тоже пространных, главное же — в ответах нельзя было допустить ни малейших противоречий и неувязок со всей предшествующей перепиской. Говорят: «Память стариковская!» Он-то знал, что за память у стариков. У стариков краеведов-пенсионеров!

Да, планы у стариков краеведов в городке Н. были невелики, ограничены. Но счастье — не граница ли это стремлений и желаний? Сам Вершинин никогда этой границы не достигал.

Старики, многие из которых знавали Вершинина десятилетиями, никогда и ни в чем его не упрекали. Они вообще никого не упрекали, никого никогда. У них был неписаный закон — не вспоминать о живых плохо, так же как не вспоминают плохо об умерших. Вместо упреков кому-нибудь они лишь о чем-нибудь сожалели: «Как жаль, что в тысяча девятьсот тридцать первом году так и не была организована комплексная экспедиция в Горный Алтай! А ведь тогда почти все уже было подготовлено к ней!» Или: «К сожалению, в свое время была отвергнута гипотеза, которая нынче полностью подтвердилась». События были для них радостными и безрадостными, виновных не было.

Вершинина они награждали доверием и любовью. А он в любви с возрастом стал человеком требовательным и чутким, хорошо знал, за что и как его следует любить и уважать, чувствовал, что прежде, когда он был молод, люди были к нему справедливее.

Он закончил в университете почти одновременно по двум факультетам. Все это оценили тогда, он пережил уважение и любовь к себе сверстников, сверстниц, преподавателей и профессоров.

И первые научные доклады, первые труды его тоже были встречены с любовью и уважением.

А потом люди как будто привыкли к тому, что Вершинин на каждом шагу должен быть оригинален. Это его возмутило: он не подозревал, что даже оригинальность может восприниматься людьми по привычке.

Это возмущение, которое всю жизнь ему приходилось подавлять в себе, совершенно исчезало при встречах с краеведами. Он был для них авторитетом и еще — эрудитом.

Эрудит! Вершинин им был, но если несколько дней сряду никто не говорил ему об этом, туго приходилось его лаборантам и у самого Вершинина начинались боли в области сердца.

Когда же его критиковали в институте или жена высказывала недовольство, воображение тотчас уносило его в городок Н.

И когда обо всем этом Вершинин вспомнил, он вдруг сказал себе: «Заеду! Заеду к своим друзьям, иначе я их обижу до глубины души. На сутки заеду! Может быть, даже на несколько часов!» Он еще сомневался, так ему было некогда, но, сомневаясь, все-таки послал с пути телеграмму:

«Буду завтра к трем проездом Алтай особых мероприятий не намечайте крайне тороплюсь профессор Вершинин».

Идут мимо городка Н. машины в далекие рейсы — в Монголию, в Кобдо — и возвращаются оттуда, овеянные ветрами сказочных перевалов, Чуйской и Курайской степей.

Идут мимо экспедиции геологов в поисках новых сокровищ, художники — в поисках новых красот, туристы — в поисках новых впечатлений.

Все минуют городок Н., все несут через него свои надежды, всех влекут к себе голубые вершины, как будто они лишь вчера возникли на земле и всем обещают первооткрытия.

И кажется краеведам в городке Н., будто только они одни хранят историю голубой страны, память об экспедициях Сапожникова, Обручева, Келлера, Верещагина, Крылова на рубеже нынешнего века, будто им одним доверены имена исследователей века восемнадцатого — Палласа, Шангина.

Краеведам в Н. на этой роли хранителей истории остановиться бы, но они тоже мечтали об открытиях, а Вершинин и тут обещал помочь.

И они не обманули ожиданий Вершинина, успели поместить в местной газете сообщение о внеочередном, почти торжественном заседании

общества в связи с его приездом, прослушали его доклад «О задачах краеведения в свете проблем семилетнего плана». Какие у них были благодарные глаза, когда они слушали доклад! Потом они обсуждали план работы на семилетие.

Этот вид деятельности — обсуждение планов — всегда возбуждал Вершинина до предела, а тут еще выступил краевед-ботаник Бурцев, тот самый, что уже тридцать лет вопреки утверждениям агрономов-маловеров выращивал на своем огороде люфу[1] на мочалку.

Бурцев внес предложение — в связи с большими задачами краеведения в городке Н. подразделить общество на секции: ботанико-зоологическую, геолого-минералогическую, историко-археологическую, природных ресурсов и секцию по работе с пионерами и школьниками.

Милые, дорогие старики краеведы городка Н.! Всеми чистыми помыслами своими, всей душой они стремились приобщиться к великому семилетию, свидетелями которого до конца — увы! — им далеко не всем предстояло быть!

На Вершинина же дискуссии и споры о перестройке, о разделении на секции и подсекции, о слиянии в отделы и подотделы, о комплексировании и координации действовали так, что после них он чувствовал себя словно после нарзанных ванн.

А сразу после заключительной речи он вышел из музея, сел в газик и тогда уже окончательно отбыл в Горный Алтай — тоже на глазах краеведов, преисполненных к нему благоговейными чувствами.

Ну вот и успокоение! Теперь он был в форме для предстоящего разговора с сыном! Теперь долгое это дело он решит! Конечно, об н-ских краеведах Андрюхе-Цезарю ни слова, хотя это и трудно — промолчать. Андрюха их не ценит. Уже взрослым парнем, года два тому назад, он побывал с отцом на одном заседании в Н. и, покуда заседание шло, ни на минуту не отрывался от «Собаки Баскервиллей». Бурцев начал и кончил доклад о возделывании люфы на мочалку в условиях Н.— Андрюха все читал. Прежде он, кажется, никогда не увлекался Конан-Дойлом и на вопрос отца: «Ты что же это, Андрей?» — пожал плечами: «Надо же мне с этой самой собакой когда-нибудь познакомиться?»

Из городка Н. профессор Вершинин мчался на газике больше суток, плохая погода не смущала его. Плохая погода даже к лучшему — будет время не торопясь поговорить с Андреем. Когда же вдруг проглянуло солнце и почувствовалось сразу, что ненастью пришел конец, а спустя несколько часов знакомые вершины засияли ему, он подумал, что и это хорошо, это даже лучше — определенно «на руку»!

Палатки отряда он заметил вблизи села Усть-Чара. Четыре в ряд входом на восток. От палаток, должно быть, открывался неплохой вид. Вершинин велел шоферу остановиться ненадолго.

— Надо одну знакомую лиственничную куртину обследовать...

Отошел от дороги в сторону. Прислонился к огромному стволу.

Лес просыпался после долгой туманной дремы, после ненастья. Подроста в лесу совсем не видно, деревья стояли в один ярус — это был такой лес, который называется естественным парковым насаждением лиственницы сибирской. Когда-нибудь давно, лет, может быть, сто пятьдесят тому назад, он принялся по гари. Гарь возникла от костра кочевника, а еще вернее — от молнии. Лес был строевой, диаметр стволов на уровне груди сорок пять — пятьдесят сантиметров. Склон — южный, благоприятной для произрастания леса экспозиции. Растительный покров — разнотравный, из цветов заметнее всего желтые адонисы. В лесу этом давно уже не было борьбы между породами, внутривидовой борьбы

[1] Люфа — южное растение семейства тыквенных.

между разными поколениями лиственниц, между травянистыми растительными сообществами — все здесь устоялось за полтора-два века, уравновесилось. Ни кустарники, ни древесная молодь не вступала сюда, под тень огромных крон, многолетние травы и дернина заглушали тут все семена. Лиственницы были могучи, спокойны, тихи... Они как бы все еще отдыхали от давней борьбы за существование на этом южном пологом и солнечном склоне и прислушивались к завоеванному ими спокойствию следующего века, а может быть, и следующего за следующим...

Травы были ровные-ровные, повсюду только чуть выше колен, совсем не зеленые, а какие-то прозрачные на солнце и сизые, с лиловыми оттенками цветущих злаковых повсюду, куда деревья бросали тени... Очень влажными были травы, и даже не росные, а все погруженные в прозрачный пар. Прохлада этого слегка колеблющегося пара обволокла Вершинину ноги и пахнула ему в лицо.

«Ну вот, Андрюха,— не то подумал, не то прошептал тихо Вершинин.— Вот и я! Здорово!»

«Здорово, отец!»

«А я, Андрюха, спешил... Соскучился что-то, парень. Давно хотел тебе сказать...»

«Так что же молчал до сих пор?»

«Будешь старше — узнаешь, что такое время, как его не хватает. Как не входит, не укладывается жизнь в то время, которое ей отводится. Как начинаешь поспешно ее в это время втискивать...»

«И нынче не хватает?!»

«Нынче могу говорить... Никуда я, Андрюха-Цезарь, нынче не тороплюсь. Поговорим...»

«Слушаю тебя, батя. Поговорим...»

И в самом деле, зачем это люди вечно торопятся?.. Едва человек научился думать, как уже торопится.

Тут солнце сильно припекло и блеснуло в самые глаза, так что Вершинин невольно надолго зажмурился. Откуда такой яркий свет, если он стоит в тени?

Потом взглянул на часы — не может быть: больше часа простоял здесь, в естественном лиственничном насаждении, не может быть!

Вышел на дорогу, машины нигде не видно. Неужели шофер без него уехал к палаткам? Кто ему разрешил?

Но машина была здесь, между двух огромных кустов — не сразу ее заметишь, а водитель, расстелив на земле плащ, крепко спал, подложив под кудлатую голову кулак... Как-никак — ночь провел за баранкой.

Разбудил шофера:

— Ты что же это, друг! Торопиться же надо! Осталось-то каких-нибудь полкилометра, там и отдохнем! Отдохнем на славу!

Подъехали к лагерю.

Первым вступил в разговор с начальником Лопарев — объяснил, что сегодня отряд не выходит на работу, так как в лесу после ненастья очень сыро, спросил, как Вершинин доехал, когда он захочет поговорить о делах «с толком». Разговаривая, Лопарев надвинул свой кожаный картуз на лоб.

— Успеем! — ответил Михмиху Вершинин.— Не беспокойтесь — успеем! — Ответил добродушно.

Реутский оказался очень вежливым. Вежливость понравилась обоим.

На Онежку Вершинин взглянул между прочим.

Рита испытывала неловкость перед начальником: она была в брюках, в сапогах, в пестрой майке и белой шляпе с кисточками на полях и смутилась, но чуть-чуть, едва заметно. А Вершинин-старший это заме-

тил и усмехнулся. Тогда Рита вытаращила на него свои огромные черные глаза, и смутился он. Спросил:

— А где же Николай Иванович? Где отпускник наш?

Рязанцев числился в отпуске, хотя и путешествовал с экспедицией,— это нужно было отметить.

— Ушел в деревню! — ответил ему Лопарев.— Кажется, во-он на плотине что-то делает, отсюда не видать толком...

Вершинин открыл футляр, вскинул к глазам бинокль. Смотрел долго и внимательно.

— Там!.. И не один. Толстяк какой-то рядом, в белых штанах, и еще кто-то третий.— Про себя решил: «С районным начальством Рязанцев знакомство заводит. Связь с производством...»

Но вот наконец вышел из палатки Андрей.

— Здорово, батя!

— Здравствуй! — Вершинин протянул руку.— Значит, в форме?

— Вроде бы...

Он был загорелый, сильный, уверенный. Рюкзак за плечи — и пойдет шагать по горам без устали.

Андрей спросил о матери, о сестре, есть ли письма от брата. Вершинин-старший отвечал односложно: «Здоровы. Все в порядке».

Ответил, прошелся вдоль палаток раз-другой, Андрей же все стоял в позе, очень похожей на лопаревскую: руки за спину, шляпа на лбу. Ждал, что еще скажет отец.

Вершинин-старший поравнялся с сыном, остановился, качнулся взад-вперед на каблуках, махнул палкой.

— Ну, Андрюха, а твой батька, твой старый Тарас Бульба, очень может быть, члена-корреспондента заработает. Шансы возросли. И еще возрастут, пока он тут по Алтаю лазает.— Жестом пригласил сына к беседе.

— А ты, батя, у краеведов был?

Они внимательно посмотрели друг на друга, Вершинин-старший ответил:

— Был...

— Краеведа Бурцева о возделывании люфы на мочалку слушал?

— Слушал...

— И о планах краеведческого общества сам речь толкнул... Каждый год одно и то же...

— Но ты же не бываешь в Н. каждый год?

— Потому и не бываю...

— Чем тебе мешают н-ские краеведы? Чем — спрашивается? Старики, милые люди. Увлеченные. Ты со своим молодым и жестоким эгоизмом сначала сам достигни чего-нибудь, а тогда поймешь, что и они приносят пользу!

— А результат приносят?

— Так вот и надо им помочь! Должна же академия оказывать помощь неофициальной науке?

— Себе не во вред. Когда есть время, ну хотя бы на обратном пути из экспедиции...

«Так я и знал! — подумал Вершинин-старший.— Так и предчувствовал: говорит точь-в-точь, как Лопарев. Его словами. Значит, нашли общий язык!»

— Слушай, Андрей, а ты будешь рад за отца, если ему присвоят члена-корреспондента?

— Нет. Не буду...

— Д-да...— сказал Вершинин-старший.— Ну, не беспокойся: мне его и не присвоят. Не беспокойся!

Вершинин-старший несколько раз прошелся вдоль палаток, все убыстряя шаг. Подбежал к газику, дернул шофера за рукав.

— Едем сейчас же в луговой отряд! К Свиридовой! Сначала туда! Дней на пять едем!

Вершинин-старший вернулся в отряд Лопарева через два дня.

Глава шестая

Жизнь в экспедиции шла своим собственным, присущим ей распорядком.

Вершинин-старший делил свое время между двумя отрядами — луговым, который шел по нижней границе леса, и высокогорным, но почему-то всякий раз, как высокогорный отряд, закончив работу в одном месте, переезжал на другое, он обязательно был с ним. Любил двигаться, перемещаться. Очень любил выбирать место стоянки.

Где-нибудь метров за двести — триста ниже верхней границы леса, на поляне, становился в позу, вытягивал руку в белой брезентовой рукавице, с огромной дубиной, и произносил:

— Здесь!

— Здесь будет город заложен! — вполголоса говорил Андрей, оглядывался кругом, потягивая зачем-то носом воздух и определял: — Палатки — лицом сюда!

Четыре палатки разбивали в ряд, входом в ту сторону, куда показывал Андрей.

Все было чужим кругом и незнакомым всего лишь час или два, не больше. А потом каждый кустик, каждый камень вблизи палаток приобретал свое назначение.

Среди камней на берегу ручья появлялся один такой, с которого неизменно черпали воду; ниже по течению каждый выбирал себе камень. чтобы с него можно было удобно умываться, чтобы была на нем ложбинка для мыла и зубной щетки.

Деревья и кусты тоже быстро обретали свое назначение: на одном развешивали после стирки свои вещички девушки, на другом — мужчины, под ветвями какой-нибудь старой большой лиственницы складывался рабочий инструмент: лопаты, пилы, топоры...

Разводили костер, располагались вокруг него один раз, и вот уже каждый знал свое место «за столом».

Лопарев-Михмих упорно называл лагерь станом. Это вызывало бурю протестов у Вершинина-старшего.

— Долго ли еще я должен объяснять,— горячился Вершинин и вздымал кверху одну, а то и обе руки,— что стан — это нечто стационарное, постоянное. Стан предполагает наличие пусть небольшой, но постоянной избушки, землянки или хотя бы постоянных кольев для натягивания палаток! Нельзя, неправильно, ошибочно называть наш лагерь станом! Недопустимо! У нас кочующий лагерь, мы никогда не возвращаемся и не возвратимся на прежнее место второй раз, мы живем лагерем на одном месте не более шести-семи дней, и все это, вместе взятое, заставляет называть наш лагерь табором. Та-бор! Неужели непонятно? Поражаюсь!

— Правильно, правильно! — кивал головой невозмутимый Михмих.— Где остановились, там и стан! Точно!

Если Вершинин-старший был в отряде, он просыпался раньше всех и объявлял подъем, оглашая лес скрипучим, но очень громким голосом.

Завтракали, а потом выходили на работу — тоже по команде Вершинина. Вершинин утверждал, что весь личный состав экспедиции — полевые работники, поэтому выход на работу — это выход в поле.

Лопарев же говорил: «Выходим в лес!»

Перерывы на обед тоже обозначались по-разному: Рязанцев так и говорил — «перерыв», Вершинин объявлял — «шабаш», Лопарев — «перекур», «заправка».

Эклиметром и рулеткой в лесу разбивали две делянки сто на сто метров каждая — одну на верхней границе леса, другую в самом лесу, метров на двести ниже,— а потом в течение нескольких дней на этих делянках проводилось детальное обследование. Полученные данные сравнивались, и тогда возникала картина всех тех изменений, которые лес претерпевал на верхней своей границе.

В своей «Карте растительных ресурсов Горного Алтая» Вершинин обязательно хотел учесть так называемую вертикальную зональность — изменение растительного покрова с высотой. Ему нужно было получить не только данные по распространению различных древесных пород, но и качественную их оценку.

Лопарев при этом больше всего обращал внимание на лиственницу, самую распространенную древесную породу на Алтае,— что с ней происходит, как она переносит суровые условия. Ползучий кедр обычно взбирался по склонам выше. Это было правилом, но иногда встречались исключения — кедр отступал раньше, а лиственница еще продолжала ползти вверх.

Лопарев тогда радовался.

В лесу Лопарев работал шумно, по-медвежьи, его издали было слышно: все вокруг него трещало и гудело. Стоило ему каким-нибудь деревом заинтересоваться, он его, не задумываясь, срубал, будь то трехсотлетний кряж — все равно. Он всегда носил за поясом топор — тяжелый, остро-остро отточенный; топор этот никому больше чем на минуту не уступал.

Андрюша составлял геоботаническое описание, используя почвенную карту академика Корабельникова, собирал гербарий, работал сосредоточенно, никого не замечая, так, как если бы на всем Алтае он был совершенно один.

Доктор ставил капканы, в которые десятками набивались мыши, и палил по ним из двух своих великолепных ружей — «зауэра» и «тулки». Мыши были его главной добычей. Он так и говорил: «Вот добыл трех!» — и торжественно протягивал собеседнику руку, на которой покоилось три пестреньких трупика с тонкими, как нити, хвостиками.

Потом под микроскопом он рассматривал содержимое мышиных желудков — ему нужно было установить, что мыши едят, много ли они съедают семян деревьев и какой ущерб наносят лесу. Еще он палил по хищным птицам и тех тоже потрошил: много ли хищники уничтожили мышей? Одним словом, Доктор был занят вопросом: кто, кого и в каком количестве ест?

Вершинин-старший описывал «общую географическую обстановку». Он забирался на какую-нибудь вершину, усаживался там поудобнее, пристраивал на коленях дневник, а рядом с собой — бинокль, крупномасштабную карту и записывал:

«12 июля 1960 года. 9^{15}. Вершина в устье (с правой стороны) ручья Чирик, притока Усулы. Отметка 935,6. Видимость хорошая. Погода безоблачная.

На запад открывается долина реки Усулы, в нижней своей части покрытая смешанным лиственно-хвойным лесом с преобладанием последнего. Пойма реки выражена довольно четко, особенно по левому берегу, где заметны обнажения и оползневые явления. В целом долина ящико-

образной формы, относительно прямая. Ширина поймы 100 — 200 метров, долины — до 0,5 км. Экспозиция склонов правобережных высотой до 300—350 м, а левобережных до 450—500 м чрезвычайно сильно сказывается на характере не только растительности, но и на внешнем виде обнаженных горных пород. Так, южные склоны покрыты преимущественно травянистой растительностью, значительно поблекшей и высохшей к моменту наблюдений, а из кустарников преобладает карагана Комарова (C. frutex), выступы же гнейса и гранита повсюду несут следы эрозионной деятельности.

Наоборот, склоны северной экспозиции покрыты мхами, брусничником под покровом хвойных, преимущественно лиственницы.

На севере видимость ограничивается одним из отрогов Курайского хребта, на высоте около 2 500 м уже покрытого отдельными снежными пятнами, а выше — сплошной шапкой снегов...»

Писал свои дневники Вершинин-старший необычайно гладко, любил читать их кому-нибудь вслух, все равно кому, но только не Рязанцеву.

Рязанцев сказал однажды:

— Очень похоже на то, как кандидаты искусствоведческих наук читают популярные лекции о живописи Репина.

Сам Рязанцев измерял температуру воды в ручьях, относительную влажность воздуха и ручным буром брал почвенные пробы на влажность — изучал режим увлажнения лесных почв, глубину залегания и режим оттаивания подпочвенного мерзлотного слоя. Все это не требовало много времени, и он еще помогал Онежке и Рите. Втроем они определяли число деревьев на делянке, их возраст, высоту и состояние, число ветвей на типичных экземплярах, число шишек и среднее число семян в шишке.

Вечера выдавались иногда очень приятные. Как только чувствовалось, что настал такой вечер, затягивали песню. Вершинин рассказывал разные истории из своей жизни и первым начинал прыгать через костер. Были карманные шахматы, и разыгрывался чемпионат отряда. Пока что лидировал Вершинин-старший и очень этим гордился.

Иногда приходило и грустное настроение, особенно если кто-нибудь прихварывал. Вершинин-старший обычно говорил в таких случаях: «Болеть надо уметь! Каждый болеет как умеет!» — но сам болеть не умел совершенно: как только чувствовал недомогание, становился злым, всех ругал, больше всего Андрюшу, терял аппетит и без конца вспоминал, кто из знаменитых ученых в каком возрасте и от чего умер.

Чуть оправившись после недомогания, обязательно рассказывал, что он поехал на Алтай вопреки запретам врачей.

Это было сущей правдой: накануне отъезда экспедиции к Вершинину на работу явилась совсем еще молоденькая женщина-врач и со слезами на глазах стала уговаривать его никуда не ездить. Вершинин отказался, врач призвала всех сотрудников в свидетели.

Теперь Вершинин этим самым свидетелям без конца объяснял, как было дело — что сказала врач, как он врачу ответил: «Нет и нет! Мой долг — быть там!»

Онежка слушала Вершинина-старшего, потом внимательно смотрела на Андрюшу и однажды сказала Рите:

— Вот как бывает — у такого сына и такой отец!

— Вот именно: у такого отца и такой сын! — ответила Рита.

Вершинины, отец и сын, настолько были непохожи, что если кому-то нравился один, другой уже не мог нравиться. А Рита хотела невзлюбить Вершинина-младшего, может быть еще и поэтому старший казался ей великолепным.

Это Ритино желание — во что бы то ни стало самой невзлюбить Андрюшу и Онежку заставить так же сделать — после ночи, проведенной ими в палатке почти без сна, ощущалось Онежкой все время и чем дальше, тем больше. Рита не отступала — рано или поздно снова придет бессонная ночь, снова между ними возникнет разговор об Андрюше.

Сможет ли она снова защитить Андрюшу? Вдруг уступит?! Так хочется дружбы! Так хочется обо всем говорить с подругой! Так нужно спросить у Риты о своей болезни. Со всеми ли это бывает? Умирают от этого или не умирают? Ведь умереть в нынешнее яркое лето — невозможно!

Умываясь из ручья, Онежка всякий раз подолгу рассматривала себя — руки, ноги, лицо,— никак не могла представить, будто в ней что-то больное может быть и скрытое, в то время как все вокруг такое яркое, такое видимое...

Ей казалось — природа, весь этот мир не позволят себе несправедливо и страшно поступить с нею, не позволят, чтобы она тяжко заболела, чтобы с ней что-нибудь случилось... Не должны. И она старалась не вспоминать, как горько она плакала на Семинском хребте, когда поняла, что даже молодость не спасает от невзгод и от самой смерти.

Но однажды она все-таки решилась: возвращаясь в лагерь, хотела сказать, что нездорова, первому, кто ей встретится. Не жаловаться, не расспрашивать ни о чем, ничего не объяснять — просто нужно было, чтобы кто-нибудь услышал от нее эти слова: «Болит... Нездорова...» Ей казалось — легче и как-то проще станет сразу же, может быть все пройдет навсегда.

Она заставила себя не угадывать, кто первым встретится. Угадывая, выбирая, она не выбрала бы для этого никого — пусть ей случай поможет.

Встретился Вершинин-старший.

Он стоял один между двумя невысокими кустиками и сосредоточенно рассматривал обнаженную до плеча руку.

Всего шагах в двадцати от Вершинина был Рязанцев: он делал отсчет на шкале родникового термометра и под очками щурил подслеповатые глаза.

Онежка захотела подойти к Рязанцеву, заколебалась, сделала шаг вперед, потом назад, встала неподвижно... Так она простояла долго, а потом все-таки решила не нарушать уговора с самою собой — сказать о своей болезни первому, кто ей встретился.

— Константин Владимирович! — проговорила Онежка, придерживая рукой сердце.— Знаете что... Вот что: у меня болит... Одним словом, я больна...

— Где? — вскрикнул Вершинин, взмахнув голой рукой.— Где болит? Что болит? — Он весь вопрошал.

— Желудок... Кажется...— сказала Онежка почти шепотом. Ей было неудобно, что профессор Вершинин так встревожен ее жалобой.

— А-а-а! — протянул Вершинин, и вдруг лицо его стало добрым, участливым.— Это пройдет! В два счета! Рита заболела — вот что случилось! Очень сильно! Понимаешь — Рита! И никого не хочет видеть, кроме тебя. Никого! Хорошо, что ты пораньше вернулась из леса! Беги скорее к ней! Скорее!

Только Онежка откинула полы палатки, как почувствовала на лице, на шее прикосновение горячих Ритиных рук — Рита лежала головой к выходу.

— Сядь! Вот тут, рядом! Еще ближе!

У Риты были пунцовые щеки, глаза — еще больше, чем всегда.

В одно и то же мгновение Онежка испытала к подруге и жалость,

будто к больному ребенку, и затрепетала перед ней, как перед взрослой женщиной, недосягаемо красивой, таинственной, которая еще красивее, еще таинственнее оттого, что ей трудно, она в жару.

Стемнело...

Несколько раз в палатку заглядывали то Рязанцев, то Вершинин, они успокаивали Онежку, говорили, чтобы Онежка не плакала, все обойдется хорошо, Рита скоро выздоровеет, признаков энцефалита у нее нет.

Вершинин-старший волновался больше всех. Его не покидало подозрение, что у Риты энцефалит, хотя для этого и не было, кажется, никаких оснований.

Вершинин-младший тоже подошел один раз к палатке и спросил:

— Болеешь, Рита?

— А ты, Челкаш?

— Я... нет...

— Тогда давай положим тебя дня на четыре в ледники, может быть, ты будешь чихать после этого?

— Не буду.

— Ну по крайней мере мы о тебе соскучимся за четыре дня.

Андрей подумал и серьезно сказал:

— Вот это может быть.— Постоял и ушел.

Рязанцев излагал свою теорию.

— По данным эпидемиологов,— говорил он, поглядывая из-под стекол очков, в которых трепетал огонек свечи,— по данным многих исследователей, на Алтае не более одного процента клещей является носителем энцефалита. Значит, только каждый сотый укус может привести к заболеванию. Самцы клещей вообще безвредны — значит, шансы уменьшаются еще вдвое. Тяжелыми последствиями заболевание заканчивается в половине всех случаев. Значит, вероятность тяжелого исхода составляет всего лишь одну четырехсотую. Против — триста девяносто девять четырехсотых. Если учесть, что у больной нет рвоты и сильной головной боли — первых признаков этой болезни,— значит, заболевание энцефалитом почти полностью исключено. Остается еще одно — внимательно осмотреть Риту.

На этот счет Вершининым в отряде был заведен твердый порядок — когда возвращались с работы, он спрашивал каждого:

— Зудится где-нибудь?

— Константин Владимирович, нигде, ничего!

Вершинин вынимал тогда часы-секундомер и требовал:

— Стойте неподвижно одну минуту, слушайте себя: не свербит ли где-нибудь и не зудится ли?

Мало этого было Вершинину — он отправлял мужчин вправо, девушек влево и требовал, чтобы был произведен, как он говорил, «само- и взаимоосмотр»: не впился ли в кого-нибудь клещ?

Михмих процедуре осмотра дал прозвище «христосования», потом к этому привыкли. Нынче Рита вернулась из леса рано, ее некому было осмотреть, а теперь, с опозданием, все решили, что Онежка должна это сделать.

Онежка дрожала. Боялась: вот сейчас обнаружит на подруге маленькую, чуть кровоточащую ранку, даже не ранку, а просто царапинку и в ней клеща.

И этот ничтожный случай, эта царапинка будет как явственный признак несчастья. Невероятная, жуткая догадка перестанет быть только догадкой, а толковые, умные рассуждения Рязанцева о том, что это не энцефалит, что его не может быть, в одну секунду потеряют всякий смысл.

Не все ли равно будет тогда Рите, что она с ее страшным заболеванием составляет один случай из четырехсот? Не все ли равно ей будет, одна миллионная она или одна пятидесятая?

Рита дышала тяжело, горячая была с головы до кончиков пальцев на ногах, а глаза у нее становились будто все горячее, и казалось почему-то Онежке — своими горячими глазами Рита светит. Освещает себя — свои руки, грудь, ноги,— чтобы Онежка лучше видела, чтобы Онежка каждую ничтожную царапинку, каждое пятнышко на ней заметила, не пропустила.

В палатке душно пахло лекарствами, воздух нагревался, даже горячим был — Рита его как будто раскаляла собою,— яркий круг электрического света от фонарика быстро катался туда и сюда, освещая Риту, и Онежке казалось, что сейчас весь мир здесь, в этой темной маленькой палатке, в которой даже выпрямиться и вздохнуть глубоко нельзя, а за пологом нет ничего — ни гор, ни людей.

Матовая, чуть смуглая была Рита, без единой царапинки, без пятнышка...

Онежка выбралась из палатки и сказала:

— Нет ничего... Комариного укуса нет...

— Я же говорил! — тотчас отозвался Вершинин-старший и подбросил хворостинку в костер.

Рязанцев спросил:

— Тщательно осмотрела?

А Реутский ничего не сказал, молча поднялся и пошел куда-то прочь от палаток, в темноту.

Вершинин-младший лежал на спине, глядел в небо и, не поворачивая головы, сказал:

— Нельзя же по каждому случаю разводить панику! Правда, Онежка? Так и житья не будет!

Онежка с ним согласилась, ей как-то легче стало от этих слов, ей вообще было легко с ним соглашаться. Вернулась в палатку.

Риту знобило. Все, что было теплого — одеяла, куртки, пологи,— Онежка на нее положила. Рита просила что-нибудь ей рассказать, сама же говорила и говорила, не давала вымолвить слова. Все о том, какая Онежка добрая, ласковая, нежная, как она ждала ее и как умерла бы через час, если бы не дождалась.

Онежка сначала хотела только слушать Риту, а верить не хотела, а потом стала верить. Растрогалась и где-то уже перед рассветом вдруг почувствовала, как она любит Риту, как нужна ей ее любовь и дружба, как нужна человеку любовь и дружба другого, очень красивого человека.

Попросила бы Рита умереть вместо нее — Онежка умерла бы. Слезы катились у Онежки, она не знала отчего — от Ритиной или от своей боли, режущей где-то в желудке, справа. Но ни за Риту, ни за себя уже не было страха, и ощущение, будто весь мир втиснулся в их палатку, тоже прошло, слышала она и шум леса, и потрескивание костра, и плеск ручьев — их два было поблизости, они как раз около лагеря сливались вместе.

Самое страшное, самое жуткое миновало, только что прошло где-то неподалеку. Прошло... А для него ведь все было безразличным — Ритина молодость, ее глаза, все! Оно прошло и теперь каждую минуту уходило куда-то дальше...

Оно было одной четырехсотой, которую подсчитал Рязанцев.

Онежка стала уже мудрой: в тумане, на Семинском хребте, она с четырехсотой встречалась и теперь тотчас ее узнала — холодную, ко всему на свете безразличную.

А Рита ничего не заметила. Рите стало легче.

Онежка знала — сейчас вернется обыкновенная жизнь, и она стала ждать, как это случится.

Вскоре хрипловатый встревоженный голос Реутского спросил:

— Маргарита, ну что с вами сейчас? Как с вами?

Рита улыбнулась радостно и в то же время презрительно, как она всегда умела.

— Оставьте, пожалуйста, меня! Оставьте! Идите и спите!

«Оставьте» она говорила, будто к ней кто-то прикасался и не так уж ей было это неприятно.

Реутский замолчал, но вдруг деловито заговорил Лопарев:

— Что вы, в самом деле, Доктор, беспокоитесь? За Риту? Ее клещи не кусали! За себя? Тем более. Вы пропахли пороховым дымом в баталиях с мышами, вас клещи не тронут. Они разбираются.

Бренчали ручьи — каждый на свой лад и оба вместе.

Теперь должна была снова заговорить Рита. О чем? О том, что ее больше всего в эти дни тревожило.

Рита молчала долго, потом приподнялась на локте, поцеловала Онежку в лоб.

— Милая, хорошая! Но ведь Андрюшка-то плохой! Скверный, неинтересный! Сознайся, ты просто хочешь мне досадить?

Трудно было Онежке ответить, что Андрюша — хороший. Трудно! Но она все равно ответила так. Не могла она сказать, что Андрюша плохой, потому что назавтра ей было бы стыдно встретиться с ним. И с самой собой. И с Ритой тоже. Ей просто никого не хотелось бы видеть завтра.

Если бы Рита умирала сейчас, Онежка могла бы с ней согласиться, но самое страшное — одна четырехсотая — минуло, им предстояло жить обеим, каждый день глядеть друг другу в глаза.

А Рита упорствовала.

— Терпеть его не могу! — шептала она громко.— Ненавижу!

— За что?

— Он не мужчина! Он убежал в ботанику, убежал под покровительство своего отца! Он должен быть строителем, или горняком, или физиком, а он ботаник! Он скрывается! Ну ладно, я убежала из Горного института, а он? Здоровый, сильный и скрывается здесь! Трус!

— Разве ты не можешь понять, что все это неправда?..

— А если бы он был там, в Горном институте, я знаю, он прорабатывал бы меня, издевался бы надо мной! Он как раз такой, как все те! Он из всех! Ты еще очень молода, Онежка, и не знаешь, что такое жизнь, какой она бывает! Не понимаешь этого. Может быть, никогда не поймешь! Андрея защищаешь, а он вовсе не нуждается в твоей защите! Нисколько! Зато издевается надо мной, над всем, что у меня есть!

— Ты, Рита, милая. Ты красивая! Ну зачем тебе еще твои выдумки?

— Ты сказала «красивая»... А знаешь ли ты, что это такое? Как легко это ранится всеми? Как легко каждый день это ранит Андрей: смотрит на меня с презрением?! Свинячьими глазками!

«Красивая»... А знаешь ли ты, что это такое?» И Онежка ощутила сначала свои пухлые щеки, потом всю себя, небольшую, приземистую, свои серые, даже бесцветные глаза.

Когда ей было и труднее и страшнее: когда она почувствовала где-то здесь, рядом, совсем близко «одну четырехсотую» или сейчас?

А Рита плакала по-детски горько и неизвестно отчего...

Но одна глупая, капризная, больная девчонка могла быть в палатке, двух же глупых, капризных, больных быть не могло — это стало бы чем-то обидно-смешным, несерьезным, даже оскорбительным для всех

людей, для всех женщин, и Онежка заставила себя не быть глупой, не быть капризной и не быть больной. Онежка сказала:

— Успокойся! Когда ты поправишься, все будет для тебя по-другому, по-хорошему. Мы будем с тобой дружить. Обо всем, обо всем будем говорить друг с другом... Я знаю...

Ничего этого Онежка не знала. Может быть, даже знала, что этого не будет. Но сейчас нужно было чуть-чуть обмануть ребенка. Погладить его по головке нежно-нежно и обмануть...

Ребенок обманулся, пролепетал сквозь слезы:

— Ну разве ты не видишь хотя бы, какой этот Андрюшка безобразный, какие у него уши оттопыренные? Ему, наверно, очень идет быть пьяным! Открой на него свои глаза!

— Вижу, вижу,— согласилась Онежка.— Но мало ли у кого уши тоже оттопыренные? — И вспомнила, какие оттопыренные уши у Лопарева, только Рита этого не замечает.

Перед тем как уснуть, ребенок еще раз встрепенулся.

— А может быть, Андрюшка тебе нравится? В самом деле, может быть? Скажи, не стесняйся. Тогда все хорошо и в самом деле, я бы все простила тебе... И ему... И самой себе! Ну?

— Его не за что не любить! — сказала Онежка.

Поняла Рита Онежку или не поняла? Она уснула... А выздоровела так же неожиданно, как и заболела.

На другой день вышла из палатки — бледная, похудевшая и, кажется, еще красивее, чем всегда, посмотрелась в зеркальце и себе не понравилась. Скорчила гримасу. Подставила лицо солнцу, зажмурилась, потом подумала, что так ведь и кожа может потрескаться на носу. Надела на нос бумажный колпачок. Потом сорвала зеленый лист с кустарника, ветви которого повисли как раз у входа в палатку, и приспособила его вместо колпачка.

Полежала так, но недолго — все-таки боялась, что нос облезет. А погреться ей хотелось. Она положила голову на колени, сидя повернулась к солнцу спиной и сказала ему:

— Ну вот, грей! Грей сильнее! Ну!

Очень подходило ей прозвище Биологиня.

И вот уже жизнь в экспедиции снова пошла своим порядком. Обыкновенная, все та же и все-таки не та...

Когда Онежка не ощущала на себе пристального взгляда огромных Ритиных глаз, она сама себе казалась старше Риты. Удивлялась этому, а все-таки это ощущение ее не покидало.

Она многое узнавала нынче.

С детства знала она лес, деревья, травы, а теперь видела не просто травы, а растительные сообщества, в какой-то последовательности произраставшие на вершинах и склонах, открытых и под пологом леса.

И не просто она видела остролодочник, а это было растение из семейства бобовых, многолетнее, с непарноперистыми очередными листьями и мотыльковым венчиком.

Истод, адонис, эдельвейс — эти названия цветов, которые, словно на высокой и стройной ножке, держались на звонкой «д», Онежка могла повторять хоть тысячу раз. Шла по тропе: шаг — и произносила про себя «истод», другой — «адонис», еще один — «эдельвейс». И так без конца.

Морковник, кудрявый с трижды перисторассеченными листьями, с букетами мелких зеленовато-желтых цветов, она и раньше знала, а теперь еще верила примете — там, где он растет, почва обязательно должна быть плодородной. Об этом говорил однажды Лопарев.

Видела она камень, так это был не только камень, а гранит — глубинная зернистая порода, которая состояла из кварца, калиевого поле-

вого шпата и плагиоклаза, гранит, о происхождении которого до сих пор спорят ученые, считая его то магматическим, то осадочным образованием.

Входила в лес — там она видела очень много: и тип леса, и ярусы, и бонитет его, и число стволов на гектаре она тотчас прикидывала, и выход древесины в кубометрах. При виде же лиственниц очень горячо начинала кому-то доказывать, что порода эта отнюдь не реликтовая, что никогда она не вымирала и вымирать не будет.

Онежка всю свою жизнь училась, всегда была ученицей, но только теперь стала замечать, что научилась чему-то, что-то узнала.

Ей перестало казаться, будто в Лесном институте она учится по какой-то случайности, только потому, что родилась в леспромхозе.

Надо было ей родиться именно в леспромхозе и потом слушать лекции в Лесном институте, ни медиком, ни инженером на заводе она, наверное, не могла бы быть — только лесником. Такое к ней пришло убеждение...

А слышать как стала Онежка вокруг себя!

Она любила музыку, но никогда музыке не училась, даже слушать ее не умела так, как другие слушают. У нее был неплохой слух, и память была — своим некрасивым голоском она в любое время правильно могла пропеть давным-давно слышанную мелодию, но ее всегда поражало: откуда люди знают, как угадывают, где в музыке грустное должно сменяться бодрым, тихое — громким, медленное — быстрым? И как это получается, что, заслышав начало музыкальной фразы, уже догадываешься о конце ее.

Теперь, прислушиваясь ко всем тем звукам, которые к ней приходили, к мотивам, которые она давным-давно знала, она вдруг стала открывать что-то главное в них, самое яркое, что подчиняло себе все остальное.

В людях тоже она слышала слова, которыми они не говорили, а звучали.

О чем и как бы ни говорила Рита, Онежке слышались в ее голосе детские нотки. Когда же Рита долго молчала, она становилась похожей на взрослую женщину. Как будто Ритино молчание тоже говорило. Еще у Риты было такое слово: «Па-адумаешь!» Если она сказала «па-адумаешь!» — значит, думать она больше ни над чем не будет.

Андрюша, наоборот, говорит: «Интер-р-ресно!» После этого ему тоже можно ни о чем не говорить, он ничего не услышит, ничего не ответит — он задумался.

Доктор медицины твердит: «Позвольте, позвольте!», а Вершинин-старший отвечает ему: «Минутку! Минутку!», и все — Доктор уже не может высказаться. А ему так хочется!

Больше всего каких-то своих слов у Лопарева.

Когда Лопареву что-нибудь или кто-нибудь нравится, он говорит, как мальчишка: «Сила!» Однажды он это про Онежку сказал. Потерялся в лагере топор, сколько его ни искали, не могли найти, а Онежки, которая все потери всегда обнаруживала, в это время не было — она ходила в ближайший поселок за молоком. Поспорили, и Лопарев сказал, что Онежка, как только вернется, найдет топор в пять минут. Она вернулась и не в пять, а в одну минуту нашла. На дереве. Вспомнила, как накануне при закате солнца блеснуло топорище словно мрамор.

Наверное, в дерево его всадил Вершинин-старший. Он любил демонстрировать свою ловкость — топоры и ножи бросал так, чтобы они втыкались в деревья, и, когда никого не было в лагере, практиковался наедине в этом искусстве.

Если что Лопареву не нравилось (а ему многое не нравилось — сердитый был Михмих), он говорил: «Отрава!». «Не дорога — отрава», «Погода — отрава», «Не академик — одна отрава!» Если Лопарев на что-нибудь надеялся, сам обещал что-то обязательно сделать, на этот случай у него было слово «железобетон»: «Залезу вон на ту вершину еще до заката — железобетон!» А когда он хотел что-нибудь опровергнуть, представить в несерьезном виде, то говорил: «Цирк». «Какая это книга? Сплошной цирк!»

У Вершинина-старшего слов было великое множество на все случаи, но когда ему приходилось трудновато в спорах с Лопаревым или с Рязанцевым, он заявлял: «Нечего мне разъяснять! Я сам себе профорг!»

У Рязанцева не было таких слов — только для себя. Сколько Онежка ни слушала, не услыхала. Должно быть, Рязанцев с самим собой и для себя разговаривал молча, а когда говорил с кем-нибудь, очень внимательно слушал собеседника.

Едва только начинали Рязанцев и Вершинин-старший спорить, как Онежка и Андрюша переглядывались между собой и как бы уговаривались: «Послушаем!» Правда, спор нередко сводился к тому, что Лопарев называл «цирком». Но «цирк» тоже бывал интересным, даже очень. Сколько фактов из географии, истории, биологии, из жизни оба приводили, какие маневры друг против друга Вершинин и Рязанцев применяли!

Должно быть, если бы вдруг на некоторое время в мире остались одни только совершенно взрослые люди, которые не ощущали бы присутствия рядом с собой молодых, они такого натворили бы, напутали, что потом, наверное, за века никто не сумел бы распутать.

В словах они могли утопить целый мир; они столько и таких убедительных высказали бы друг другу подозрений, что в конце концов эти подозрения стали бы действительностью... Они не любили и не понимали шуток, шутки принимали всерьез.

Они многое знали, но знания, должно быть, еще не ум или не весь ум.

Две величины, порознь равные третьей, равны между собой — это Онежка еще из школьной программы запомнила.

И вот Вершинин-старший и Рита, каждый порознь, были удивительно похожи на ребенка.

Легко себе представить этого ребенка: толстоморденький, с оттопыренной губой, с умными, упрямыми глазами вундеркинд. Девочка или мальчик — не имеет значения. Разница была только в том, что вундеркинд Вершинина-старшего требовал, чтобы его все время слушали, а вундеркинд Риты Плонской — чтобы на него все время смотрели.

Как-то возвращались из леса все вместе. Шли по широкой проезжей тропе, не очень устали, не очень торопились, поглядывали на сизые в вечернем солнце крутые склоны, и вдруг Вершинин-старший провозгласил:

— Самокритика? Не признаю! — До сих пор они с Рязанцевым о чем-то беседовали довольно мирно, но вот, видимо, подвернулось Вершинину какое-то слово, от которого он сразу захотел спорить.— Не признаю! Покаяние на миру — высшая степень эгоизма! Человек совершает что-то против людей, потом у этих же людей ищет защиты против самого себя?! Если человек морально здоров, ему самокритика противопоказана. Критика — это понятно! Сам критикую и — увы! — от критики других не огражден.

Рита горячо зашептала Онежке:

— И я не признаю! Не признаю! И я!

А Рязанцев снял очки, поглядел куда-то сквозь стекла.

— Почему бы вам и не покритиковать себя перед нами, если именно мы — первоисточник вашего совершенствования? Первоисточник!

Тут Вершинин-старший громко засмеялся, победно поднял палку над головой.

— А что, дорогой Николай Иванович, если я — сам себе профорг? И если я вас всех пошлю к черту?

Рита схватила Онежку за руку.

— А он пошлет! Возьмет и пошлет — всех! Всех! И меня тоже! Меня еще никто никогда не посылал к черту — просто так, потому что хочется!

Но тут вдруг подал голос Андрей:

— Так-таки, батя, всех?

— Так-таки всех! Философов! Шилишперов.— Протянул палку в сторону Андрея.— Нигилистов! — Это он Михмиха имел в виду.— И всех остальных за компанию!

— А краеведов, батя? Тоже к черту?

Никто не знал, почему Вершинин-старший, должно быть метров пятьдесят, прошел совершенно молча, а потом снова и как-то очень сердито накинулся на Рязанцева:

— А знаете, Николай Иванович, по натуре вы поп! Проповеди у вас «Не убий!», «В грехах своих исповедуйся!».

— Что же,— кивнул Рязанцев,— очень может быть, в другое время я и пошел бы в попы. Лет двести — триста назад. Но за эти триста лет я вот что понял: людям нужен был кто-то, к кому они всегда обращались, чтобы говорить между собой. И они создали бога. Создали и потом, очень не скоро, спросили себя: «А что он может нам сказать?» Оказалось, никак не более того, что мы, люди, сами можем сказать друг другу. Поэтому нынче исключаем посредников. Будем сами договариваться между собой. Как договоримся, так и сложится наша жизнь, такими и будем. В большом ли, в малом ли.

— И сможем?

— Должны...

Вершинин снова захохотал:

— Но-но, дорогой Николай Иванович! Но-но! Послушаешь — вам все ясно! Вам с религией, между прочим, ничего не стоит покончить в мировом масштабе! Завидую!

— Нет,— возразил Рязанцев.— Не так просто! Предрассудки тоже прогрессируют, тоже стараются шагать с просвещенным веком наравне. Они тем и отличаются от рассудка, что ничего не познают, не открывают тоже ничего, но к открытиям приспосабливаются удивительно! И теперь о многих понятиях можно сказать, что они — предрассудок модерн!

В библиотеке, куда перед каждой сессией ходила заниматься Онежка, в нишах, под самым потолком, вверху, стояли бронзовые бюсты — Пастер, Менделеев, Ломоносов, Коперник, еще и еще великие.

Это были единственные боги для Онежки — других она не знала и знала, что других нет. Но они были людьми, а кем же была тогда Онежка перед ними? Стоило ей что-нибудь не понять в учебнике, поднять лицо к потолку, как тотчас со всех сторон на нее устремлялись бронзовые взгляды: «Мы люди! Мы умы! А ты кто?»

Она ответить ничего, совершенно ничего не могла — маленькая, серенькая, скорее снова склонялась над книгой.

А сейчас, в горах, рядом с Андрюшей, с которым они вместе думали, которого она защищала, рядом с Ритой, которой она не уступала, рядом с Лопаревым, который спрашивал ее однажды, жива ли она, рядом с Доктором, у которого обо всем было свое мнение, но только мнение это

никто не выслушивал, рядом с Вершининым-старшим и Рязанцевым, она чувствовала, как что-то в ней бунтовало против давней власти умов.

Сначала, в первые дни путешествия, она и здесь ощутила эту власть — очень стеснялась Рязанцева только потому, что он показался ей умным. А сейчас она думала, что когда вернется в город, в институт, в библиотеку, никогда уже не будет больше испытывать смущение перед бронзовыми бюстами.

Они обязательно снова спросят: «А ты кто?» Очень просто она скажет: «Онежка, Онежка Коренькова!» — «А почему ты не понимаешь наших открытий, Коренькова?» Она улыбнется: «Пойму... А почему вы не объясняете как следует? Ведь вы не потому великие, что открыли, а потому, что вас поняли?!»

С великими Онежка договорилась. Она и они друг друга поняли... А с Ритой? Ведь нельзя же и дальше жить без дружбы! Без подруги!

Была у них такая работа — они делали «расчистки»: квадрат сто на сто сантиметров осторожно освобождали от травы, хвои, слой за слоем снимали мох, а затем и перегной. Они вели счет семенам древесных — нужно было на квадратном метре определить общее количество семян, вышелушенных мышами, и число всходов...

Сырой перегной пахнул чем-то древним, какими-то грибами, и в этой пахнущей буровато-черной и рыхлой массе, которая еще не перестала быть останками деревьев и трав, со множеством трупиков насекомых, уже царила новая жизнь — было там бесчисленное количество чьих-то личинок, яичек и всходов, каждый из которых стремился только вверх.

Рита с трудом выполняла эту работу; она была брезглива, вся менялась в лице, когда в руке у нее оказывалась самка клеща — зеленая, упившаяся кровью какого-то животного так, что маленькие ножки были у нее едва различимы в центре неимоверно раздувшейся брюшной полости.

И вот, когда Рита проговорила громко: «Боже мой, какая мерзость! Чего только нет в этом перегное!» — ее услышал Рязанцев.

Подошел, сел рядом, поковырял перегной маленькой Ритиной лопаточкой.

— Отсюда каждая травинка стремится завоевать земной шар... Здесь, — сказал Рязанцев, а поглядел куда-то вверх сквозь очки,— в этой тончайшей пленке на поверхности земного шара взаимодействуют между собой миры... Василий Васильевич Докучаев открыл почвы как четвертое царство природы, и тогда впервые все три других царства — растений, животных и минералов — предстали как нечто общее и существующее одно в зависимости от другого...

Рите ужасно противен был зеленый трупик самки лесного клеща, и она не хотела ничего больше слышать ни о перегное, ни о царствах природы, а Онежка и хотела бы, но не могла и тут с ней согласиться — она должна была слушать и понимать Рязанцева.

...В этом тончайшем слое заканчивают свой необозримый многолетний путь солнечные лучи, здесь рождаются великие реки и океаны, отсюда ничтожные капельки воды поднимаются вверх, чтобы слиться в облака. Здесь кончает свой путь все живое на земле.

...Отсюда начинаются специальные науки, которыми человек для своего собственного удобства и в силу своего разума и по причине своего неразумения отделил одни явления и процессы от других явлений и процессов,— здесь начинаются почвоведение, земледелие и лесоводство, ботаника и зоология, еще множество «ведений» и «логосов»; и здесь же, постигая этот тончайший слой, человек вынужден будет рано или поздно разрушить воздвигнутые им самим границы наук, по мере того как он станет приближаться к смыслу одного лишь краткого слова — жизнь.

Потом Рязанцев спросил:

— Ну как, Рита? Понятно или ты скажешь: «Па-адумаешь!»?

Оказывается, Рязанцев тоже заметил и даже очень точно мог повторить выражение, с которым Рита это слово произносила.

Рита пожала плечами.

— Интересно... если бы не это! — Вздохнула и показала глазами на зеленый трупик самки клеща.

А Онежка?

Она снова ничего не сказала. Молчала. Ждала, чтобы и у нее тоже Рязанцев спросил: «Ну как, интересно?»

Но Рязанцев не спрашивал ее ни словом, ни взглядом. Конечно, он все это говорил только для Риты. Глядел в ее чуть прикрытые большими ресницами черные глаза и говорил, стараясь, чтобы в глазах ее исчезло выражение какой-то насмешки, чтобы снисходительность исчезла в них.

Не один Рязанцев, все с Ритой так говорили — и Андрюша, и Вершинин-отец, и даже Михмих, разговаривая с нею, хотя и отводил взгляд в сторону, но всякий раз лишь ненадолго, потом снова таращился сердито и даже как-то растерянно.

Онежка стала глядеть вокруг себя.

Лес был смешанный; причудливо переплеталась в нем листва с хвоей, и весь он был залит солнцем: стволы деревьев, ветви, и травы, и кустарники, и даже камни — все было пронизано светом. Острия хвоинок излучали яркие искры.

Все сияло, все слепило взгляд. Пришлось зажмуриться на мгновение

А когда Онежка снова открыла глаза, ей показалось, будто сырая земля, пахучий чернозем, где только мог, повсюду распахнулся навстречу солнцу. Показалось ей, будто желтые, почти медные стволы сосен потому такие черные внизу, что вынесли в трещинах своей коры почву из глубины...

Поглядела — чернозем яркими, сияющими пятнами поднимался по белоснежным стволам берез к самым вершинам, тоже к солнцу, и по сизой, детски хрупкой кожице осин — тоже...

И тут Онежка нагнулась, взяла горсть перегноя и медленно-медленно растерла его на другой руке, выше локтя — у нее кофточка была с короткими рукавами. Перегной и на руке тоже заблестел, на ее коже.

— Ты что это делаешь? — удивилась Рита.

— Так...— ответила Онежка.— Просто так.

И подумала: «А почему-то плакать хочется...»

Глава седьмая

Рязанцев и Лопарев спустились из лагеря в село Акат.

Давно заметил Рязанцев, насколько условны становятся такие понятия, как «центр», «большой город», «столица», если у человека не сложилось твердой и порой ничем не оправданной привычки на этот счет.

Велик ли город Горно-Алтайск? Для тех, кто не имеет к нему никакого отношения, город этот как бы и совсем не существует, между тем — стоит поездить по Алтаю, чтобы услышать, что там говорят об этом центре очень много, гораздо больше, чем в Московской области о Москве, называя этот город попросту Горный.

Впервые проезжая через районный центр Онгудай, Рязанцев подумал: «Какое маленькое, какое далекое село! Затерянное село!» Когда же он вернулся в Онгудай после того, как недели две прожил в горах, в палатке, Онгудай показался ему не таким уж небольшим; он был центром — в этом не могло быть сомнения: около ресторана, сразу за мо-

стом через быструю речку Урсул, стояло больше десятка грузовых машин. Одни из них были с надписью на ветровом стекле «US» — эти шли с грузами в Монголию и обратно, была машина какой-то экспедиции с буровым станком, большой пассажирский автобус и «волга».

Одни только эти машины уже придавали райцентру неповторимую значительность, не свойственную больше ни одному населенному пункту земного шара.

Это было в Онгудае.

А теперь и село Акат, которое было несравненно меньше, чем Онгудай, внушало Рязанцеву уважение.

Начали с закусочной. Сидя за одним из четырех не очень опрятных столиков и просматривая меню из трех блюд, Рязанцев чувствовал себя по меньшей мере в «Астории» или в «Метрополе».

Потом пошли на почту.

— На главпочтамт! — сказал Рязанцев.

«Главпочтамт» размещался в комнате и кухне обычного жилого дома.

Рязанцев получил от семьи два слова: «Все здоровы». Хотя последние дни он вовсе не думал, что кто-то дома мог заболеть, все было хорошо в этих словах: родные в самом деле были здоровы, помнили о нем, и телеграмма оправдывала его настроение последних дней, когда он совсем не беспокоился о семье. Она давала ему право и дальше не беспокоиться.

Сели на крылечке «главпочтамта».

Повертев желтенький листочек телеграммы в руках, Рязанцев сказал Михаилу Михайловичу:

— А что, Михаил Михайлович, надо бы вам обзаводиться семьей... А?

— Надо бы...— кивнул Михаил Михайлович.

И Рязанцев подумал, что, кажется, напрасно сказал об этом.

Неловкость развеял пятнистый, серый с рыжим, пес, крупный, еще не сложившийся, с какими-то смешными движениями, со щенячьим выражением добродушной морды.

Сначала пес привязался к гусям. Гуси шли строем, а пес лаял на них и отскакивал в сторону, когда гусак, шагавший в голове колонны, вытягивал длинную шею и, касаясь ею земли, нацеливался ему в глаз маленькой змеиной головкой с шипящим клювом.

Отстав от гусей, пес поболтался, потом заметил поросенка. Поросенка он гонял долго и деловито.

— Вот ведь, зараза! — сказал Михаил Михайлович.— Привяжется тоже к чухину! — Встал, подобрал палку и швырнул ее в собаку. — Отстань ты, балбес, от скотины! Чухин, чухин! Иди, друг, домой, не связывайся с балбесом!

Поросенок, прижавшись к забору, тревожно хрюкал, двигался всем туловищем в стороны, пытаясь своими едва приметными глазками рассмотреть противника.

Немного погодя «балбес» подошел к крыльцу, лег на брюхо, вытянул лапы, на лапы положил голову и рыжими глазами уставился в глаза Михаилу Михайловичу, язык же высунул на сторону. Взгляд у него был глупый, а все-таки выражал серьезный вопрос: «Скажите, люди, почему я такой нескладный, веселый и беззаботный?» И Михаил Михайлович отнесся к знакомству серьезно, осмотрел пса со всех сторон.

— Веселись, веселись, тявкин... Года не пройдет — будешь дьявол...

— Почему же? — спросил Рязанцев.— Откуда это видно?

— Кем он еще может быть, придурок? На охоту его не приспособишь. На пастьбу тоже... На рукавицы?.. В феврале из него теплые ру-

кавицы выйдут. Ну а если живым оставят, так на цепи. На цепи из него веселье выйдет и глупость тоже, одна злость останется... Будешь ты, пес, не пес, а дьяволюка!

Любовно относился Михаил Михайлович к животным. Разговаривал он с ними и о них деловито, по-хозяйски, быстро различал характеры, очень любил приласкать, особенно маленьких поросят, и в то же время никогда перед животными не заискивал, а как бы подразумевал между ними и собой полное понимание.

Поросенка называл чухин и даже заметно светлел лицом, когда видел его, маленького и розового; теленка — быдлик, щенка — тявкин. Лошадей называл только по масти, никаких других кличек за ними не признавал и единственно, к кому относился неприязненно,— к козам.

— Полезная скотина, но до чего же несговорчивая! Нет, если пасти, так стадо коров, чем трех коз...

Никто не заставлял Лопарева быть пастухом, однако он неизменно повторял, завидев где-нибудь на взгорке коз, особенно черных:

— Уж пасти, так стадо коров, чем трех дьяволюк!

Он знал множество историй из жизни животных, историй не особенно выдающихся — о том, как потерялась и потом нашлась в лесу свинья с поросятами или как спутанная на передние ноги лошадь переплыла реку,— но рассказывал эти истории очень интересно и всегда так, что нельзя было заранее предвидеть, чем рассказ кончится.

Пес ушел...

Михаил Михайлович и Рязанцев сидели молча, смотрели на пойменные луга по ту сторону речки Акат — пышные, разнотравные луга эти привлекли когда-то сюда первых русских поселенцев.

Сразу за поймой были пологие склоны, повсюду, куда хватал глаз, совершенно одинаковые, до половины покрытые кустарником, а выше — редкими деревьями. В промежутках между деревьями тоже блестел ярко-зеленый, чуть-чуть с сизым травяной ковер.

За светло-зеленым как бы искусственным валом поднимались уже настоящие горы, темные, неправильных очертаний, за ними — другие, еще темнее и беспорядочнее, и так, хребет за хребтом, они взгромождались в небо... На самом верху горы были украшены блистающими на солнце снегами...

Тихо, очень тихо было кругом — в горах, и лугах, и здесь, в деревне.

Прогудела по тракту машина, кликнул женский голос ребятишек сердито и требовательно, с порывом ветра послышались частые удары топоров: где-то стучали плотники.

Всего явственнее был голос телефонистки. Она работала на коммутаторе, и спустя четверть часа Рязанцев знал всех абонентов: сельсовет, колхоз, молочный совхоз, маралосовхоз, райцентр, школа и еще какой-то номер, который телефонистка называла базой.

Иногда она не только соединяла абонентов, но и сама вступала в разговор — в школу звонила несколько раз и требовала, чтобы когда появится директор, он обязательно пришел в сельсовет; в совхоз сообщала, что из района требуют сводку о ходе сенокоса, в колхозе разыскивала какого-то Степана Ивановича, а разговаривая с маралосовхозом, называла человека уважительно Алексеем Петровичем, сообщила ему сводку погоды и просила приехать послезавтра на пленум сельского Совета. Иногда телефонистка называла Алексея Петровича по фамилии — Парамоновым.

Рязанцев прислушивался все внимательнее, когда же телефонистка кончила разговор, вошел в помещение и спросил:

— Вот Парамонов Алексей Петрович — это и есть директор мараловодческого совхоза?

— Он и есть! — Телефонистка кивнула, старательно наклеивая большие марки на маленький треугольный конверт. Она была здесь за всех: и принимала почту, и отправляла ее, и работала на коммутаторе.

— Высокий такой, да?

— Куда выше!

— Белый? Немного, кажется, кудрявый?

— Почему это немного? Нормально кудрявый!

Рязанцев снова вышел на крыльцо.

— Знаете, Михаил Михайлович, кажется, обнаружился у меня здесь знакомый.

Михаил Михайлович слышал разговор Рязанцева с телефонисткой и ответил:

— Не знаю, знакомы вы с Парамоновым или нет, а я знаком.

— Да?

— Да... в прошлом году поругались.

— Вот как... Чего же вам было делить?

— Нужно было в маральнике побывать... Посмотреть, как на пастбище восстанавливается лиственница. Не пустил. Карантин, еше какие-то законы. Не пустил.

— Ученик мой...

Рязанцев поднялся со ступени, попросил телефонистку соединить его с директором совхоза.

— Маралосовхоз слушает! — прогудел в трубке внушительный и, должно быть, хорошо знающий себе цену бас.

— Вы товарищ Парамонов?

— Я буду. Кто спрашивает?

Рязанцев назвал себя.

— Помните такого? На курсах встречались?

Бас осел, замолк, потом быстро-быстро и совсем на другой интонации заговорил:

— Товарищ Рязанцев? Николай Иванович! Что вы! Неужели думаете, я вас забыл?

Потом Рязанцев и Лопарев, стоя на ступеньках крыльца, обсуждали предстоящую встречу с Парамоновым и ждали машину из мараловодческого совхоза, которую Парамонов обещал прислать за ними.

Лопарев твердил:

— Поедем, но я поругаюсь. Уж это точно. Еще — проберусь в маральник, спилю там две-три лиственницы!

— Это зачем?

— Узнаю возраст самых молодых деревьев и было ли возобновление подроста после закладки маральника! Так вы, говорите, учили его?

— Было такое. На курсах.

— Его бы в армии учить. Рядовым. У сверхсрочного старшины. Вот вышел бы порядочек — железобетонный!

Рязанцев усмехнулся, Михмих встал ступенькой выше, руки засунул в карманы.

— С закрытыми глазами скажу — учился он посредственно. Так?

— Что ж из того?

— Курсанты его не любили. Так?

— Может быть...

— Преподаватели тоже.

— Как сказать...

— Чего тут говорить, разве что один вы ему только и потрафляли...

— Не то слово...

— Покровительствовали...

— Вы так думаете?

— И думать нечего: ясно!

— Знаете, дорогой Михмих, должно быть, всех людей, независимо от профессий, можно разделить на педагогов и непедагогов...

— Тоже ясно,— кивнул Михмих, вынул одну руку из кармана и показал на Рязанцева:— Педагог! — Потом себя ткнул в грудь:— Непедагог!

Тут подбежал «козлик», лихо развернулся, уткнувшись в пыльный хвост, который сам волочил за собою, и чернобровый солидный шофер спросил:

— Товарищ Рязанцев который будете? Николай Иванович?

— Я буду. А едем мы вместе.

— Будьте добреньки — Алексей Петрович ждут! Садитесь! Гора с горой — ни-ни, а человеку с человеком выпадают перекрестки. Жмут вроде все на полную скорость кто куда, на спидометры — нуль внимания, тем более они всегда в неисправности, по сторонам не оглядываются. Думаешь, где тут встретиться! Нет, гляди, через жизненные годы, и вдруг — встреча...

Рязанцев подтвердил:

— Встреча...

Покуда машина бежала долиной речки Акат, а потом свернула вправо и поползла вверх между двумя отрогами, Рязанцев вспомнил светлую аудиторию с кафедрой у самого окна, с желтой доской на стене. Он, Рязанцев, стоит за кафедрой, совсем еще молодой, а слушатели в аудитории почти все старше его годами... Курсы директоров и главных агрономов совхозов. Они слушают его, слушают так внимательно, что от этого внимания становится жутко, немного кружится голова, и от этого же он начинает говорить горячо, находить какие-то неожиданные для самого себя слова, сравнения. Внимание слушателей больше, и он больше увлекается...

После лекции, когда слушатели подходят к нему, он плохо понимает их. Они благодарят, не знают, что сами учили его и с первой до последней из девяноста минут лекции он сдавал им экзамен...

А в глубине аудитории среди его слушателей, помнится, было лицо с грубоватыми, но правильными чертами, не полное и не сухощавое, с тем бело-розовым оттенком, которым в человеке цветет здоровье.

С этого лица всегда смотрели очень внимательные глаза, но внимательность их неизменно была какой-то трудной, тяжелой.

Когда аудитория улыбалась множеством глаз, эти все еще продолжали смотреть очень серьезно и часто-часто мигали большими желтыми ресницами; когда же аудитория снова чутко настораживалась, карие глаза под желтыми ресницами начинали вдруг улыбаться...

Иногда Рязанцев прерывал объяснение и спрашивал:

— Понятно, товарищ Парамонов?

С пятого или шестого ряда быстро, по-солдатски, поднималась тогда крутая в плечах фигура в блестящей тужурке с застежкой «молния». Человек, глядя в упор, очень громко и четко говорил:

— Не совсем понятно, товарищ преподаватель! Совсем непонятно!

Рязанцев объяснял снова, и тут была небольшая хитрость: можно было повторить все то, что, ему казалось, он объяснил не совсем ясно, повторить новыми и только что пришедшими к нему словами. Иногда же он поступал иначе: угадывал в чьих-то глазах нетерпение, досаду и слушателя с этим нетерпеливым взглядом просил объяснить Паромонову суть дела. И потому, что аудитория, едва лишь узнав что-то новое, сама уже участвовала в объяснении этого нового, она радовалась, она возбуждалась, и возникала та связь между лектором и слушателями, которая так была ему нужна.

Случалось еще и по-другому. Рязанцев с кафедры посматривал на Парамонова... Раз, другой, третий... И тогда в ответ на эти взгляды Парамонов делал едва заметный короткий жест рукой, как бы толкающий лектора вперед. Значит, не следует сомневаться: все понятно Парамонову, и, значит, все понятно всем.

Были там разные люди, на курсах директоров и главных агрономов совхозов. Был Герой Советского Союза со шрамом через все лицо. Этот человек, совершивший легендарный подвиг на фронте, так страшился экзаменов, что, отвечая, страшно заикался.

Был на курсах человек без ног, был директор треста совхозов — грозный начальник многих слушателей в недалеком прошлом, а главное, в недалеком будущем. Этому приходилось и на курсах поддерживать свой авторитет, и он так заучился, что однажды на занятиях потерял сознание — вызывали карету «скорой помощи».

Было несколько женщин. Одна — по фамилии Куличенко, уже немолодая, смуглая и похожая на цыганку — никогда не снимала с плеч пухового платка, под которым с той и с другой стороны укрывала еще двух хорошеньких девушек. Они тоже готовились стать главными агрономами.

Годы были послевоенные, все знали, сколько труда, лишений и тревог ожидает людей, которые должны были поднять на ноги совхозы, и предвидение этого как бы все время присутствовало на занятиях и даже в перерыве, когда взрослые люди начинали вдруг неимоверно ребячиться.

Но были и у этих людей слабости — такой слабостью был Парамонов. Над ним подтрунивали, подбивали его задать преподавателю какой-нибудь нелепый вопрос. Преподаватели тоже поддавались соблазну, иронизировали над Парамоновым, отвечали на его вопросы смешными репликами, становясь запросто с аудиторией.

Один только Рязанцев поставил на экзамене Парамонову четверку, все остальные предметы он сдал на «три».

И на лекциях, какие бы вопросы Парамонов ни задавал, Рязанцев отвечал спокойно, без улыбки. Не только сдерживал себя, но и всю аудиторию, все молчали недоуменно, никто не смел посмеяться при нем над Парамоновым.

В перерывах между лекциями, когда Рязанцева окружали курсанты, Парамонов старался быть к нему ближе, и Рязанцев этого не избегал, беседовал с ним точно так же, как и с Героем Советского Союза, как с умной и красивой Куличенко, у которой под концами шали прятались две милые девушки.

Это, кажется, было единственное, в чем слушатели Рязанцева не понимали, чего они не одобряли в нем.

Он считал нужным убеждать себя, что к Парамонову следует относиться совершенно так же, как и ко всем другим.

Наверное, Парамонов нуждался в искренней любви, но кто и как мог бы его полюбить, нельзя было себе представить.

И вот Рязанцев ехал в гости к Парамонову...

Машина пробежала несколько километров долиной Аката, потом резко свернула вправо, на подъем между двумя отрогами, и тут вскоре показался совхоз — небольшой аккуратный поселок по обе стороны быстрого ручья.

Встретились около конторы, единственного двухэтажного дома на усадьбе.

Поздоровались.

Раздобрел Парамонов. Он и на курсах отличался здоровьем, а теперь стал совсем дебелым, в меру полным, у него были неторопливые, уверенные движения. Одет в новый коричневый костюм, голова открыта,

прическа не простая. Красивый мужчина, высокий. На Лопарева взглянул мельком, хотя видно было — узнал сразу, Рязанцеву долго глядел в лицо и жал руку. Улыбался.

Пригласил гостей в кабинет.

— Вот тут и работаем... Тут самый, должен сказать, пульс... Показатели — тоже все здесь! — И широко махнул рукой, приглашая гостей познакомиться с показателями.

Кабинет был просторный, стандартный: письменный стол, черный диван у стены, этажерка с книгами и громоздкий сейф по сторонам от окна. А стены были увешаны почетными грамотами. Рязанцев протер очки, стал их внимательно и удивленно рассматривать. Тут были награды от профсоюза, от совхозного треста, от районных и краевых организаций, от республиканского и союзного министерств, от ВСХВ.

Рязанцев долго смотрел, потом спросил:

— Слушайте, товарищ Парамонов, ведь это вас за одни и те же показатели ежегодно награждают все — от района до министерства? Так?

— Порядок не нами выдуман. Порядок известный: передовик — значит, хвалят! Отстающего — ругают!

Еще что-то объяснял Парамонов, но Рязанцева этот «порядок» не очень интересовал.

Он всегда как-то терялся в присутствии людей, которые не в науке и не в искусстве, а в самом обыкновенном деле достигали чего-то большого: конструировали, строили, выращивали, выплавляли. Он сам ничего этого не умел делать — умел читать книги, думать над ними, с ними родниться и к этим, когда-то чужим, а потом очень близким книгам присоединять свои, новые. Еще умел кое-какие полевые исследования проводить — и только.

Теперь же Рязанцев старался представить нынешнюю встречу в смешном виде: будто Парамонов явился на курсы со всеми своими грамотами и требует, чтобы он, Рязанцев, эти грамоты продемонстрировал слушателям. Сцена представлялась комической...

Лопарев тоже, должно быть, решил посмеяться и сделал это по-своему. Спросил у Парамонова:

— Не слыхали о законопроекте? Насчет почетных грамот?

Парамонов, который все время следовал за Рязанцевым и давал ему объяснения по поводу каждой грамоты в отдельности, сразу встрепенулся.

— Законопроект? А в чем он заключается?

— Заключается-то в чем? Вот скоро, говорят, будут почетные грамоты обменивать. Пять грамот на одну медаль. А может быть, и на орден.

— Знак Почета? — живо спросил Парамонов, и в этот момент только блестящей кожаной курточки не хватало на нем, а выражение лица, вся фигура, наклоненная вперед, напомнили Рязанцеву курсы директоров и главных агрономов совхозов и Парамонова, которого кто-то подбил задать лектору глупый-преглупый вопрос.

— Может быть, и Знак,— согласился Лопарев.— Это дело в настоящее время вентилируется.

— Где?

— Известно где — вверху...

— Но-о-о! — удивился Парамонов.— В самом верху?

— Может, и не в самом, а все-таки вверху.

— Тогда в тресте об этом должны знать...

Из кабинета направились посмотреть хозяйство, и тут Рязанцев, улучив минуту, тихонько спросил у Лопарева:

— Михаил Михайлович, дорогой, вы не знаете, как Карел Чапек говорит о критиках?

— Мне с Чапеком чаевничать не приходилось!

— «Критиковать это значит объяснять, как бы я сделал сам, если бы умел...»

— А чего тут уметь, скажите, пожалуйста? — сразу понял Михмих.— Чего уметь? Поставить ограду — самое главное. А потом олешки за оградой бегают, пасутся, бригадиры с них панты снимают, а директор — грамоты. Это вам не зерновое хозяйство, и не молочное, и не леспромхоз — там без механизации ни шагу, без строительства тоже, одним словом, без техники — никуда. И планы там не дай бог какие. А тут дело, считайте, на той самой научной основе, которая еще при царе Горохе была. Тут все дело в бригадире! — Посмотрел на Рязанцева и, почему-то обратившись к нему уже во множественном числе, сказал еще: — Так-то вот, товарищи педагоги! Не согласны? Давайте возражения!

И действительно, педагог вдруг в Рязанцеве забеспокоился. Михмих к людям мог относиться точно так, как ему хотелось с первого же слова и взгляда. А Рязанцев не позволял себе сразу поддаваться первому впечатлению. Не понравился ему человек, так он еще долго относился к этому человеку спокойно, доброжелательно. Другой ему нравился, а он и тут никакого восторга не проявлял, не выдавал ни одним словом своей симпатии, держался как будто даже холодновато. Почему-то боялся ошибиться в людях. Разве оттого, какое у него складывалось мнение о человеке, этот человек становился лучше или хуже? Наконец, не однажды Рязанцев убеждался, что впечатление от первого знакомства было самым верным, а дальнейшие его умозаключения — неверными, так что с течением времени он бывал вынужден их отбросить.

Парамонов показал гостям два строительных объекта — клуб и столовую,— один скотный двор, питомник черно-бурых лисиц — все это с чувством своего непоколебимого достоинства.

Лопарев, слушая, ухмылялся, а потом стал похлопывать его по плечу и называть на «ты»: «Правильно действуешь — на сорок третьем году советской власти понимаешь роль общественного питания!»,— а тем временем договорился с Парамоновым, что побывает в маральнике и спилит там несколько лиственниц.

Шепнул Рязанцеву:

— Видали? И лаяться не пришлось!

Тем временем дебелый, осанистый Парамонов всем своим видом как бы говорил: «Четверка — это теперь для меня уже маловато!»

Солнце приближалось к зениту, нагрелась земля, и запахи дорожной пыли, скотных дворов, жилья становились все сильнее, а травы и леса как будто отступали выше по склонам, и только изредка оттуда срывался ветерок и приносил аромат лесов и трав, а Парамонов все водил гостей по усадьбе, рассказывал о своих достижениях, пояснял и сиял все больше.

Но вот подошли все трое к колодцу, и Парамонов сказал:

— Николай Иванович, по-вашему построено! Как вы говорили. Все в точности соблюдено!

Было когда-то время, когда трубчатые колодцы назывались в России «абиссинскими» и еще «нортоновскими» — технический блеск вкладывался в это название и еще нечто «заграничное».

А рубленные из дерева шахтные колодцы в ту пору изображались по всем правилам чертежного искусства на батистовой крахмальной кальке с отмывкой синей краски, с оттенками желтой — от едва золотистой, янтарной, до цвета жженой сиены,— с разрезами по нескольким осям и с показанием плотничных сопряжений «в лапу», «ласточкиным хвостом» и «в полдерева».

И вот однажды, когда Рязанцев должен был говорить своим слушателям на курсах об использовании грунтовых вод и колодезном водоснабже-

нии, под руку ему попался такой чертеж, подписанный «межевым инженером» и «гидротехником 1-го разряда», служащих по Департаменту земельных улучшений Министерства Земледелия и Государственных Имуществ.

Не устоял перед этими красками, врубками, перед замысловатыми подписями пером «рондо», заклеил в уголке чертежа дату «Год 1911-ый, апреля, 6 дня» и показал его на лекции — вот как должен выглядеть колодец ювелирной работы!

Колодец этот предстал теперь перед Рязанцевым во всех деталях: глиняный «замок» вокруг сруба и каменная отмостка; ворот — казалось, выточенный на токарном станке; навес под воротом из двойного настила полутрадюймовых плах и резной петушок на коньке навеса. Петушок еще на чертеже 1911 года выглядел архаично, но тут он блистал свежей краской.

— Си-ила! — сказал Лопарев.

А Рязанцев вдруг почувствовал усталость, еще раз поглядел на сияющего, исполненного собственного достоинства Парамонова: «Каков?»

И в самом деле, был ли Парамонов добрым или злым, умелым или неумелым — не это почувствовал сейчас Рязанцев, стоя у колодца с резным петушком. Он Парамонова учил. Учил — значит, верил. А если и учил и верил — значит, теперь, что бы Парамонов ни делал, каким бы он ни был, он был на совести Рязанцева.

А Парамонов отошел от колодца на несколько шагов, остановился подле небольшого домика с невысоким побеленным палисадником. Распахнул калитку.

— А вот моя квартира! Проходите, Николай Иванович! Товарищ Лопарев, прошу!

Скрепя сердце шагнул Рязанцев во двор. В сени... В кухню... В горницу...

Все не только сияло здесь, сверкало и переливалось в лучах солнца, но даже как будто еще излучало радужные оттенки, которые обыкновенные предметы — столы, стулья, занавески, посуда, стены, пол и потолок — никогда излучать не могут.

Казалось, люди здесь не живут, только приходят сюда, натирают до блеска каждую вещь, покрывают все эти вещи тонким лаком, занавески на окнах разглаживают, будто это не занавески, а накрахмаленные воротнички на окнах, подоконники подкрашивают белилами, стены — известью, пол — яркой охрой и после этого на цыпочках отсюда уходят.

Лопарев, который через весь совхоз прошел с небрежной и даже несколько презрительной усмешкой, совсем опешил. Не скоро спросил у Парамонова:

— Ремонтировались?

— Ремонт не ремонт, а только моя Елена едва ли не каждую субботу и красит и белит...

Лопарев осторожно сел, пошарил в кармане, вытер со лба пот, поглядел на платок и торопливо спрятал его обратно в карман. Поглядел на свои сапоги — ноги задвинул под стул, еще немного погодя застегнул пиджак на все пуговицы. Одной у него не оказалось, он пустую петлю заслонил рукой.

Михмих продолжал сидеть в этой смешной позе и тогда, когда Парамонов вышел в соседнюю комнату и там заговорил о чем-то вполголоса, а ему отвечал чуть-чуть испуганный и встревоженный низкий женский голос. Рязанцев же, слушая этот голос, подумал, что хозяйка обязательно должна быть похожа на Синеокую Марию Федоровну, которая недавно получила письмо в городке Красном Куте: высокая, полная, но стройная, обязательно белокурая и, конечно, голубоглазая.

И что же — не ошибся почти нисколько. Когда женщина вошла, Рязанцев вздрогнул: она была и высокая, и статная, с толстыми, почти русыми косами, уложенными на голове, разве чуть-чуть только потемнее тех, которые он себе за минуту до этого представил. Глаза, правда, не были у нее голубыми. Какого цвета глаза, Рязанцев не сразу заметил, так поразило его это сходство. Рукопожатие было теплым у нее...

— Елена Семеновна,— произнесла она тихо. Была смущена, но не прятала своего смущения, а сказала:— Все кругом тут знакомые люди... Кого-то незнакомого встретишь в наших горах!

Сели за стол. Рязанцев наконец рассмотрел ее глаза — они были серые с зеленым. А больше Рязанцев ничего не заметил в них, потому что они оставались настороженными не то от мимолетного смущения, не то это было у них в природе — долго-долго никому не открываться.

За едой Парамонов очень часто извинялся, что вот принимает гостей так запросто — на столе была яичница с салом, творог, соленая капуста и вино. Потом он вдруг попросил:

— Так, Николай Иванович, расскажите хоть что-нибудь? А? Я ведь ей,— он кивнул снова в сторону жены,— я ей сколько раз ваши лекции передавал... Погляжу в конспект, вспомню и пошел... и пошел... Едва ли не слово в слово, Николай Иванович. Теперь вы сами здесь...

Когда к Рязанцеву обращались с просьбой «рассказать», никакого рассказа не получалось. Рассказ возникал непроизвольно, в случайной беседе, когда его никто не ждал и не требовал, либо на лекции — там рассказ становился совершенно необходимой и очевидной частью этой лекции.

Рязанцев всегда думал, что легко тем ученым, тем писателям, вообще тем людям, у которых едва лишь возникают какие-то мысли, они уже могут об этих мыслях говорить, кому-то излагать их. Он же мог говорить лишь о том, что в нем перебродило, в чем он сам уже прошел через сомнения и что готов был отстаивать и доказывать перед другими.

Поэтому он все время ощущал что-то невысказанное и знал, о чем он будет думать прежде всего и уже скоро сможет говорить, на чем сосредоточится когда-нибудь позже и что дождется своего срока еще очень не скоро, через годы.

Нынче, только Рязанцев вступил в этот блистающий чистотой дом, мысли его как будто просветлели. И хотя ему досаждал резной петушок, который через палисадник заглядывал прямо в окно, Рязанцев и в самом деле хотел о чем-то рассказать.

Еще в детстве он полюбил Алтай, но отдал себе отчет в этой любви гораздо позже, в зрелом возрасте, когда любовь становится не только чувством, но еще и тревожной заботой о будущем всего того, что любишь. И ему хотелось, чтобы в этом уголке земли человек ничего бы не искалечил, ничего не потерял раз и навсегда, никогда не заслужил бы упрека потомков за растраченные попусту, размотанные богатства, которыми наделила этот край природа.

Есть разные страны в Западной Сибири: Барабинская низменность, Ишимская, Прииртышская, Кулундинская степи, Кузнецкий бассейн, еще много стран — все они открыты, все обжиты поколениями людей и все они несут печать и достижений человека и его заблуждений, его ошибок.

Человек лишил землю лесов там, где леса хранили воды; пастбища, пашни, сенокосы, дороги, населенные пункты разместил на земле далеко не наилучшим образом, как того требуют рельеф, почвы, климат, растительность и как в XX веке требует здравый смысл.

Но человек не может повторить свою жизнь, даже если она прожита им вопреки его желаниям и здравому смыслу, а вместе с ним не может и земля пережить все сначала. Зато там, где люди задумывают сформировать еще одну страну, они должны начинать, глядя далеко-далеко вперед, угадывая жизнь своих потомков.

В Горном Алтае человек начинает сегодня, он еще только создает здесь обетованную землю, а начало уже определяет конец — вот о чем говорил Рязанцев. Он говорил, мысли его увлекали, а в то же время какая-то беседа продолжалась у него с самим собой, какие-то рассуждения шли у него своим чередом, и спустя некоторое время он определил, что к женщинам у него другое отношение, не такое, как к мужчинам,— женщины с первой встречи тоже ни в чем не могли его убедить, но привлечь к себе его внимание они могли. И судить он их и понимать шаг за шагом, последовательно не умел. Судил, а каким образом, этого не знал.

Когда кончили беседу, Михаил Михайлович тихонько, но, кажется, одобрительно крякнул, Парамонов долго сидел неподвижно и улыбался неподвижными глазами, а Елена Семеновна помолчала-помолчала и вдруг проговорила:

— Времени-то еще немного, отвез бы ты, Леша, Николай Иваныча прямо к Шаровым. А?

— К Шарову? Почему? Люди им незнакомые!— Парамонов пожал плечами.— Опять же как машина... Кабы не рессоры... Дорога-то, сама знаешь...

Рязанцев хотел спросить, что это за Шаров, к которому надо ехать, и зачем к нему ехать. Михаил Михайлович тоже озадаченно и с недоумением посмотрел на хозяйку дома, а она совершенно тем же тоном, никому ничего не объясняя, повторила:

— Отвез бы ты, Леша, Николай Иваныча к Шаровым...

И Рязанцев тоже подумал: «Нужно поехать!» Сказал Парамонову:

— Едемте, Алексей Петрович! Едемте!

— Ну что же... Пожалуй, можно и поехать... Что же...— согласился тотчас Парамонов.— Рессоры стерпят...

Блестели камни на вершинах гор, и по обеим сторонам дороги блестели травы, блестело небо. Все блестело, как в доме Елены Семеновны, все на ее дом было похоже: небо — прозрачной синевой, вершины гор — темной, как бы начищенной медью, камни у дороги — блеском слюдяных крапинок, травы — тончайшей, едва заметной и такой свежей щетинкой волосков.

«Козлик» со слабыми рессорами подкатил к реке со стороны высокого обрывистого берега...

И река блестела зелеными, голубыми и еще какими-то необыкновенными красками. Она была глубока, прозрачна, краски как бы излучали пестрые камни со дна реки, так что казалось, словно там, в самой глубине, воды и вовсе нет, что вода течет и журчит лишь на поверхности, а глубже все русло заполнено плотным и ярким светом...

Узкая дорога, может быть всего на десяток сантиметров шире, чем кузов машины, поднималась все выше и выше.

Выехали на маленькую площадку, здесь шофер остановился, сказал, чтобы все вышли, распахнул дверцу кабины и один осторожно поехал еще выше, а потом круто стал спускаться вниз.

Все, кроме шофера, с километр шли пешком, и, пока шли, Рязанцев спросил Елену Семеновну, очень ли нравятся ей здешние места, хотя он уже знал об этом, не спрашивая.

— Здешняя я,— ответила она,— алтайская. Вон за тем самым дальним хребтом рожденная. Другого не знаю, не видела. Что же мне и любить тогда, как не это?

Идя по краю обрыва, она вдруг остановилась, показала вниз на реку, потом подняла розовую руку в коротком рукаве... На руке ее при свете солнца ясно проступали тончайшие, очень короткие волоски, точно такие же, какие были на листьях трав кругом.

Она же своей поднятой светящейся рукой показала на вершины.

— Можно это не любить?

Рязанцев не ответил — смотрел на горы, на небо и на нее.

Елена Семеновна вдруг покраснела и руку опустила...

Он же не опустил взгляда, смотрел на нее, какова она в смущении: порозовела так, что солнце просвечивало теперь ее лицо справа, а левая щека была едва заметно желтой по розовому.

— Знаете ли, Елена Семеновна,— сказал Рязанцев наконец,— очень вы похожи на одну женщину. О которой я часто думаю... Только та далеко, в степях, в городе Красный Кут. Вас я еще не видел, только слышал, как вы разговаривали в соседней комнате с Алексеем Петровичем, но сразу догадался об этом сходстве...

Она оправилась несколько от своего смущения и кивнула:

— Так бывает. По голосу можно человека представить всего и не ошибиться. Верно, верно! Так может быть!

— Но я ту женщину, на которую вы похожи, никогда ведь не видел!

— Только слышали? Может, по радио?

— И не слышал никогда...

Тут она задумалась. В это время они с камня на камень перешагивали через ручей. Елена Семеновна в ручей заглянула, увидела себя в прозрачной воде и остановилась, будто разгадывая что-то в этом отражении. Очень легкой казалась она, стоя на камне, на котором едва-едва умещались ее зеленые босоножки.

— И так, значит, тоже может быть?! — не то спросила, не то согласилась она.— Не видели, даже не слышали, а все-таки представили себе человека... Всего.... Не знаю, не знаю.— Встрепенулась, шагнула на следующий камень.— Пойдемте! Отстали мы с вами...

Парамонов и Лопарев шли впереди, шагах в ста. Рязанцев поглядел на них из-под руки.

— Отстали, да... Пойдемте.— Но сам шагу не прибавил.

— Так пойдемте же скорее!

— Пойдемте...

И опять она вышла вперед и должна была потом приотстать, чтобы идти с ним рядом, а он спросил:

— Ну, а тяжело, наверно, Алексею Петровичу руководить совхозом? Трудно? Вы ему помогаете?

Она пошла не в ногу и скользнула по его лицу коротким, внимательным взглядом, в котором промелькнул испуг, а потом ответила строго:

— Руководит не первый год... Учился этому... Да пойдемте же, догоним их!

— Они и сами, если захотят, нас обождут... Алексей Петрович уже оглядывается...

— А если ждут, пойдемте скорее.

— Сколько же всего рабочих и служащих в совхозе?

— На первое января было триста восемьдесят восемь... Да вы бы в самом деле спросили у Алексея Петровича, он же сам лучше знает!

— И вы знаете.— Он догадался, что именно в этот момент Елена Семеновна совершенно точно поняла: как Парамонов был для него слабым учеником, так им и остался до сих пор. Сделалась еще строже, глаза прикрыла ресницами, щеки у нее как будто вытянулись, исчезла с них детская добрая припухлость...— Так приходится вам помогать мужу? Вникать в дела?

Шагов десять она прошла молча, будто не расслышав, потом сказала тихо:

— Я ему жена...

Теперь замолчал Рязанцев. Не хотел кончить с нею разговор и не знал, как его продолжить. Удивился, с каким значением она произнесла эти слова, и тут же заметил совсем новое выражение на ее лице: она торжествовала и широко распахнувшимися глазами и неожиданно лукавой улыбкой. Думала, что обезоружила его своим ответом.

— Вот что,— сказал он,— я думаю: Алексей Петрович шагу не шагнет в своих делах без вас. Или мне так кажется?

— Не я его учила делу. Учитель — вы! — Снова она поглядела на него лукавее прежнего, но тут же сказала еще: — А я что? Я в жизни своей ничего не видела, не знаю!

Вот это было совсем напрасно ею сказано, если она хотела и еще полукавить. Не надо было этого говорить.

Догнали Парамонова с Лопаревым, и Рязанцев позвал:

— Алексей Петрович!

— Ась?!— торопливо отозвался Парамонов. Должно быть, Парамонову хотелось закончить разговор с Лопаревым, и он очень радостно произнес это свое «ась».

— Алексей Петрович, ведь вы же на Всесоюзной сельскохозяйственной бывали?

— А как же! В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом — широким показом.

—Ну а жену с собой берете? Чтобы она посмотрела Москву?

Елена Семеновна не дала ответить. Обидевшись, что о ней спрашивают у мужа, сказала:

— Конечно! Ездила! Все видела!

— Она-то,— спустя долгое время подтвердил Парамонов,— она-то ездила. Все-все я ей показывал там!

— Ну вот,— снова обращаясь к Елене Семеновне, сказал Рязанцев.— Значит, не только эти горы вы знаете...

Его ничуть не испугало выражение досады на лице Елены Семеновны. Он уже видел на нем и внимание, и радость, и смущение, и лукавство, видел его строгим, а теперь смотрел в это обиженное лицо и думал, что все-таки она не будет обижаться всерьез. И в самом деле, тихо она заговорила:

— Так ведь в Москве-то, разве там рассмотришься за неделю какую или за две? Я только удивлялась. А мало этого, одного удивления...

Таким было примирение между ними.

Паром оказался на той стороне реки. Алексей Петрович поглядел внимательно.

— Здесь Меркурий. Во-он за ветлой — удочки закинуты. Погуди-ка, Гриша!

Шофер, только что подъехавший к переправе круговой дорогой, стал звать паромщика сипловатыми гудками «козлика», и вскоре показался человек в бурой войлочной шляпе, с бурой же бородой, с ножом в больших деревянных ножнах на поясе. Крикнул: «Сейчас я! Сей-час!» — и, приложив руку к шляпе, стал рассматривать, кто это незнакомый едет с директором. Не торопясь взошел на паром, а потом снова шагнул на берег.

— Шест забыл! — сказал Парамонов.

Меркурий отыскал шест, снова взошел на паром и снова задумался.

— Блок соскочил! — сказал Парамонов.

Меркурий вскарабкался на перила, поправил шестом блок и снова стал неподвижно...

— Чалку не отдал! — сказал Парамонов.

Меркурий отправился на берег, снял чалку с пенька, и Парамонов крикнул теперь уже веселее:

— Давай, давай!

Паром начал переваливать через реку. Рязанцев, глядя на Меркурия, который в одной руке держал гребь, а в другой — кисет с куревом, сказал:

— Каков мужчина! Борода-то, борода!

Елена Семеновна спросила:

— Нравится?

— Не заметить нельзя — вот в чем дело...

— Ну, на обратном пути будем переправляться, не заметите.

— Это почему же?

— На другого мужчину поглядите. На Шарова. А Меркурий под Шарова только работает. Не более того.

Пристали к берегу, «козлик» зафыркал, осторожно сполз на берег, покачнув паром, и Алексей Петрович сказал:

— Тут ручей течет особенный! Будем воду из него пить! Нарочно завернем на ручей!

— Не хвастайся заранее, Леша,— заметила Елена Семеновна.— А если Николаю Ивановичу не понравится?

— Что за ручей?

— Не хвастайся заранее, Леша,— опять повторила Елена Семеновна.

Парамонов сказал:

— Садитесь, Николай Иванович! Гадать не будем, сейчас отпробуем водицы! Тут всего-то — полкилометра свернуть с дороги.

Вскоре выехали на небольшую лужайку, покрытую редкой травой, серым крупным песком и отшлифованными круглыми булыжниками. Должно быть, весной и летом в сильные дожди вода здесь все затапливала, а сейчас лужайка эта, как паутиной, была покрыта ручейками, которые то сливались вместе, то снова дробились и растекались в разные стороны. Ручейки были с чуть заметным синеватым оттенком.

Елена Семеновна вышла из машины вслед за Рязанцевым, сперва засмеялась, потом стала серьезной.

— Давайте теперь пить... Уж не знаю, понравится ли вам, Николай Иванович.— И сама быстро опустилась на колени, потом расстелила на круглом камне свою пеструю косынку, потом легла на нее грудью и припала к воде.

Рязанцев тоже нагнулся к ручью. Было что-то опьяняюще свежее в этой воде, в ее чуть-чуть кисловатом привкусе и в том, как приятно было эту воду ощущать в себе, обонять, видеть ее синеву перед собою и слышать, как она журчит вокруг губ...

Садились на камни, глядели в небо и на горы, на свои отражения в сизой воде, снова припадали к ручью...

Наконец Елена Семеновна громко и протяжно вздохнула, села на камень и подняла влажные руки навстречу солнцу — чтобы просушить их и согреть. И лицо с каплями на носу, на щеках, на ресницах тоже вскинула, а потом, и всю себя каким-то незаметным движением обратив навстречу ярким, сияющим лучам, просидела так с минуту совершенно неподвижно и вдруг оглянулась на Рязанцева.

— Значит, вам понравились ручьи? Сизые-то какие... Голубиные.

— Еще бы!

Смотрел на нее и думал: «Что было бы, если бы женщины любили только тех, кто этого заслуживает, и только так, как того заслуживают? — Вздохнул.— Наверно, трагедий было бы во сто крат больше!»

Не скоро еще сели в машину, поехали дальше.

И только стали подниматься от ручья в горку — тр-рах!

Рязанцев еще не понял, в чем дело, а Парамонов уже сказал жене:

— Говорил я тебе, Лена! Предупреждал! — Обернулся к Рязанцеву. — Хуже нет, Николай Иванович, слушать женщин! Уж я на своей шкуре это дело испытал, а нынче уступил, и вот — рессора лопнула! Ну говорил я тебе или нет? Вы извините, Николай Иванович, и вы тоже, Михаил Михайлович! Виноват!

Елена Семеновна смутилась, сникла, нельзя стало узнать в ней ту женщину, которая всего несколько минут назад сидела около ручья на камне, вся обратившись к солнцу.

Вышли из машины, шофер безнадежно развел руками.

— Авария... Рессора...

А Парамонов все корил ее, молчаливую:

— Говорил же! Предупреждал!

Рязанцев пытался было Парамонова остановить, но сам был смущен — из-за него Елена Семеновна выслушивала упреки, а Лопарев молчал-молчал, а потом сказал:

— Ну что, Алексей Петрович, на ваших охах да вздохах дальше поедем или как? Пешком?

К парому пришлось и в самом деле возвращаться пешком, а там грузовая попутная машина подвезла всех до отделения совхоза...

Тут уже Алексей Петрович был хозяином — послал за «козликом» колесный трактор, в кабине потрепанного грузовика отправил Рязанцева и Лопарева в Акат, сам с Еленой Семеновной остался ночевать на квартире управляющего отделением.

Елена Семеновна все молчала...

(Продолжение следует)



АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

ФЛАЖКИ

Флажки на трассе в снежной шири...
Но будет речь о них потом.
А раньше — слово о чифире,
Напитке горьком и густом.
То крепкий чай, как деготь, черный.
На Колыме в далекий путь
Берут его с собой шоферы,
Чтоб за баранкой не уснуть...
Знакомый фельдшер с автобазы
Не раз предупреждал ребят:
«Не пейте, братцы, той заразы.
Чифир для сердца — страшный яд!»
Но выл буран за тонкой дверцей.
А мы не спали пять ночей.
И было нам плевать на сердце
И на советы всех врачей!
Нам было надо без отрыва,
До боли всматриваться в ночь,
Чтоб не сорваться вниз с обрыва,
Чтобы в беде друзьям помочь!
Кипел чифир в консервных банках.
Дороге не было конца.
И стыли руки на баранках,
Стучали бешено сердца.
И, чтоб за нами без помехи
Другие шли грузовики,
Мы ставили в сугробы вехи —
На палках красные флажки...
И пусть теперь от боли резкой
Сожмется сердце иногда —
Мы также молоды и дерзки,
Как в те нелегкие года.
Мы ту дорогу, если нужно,
Пройдем без премий и наград.
Повторный путь по трассам вьюжным
Нам будет легче во сто крат.
Ведь там, где мы бывали в рейсах,
На тех путях, на той земле
Оставлены частицы сердца
Флажками красными во мгле!

НОЧНАЯ СМЕНА

Из штольни вышли в пыльных робах,
На свет взглянув из-под руки.
И замелькали на сугробах
Густые черные плевки.

Не выключив аккумуляторы,
Бура́ми длинными звеня,
Ночная смена шаг печатала
В начале северного дня.

Под сапогами гравий вздрагивал
И проминался грязный мох.
Внизу над полотняным лагерем
Курился розовый дымок.

Нас ждал барак с двойными нарами,
Что сварены из ржавых труб,
С плакатами довольно старыми
Нас ждал холодный тесный клуб.

Но было весело и молодо
Идти дорогою кру́той.
На сопках снег, как сахар колотый,
Лучился нежной чистотой.

Чернели кедры обгорелые...
И утверждал тот строгий вид,
Что мир из черного и белого
По существу и состоит.

ЗЕМЛЯ

Мы сначала снимали твой снежный покров.
Кисти мерзлой брусники алели, как кровь.

Корни сосен рубили потом топором
И тебя обжигали горячим костром.

А потом мы ругались, суглинок кайля,—
До чего ж ты упряма, родная земля!

Наконец ты сдавалась, дымясь и скорбя.
Мы ведь люди, земля! Мы сильнее тебя.

Воронеж.



ВЛАДИМИР ПАЛЬЧИКОВ

★

ЗАЖИГАЮТСЯ ОКНА

Зажигаются окна —
как будто слепцы прозревают!
Зажигаются окна —
рассвета не прозевают.
Из-за рощ и увалов
выходят ему на подмогу,
золотые квадраты
кладут на панель и дорогу.
Вот придет он, рассвет,
и увидит — спешил не напрасно:
нету в целой округе
окна, притемненного праздно.
...Проступает вдали
заревая горячая охра,
а навстречу встают,
зажигаются
ясные окна.

Мать

Был хлеб войны
Тяжел,
Как глина, вязок.
Делила мать коричневый комок,
И я свой пай
Съедал до крошки сразу
И совладать никак с собой не мог.
Вздыхала мать:
— День впереди, а он уж
Разделаться успел — как дважды два.
Держи-ка вот добавку, несмышленыш,
Ведь ты у нас —
Семейству голова.
Тебе нельзя расти худым да слабым,
Держи еще, чтоб кость была крепка!
А то отец с нас спросит:
«Эх вы, бабы,
Вы что ж мне заморили мужика?!»
Ложился ноздреватый ломтик тонкий

С моей тарелкой рядышком опять,
Подрагивали губы у сестренки,
Притихшая задумывалась мать...

...Оно во мне, недавнее былое.
Я без отца поднялся и окреп,
Мне ль не понять, какой тебе ценою
Достался хлеб,
Меня вскормивший хлеб.

Наш стол накрыт —
Что хочешь, мама, пробуй,
Мой о тебе заботиться черед.
Но знаю, знаю:
Никакою сдобой
Не расплачу́сь
За черный,
Вязкий,
Тот.

* * *

Костер зажжен.
Не глохнут искры в дыме,
Огонь встает — азартней, горячей,
И лица сразу стали молодыми,
И нету об усталости речей.
Костер зажжен!
И тлеть он — не желает.
Он не боится биться на ветру,
Он высоко и радостно пылает,
Как это полагается костру.
Поляна мглой затянута, как тиной,—
Ему ль, чадя, вести дровишкам счет?
Он все сожжет до веточки единой
И в пепел, обессилев, упадет.
Но нет, мы не дадим ему до срока
Погаснуть...
Длится с тьмою жаркий спор,
И хочет быть душа моя высокой,
Высокою и щедрой,
Как костер!

Село Калинино Омской области.



ТАТЬЯНА ЕСЕНИНА

★

ЖЕНЯ—ЧУДО XX ВЕКА

Юмористическая повесть

Часть первая

Глава первая

В гостях у кошачьего доктора

Историю, которую вы прочтете, я слышала от молодого провинциального журналиста.

— Я хотел начать свой рассказ,— сказал он,— с того, как один мой знакомый в трезвом виде громил особняк взяточника, гражданина Гурьева. Как об этом моем знакомом, скромном парне, белобрысом Женьке, писали научный труд проходимцы. Но не успел я написать нескольких страниц, как ко мне заявился мой друг Вася Голубев. Я вышел из комнаты, чтобы принести ему чашку чая, а он без спроса взял тетрадь и все прочел.

— Начало хорошее,— сказал Вася.— Открывается дверь, и кто-то получает кулаком по носу. Это интересно. Особенно приятно, что нос принадлежит Гурьеву. Но дальше многое будет непонятно читателю. Почему, например, Женю украли? Надо рассказать все с самого начала. Пусть будет неинтересно, но понятно.

Я подумал и согласился с ним. Действительно, лучше начинать с начала, чем с конца. Надо рассказать о том, что происходило примерно в течение трех месяцев перед концом гражданина Гурьева и не имело к этому концу ни малейшего отношения. Короче говоря, все началось с болезни кошки Дуни. Кроме Дуни, заболела еще хозяйка, моя единственная соседка по квартире Екатерина Ивановна. Лежит и чихает. Заболей я, она знала бы, что делать. Но я в первый момент страшно растерялся. Потом сообразил и вскипятил чай. Затем я пригласил по телефону врача и позвал соседок.

Будь у меня жена, она считала бы, что я сделал лишь сотую долю того, что положено. Но посторонние женщины смотрели на меня с умилением как на самостоятельного человека.

А Екатерина Ивановна все жалела свою Дуню, вздрагивавшую в углу, на подстилке, и повторяла одно слово:

— Подохнет.

— Не подохнет,— сказал я, решившись на самоотверженный поступок.— Вечером я отнесу вашу Дуню к ветеринару.

У одного знакомого собачника я узнал адрес мужчины, к которому можно прийти с больной кошкой. И вот я поднимаюсь на четвертый этаж с хозяйственной сумкой, на дне которой бредит Дуня. Пониже площадки второго этажа почерком первоклассника выведено: «Все вы дураки». Протягивая руку к звонку, я увидел нарисованную на двери собачью морду в профиль.

В просторной передней стоял стол, обитый листом цинка. За столом сидел крупный немолодой блондин в больничном халате. Он держал в руке белую мышь и смотрел на нее в лупу. У стены на длинной скамейке примостилось несколько мальчишек с мелкой живностью в руках. Я присел рядом с ними, и они принялись шептаться, поглядывая на мою сумку.

— Что у вас там, дядя?— не выдержал один из мальчиков.

— Небольшой носорог,— ответил я довольно равнодушно.— Вернее, но-со-ро-же-нок. Он подрался с собакой, и она откусила ему рог.

— И нет,— сказал мальчик.

Но я заметил в его глазах подозрительный блеск.

— И да,— возразил я.— Жаль, что ты не видел. Хорошая была драка.

Я держался стойко и не открывал сумки, пока ветеринар не выпроводил мальчишек. Мне было интересно, сколько они заплатят ему—трешку или пятьдесят. Но о деньгах речи не было. Вместо того чтобы непрерывно повышать удои молока где-нибудь на свежем воздухе, этот здоровенный ветеринар крутил хвосты мелким тварям в душной передней. То, что он делал это бесплатно, говорило в его пользу.

Когда ребята вышли, шагов по лестнице мы не услышали. Возле замочной скважины раздавались сопение и громкий шепот.

— Давайте сюда носорога,— сказал ветеринар, протягивая руку к сумке. Нащупав Дуню, он нисколько не удивился и вытащил ее за шиворот.

Я с тревогой смотрел, как бесцеремонно он с ней обращался.

— Вон он — рог,— шепнули за дверью.

— Это не рог, а кошачий хвост,— послышался другой, более трезвый шепот.— Пошли, ребята. Это большой котенок.

Ветеринар сказал на ухо Дуне что-то обнадеживающее, заглянул ей в пасть и вообще оказывал ей всяческие знаки внимания. И все-таки я заметил, что мне в лицо он заглядывал с еще большим интересом. Вдруг ветеринар сказал мне:

— А не могли бы вы остаться, поговорить со мной? Разговор, мне кажется, не скучный. Я ведь знаю, где вы работаете. Видел вас там.

Я не ел с утра, потому что Екатерина Ивановна больна. Я был приглашен на ужин к трем женщинам сразу. Всех их звали совершенно одинаково. А тут мне навязывают какой-то, наверное кляузный, разговор. Конечно, раз человек таскается по городу с кошкой, значит, он тряпка и можно сесть ему на шею.

— Вы думаете, я нахал?— улыбаясь спросил ветеринар.

Но я не похвалил его за догадливость. Я сказал:

— Что вы, что вы!

— А ведь разговор оч-чень интересный,— нажимая на слово «очень», сказал мой собеседник.

Не люблю, когда меня так искушают.

— Я приду к вам завтра,— поспешно ответил я.

Врач проводил меня до надписи «Все вы дураки». По дороге мы представились друг другу. Я узнал, что его зовут Смирновым Сергеем Васильевичем.

И вот я, вручив кошку хозяйке, иду к трем Мариям. Такое совпадение имен не страшно — это имя претерпевает многочисленные превращения. У младшей Марии — Муси — глаза как большие лакированные пуговицы. Ее умные речи хочется беспрерывно записывать и куда-то посылать для опубликования в печати. Вторая Мария — Мария Михайловна — пенсионерка, бывший директор школы. Она старше первой раз в пятнадцать. По просьбе моей матери она меня опекает со дня приезда в этот город. Иначе говоря, я иногда сюда прихожу, и меня спрашивают, что я ел позавчера и на прошлой неделе. Третья Мария — Маша — моя

ровесница. Если бы не она, я не позволил бы так долго себя опекать. Но это не мешает мне прямо в глаза говорить ей, что она буржуйка. Мне нравится этот дом, в котором я никогда не видел мужчин.

Но сегодня меня ждала неприятность. Поздоровавшись с Марией Михайловной, я заметил в передней на вешалке мужской плащ. Это заставило меня задуматься. Собственно говоря, что мне мешает сейчас вот, сию минуту, повернуться и уйти? Я лягу спать голодный, а завтра с головой уйду в работу и ни о чем не буду вспоминать. А плащ пусть висит хоть до утра.

— Идите, идите, Дима,— сказала Мария Михайловна, проталкивая меня в столовую.— Сейчас будем ужинать. Расскажите, что вы сегодня ели.

В столовой Маши не было. На столе стояли тарелки с чем-то золотистым и серебристым. Но аппетита у меня не было.

— Я сегодня ничего не ел,— ответил я.— Но я не хочу.

Мария Михайловна со стоном заломила руки. В этот самый момент в комнату вошел мужчина. Он был молод и строен. Его черные волосы стягивало что-то вроде обруча. Ко лбу его было прикреплено круглое, нестерпимо сверкающее зеркало, придававшее ему марсианский вид. Я не стал бы надевать такое украшение, чтобы пленять им женщин.

Не взглянув на меня, мужчина попросил у Марии Михайловны ложечку и быстро вышел. А ведь я его узнал: он принимал больных в нашей поликлинике. К двери его кабинета была прикреплена табличка «Ухо-горло-нос». Значит, сейчас Маша сидит с Ухогорлоносом в спальне...

— Не выдумывайте глупостей, Дима,— перебила мои мысли Мария Михайловна.— Как это не хочу? Я вас заставлю есть. Муся у нас немножко заболела. Сейчас ее посмотрит врач, и мы сядем за стол.

Прекрасно. Сейчас Ухогорлонос уйдет. А мы будем ужинать.

Не успел я так подумать — вошла Маша. Позади нее шел Ухогорлонос. Он снял лобный рефлектор. Так он выглядел проще, но все равно трудно было догадаться, что у него на уме. Я отвернулся на секунду к окну. Стало смеркаться.

Маша зажгла свет, поздоровалась со мной и представила мне Ухогорлоноса, назвав имя, которое я нарочно не запомнил.

— Это мой товарищ по мединституту. Мы вместе учились,— сказала она.

За столом Ухогорлонос изящно кушал пирожки и рассказывал сказки. Он сказал, что одному мужчине вставил новое горло и тот вновь обрел голос. И этим голосом мужчина не переставал благодарить своего исцелителя. Маша ахала и удивлялась.

Я бы тоже мог кое-что рассказать. Недавно я помог снять с работы одного зарвавшегося директора завода. Но такие рассказы не умиляют женщин. Впрочем, у меня есть другая собеседница, поумнее. И я поведал Марии Михайловне о своем визите к ветеринару. Когда я мимоходом упомянул о собачьем профиле на дверях, она перебила меня:

— Погодите, я его знаю. Его жена, Юлия Семеновна, преподает в нашей школе немецкий.

И Мария Михайловна рассказала мне, что знала о Смирнове. Он преподает в сельскохозяйственном институте. Энергичный, но со странностями. Дома у него целая лаборатория. Что он там делает, никому не известно. А сейчас его жена ходит какая-то пришибленная. Можно подумать, что ей каждый день показывают разные неприятные чучела и не велят говорить об этом. Недавно она рассказывала Марии Михайловне по секрету, что мужем ее овладела какая-то идея. Смотрит на людей изучающим взглядом и задает им странные вопросы. А мелких животных он лечит так, для развлечения. Кто-то из соседей вечно рисует у них на две-

рях какого-нибудь зверя, и Юлия Семеновна каждый день моет дверь щеткой.

— Вы заговорились,— недовольным голосом сказала Маша.

Я поднял глаза. Оказывается, Ухогорлонос уже встал из-за стола, сидел на тахте и читал журнал. Маша собирала посуду.

— Ведь мы с тобой, Дима, хотели идти в кино,— продолжала Маша.— Сейчас начнется последний сеанс. Вставай! Мы идем в кино втроем.

Ухогорлонос немедленно побежал в переднюю, схватил Машино пальто и стал за ее спиной, как швейцар.

— Мне не хочется идти. У меня болит голова,— сказал я, не поднимаясь со стула.

Мне было интересно, что после этих слов будет делать Маша. А она на меня и не взглянула.

— Тогда мы пошли,— спокойно проговорила она.

Когда дверь за ними захлопнулась, я тоже поплелся в переднюю. Меня догнала Мария Михайловна.

— Дима,— сказала она, внимательно взглянув на меня.— У меня к вам две просьбы. Не сердитесь на Машу. Вы всегда ее дразните. Почему бы ей не подразнить вас? И еще прошу. Не поленитесь — сходите к Сергею Васильевичу. Мне самой интересно знать, чего он от вас хочет.

Разумеется, я ответил, что займусь ветеринаром вплотную.

А гражданин Гурьев? Когда же я им займусь вплотную? До него еще не скоро дойдет очередь, хотя он, как всегда, немного мешает мне жить.

Недавно я даже видел его во сне. Иду я по улице, а навстречу красивая дама. Хорошо одетая. И говорит мне:

— Дайте, пожалуйста, шестьдесят рублей, а то я деньги дома забыла.

Я дал ей деньги и пошел дальше. А дама вслед кричит:

— Кому их вернуть?

Я говорю:

— Отдайте тому, кто попросит. Только, пожалуйста, на этой улице. Тут ходят самые честные люди.

Иду дальше. Навстречу паренек. Вздыхает — хорошие у вас часы, я тоже хочу такие.

Я снял часы с руки и отдал ему. Иду дальше. Вижу — стоит девушка в прозрачной кофточке. Мерзнет, дует на пальцы. Я накинул свой пиджак ей на плечи. Иду и думаю: почему это я все раздаю, а сам ни у кого ничего не прошу? Только подумал так — встречаю жителя нашего города гражданина Гурьева. Удивился я: как это он попал на нашу улицу? Говорю ему:

— Мне очень нравится ваш особняк. Не можете ли вы оттуда выехать? Одному моему знакомому детскому саду требуется хорошее помещение.

Гражданин Гурьев от неожиданности пошатнулся, не удержал равновесия и присел на корточки. Я помог ему подняться и отряхнуть от пыли его серый макинтош. А он глаза закатил — и хлоп в обморок! Я подтащил его к будке с газированной водой, спрыснул лицо. Очнулся он и спрашивает:

— Ты чего про особняк намекал? Я не понял.

Я стал объяснять еще доходчивее, а Гурьев хвать меня за горло и давай душить. Но тут мне повезло — я проснулся.

Сон этот не отражает действительности. Я никому не отдавал своих часов, потому что их никто у меня не просил. Но и во сне проявилась одна нехорошая моя черта — вечно кому-то хочется сделать одолжение, хотя тебя на то и не уполномочивали. Чего бы мне стоило попросить у Гурьева особняк для себя лично? Он на меня и не взглянул бы, пошел дальше. А так чуть не задушил.

Глава вторая

На сцене появляется Грушняк

Разумеется, я не с утра пошел к ветеринару. С утра я работаю. Чтобы забыться, не вспоминать о своей ровеснице, я должен с головой уйти в работу.

Я сижу, удобно развалившись в кресле, курю папиросу и тихо наблюдаю, как мечется мой заведующий — лысый Петя. То он вылетает на несколько минут из комнаты, то бежит к шкафу и начинает листать подшивки газет, то бросается к телефону.

— Ты долго будешь метаться? — лениво спрашиваю я.

— Не мешай.— Он делает гримасу, такую, какая отнимает как можно меньше времени.

Нет на свете производства ритмичнее нашего: мы не выпускаем пятнадцать номеров газеты тридцатого числа каждого месяца. Но это не значит, что мы не знаем штурмовщины. Такой штурмовщины, как у нас, нет ни на одном заводе. Однако нас за нее не ругают. Она входит в наши функции. Вот мчится журналист. У него уже открылось второе дыхание. А через пять минут вы можете увидеть его сидящим в той же позе, что и я сейчас. И это зрелище вы можете наблюдать довольно долго. Если вы привыкли работать ритмично, если вы педантичны и раздражительны, не интересуйтесь, как делается газета. Судите о нас по качеству продукции, не вникая в технологию.

Петя сдает наконец статью в завтрашний номер, но он садится не в кресло, а за стол и вынимает из ящика бумаги. Это молчаливый намек на то, что я должен последовать его примеру. Таким способом, тихо страдая, он руководит мной. Петя вряд ли умеет хоть что-нибудь делать лучше, чем я. Но знает он неизмеримо больше. Он знает, чего хочет наш редактор. А я часто этого не знаю. Я, например, пытался написать фельетон про гражданина Гурьева, но оказалось, что редактор этого вовсе не хочет.

Петя молча работает. Может быть, он делает вид, что работает. Иногда он поглядывает на меня то строго, то страдальчески: когда же ты последуешь моему примеру?

Я сажусь за стол. Но теперь Пете становится скучно. Он уже не должен подавать пример и начинает страшно мешать мне. Касается он тем, не имеющих никакого отношения к нашей работе. Таких тем, между прочим, очень мало. Петя говорит:

— А на нашей практикантке Гале можно поставить...

Поплевав на пальцы, он вычерчивает ими в воздухе огромный крест.

Мне некогда, но тут нельзя не спросить:

— Почему?

— Потому что она ходила в ресторан с Чугалинским,— вздохнув, отвечает Петя.

Тут что-то не то. Если бы мне сказали, что Чугалинский год ничего не ел, я бы поверил. Но в ресторан пойти он не мог.

Потом Петя говорит, что все вещи в особняке Гурьева строго распределены по комнатам. Одна комната стоит пятьдесят тысяч, другая — семьдесят пять, третья — сто тысяч и так далее.

Он подробно рассказывает, что́ находится в стотысячной комнате.

— Не мешай,— говорю я ему.

Но только он замолк, чей-то степенный баритон спрашивает:

— Можно войти?

Я поднимаю глаза. Кошмар! В дверях стоит Грушняк! Теперь весь вопрос в том, к кому он подойдет. Петя мог бы проявить великодушие и поманить Грушняка к себе. Но, увы, на такой подвиг он не спосо-

бен. Он начинает симулировать необычайную занятость. Мне надо бы с оперативностью журналиста выскочить за дверь, но я растерялся и уставился на Грушняка вытаращенными от ужаса глазами. Сочтя этот взгляд за приглашение, Грушняк надвигается на меня. Теперь у меня остается два выхода — выброситься в окно или раствориться в воздухе. Я не успеваю сделать ни того, ни другого. Грушняк рядом. Я сдаюсь. Я погиб...

Видели ли вы министра, которого вот-вот снимут с работы за отрыв от масс? Его должны снять сию секунду, ибо в своем отрыве он достиг последней точки. Увидев мужчину, не похожего на шофера, или женщину, не похожую на секретаршу, он удивляется, пугается и ждет беды. Я этакого не видел, и не дай бог увидеть. Но, по-моему, Грушняк должен быть копией такого министра. Несмотря на свой патологически руководящий вид, он работал всего-навсего старшим инженером. Теперь он, здоровый черт, сидит на пенсии. Меня смущает простая арифметика. Я уверен, что Грушняк проживет до ста пятидесяти лет, как некоторые лихие горцы. И получится, что он работал за свою жизнь тридцать пять лет и сидел на пенсии девяносто.

В свое время Грушняк изобрел какой-то гибрид утюга со сковородкой. Тогда он, наверное, и начал мечтать о славе. Но после этого взлетов творческой фантазии у него уж больше не было, а у окружающих почему-то были. Глядя на них, Грушняк испытывал муки Тантала. Но Тантал был простак, к тому же убитый горем. Он не догадался заставить кого-нибудь зачерпнуть воды вместо себя и отнять у него эту воду. А Грушняк сообразил, что изобретение можно отнять, украсть, можно примазаться в соавторы. Он мог утянуть и никому не нужное изобретение, если оно плохо лежало. Представляю себе, сколько цветов преподнесли Грушняку, когда провожали его на пенсию.

У него неприятная манера приходить со своими изобретениями первым долгом в редакцию. А когда его посылают к специалистам на консультацию, он начинает жаловаться, что его зажимают. Он очень много ходит, что, увы, полезно в его возрасте.

Сейчас он раскроет лягушачий рот и квакнет что-нибудь насчет своей новой идеи.

— У меня родилась новая идея, Дмитрий Павлович,— говорит Грушняк и смотрит на меня своими разноцветными глазами (природа вообще многое напутала, создавая Грушняка).

— Очень новая? — спрашиваю я, не глядя на него.

— Я бы сказал — оригинальная.

Говорить, что мне некогда, бесполезно. Грушняк уже сидит и рассказывает, глядя зеленым глазом на меня, а карим на Петю. Я продолжаю работать, но потом прислушиваюсь. Грушняк плетет что-то знакомое. Речь идет о том, чтобы напоить водой стонущую от жажды пустыню. Для этого используется эскадрилья самолетов. Они снабжены мощными конденсаторными установками. Паря меж облаков, они превращают их в воду и спускаются на землю под аплодисменты чабанов, которые тут же начинают поить отары овец. Я говорю:

— В нашей области нет пустынь.

Грушняк отвечает кротко:

— Ну и что же?

Мне нечего ответить — в ведении любой редакции если не практически, то хотя бы теоретически находится весь мир. Тогда я говорю:

— А вы не слыхали, что в пустынях роют каналы?

Грушняк смотрит на меня обоими глазами вместе и радостно говорит:

— Там, где пасутся отары баранов, там чаще всего нет каналов.

— Отар баранов не бывает,— торжествую я.— Бывают отары овец, и воду они пьют из колодцев.

В зеленом глазу Грушняка вспыхивает зеленое пламя.

— Эту воду достают с помощью верблюдов,— гордо говорит он.

Ах, как он попался мне на удочку!

— А чем эта вода хуже той, которую по молекулам собирают в небе, как землянику?

Пламя охватывает второй глаз Грушняка.

— Верблюды — это отсталая техника. А у меня передовая — самолеты.

— А не дешевле привезти воду из близлежащего канала? Теми же самолетами, если вам их некуда девать.

Оба глаза потускнели. Грушняк не знает, что ответить. Выражаясь шахматным языком, я его заматовал. Но Грушняк все-таки находит ответ. Он говорит, что в этом здании ценные предложения всегда отвергаются. Это уже не игра. Это не по правилам. Заматованный король не имеет права ходить. И я хочу крикнуть Грушняку, что не желаю больше с ним разговаривать, но вовремя спохватываюсь. Нельзя его просто так прогонять. Ведь легко доказать, что он украл свою блестяще нелепую идею. И я говорю, что он может оставить чертежи — мы проконсультируемся со специалистами.

Грушняк ушел, напыжившись, словно ему предстояла встреча с сотней подчиненных. А в коридоре его ждал всего-навсего какой-то небритый тип. Я уже не в первый раз вижу этого небритого вместе с Грушняком.

— Ты правда будешь консультироваться? — спросил меня Петя.

— Я хочу его поймать. Я знаю, кому принадлежит эта дурацкая идея. Грушняк украл ее.

— Хитрец...— говорит Петя.

Петя сам хитрец. Он мог бы принять Грушняка вместо меня — ведь ничего же не делал. Ну ладно, зато я теперь доберусь до этого любителя оригинальных идей. Мне надоело. Я знаю одного ответственного работника, который плакал из-за этого кляузника настоящими слезами. Слезы катились по щекам, капали с подбородка и оставляли следы на пиджаке.

Не успел я с головой уйти в работу, как вошла практикантка Галя.

— Зачем ты ходила в ресторан с Чугалинским? — строго спрашиваю ее.

Галя веселится:

— Я нарочно сказала Петру Андреевичу про Чугалинского. Я была в кафе с подругой.

— А со мной ты пошла бы в ресторан, Галя? — задаю я вопрос специально для краснеющего Пети.

Но Галя смотрит на Петю, и ей становится его жаль.

— С тобой я не пойду,— гордо отвергает она меня.— Я знаю, что у тебя есть невеста.

У меня есть невеста! Если бы только одна знакомая знала, что обо мне ходят такие слухи!

Глава третья

Я отгадываю загадку

Вечером, когда у соседки в комнате заорала кошка, я вспомнил про ветеринара. Выйдя из дома, я свернул с нашей бестолковой грохочущей магистрали на более солидную и спокойную улицу, затем вошел в тихий переулок и вскоре поднимался на четвертый этаж. На площадке стояла

хрупкая, молодая еще женщина и терла щеткой поросячье рыло, нарисованное на дверях красным карандашом. Это, конечно, была Юлия Семеновна.

— Стоит ли бороться с традицией! — крикнул я ей с лестницы.— Все равно что-нибудь нарисуют.

— Вы к Сергею Васильевичу? — спросила она.

Я представился.

— Сережа, к тебе! — крикнула она в открытую дверь и, повернувшись ко мне, сказала: — Пусть рисуют, но свиную морду я не хочу.

Сергей Васильевич, увидев меня, обрадовался. Он провел меня в большую комнату, беспорядочно заставленную разнокалиберной мебелью. Дверь в соседнюю комнату была чуть-чуть приоткрыта. Виднелся микроскоп, стоящий на столе. Разумеется, это была лаборатория. Я сразу догадался, почему в большой комнате было много лишней мебели и даже одно из кресел стояло на столе, лишая помещение уюта. Все это в свое время было выкинуто из комнаты, ставшей лабораторией. По всему чувствовалось, что хозяева квартиры свысока относились к неодушевленным предметам. Не то что моя ровесница.

— Признавайтесь,— сказал хозяин, усаживая меня на продавленную кушетку,— что вы подумали обо мне вчера? Склочник? Сутяга? Изобретатель вечного двигателя?

— Если бы я так подумал, я не пришел бы к вам.

Мы молча закурили.

— Хотите, расскажу, почему я обратился именно к вам? — прервал молчание Сергей Васильевич.— Во-первых, у вас подходящая профессия. Потом мне понравилось, как тепло смотрели вы на свою кошку. Я не люблю тех, кто в детстве был кошкодавом.

— Это не моя кошка, а соседкина,— внес я поправку.— Если вы будете говорить «ваша кошка», я нарисую на ваших дверях гориллу.

— Мне понравилось также,— продолжал Сергей Васильевич,— как вы смотрели на моих мальчишек.

— Мальчишек люблю,— не стал я отпираться.— Итак, по-вашему, я жалкий добряк, которого можно вовлечь в любую авантюру?

— Приблизительно так... Но мне еще хочется иметь некоторое представление о ваших знаниях. Что вы помните из биологии?

Я безуспешно рылся в памяти. Но вот я вспомнил картинку из школьного учебника. Это был хвостатый мальчик. А потом в голове замелькали обрывки знаний, заслуживших когда-то прочную тройку. Ботаника. Анатомия и физиология человека. Основы дарвинизма. Хрящевые рыбы. И слова, выделенные курсивом в книге: «Без питания животные не могут жить».

— Все помню,— похвастался я.

— Ладно, верю на слово. Когда, по-вашему, человек сможет искусственным путем воссоздать живую клетку?

— Ну, скажем... через миллион лет. А может быть, через сто.

— И какие возможности это даст людям?

— Гм...— задумался я.— Очевидно, медики будут плясать от восторга.

— Видите ли,— сказал ветеринар,— мне не дает покоя одна мысль, одна идея...

— Связанная с искусственными клетками?

— Да. С первого взгляда она кажется абсолютно праздной, удивительно бесполезной. Размышляешь об этом, и у тебя начинают запутываться мозги. Сядешь, распутаешь их и думаешь дальше. И тогда эта идея начинает казаться менее бесполезной.

— Ну, ну, давайте,— заинтересовался я.

— Погодите, я хочу, чтобы вы сами догадались. Юля,— обратился он к вошедшей жене,— чайку бы.

— Худенькая она у вас,— вздохнул я.— Не понимаю, как с такой комплекцией можно преподавать в школе иностранный язык. Тяжело.

— Тяжело,— подтвердил Сергей Васильевич.— Правда, я стараюсь облегчить ее труд. Мальчишкам, которые ходят ко мне, я ставлю условие — учить по десять немецких слов в день. Но всех мальчишек я не могу охватить. Кроме того, есть еще девчонки. Однако девчонки, представьте себе, сами иногда учат...

За чаем Юлия Семеновна с любопытством поглядывала на меня. Наконец она не вытерпела и спросила мужа:

— Сережа, ты еще не все рассказал?

— Ишь ты, какая быстрая,— ответил Сергей Васильевич.— Надо человека подготовить. Или ты хочешь, чтобы наш гость под кровать полез?

Юлия Семеновна засмеялась.

— Наш гость мужчина,— сказала она.— Он не полезет. Ему во сне будут сниться скелеты. Вот и все.

— Правильно,— подхватил я.— Мне всегда снятся скелеты, когда меня обманывают. Сергей Васильевич вообще еще ничего не рассказал мне. Он хочет, чтобы я сам догадался. А я недогадливый.

— Нет уж, вы подумайте, подумайте,— попросил ветеринар.— Если вам придет в голову та же идея, значит я не такой уж сумасшедший...

— А если мы оба окажемся сумасшедшими?

— Тоже неплохо. Приятно иметь товарища по несчастью.

Что ж, придется подумать. Я подсел к письменному столу и стал рассеянно чертить карандашом по бумаге.

«Конечно,— думал я,— эти живые клетки — великолепный строительный материал для хирурга. Можно сделать человеку глаз. Можно— новую голову. Чудесное может появиться в далеком будущем выражение: «Хочу справить себе новую голову».

А рука моя машинально чертила палочки и кружочки, из них получались фигурки по принципу: «Ручки, ножки, огуречик — вот и вышел человечек». И тут меня осенило: я догадался, что может получиться из клеток. Впрочем, идея не нова. Можно вспомнить древнегреческого Пигмалиона с его куклой. Буратино был выточен из куска дерева. Дюймовочка в счет не идет — она сама получилась: посадили ячменное зерно, вырос тюльпан, а в нем — Дюймовочка. Но разве это те сказки, которым суждено стать былью? Не может быть, чтобы ветеринар именно это имел в виду.

Сергей Васильевич подошел и испытующе посмотрел на меня.

— Я вижу, вы уже до чего-то додумались,— сказал он.

— Вы ошиблись, у меня нет идей,— ответил я.— То, о чем вы говорите, кажется мне чересчур далеким. А я газетчик. Я весь в сегодняшнем дне. Мысль моя не пробивается сквозь толщу веков.

— Сейчас я посмотрю, как вы у меня будете балагурить,— делая сердитые глаза, прошипел Сергей Васильевич.

Он скрылся на минуту в своей лаборатории и вышел оттуда, держа на ладони маленькую зеленую лягушку. Двумя пальцами он поставил ее к моим ногам. Я отодвинул ноги.

— Любуйтесь,— произнес Сергей Васильевич.— Эту лягушку я сделал сам из неорганических веществ. Она никогда не была головастиком.

Лягушка раздувала зеленые бока. Между передними лапками виднелся белый живот — основное, что мне в ней не нравилось. Почему ветеринар не усовершенствовал свою лягушку, не сделал ей зеленого живота? Жалкая копия, никакого творчества.

— Уберите ее, пока она не прыгнула,— попросил я.— Вы гений, я сдаюсь. Но уберите ее, товарищ гений!

Ветеринар расхохотался так громко, что лягушка не выдержала и прыгнула. Я подобрал ноги. Ветеринар поймал свое произведение и унес обратно. Вернувшись, он стал надо мной издеваться:

— Эх вы! Если бы я был способен создать своими руками такую великолепную вещь, я бы тут с вами не разговаривал. Сам президент Академии наук на меня бы молился. Неужели вы могли поверить, что я сам слепил это прыгающее чудо? Вы ужасный профан.

— Просто я подумал, что вы колдун, сын ведьмы и лешего,— оправдывался я.— И потом, мало ли какими фокусами вы занимаетесь в своей лаборатории! Я же не знаю.

— Опыты делаю. Выучился на ветеринара, а влечет биохимия. Вдруг я, а не кто другой разгадает загадку происхождения жизни? Вдруг догадаюсь, как Ньютон, отчего падает яблоко? А может, сделаю хоть крохотный шажок вперед в науке. Но все это не имеет отношения к делу. Все мои опыты привели пока лишь к одной бредовой идее. Догадались вы наконец, что я имею в виду?

— Вообще, конечно,— осторожно начал я,— если иметь эти ваши клетки в подходящем ассортименте, то через миллион лет можно сделать из них муху или, например, слона... Неплохо бы корову...

— Совсем неплохо. Еще что?

Я видел, что нахожусь на правильном пути, но все же решил подойти к финишу на тормозах.

— Еще вот что,— продолжал я.— Я видел как-то большую модель человеческого уха. Она производила неплохое впечатление. Менее радует другая модель — безрукий и безногий индивидуум из папье-маше или из дерева, бог его знает, с ободранной кожей, с вынимающейся печенкой. Я знаю, что все это нужно для обучения медиков. И я подумал, что когда-нибудь может пригодиться живая искусственная модель. Но тут меня одно смущает...

— А именно? — заволновался Сергей Васильевич.

— Модель сделана. Она живет и радуется. А если ее опять разобрать на составные части, как это будет называться?

— Это будет называться убийством,— хладнокровно произнес мой собеседник.— И это будет караться по соответствующей статье уголовного кодекса. Если эта модель напишет к вам в редакцию жалобу, вы должны помнить, что за этой жалобой стоит живой человек. И никто не посмеет насильно демонстрировать эту модель студентам.

— Тогда на черта она нужна?

— Так это же невероятно интересно. Человек рано или поздно сделает эту модель. И я уверен, что предварительно будет издан закон, запрещающий издеваться над природой, делать в лабораториях великанов, карликов, жуликов, пьяниц — копии с других людей. Это должен быть красивый, здоровый, нормальный человек. И я считаю, что план того, каким будет этот человек, надо составлять уже сейчас. Это очень кропотливая, ответственная работа.

— Сию минуту надо составлять план?

— Сию минуту. Наука мчится вперед с быстротой ракеты.

— Но неужели вам мало диспутов о любви и дружбе? — пожал я плечами.— Дискуссий о положительном герое? Неужели мало живых примеров перед глазами?

— Будьте любезны, не разводите демагогию,— попросил меня Сергей Васильевич.— Разумеется, вокруг нас очень много замечательных людей. Но я вам уже говорил — нельзя снимать копию. Надо творить. Если вам это кажется простым делом, составьте не сходя с места по-

дробное описание такого человека — со всех точек зрения великолепного и с ярко выраженной индивидуальностью.

Ха-ха! Он даже не знает, до чего он попал в точку, этот ветеринар. Такой человек нам с Васей Голубевым самим позарез нужен. Несколько месяцев назад мы начали вместе с ним писать пьесу. Комедию. Бьемся, как две рыбы об лед, над образом человека почти без недостатков. Я не стал пересказывать Сергею Васильевичу содержания пьесы, но рассказал ему, что мы работаем над образом нового человека. Правда, в первом варианте пьесы он не совершает никаких поступков и говорит только «да» и «нет». Но мы работаем. Будут поступки, черты характера, склад мыслей и все прочее. Всем этим мы можем поделиться с Сергеем Васильевичем. Плагиата мы не боимся, поскольку его «живая модель» раньше чем через тысячу лет не появится.

— Знаете что,— сказал ветеринар,— не советую вам говорить о тысяче лет. Боюсь, что «живая модель» появится очень скоро. Сочинить все, что придется вложить ей в память,— это колоссальный труд. Почему не начать этот труд тому, кому первому придет мысль об этом человеке? Но мне нужны помощники, нужны добрые советы множества людей.

— Кажется, я начинаю жалеть, что продемонстрировал вам свою жалость к кошкам и любовь к мальчишкам,— уныло пробормотал я.— Сотни страниц, тысячи добрых советов. «Живая модель» через миллион лет. Эти цифры меня пугают. Мне некогда. У меня работа. У меня пьеса.

— Ведь это должно помочь вам в вашей работе, чудак вы,— зашипел на меня ветеринар.

Он подмигнул вошедшей в комнату жене.

Она вынула из шкафа графин с лимонными корками на дне. Мы выпили по рюмочке под тост Сергея Васильевича:

— За здоровье Евгения Александровича!

— Какого Евгения Александровича? — удивился я.

— А мы с Юлией Семеновной уже имя этому человеку придумали.

— Так зовут племянника Сергея Васильевича,— сказала Юлия Семеновна.— Мне нравится и имя и отчество.

— Мы с ней частенько обсуждаем теперь, каким должен быть Евгений Александрович,— сказал ветеринар.— А первое время она и слышать о нем не хотела. Я ей тоже как-то преподнес лягушку. Она верит в науку не хуже вас. Она начала умолять меня не изобретать человека. Чтобы получился человек, надо сделать скелет. А скелетов она боится. Для нее лучше очковая змея, чем человек.

— Хорошо,— сказал я.— Я готов принести себя в жертву. Я стойко вынесу, когда на меня будут смотреть как на кретина. Буду собирать для вас добрые советы, созову целое совещание. Забреду на огонек к какому-нибудь перепачканному чернилами льву и послушаю, как он будет рыкать и бить хвостом, потрясенный нелепостью ваших идей.

— Дело ваше,— улыбнулся ветеринар.

Я откланялся и вышел на лестницу.

— Пожалуйста, не рисуйте гориллу! — крикнули мне вслед.— Горилла уже была...

Глава четвертая

Каким же он должен быть, далекий Евгений Александрович?

Лучше бы мне к ней не ходить. Но, во-первых, Мария Михайловна хотела знать о моем разговоре с ветеринаром. Во-вторых, возможно, я никогда больше не увижу там Ухогорлоноса.

Я позвонил. Дверь мне открыл... Ухогорлонос. Я не повернулся и не ушел.

— Мария Михайловна дома? — спросил я.

— Ненадолго ушла,— сказал брюнет тоном медсестры, делающей укол.

— Здесь живут две Марии Михайловны. Которая ушла? — спросил я, глядя ему в глаза.

— Маша тоже ушла...

Я не повернулся и не ушел.

— Я подожду,— сказал я.

Ухогорлонос ушел в спальню, откуда доносился голос Муси:

— Дядя Валя, где ты?

Я прошел в столовую, сел на тахту и взглянул в окно. Накрапывал дождь.

Ухогорлонос вошел и сел напротив меня на стул. У него были странные глаза. Потом он заговорил:

— По-моему, вы на меня сердитесь.

Я подумал, что ответить.

— Знаете, что мне хочется вам сказать? — медленно начал я.— Мне хочется сказать вам «мылгрыть».— Это непонятное слово я произнес очень коротко. Тихий курлыкающий звук.

Ухогорлонос смотрел на меня выжидающе.

— Хотите знать, что такое «мылгрыть»? — спросил я.

— Давайте рассказывайте,— строго сказал Ухогорлонос.

Я откинулся поудобнее, подложив под спину подушку.

— Видите ли, у меня есть знакомый с заморским именем — Вися Пьедесталенко. По призванию он подхалим. По натуре — трус. По характеру — тряпка. Но он любит говорить так: «Я сказал ему — молчать, не разговаривать!», «Я сказал ему — пошел вон, дурак!», «Я сказал ему — чтобы ноги твоей здесь больше не было!»

Приятно было произносить любимые слова Пьедесталенко, глядя в упор на Ухогорлоноса.

— И вы знаете,— продолжал я,— Вися не всегда врет. Я заметил, что он часто произносит тихий курлыкающий звук — «мылгрыть». Он позволяет себе произносить его, когда говорит с людьми, которых не очень боится. И мне захотелось расшифровать этот звук. Мне повезло. Однажды я слышал, как Вися разговаривал с одной очень робкой женщиной. Свое любимое словечко он произносил довольно часто, скандируя. У него получалось «мыл-че-не-грыть». И я понял, что это такое. Это был грозный приказ: «Молчать, не разговаривать!» И вот я вам говорю: «Мылгрыть».

Ухогорлонос вздохнул.

— Сказать вам это я тоже сумею. Я еще кое-что смогу. Но зачем нам ломать чужую мебель? Может быть, обойдется без этого, если я скажу, что у меня есть жена. Кроме того, я живу в этом же доме. Я пришел еще раз посмотреть горло девчонке. Женщины упросили меня минутку посидеть с ней. Они пошли вместе в магазин. Я согласился. Я сосед и хороший человек.

— Ну и оставайтесь таким,— буркнул я грубо, но виновато.

Женщины вошли с кипой кульков. Маша с любопытством посмотрела на меня и Ухогорлоноса. А я посмотрел в окно. Дождь перестал.

Через минуту я рассказывал всему обществу о беседе с Сергеем Васильевичем. Муся с перевязанным горлом сидела возле меня на тахте.

— А ну-ка, товарищи, угадайте загадку, которую мне задал ветеринар. Что интересное можно сделать, когда человек научится искусственным путем получать живые клетки и ткани?

— Он сделал какое-нибудь открытие? — Маша и Ухогорлонос подскочили.

— Ни черта он не открыл. Он говорит — пытался, но сейчас переключился на другое. Давайте отгадывайте.

— Чего тут отгадывать! — загорячился Ухогорлонос.— Можно будет вставить человеку новое живое горло. Дайте мне это горло, и я сниму с себя последнюю рубаху. Можно будет сделать глухому новые органы слуха. Дайте мне их, и я встану перед вами на колени.

— О чем тут думать! — горячилась Маша.— Можно будет сделать так, что у человека вырастет новая живая рука, новая нога...

— А еще что?

— Вы хотите, чтобы мы перечислили все — сердце, легкие, ногти? — спросила Мария Михайловна.

— Вот, вот. Мне лично на ум пришла новая голова. А ну-ка, Муська,— сказал я прижавшейся ко мне девчонке,— что получится, если взять руки, ноги, голову, спину...

— Получится человечек,— радостно сказала Муся.

— Вот именно. Получится человек. Не правда ли, это звучит гордо?

— В том-то и беда, что это звучит слишком гордо.— Ухогорлонос почесал себе затылок.— Опытов над этим человеком нельзя будет делать. Медицине он не нужен. И вообще я не взял бы на себя ответственность создавать такого человека. Все будут придираться: почему он говорит баритоном, а не басом, почему нос не римский?

— О душе не забывайте,— вставила Мария Михайловна.— С душой его ой-ой-ой сколько мороки будет!

Я рассказал, что ветеринар как раз о душе-то и заботится. Задумал он быть творцом жизни человеческой, жизни Евгения Александровича.

— У Сергея Васильевича есть уже какие-нибудь наметки? — поинтересовалась Маша.

— Наверное, есть. Я его пока об этом не расспрашивал. Но он прав — полезно бы целую дискуссию организовать. Я, например, в толк не возьму, каким он должен быть по темпераменту — холериком ли, флегматиком ли. С одной стороны, не хочется, чтобы он был рыбой, тряпкой. Но, с другой стороны, узнает он, что у него никогда не было ни отца, ни матери, ни тетки, и начнет всем зубы вышибать.

Я, задумавшись, ходил взад и вперед по комнате, а Маша, склонив голову набок, внимательно оглядывала меня. Вдруг она расхохоталась.

— А я точно знаю, каким должен быть Евгений Александрович. Надо взять за образец Димкину душу и сделать все наоборот. Очень милый человек получится.

У нас с ней очень сложные отношения...

Я ушел.

Пойду-ка я домой, лягу на диван с папиросой в зубах да подумаю, какою должна быть «живая модель». Ветеринару, конечно, трудно. Кого он видит? Он считает зубы коровам и ставит двойки студентам. А я вижу множество людей всех профессий. Я один могу составить научное описание Евгения Александровича, отдам его ветеринару и не буду навязываться в соавторы. Я не Грушняк, похититель чужих идей.

«Живая модель» должна быть такая — хоть сейчас сажай ее в ракету. Представляю себе Гурьева в космосе. Вот он летит на Марс, летит с явно корыстными намерениями, жалея, что у него нет персональной ракеты. И он ведет себя так, что это раздражает окружающих. Он зажал ногами чемодан с персональным кислородом и не собирается ни с кем делиться. И отважные космонавты берут его за руки и за ноги и выбрасывают из ракеты прямо в космос. Но притяжения нет, и Гурьеву некуда

падать. И он летит рядом и показывает в окно язык. И его туша мешает смотреть на приближающиеся Солнце и звезды. И он не погибает от недостатка кислорода, потому что он очень живуч. Короче говоря, надо взять Гурьева за руки и за ноги до полета на Марс.

Почему же я, газетчик, до сих пор не разоблачил его? Может быть, Маша права — Евгений Александрович должен быть полной противоположностью мне.

Я люблю смотреть, как циркач Роберт Плюнников ходит по проволоке под куполом цирка. Такова ведь и жизнь — иди прямо, не оступайся, удерживай равновесие.

Иногда мне кажется очень трудным удерживать равновесие на прямой дороге. Для меня идти по прямой дороге — это значило бы каждый день заходить в кабинет к нашему редактору Константину Петровичу, стучать кулаком по столу и кричать: «До каких пор ты будешь всего бояться, старый хрыч?!» Но если бы я так делал, мне было бы очень трудно удержать равновесие.

А вообще-то ветеринар прав. В одиночку трудно добраться до истины. Я соскочил с дивана и пошел к своей единственной соседке по квартире — Екатерине Ивановне. У нее всего-навсего четырехклассное образование, но она мудрая женщина.

Екатерина Ивановна уже выздоровела. Она сидела за столом с Дуней на коленях и читала газету. Мою газету. Нашу газету. Это очень волнующее зрелище.

Старуха внимательно выслушала мой рассказ про ветеринара и Евгения Александровича. По-моему, она абсолютно все поняла. Во всяком случае, она сразу перешла к дельным советам.

— Во-первых,— сказала она, подперев подбородок кулаком и глядя мне в глаза,— порядочный человек должен хорошо ноги вытирать о половик, тушить свет в передней и вовремя платить за квартиру и телефон. А остальное само приложится.

Мне трудно было что-либо возразить против этого.

— Да, да,— рассеянно пробормотал я, уходя.— За телефон я заплачу завтра...

Нет, одних советов Екатерины Ивановны мне будет мало. Схожу-ка я завтра к одному ответственному работнику и попрошу организовать целое совещание. Разве вредно поговорить на тему, каким должен быть человек будущего?

Глава пятая

Мои первые визиты

Наутро я позвонил Висе Пьедесталенко,

— Мылгрыть,— курлыкнул Вися,— привет! А тут на тебя жаловался Грушняк. Это профилактическая жалоба. Он сказал, что ты собираешься похоронить его изобретение. Я ему ответил: «Пошел вон, дурак!»

Я поблагодарил Висю. Потом я попросил его устроить мне свидание с его начальником. Курлыкнув, Вися обещал.

И вот я в кабинете у Петра Кирилловича. Вы не думайте, что это и есть рыкающий лев, перепачканный чернилами. Чтобы описать Петра Кирилловича, лучше вспомнить о существовании такого интересного создания, как еж. Еж страшный перестраховщик и вечно свертывается в клубок. Но одновременно он шипуч и грозен. У него на животе приятная пушистая шерстка, но он показывает ее только избранным. Еж действует на вас магически: глядя на колючий шар, вы забываете, что́ находится внутри этого шара. А внутри свернулось в очень неудобной позе

и дышит себе в живот живое существо. Петр Кириллович и внешне напоминает ежа: у него надо лбом торчит колючая щетинка, а нос длинный, чувствительный и тонкий.

Петр Кириллович смотрит на меня, осторожно выглядывая из-под колючек. Он мне не показывает пушистую шерстку. Он ее показывает только тем, к кому он благоволит. А благоволит он к тем, кто его боится. В нашей области его боятся человек пятьдесят. Глядя на остальных, Петр Кириллович удивляется, пугается и ждет подвоха.

Я долго рассказываю о беседе с ветеринаром, о большом труде, который он задумал, о Евгении Александровиче. Петр Кириллович слушает с интересом, как внучек бабушкину сказку. Он, видно, думает, что я из подхалимства пришел рассказать ему что-то забавное, как Вися Пьедесталенко — анекдот. Но вот я, отвернувшись к окну, прошу Петра Кирилловича помочь организовать оригинальное совещание. Потом поворачиваюсь, смотрю — один колючий шар. А изнутри доносится шип:

— У меня в плане нет такого совещания. Я не могу из-за вас ломать план.

Тогда я говорю, что речь идет о важном научном труде. Этот труд пригодится для потомства и для современников будет небезынтересен. Но вопрос столь сложен, что автору желательно послушать мнение многих авторитетных людей. Ведь устраивают же обсуждение художественных произведений. А Евгений Александрович важнее любого художественного произведения. Он живой человек. О нем надо заботиться.

Петр Кириллович все понял — он понял, что я от него не отвяжусь. Разве он может сказать, что о живом человеке не надо заботиться? Добро бы речь шла о конкретном человеке. А Евгений Александрович пока и есть нечто неопределенное и расплывчатое, то, что Петр Кириллович обычно имеет в виду, говоря о человеке.

И глазки-бусинки говорят мне, что Петр Кириллович, так и быть, готов меня поддержать, если я всерьез собираюсь заниматься этой бесполезной болтовней. Видать, его смущает одно: никто еще не проводил такого совещания. Тогда я намекаю на то, что инициативу на местах надо поддерживать.

Петр Кириллович осторожно выглянул из-под колючек, взял карандаш и потянулся к настольному календарю.

— Как его зовут? — спросил он.

— Евгений Александрович.

— А фамилия?

Я молчал. Где я возьму фамилию?

— Как же без фамилии? — нетерпеливо и злорадно спросил Петр Кириллович, выпуская из расслабленных пальцев карандаш.

— Смирнов,— поспешил я ответить, назвав фамилию ветеринара.

— Так вот,— сказал Петр Кириллович.— Подумаем. Посоветуемся. Поговорим. Через пять дней придете ко мне вместе с ветеринаром.

Вот и все. Великолепно! Лучшего я на первый раз и не ожидал. Конечно, одному богу известно, зачем я сюда приходил, но плохо от этого никому не будет. Однако, думая так, я ошибался. Я забыл, что у Петра Кирилловича есть жена, которая дружна с женой Гурьева. Гурьев хорошо знает Грушняка. Я забыл об этой цепочке и поэтому в первый момент удивился, когда заметил дня через два в тихом переулке представительную фигуру Грушняка. Но в следующий момент я понял, что этому любителю идей что-то надо от ветеринара. Держа в одной руке новенький ошейник с поводком, Грушняк подзывал к себе легким свистом и поцелуйными звуками маленькую рыжую дворняжку. В другой руке у него был зажат кусок колбасы. Я, разумеется, сообразил, зачем Груш-

няку пес. Ему надо завязать знакомство с ветеринаром. Этот дурак, конечно, не догадался купить в зоологическом магазине безобидную белую мышь.

Я остановился посмотреть, что будет дальше. Вид Грушняка не внушал собаке доверия. Она подошла к нему на расстояние нескольких метров и уселась, виляя хвостом. Грушняк сделал шаг вперед, она попятилась на такое же расстояние. Тогда соблазнитель кинул колбасу как раз посередине между собою и псом. Это было неплохо придумано; пес, разумеется, вскочил, давясь и ужасно спеша, проглотил колбасу и благодарно взглянул на доброго прохожего. Грушняк — о хитрец! — достал из кармана еще кусочек и бросил себе под ноги. Увы, лед был сломан. Съев кусочек, собачонка лизнула ботинок Грушняка. Она подняла голову рабыней, старый черт в мгновение ока накинул на нее ошейник. Потом Грушняк, уже не обращая внимания на свою пленницу, пошел по направлению к дому ветеринара. Я двинулся следом. Собачонка сначала визжала, упиралась, мотала головой, вставала на дыбки, пытаясь лапами снять ошейник. Все было напрасно. И она пошла покорно, лишь изредка пробуя на секунду остановиться, чтобы проверить, не оборвался ли поводок. Я шел погруженный в мечты. Хотелось, чтобы Грушняк упал и собачонка укусила бы его за ляжку. Но вскоре я увидел нечто такое, что заставило меня забыть про собачонку. Навстречу Грушняку шел Небритый. Раньше мне как-то не приходилось с ним сталкиваться. Только теперь представился случай определить его умственные способности. В одной руке он держал серого щенка, в другой — два поводка. За ним бежали два огромных пса. Одна штанина у Небритого была порвана. С руки сочилась кровь. Щенок лизал ему шею.

Грушняк и Небритый остановились у будки сапожника. Я зашел за будку.

— У меня их больше — целых три,— гордо сказал Небритый, но был тут же наказан за хвастовство: большие псы принялись грызть ему ногу.

Мученик заверещал. Щенок стал лизать ему небритую щетину.

— Не надо было так много,— назидательным тоном ответил Грушняк.— Тут важно не количество, а качество. Я пойду с одной собакой. Так солиднее.

В это время псы Небритого дотянулись до собачонки Грушняка. Бедняжка с такой силой рванулась в сторону, что Грушняк не удержал поводок, и песик, оказавшись на свободе, помчался вдоль улицы, не оглядываясь. Грушняк посмотрел ему вслед с глубоким сожалением. Однако он быстро успокоился, сообразив, что в ассортименте еще три пса. Щенок был отчаянно веселый и лизал Небритому нос. Такого пышащего здоровьем зверя незачем было нести к ветеринару. Хрипящие дворняги, которые пытались теперь дотянуться до его ноги, Грушняку вообще не нравились.

— Ты нарочно поймал беспородных кобелей? — зашипел он.— Это же несолидно.

— Не надо на меня вешать собак,— уныло попросил Небритый.— Я и так весь ими увешанный, искусанный и облизанный. Вот этот породистый,— показал он на щенка.— Ишь как лижется.

Грушняк схватил щенка и, напыжившись, пошел к подъезду. Тут уж я двинулся за ним, не скрываясь, почти наступая ему на пятки. Щенок торопливо, изнывая от счастья, облизывал будущему соавтору ветеринара губы и уши.

Но мы с Грушняком напрасно поднимались на четвертый этаж, обмениваясь многозначительными взглядами. На звонок вышла Юлия Семеновна и сказала, что ветеринар уехал на некоторое время со студентами в учебное хозяйство. Бесплодны были жертвы Грушняка и Небритого, принесенные ими на алтарь науки.

Но почему я должен спокойно взирать на эту собачью эпопею? У меня в руках прекрасный материал против Грушняка. Надо довести дело до конца. На другой же день я позвонил в бюро рационализации и изобретательства одного завода и попросил позвать Семена Авдеевича. Оказалось, он прихворнул. Я поехал к нему домой, собираясь убить сразу двух зайцев: во-первых, договориться, как разоблачить Грушняка, во-вторых, рассказать про Евгения Александровича.

Семена Авдеевича вечно распирало от идей. Девяносто девять процентов из них были ему не нужны, и он быстро о них забывал. Но было у него и много ценных предложений, и он был бескорыстнейшим покровителем начинающих изобретателей. Идея добычи воды с неба принадлежала ему. Он недолго носился с ней.

Я застал его сидящим в пижаме в кресле-качалке и читающим научно-фантастический роман. Увидев меня, старик небрежно откинул книгу в сторону.

— Глупости пишут,— сказал он.— С Марса прилетели, на Марс улетели. Меня совершенно не интересуют эти безжизненные пространства. Венера — это перспективная планета. Она, и только она меня сейчас интересует. Прелестная вечерняя звезда!

Но я пришел не для того, чтобы говорить на отвлеченные темы. Я с ходу начал рассказывать старику, что Грушняк украл его изобретение.

— Да, да, украл...— рассеянно пробормотал Семен Авдеевич.

Я видел, что нелегко оторвать его от «прелестной вечерней звезды».

— Семен Авдеевич, Грушняк украл ваше изобретение! — крикнул я громко.

Семен Авдеевич взглянул на меня с состраданием. Мой крик заставил его спуститься одной ногой на землю.

— Это бывает, бывает,— успокаивающим тоном проговорил он.

— Что же теперь будем делать? — крикнул я, стараясь удержать его хотя бы в пределах стратосферы.

— Да, да, что теперь будем делать? — сказал Семен Авдеевич, уставясь в одну точку.

Тогда я начал говорить как можно жалобнее, надеясь, что из сочувствия ко мне старик забудет на десять минут прелестную звезду. Чувствуя, что мне надо чем-то помочь, старик слушал меня внимательно.

— Что бы вы сделали, если бы у вас украли пальто? — спросил я его наконец.

— Старое? — Семен Авдеевич удивленно взглянул на меня.— Я бы отдал его сам.

— А если новое?

— Я бы постарался купить другое.

— А кто вора будет ловить?

— Вот уж, ей-богу, не я,— пробормотал старик. В глазах его была скука.

— Я беру на себя это неблагодарное дело. Но помогите же мне. Вы должны подтвердить, что Грушняк украл вашу идею.

— Видите ли,— ответил старик серьезно,— у Грушняка есть одно большое достоинство: его интересуют изобретения. В то же время у него есть один серьезный недостаток. Кратко говоря, он дурак. Но в настоящее время дураки меня совершенно не интересуют.

И, даже не помахав мне на прощание ручкой, старик умчался на перспективную Венеру.

«Погоди же, я тебя сейчас спущу оттуда»,— подумал я. И я стал ему рассказывать про Евгения Александровича. Старик сначала посмотрел на меня с головокружительной высоты, потом стал медленно спускаться вниз. Когда я закончил, он крикнул в соседнюю комнату:

— Полина Тимофеевна, куда ты девала мои брюки? Ничего не понимает ваш ветеринар,— обратился он ко мне.— Поедемте, я сейчас ему все объясню.

— Полина Тимофеевна, спрячьте брюки! — крикнул я в свою очередь.— Семен Авдеевич болен, ему нельзя ехать.

— Если мне надо будет, я поеду и так,— сказал старик, с достоинством оглядывая свою пижаму.

— Это ты можешь,— спокойно ответила жена, выглянув из-за двери.— Ты же изобретатель. Архимед еще хуже был одет, когда выскочил из ванны. Снимай пижаму и беги.

— Семен Авдеевич, что вы хотели объяснить ветеринару? — спросил я.— Я передам ему.

— Хорошо,— ответил старик, нехотя опускаясь в кресло и принимаясь раскачиваться, что, видимо, подогревало его фантазию.— Я вам скажу. Это нелепая идея — создавать какого-то Евгения Александровича. Кому он нужен? Мало ли на свете Евгениев Александровичей! Они меня совершенно не интересуют.

И старик поведал мне, что его интересует. Он обрисовал перспективы, от которых у меня перехватило дыхание. Что получат люди, если они смогут создавать любые организмы животного и растительного происхождения? Если у вас воображение бедное, вы представите себе неведомые плоды, при виде которых затрясутся руки у какого-нибудь обжоры. Корову, из которой молоко само льется — только подставляй ведра. Но может быть, у вас хватит пороху представить себе применение различных форм жизни в промышленности и строительстве? Тогда допустите существование в далеком будущем, например, растения-жилища. В землю ложатся семена, и из них потихоньку вырастает целый город. Деревья-небоскребы. Не фундамент, а огромные, крепчайшие корни, не крыша, а густая шапка непромокаемой листвы. Какой целительный воздух будет в таком помещении!

А животный мир! Вообразите себе поезд, который ведет могучий, прекрасный зверь. Животное-самолет, умная, тихая, огромная рабочая скотина, понесет вас по воздуху совершенно бесшумно. У нее не загорятся моторы, не иссякнет горючее.

Я представил себе ужасающего звероящера в роли тепловоза, и мне стало тошно.

— Семен Авдеевич,— взмолился я.— Я не хочу гулять по этому чересчур величественному зоопарку будущего. Я жалкий мещанин. Я хочу уюта. Животное-самолет я никогда не смог бы полюбить. Я не хочу прятаться в дупле дерева-жилища.

— Для уюта можете создать себе ласкового домашнего бенгальского тигра. Такой тигр гораздо полезнее вашего Евгения Александровича. Его можно заставить грызть орехи и стеречь кур,— сказал Семен Авдеевич, взглянув на меня с некоторым презрением.

— Нет,— сказал я твердо.— Гораздо лучше представить себе мир, полный умнейших машин. И каждой такой машине надо вовремя сказать «стоп», чтобы она не превратилась в живое существо. Вершина кибернетики — это жизнь. Незачем стремиться к этой вершине.

— Дураки, которых может сожрать ласковый тигр, меня совершенно не интересуют,— рассеянно промолвил Семен Авдеевич.

Я почувствовал, что он опять куда-то ускользает от меня. Возможно, он отправился в дальний беспосадочный перелет на тихой рабочей скотине...

— Я передам ваши слова ветеринару,— сказал я, поднимаясь.— Но я прошу вас сменить гнев на милость и снисходительнее отнестись к Евгению Александровичу. Я уверен, что вам могут прийти в голову дельные мысли в отношении устройства этого человека.

— Что ж, в человека тоже можно внести некоторые технические усовершенствования,— ответил старик, глядя куда-то мимо меня.— Я подумаю.

Глава шестая

Встречи на лоне природы

Мы с Чугалинским едем в командировку на три часа. В загородный совхоз. Писать очерк о доярках. Эх, дали бы нам два-три дня! Ведь это не репортаж с футбольного матча. Но нельзя — редактор торопит. Наверное, Петр Кириллович где-то мимоходом сказал, что неплохо бы поместить в нашей газете такой очерк. Мимолетные замечания Петра Кирилловича наш редактор воспринимает как сигналы пожарной тревоги.

Мы слезаем с автобуса и идем через лесок.

Воздух поздней весны помогает понять, что неплохо жить на свете. Конечно же, в Евгения Александровича надо вложить воспоминания о весеннем лесе. О мелких листьях-младенчиках на весенней березе. О нежно-зеленых отростках на еловых лапах, мягких, еще не научившихся колоться. Таким был, наверное, когда-то и Петр Кириллович. А потом колючки у него затвердели. Что же надо вложить в Евгения Александровича, чтобы жизнь не заставляла его поминутно свертываться в клубок и шевелить колючками? Интересно, какие мысли могут возникнуть на этот счет у Чугалинского...

Чугалинский страстно и бескорыстно любит цифры и не любит говорить ничего лишнего.

Я с беспокойством думаю о будущем Чугалинского. Если лет через тридцать в нашей газете нельзя будет печатать заметок, содержащих более пяти цифр, то ему придется уходить на пенсию, если даже он будет в расцвете сил. Ну а если я просто мрачный пессимист и такие изменения произойдут в нашей газете через месяц, через год? Тогда Чугги придется менять профессию.

Что бы делал Чугги, если бы его заставили описать вон ту иву, что склонилась попить воды из ручья? Он пересчитал бы на ней все листья, сучья и ветки, а потом распилил бы ее пополам и посчитал кольца на разрезе.

И вот я рассказываю ему про далекого Евгения Александровича. Чугалинский взволнован.

— А сколько в человеке клеток? — спрашивает он.

— Как-то не пришлось подсчитать,— признаюсь я.— Я имею представление только о некоторых других цифрах. В каждом кубическом миллиметре крови у меня четыре с половиной миллиона красных кровяных шариков. Посчитай, сколько будет в литре? А в человеке несколько литров крови.

Приподняв брови, похожие на два новорожденных месяца, Чугги шевелит губами — считает про себя. Он потрясен. Не каждый день ему приходится иметь дело с такими цифрами.

Но мы пришли. Чугалинский идет на выпасы, а я в дирекцию. Надо бы наоборот.

Директор и главный зоотехник обдают меня обильным теплым душем приятных цифр. Ничего, Чугалинский в них разберется. Теперь мне тоже надо скорее на выпасы. Помимо всего прочего, надо кое в чем перепроверить Чугалинского. В цифрах он разберется, но мужчину с женщиной может перепутать. В таких случаях он говорит совершенно спокойно:

— Ничего особенного. Я думал, что Хижняк — сплошной мужчина.

В сильно вырубленной рощице на неудобном березовом пне сидит Чугалинский и пьет парное молоко.

— Чугги, ты записал, которые из девушек окончили десятилетку?

Чугги важно похлопывает по своему блокноту.

— Тут у меня все доярки учатся на третьем курсе института.

Я просматриваю блокнот. Там встречается фамилия Краснюк. Мужчина это или женщина? Не мешает проверить. Я всматриваюсь туда, где метрах в пятидесяти от нас стоит группа людей. Один человек сидит под коровой. Он в брюках, разрази меня господь! Надо идти.

— Чугги, я пойду с ними поговорю.

— Это совершенно бесполезно,— отвечает Чугги.— Они никогда не помнят своих показателей. Надо ждать учетчика.

Я прошел несколько шагов, и меня окружила молодежь. Через секунду я узнаю, что это студенты сельскохозяйственного института. Они с беспокойством спрашивают, зачем тот человек из газеты интересовался их фамилиями. Теперь он напишет, что они ничему не научились.

— Я сказала, что надоила ему стакан молока, а он стал нас ругать, что мы не знаем своих показателей,— пожаловалась девушка с маникюром.

— Чугги,— говорю я, возвращаясь.— Ты думал, что это сплошные доярки, а это сплошные студенты. Надо начинать все сначала. Пошли искать девчат.

— Пошли искать учетчика,— упрямо говорит Чугалинский.

Мы идем просекой. На травке среди цветущей земляники сидит здоровенный дядя. Это Сергей Васильевич Смирнов. Так вот куда приехал он со своими студентами!

— Привет борцам за высокие удои! — кричу я ему.

Ветеринар не один. Кто-то сидит напротив него. Я подхожу ближе и узнаю Грушняка. Сергей Васильевич тепло пожимает Грушняку руку и подходит к нам. Грушняк старается не смотреть на меня, чтобы не испортить сладости прощальной улыбки.

— Этот дурак ловил по всему городу собак, чтобы вам понравиться, но не застал вас дома,— говорю я Сергею Васильевичу.— А здесь кого он к вам привел? Любимую овцу? Гоните его. Он хочет стать вашим соавтором.

— Он уже стал моим соавтором,— спокойно улыбается Сергей Васильевич.— Пусть, раз ему хочется.

Как я одинок в своей борьбе с Грушняком! Когда же все умные объединятся и натравят на дураков ласковых тигров?

— А если я его зарежу? — мечтательно говорю я.

— Это нерациональный способ борьбы с дураками, слишком канительный,— отвечает Сергей Васильевич.— Я ему поручил на ста пятидесяти страницах написать пять глав научного труда о Евгении Александровиче. Пока он с этим будет возиться, он не будет ко мне приставать.

Мы подошли к машине, груженной бидонами с молоком. Учетчика, которого он никогда не видел, Чугалинский узнает издали каким-то чутьем и спешит к нему, спотыкаясь о пеньки. Брат! Родственная душа!

Пока Чугалинский воркует с учетчиком, мы с девушками и Сергеем Васильевичем садимся в кружок на траву. А я, вместо того чтобы начать с вопросов, взял да и рассказал девчатам про Евгения Александровича. Вот вам и совещание...

К нам подходит и садится рядом с нами директор совхоза. Я знаю его. Я не раз думал, не он ли должен быть прообразом нашего с Васей положительного героя. Мне захотелось рассказать в этом обществе не только про Евгения Александровича, но и про нашу пьесу. Представьте себе, меня слушали довольно внимательно. Вот как, примерно, выглядит первый вариант нашей пьесы.

Происходит космическая катастрофа. Кусок чего-то небесного с невероятной силой врезается в Землю, так, что часть ее отрывается и взмывает вверх. Эта часть становится спутником Земли. А на спутнике расположен некий совхоз.

Работники управления сельского хозяйства в отчаянии. Нужны сводки из совхоза — сводок нет. Совхоз носится на страшной высоте, телефонная и телеграфная связь прервана, почта не доходит, дорог нет.

Работники управления умоляют создателей космических кораблей послать в совхоз ракету с радиопередатчиком.

Ракета послана, и вот на следующий день летающий совхоз подает голос:

— Что делать?

Работники управления бросились писать инструкции и приказы. В инструкциях точно рассказывалось, как действовать в сложных условиях. Директору был объявлен выговор за неподачу в срок сводочных данных.

Вторая ракета взмыла в пространство, унося запечатанные сургучом пакеты.

Сверху — ни звука.

С Земли радируют:

— Снимем директора с работы!

И вот наконец совхоз подает голос:

— Мы его уже сами сняли! Куда его теперь девать? Просит руководящей работы.

Работники управления заскрипели перьями. На сей раз в эфир был послан страстный призыв:

— Берегите как зеницу ока продукцию!

С неба донеслось:

— Куда девать ее?

На Земле засуетились.

— Надо послать им нового директора!

И вот на сцене появляется наш положительный герой. Его упаковывают в ракету, и он бесстрашно взмывает в небо. Его встречают как родного, потому что жители летающего совхоза очень соскучились по Земле. Они часами лежат на краю своей огромной глыбы, которая с бешеной скоростью несется в пространстве, и смотрят вниз. Но внизу видны лишь очертания материков. Все стали лучше знать географию, и только.

Новый директор умело повел воспитательную работу. Люди перестали смотреть вниз, принялись работать с перспективой.

В конце пьесы новый директор знакомится с молодой учительницей. Свадьба. С Земли несется ракета с шампанским.

Но все это, как я уже говорил, лишь первый вариант, так сказать, эскиз будущей пьесы. В другом варианте на небо уносилась футбольная команда.

Директор совхоза (земной, а не небесный) развеселился. Он сказал, что завидует нашему положительному герою. Хорошо оказаться на такой недосягаемой высоте. Больше возможностей проявлять инициативу. А Евгения Александровича, по его мнению, следовало бы сделать начальником областного управления, который не терзал бы подчиненных инструкциями и сводками.

Девчата заспорили. По их мнению, Евгений Александрович должен быть космонавтом, и больше никем.

Сергей Васильевич морщился. Он считал, что «живая модель» должна быть обыкновенным человеком, таким, каких миллионы. Поди только выведи отсюда среднее арифметическое — вот в чем трудность.

Так мы ни до чего и не договорились.

Подошел Чугалинский. Я почувствовал, что его заела совесть и он решил найти какую-нибудь живую деталь для нашего очерка.

— Я слышал,— сказал он,— что если у коровы рога венчиком, то она дает больше молока. Это правда?

— Это предрассудок,— рассердился Сергей Васильевич.

— Причем буржуазный...— решил я попугать Чугги.

Мы болтаем еще с полчаса, обсуждая, каким должен быть Евгений Александрович. Мы устанавливаем, что самое главное для человека будущего — не поддаться лени. Кошка, когда она попадает в хорошие условия, спит по двадцать пять часов в сутки. Но человек не кошка.

Мы спешим. Пора прощаться. Сергей Васильевич провожает меня до лесочка.

— Понравилось вам обсуждение? — спрашиваю я.

— Это пока все общие слова.— Ветеринар досадливо махнул рукой.

— А какие главы вы поручили писать Грушняку?— интересуюсь я.

— Внешний вид. Чувство коллективизма. Привычки. Еще что-то,— улыбается Сергей Васильевич.

Мы договорились с ветеринаром, что завтра он приедет в город для свидания с Петром Кирилловичем.

— Ты напрасно говорил с ними о Евгении Александровиче. Это совершенно лишнее,— сказал мне Чугги по пути на автобусную станцию.

— Не знаю,— ответил я.— Почему-то мне кажется, что этот разговор поможет мне быстрее написать очерк. А вот ты сказал совершенно лишнее про венчик у коров,— пугаю я его.

Чугалинский испуганно вскидывает свои новорожденные месяцы. Он сказал лишнее! Он начинает шевелить губами, и я подозреваю, что он сам себе выносит строгий выговор с предупреждением.

Мы спешим в редакцию.

Через два часа задание будет выполнено.

Глава седьмая

Начальник милиции делает строгие глаза

Петр Кириллович нахлобучил колючки на нос. Брюзжащим тоном он говорит, что мы поставили его в неудобное положение. Он рассказал о Евгении Александровиче одному директору завода, и тот поднял его на смех. Во-первых, директор завода заявляет, что вопрос, каким получится Евгений Александрович, не имеет никакого принципиального значения. Его всегда можно перевоспитать. Так что нечего и огород городить. Нечего заниматься заседательской суетней,— надо присту-

пать прямо к делу. В области не хватает трех квалифицированных председателей колхозов. На одном из заводов нет главного технолога. На стройках у Гурьева мало каменщиков. Пора наладить серийное производство кадров. Нечего тянуть, болтать и размазывать. Надо применить поточный метод: на одном участке делают печенку, на другом — селезенку, на третьем — нос. Приемочная комиссия проверяет выразительность жестов, пульс, зрение и кровяное давление.

Петр Кириллович смотрит из-под колючек настороженно и весело. Я уверен, что ни с каким директором завода он не разговаривал. Узнаю «почерк» балагура Виси Пьедесталенко. Это он подсказал своему начальнику, что от нас лучше всего отделаться, причем отделаться шуткой.

Но Петр Кириллович еще не закончил. Он говорит:

— Кроме того, я беседовал с Поймакиным. У него есть серьезные возражения.

Я удивлен несказанно:

— У нового начальника городской милиции?

— У него. Советую вам его послушать. И даже не советую, а настаиваю.

Мы с Сергеем Васильевичем уходим. Ветеринар, сверкнув очами, любезно благодарит меня за приятное развлечение. Лучше бы он делал совхозным коровам прививки. Лучше бы он принял пару новорожденных телят. Ни к какому начальнику милиции он не пойдет.

А я и не собираюсь его туда пускать. У меня появились кое-какие соображения относительно характера ветеринара. Мне не нравятся его руки. Он будет ласковым взором смотреть на теленка, любящим — на худенькую жену, а потом сверкнет очами, схватит своими здоровенными ручищами стул и вдребезги расшибет его об стену. Другое дело я. Я журналист. Это значит: краткосрочные курсы переквалификации — и я готовый дипломат. У меня ни один мускул на лице не дрогнет при виде целого косяка акул капитализма, а уж со своим родным начальником милиции я без всякого труда договорюсь, хоть я его и не знаю.

Но по пути я расстроился. Напротив отдела милиции возводится шестиэтажный дом. Когда я смотрю на стройки нашего города, я всегда радуюсь, но одновременно глубоко расстраиваюсь. И я, войдя в кабинет начальника милиции, начинаю говорить совсем о другом.

Поймакин сидел, уставясь прозрачными глазами в какую-то бумагу и ероша русые кудри. Вид у него лихой, словно он сейчас вскочит на коня и улетит в степь.

— Товарищ Поймакин,— сказал я ему.— Арестуйте меня.

Поймакин радостно ответил, не поднимая глаз:

— Ага! Сам пришел. То-то же.

— Да, да, я пришел,— сказал я.

Поймакин поднял глаза и разочаровался:

— Я думал, Венька Бубновый Валет наконец пришел. А вы кого ограбили?

— Товарищ Поймакин,— сказал я.— Арестуйте меня за то, что я вас не люблю.

— Так-так-так,— деловито произнес начальник.— Меня лично?

— Нет. Все это здание. И всех, кто внутри.

— Так-так-так,— ухмыльнулся Поймакин.

В это время зазвонил телефон. Начальник взял трубку.

— Али-Гусаков? Иди сюда. Ты послушай-ка, что он говорит. Кто? Высокий, в очках, молодой... Так-так-так.— Поймакин повернулся ко мне.— За что не любите?

— За эту стройку,— кивнул я на окно.

— Только за эту?

— За многие другие.

Появился Али-Гусаков с пистолетом на боку. Следом вошли двое штатских.

— Прошу садиться,— сказал им Поймакин.— Не уходи, Маруся,— обратился он к вошедшей машинистке.— Вы послушайте-ка, что он говорит.

— Я не люблю вас за то, что вы не знаете простой арифметики и на глазах у вас шоры. Для строительства этого дома привезли в два раза больше кирпичей и леса, чем нужно. Где они?

— Ужасно, ужасно.— Поймакин подмигнул Али-Гусакову.— Действительно, где же они?

— Я знаю, где они,— продолжал я.— Кирпич свисает с потолка в виде люстры. Бревна и доски превратились в ковры. Все эти превращения происходят в особняке управляющего строительным трестом Гурьева.

— Ах, ах! — сказал один из штатских, подмигнув другому.— И вы видели, как Гурьев торговал на базаре кирпичом и лесом?

— Вас интересует, видел ли я это? — спросил я.— Я вас не люблю за то, что вы недогадливы. Гурьев ничем не торгует. Он берет с жуликов взятки.

— Так-так-так,— радостно сказал Поймакин.— Али-Гусаков, составляй протокол! Этот товарищ видел, как Гурьев берет взятки.

— Нет,— махнул я головой,— вы составите протокол только о том, что я вас не люблю. Я не видел. Но я знаю.

— Нет, вы только послушайте, что он говорит! — Поймакин подскочил, словно собираясь взлететь на коня.— Он знает! Да будет вам известно...— сказал он, поднимаясь во весь рост.

— Да, да, пусть ему будет известно,— закивали головами остальные.

— ...что мы без вас,— отчеканил Поймакин,— что мы без вас все это прекрасно знаем. Знаем? — обратился он к своим сотрудникам.

— Знаем! — хором ответили Али-Гусаков, двое штатских и Маруся.

— Ну, что,— торжествующим тоном произнес Поймакин, опускаясь на стул,— теперь вы нас любите?

— Теперь я вас ненавижу,— прошептал я.— Вы с утра до вечера гоняетесь с пистолетами за Венькой Бубновым Валетом, у которого нет ни ковра, ни кола, ни двора. А Гурьева, которого можно взять голыми руками у него в особняке, вы пальцем не трогаете!

— Нет, вы послушайте, что он говорит! — воскликнул Поймакин.— Он хочет, чтобы Венька Бубновый Валет перерезал ему глотку.

— Венька не перережет мне глотку,— возразил я.— Я сам отдам ему часы. А Гурьев во сне чуть не задушил меня, когда я попросил у него особняк.

— Маруся, позвони-ка в психдиспансер,— приказал Поймакин.

— Не надо,— попросил я.— Я сам пойду туда, когда мне будет нужно. Сейчас я нормальнее всех вас. Я делал расчеты, которых вы не делали. Послушайте. У меня есть один знакомый. В рабочее время он заведует бюро рационализации и изобретательства. В свободное время он улетает на прелестную вечернюю звезду Венеру, и оттуда он не видит Гурьева. А я газетчик. Я чувствую, что в рабочее время я должен уделять Гурьеву не менее получаса, а в часы отдыха должен не менее десяти минут его ненавидеть, чтобы не демобилизоваться. Вы же должны уделять Гурьеву в среднем не менее полутора часов в день

и ненавидеть его весь обеденный перерыв. Я уверен, что вы этого не делаете, иначе бы Гурьев давно сидел.

— Нет, вы послушайте, что он говорит,— пробормотал Поймакин, широко раскрывая глаза.— Он работает в газете и только и делает, что спит, думает и видит сны. Он нам не помогает. Али-Гусаков, составляй протокол.

— Не надо составлять протокола,— попросил я.— Чем я вам могу помочь?

— Али-Гусаков, звони в тюрьму,— распорядился начальник.

— Не надо звонить в тюрьму,— попросил я.— Я и так догадаюсь.

— Не догадаетесь,— строго сказал Поймакин.— Мы попросим, чтобы из тюрьмы привезли арестованного прораба. Он вам скажет, можно поймать Гурьева без помощи общественности или нельзя.

— Вы мне сами объясните, почему нельзя.

— Потому что там длинная цепочка,— сказал один из штатских.— Гурьев берет взятки из пятых или шестых рук. Сядьте на мое место и попробуйте поймать Гурьева. Через неделю он утопит вас во сне, тем дело и кончится. Лучше идите-ка в редакцию и мобилизуйте общественность.

— Я пойду, я пойду в редакцию,— обратился я к Поймакину.— Но сначала я хочу поговорить с вами наедине.

Поймакин моргнул Али-Гусакову, двум штатским и Марусе. Они вышли.

— Я хочу с вами поговорить о Евгении Александровиче,— сказал я.— Вы, кажется, сами просили меня зайти.

— Так-так-так.— Поймакин с интересом взглянул на меня.— Значит, это вредное дело вы затеяли? Евгения Александровича я арестую в первый же день, как только он появится на свет.

— За что? — взмолился я.

— За то, что у него нет документов,— сказал Поймакин, делая строгие глаза.— Нет такого закона, чтобы подделывать сразу людей и документы. Прошу, товарищи, не партизанить.

— Вы сами выдадите ему документы. Вы хороший.

— Напрасно вы так думаете. Я не допущу вранья в документах. Предположим, вашему Евгению Александровичу двадцать пять лет. Значит, в паспорте у него должен стоять год рождения тысяча девятьсот тридцать шестой. Спрашивается, был он на самом деле в тридцать шестом году? Его и в помине не было.

— Вы сделаете для него исключение, вы хороший.

— Напрасно вы так думаете. Ваш Евгений Александрович начнет писать автобиографию, и это будет вранье с начала до конца. Воображение, мечты и плод фантазии.

— Это будут фантазии хороших людей. Таких же, как вы.

— Напрасно вы так думаете. А если сюда придет Венька Бубновый Валет?

— Пусть придет. Вы его сами ждете.

— Придет Венька Бубновый Валет и скажет, что его сделали в подпольной лаборатории. Что он весь воображаемый?

— Вы докажете, что это не так. Вы сумеете.

— Напрасно вы так думаете. У меня и без того дел по горло. Мне некогда доказывать, что Венька не воображаемый. Мне надо его ловить.

— Товарищ Поймакин, вы слишком сильно верите в науку. Евгений Александрович не скоро появится на свет. В человеческом организме еще очень много тайн.

— Вы мне тут сказки не рассказывайте,— строго сказал Поймакин.— Атом ученые распотрошили и до человека скоро доберутся. Пусть ваш Евгений Александрович создается в организованном порядке, по заранее утвержденному плану. Я не хочу, чтобы в порядке самодеятельности ему стихийно втиснули в голову какое-нибудь преступление.

— Товарищ Поймакин,— сказал я кротко.— Мы еще не предпринимали никаких шагов, если не считать короткого совещания с доярками совхоза «Звезда». Даю вам честное слово, что мы не будем создавать Евгения Александровича без заранее утвержденного плана.

— То-то же,— довольно хмыкнул Поймакин.— Можете идти. Или вы все еще хотите, чтобы вас арестовали?

— Нет, нет,— поспешил я ответить.— Я хочу помочь вам поймать Гурьева.

В этот момент дверь открылась и вошли четверо молодцов в перепачканной цементным раствором одежде.

— Вот наша общественность,— гордо сказал Поймакин.— Эти парни не спят и не видят снов. Они каменщики. Они обещали нам поймать Гурьева. Как дела, орлы?

— Дела плохи,— ответил черномазый паренек лет двадцати.— Только что нас всех уволили с работы...

Глава восьмая

Дела редакционные

С этим наглым соавтором ветеринара я сейчас разделаюсь тремя росчерками пера. Обойдусь без Семена Авдеевича. Все и так ясно. Посмотрим, как он будет после этого составлять пять глав научного труда о Евгении Александровиче. Я вытащил из ящика бумаги, оставленные мне Грушняком, полистал их и задумался. Он не такой дурак, этот Грушняк. Это не какой-нибудь Венька Бубновый Валет, который тащит что попало. Ему подавай изобретения. Он похож на уважающего себя вора, который ворует только красивые вещи.

Нечего быть слюнтяем и оправдывать Грушняка. Три росчерка пера — и фельетон готов.

Но усевшись возле нашей красивой и гордой машинистки Варвары Федоровны, я увидел рядом с машинкой, на столике, отпечатанную информацию, один заголовок которой заставил меня чуть не задохнуться.

— Кто вам дал этот материал? — Я схватил машинистку за руку.

— Не помню,— процедила Варвара Федоровна, глядя в окно.

Я бросился по отделам. Все, кого я ни спрашивал, пожимали плечами. Наконец я добежал до кабинета, где сидел Чугалинский. Он держал одну руку на счетах, а другой писал корреспонденцию, занося в нее результаты сложения и умножения.

— Это ты сдаешь? — спросил я его, показав ему информацию.

— Я,— спокойно ответил он, приподняв свои новорожденные месяцы.— Эту информацию писал один посторонний автор, она идет в завтрашний номер.

— Это мы еще посмотрим,— бросил я на ходу и побежал к ответственному секретарю.

— Это идет в номер? — Я сунул ему под нос отпечатанный материал.

— Безусловно. Очень интересная информация.

Задыхаясь, я прибежал к редактору.

— Константин Петрович,— крикнул я.— Я не допущу, чтобы этот бред пошел в газету.

Редактор молча надел очки и стал читать:

«Помощь животноводам пустыни

За долгие годы своей работы инженер Грушняк внес немало ценных рационализаторских предложений. Не оставил он изобретательской деятельности, уйдя на пенсию. Тов. Грушняка давно волновала проблема обеспечения питьевой водой пустынных животноводческих районов. Эту проблему инженер решил весьма своеобразно, предложив получать пресную воду из воздуха над пустыней с помощью самолетов, снабженных конденсаторами. Предложенный тов. Грушняком способ будет в ближайшее время внедрен животноводами пустыни Кызылкум».

— Ну и что? — удивленно спросил редактор.— По-моему, тут есть рациональное зерно.

— Тут нет зерна! Тут, кроме липы, ничего нет! Я написал фельетон про этого Грушняка.

— Разберемся.— Константин Петрович недовольно пожал плечами.

Меня встретила дружным хохотом вся редакция. Когда я пришел показать кулак Чугалинскому, он повизгивал от смеха, выщелкивая на счетах какой-то веселый танец миллиардов. Варвара Федоровна сидела гордая оттого, что сумела ловко подсунуть мне под нос сфабрикованную Петей информацию, и расхохоталась только после того, как я выскочил за дверь. Каталась по дивану предательница Галя. А в кресле сидел и держался за живот — кто бы вы думали? Мой друг Вася Голубев.

— Ты вернулся из отпуска, чтобы издеваться надо мной? — спросил я его.

Этот розыгрыш здорово подвел меня. Мои милые товарищи не учли, что я могу побежать к редактору. А теперь мой фельетон погиб. Редактор ни за что не пропустит его, раз он видел на эту тему что-то другое. Бесполезно рассказывать ему, что это была шутка. Все равно Константину Петровичу будет мерещиться какой-то подвох. Зерно сомнения, попав на благодатную почву, по силе всхожести не сравнится ни с каким рациональным зерном. Разумеется, фельетон я сдам и буду бороться. Но это лишь для очистки совести.

В этот день мне снова пришлось побывать у редактора. Константин Петрович вызвал меня и, хмурясь, вручил два распечатанных и приколотых скрепками к конвертам письма.

— Почитай. Говорят, это тебя касается. Разберись.

Я спокойно положил письма в ящик стола, думая, что успею и почитать и разобраться. Это, конечно, не опровержения. Если бы это были опровержения, редактор смотрел бы на меня не хмуро, а зловеще.

Но когда я закончил все дела и складывал бумаги в ящик, собираясь идти домой, мне бросились в глаза слова «химический человек», заставившие меня схватить одно из данных мне Константином Петровичем писем. Письмо гласило:

«Мы, учащиеся энского техникума, слышали, что один ученый в нашем городе делает живого химического, то есть синтетического человека, составленного из различных элементов таблицы Менделеева. Просим сообщить — это правда или выдумка. Еще мы слышали, что этот ученый интересуется, каким должен быть живой человек по уму и характеру. Нам хочется рассказать, что мы об этом думаем, но не знаем кому. Просим вас, уважаемый товарищ редактор, прислать нам адрес этого ученого-химика». Следовало несколько подписей.

Чýдное письмо! Приглашу ребят к себе и узнаю, каким, по их мнению, должен быть живой человек.

Другое письмо начиналось так:

«Дорогой редактор! Очень прошу вас поместить в подведомственной вам уважаемой газете вышеупомянутый фельетон со всеми исправлениями и дополнениями».

Затем шел текст фельетона: «Недавно я стоял в очереди выбивать полуфабрикаты и прислушался к разговору двух пожилых женщин с мужчиной. Они говорили, что в наш город скоро приедет человек, который состоит из одних химических соединений. Этот человек будет всем рассказывать о своем высоком моральном облике, достойном нашей великой эпохи. Я очень горячо одобряю, что у нас появились такие люди, которые всем своим внутренним содержанием отвергают таких людей, как мой сосед Взъерепейник...» Далее шло длиннейшее описание похождений Взъерепейника. В квартире у него несколько испорченных радиоприемников, между которыми устраиваются состязания на громкость. Победившему радиоприемнику вручается премия. Под фельетоном стояла подпись: «Жрицын, ветеран».

Ах, не люблю такие письма. Уверен, что все наоборот — соревнования приемников устраивает сам автор письма.

Я опять было собрался уходить из опустевшей редакции, но ко мне пришел Вася Голубев и устроил допрос: что я делал без него целый месяц? Я отчитывался чуть ли не битый час, рассказал и про Ухогорлоноса, и про Евгения Александровича, и про начальника милиции, и даже про ласковых тигров.

— Ты еще не женишься на Маше? — первым делом спросил меня Вася.

— Боже упаси! — испугался я.— У нас с ней очень сложные отношения. Такие отношения хороши после свадьбы. А что у нас получится после свадьбы, страшно и подумать. Так что конец.

— Конец? — переспросил Вася.

— Конец...

— Что ж,— вздохнул Вася,— надеюсь, тебе не будет больно, когда тебя сожрет ласковый тигр.

Потом Вася перешел к Евгению Александровичу. Ветеринар не понимает, с чего надо начинать. Сам же он говорит, что жизнь этого человека должна быть коллективным творчеством. А в основе творчества должна лежать идея. Вот этой идеей и надо заняться вплотную. Незачем проводить совещания в совхозах. Незачем ходить на поклон к начальнику милиции. Два журналиста — это сила. Два журналиста за неделю разберутся, что за идея должна быть вложена в Евгения Александровича, и наметят, что надо сделать, чтобы эту идею осуществить.

— Ты можешь думать, только когда перед тобой лист бумаги,— сказал Вася.— Я могу думать, только когда хожу и диктую. Садись и пиши, а я буду диктовать. Мы живо доберемся до идеи.

Я взял ручку. Вася принялся шагать из угла в угол своей военной походкой.

— В этого Евгения можно много знаний вложить? — спросил он.

— Думаю, да,— пожал я плечами.— Академики знают решительно все, а головы у них той же кубатуры, что и наши.

— Тогда пиши: Евгений Александрович Смирнов, двадцати пяти лет, ста восьмидесяти сантиметров роста. Телосложение правильное. Глаза голубые. Волосы белокурые. Образование высшее. Ранее не судим. Холост. За границей бывал во всех странах. Знает немецкий, турецкий и еще триста двадцать пять языков. Знает химию, математику и еще сто наук в объеме члена-корреспондента Академии наук. Умеет играть на всех музыкальных инструментах. Работал плотником, штукату-

ром, поваром, председателем совнархоза, фельдшером, акушером, деканом филологического факультета...

— Надоело,— сказал я. Разумеется, я не записал ни строчки.

— Мне тоже надоело,— спокойно ответил Вася.— Но зато, пока я говорил, мне стало абсолютно ясно, что незачем вкладывать в Евгения Александровича много знаний. Главное, чтобы он имел способность быстро усваивать то, что ему понадобится в жизни. Но где идея? Пиши дальше.

Я опять с неохотой взял ручку. Вася принялся диктовать.

— Он любит: женщин, стариков, детей, искусство и литературу, природу, животных, науку, технику, работу, отдых. Не любит: воров, разбойников, бандитов, мещан, дураков, идиотов, спекулянтов, бюрократов, подхалимов, вельмож, чинуш, буржуев, шпионов, поджигателей войны, склочников, перестраховщиков, подлецов, клеветников.

Я записал.

— Теперь посчитай, чего больше — того, что он любит, или того, что не любит?

— Того, что не любит, больше.

— То-то и оно,— сказал Вася.— Тут, видимо, и требуется навести порядок, добиться равновесия. Иначе ему будет трудно жить.

— Ты не любишь то же самое, что и он,— заметил я,— и тем не менее у тебя скоро лопнут щеки.

— Может быть, может быть,— задумчиво сказал Вася.— Но в детстве я был очень худеньким мальчиком, а чувствовал себя гораздо счастливее, чем сейчас. Эврика! Идея найдена! Евгений Александрович должен не любить, должен ненавидеть то, что я перечислил, должен бороться и в то же время чувствовать себя бесконечно счастливым, как любой нормальный ребенок, радующийся жизни. Только такого Евгения Александровича имеет смысл создавать. Теперь надо искать пути к этому. Неудачи в личной жизни. Неудачи в работе. Столкновения с олухами царя небесного. Как сделать, чтобы он все это переносил легко и в то же время не был жалким флегматиком с рыбьей кровью? Вот о чем надо подумать, и о многом другом. Иди домой, выбери себе какую-нибудь определенную тему и думай.

Я пришел домой и понял, что мне и выбирать-то нечего. Моя тема ясна. Имя этой теме, говоря словами поэта,

......!

Да, любовь... Я давно думал, что нужна какая-то ясная и стройная теория, освещающая путь влюбленным. Люди надеются хоть когда-нибудь получить на этот счет дельные советы. Очень боюсь, что они никогда их не получат.

Мы с Васей Голубевым, когда были моложе и глупее, здорово запутали одного лектора, который объяснял молодежи, что такое любовь и другие загадочные вещи. Он напускал туману и не дал ни одного ценного практического совета. А потом к нему посыпались записки:

«Я люблю одного парня. Что мне сделать, чтобы он полюбил меня?»

Лектор развел руками.

«Я разлюбил девушку. Она страдает. Как быть?»

Лектор пожал плечами.

«Я его люблю. Он любит другую. Другая любит другого. Другой любит совсем другую. Что нам пятерым делать?»

Лектор сокрушенно покачал головой.

Но вот поступила записка:

«Я замужем, но люблю другого, женатого. Имею я право на это?»

Лектор строго сказал, что в семейной жизни человек должен быть стойким и уметь бороться с собой.

— Погоди, я его сейчас запутаю,— шепнул мне Вася.— Можно мне сказать? — крикнул он.

— Пожалуйста,— ответил лектор.

Провожаемый двумя сотнями глаз, Вася поднялся на эстраду.

— Так вот какая вышла история,— обратился он к залу.— У меня есть друг по фамилии Орангов. Он женат. Его жена Валя молода, умна, интересна. У них маленькая девочка. Но недавно Орангов бросил Валю и женился на другой. И знаете, кто эта другая? Родная сестра Вали — Галя.

— Бывает,— подали реплику из зала.

— Не бывает,— возразил Вася.— Валя с Галей не просто сестры. Они близнецы. Носы, глаза, волосы, губы, уши — все одинаковое. Ну не дурак Орангов?

— Разве во внешности дело? — задумчиво произнес лектор.— У них могут быть разные характеры, взгляды. Короче говоря, разные души. Не надо бояться слова «душа» — это просто совокупность моральных качеств.

— Души у Вали и Гали совершенно одинаковые,— убежденно сказал Вася.

— Это установлено экспертизой? — крикнул кто-то из задних рядов.

— Если хотите, и экспертизой. Валю и Галю знает один судебный эксперт. Он такого же мнения.

— Вашему Орангову ребенок надоел, он эгоист! — крикнула сидевшая рядом со мной немолодая женщина.

— У Гали тоже есть девочка. У нее был муж, Утангов. Он ее бросил.

— Может быть, ребенок у Гали лучше? — решил подлить я масла в огонь.

— Девочки совершенно одинаковые,— мотнул головой Вася.

Лектор поморщился.

— Не будем задавать таких вопросов. Оставим в покое ребенка. Ребенок тут совершенно ни при чем. А пробовали ли вы,— обратился он к Васе,— воздействовать на своего товарища?

— Пробовал. Но у него совокупность моральных качеств никуда не годится. Уперся как бык. Говоришь ему: ведь никакой нет разницы — что Валя, что Галя. А он твердит одно: «Люблю Галю».

В зале женский голос мечтательно произнес:

— Любовь есть любовь!..

Вася продолжал:

— Должен признаться, что я опустил одну деталь. Но она мне кажется несущественной. Валя живет в проходной комнате, а у Гали отдельная квартира. Валя учительница, а Галя торгует газированной водой.

В зале послышались смешки, а одна девушка громко ахнула и воскликнула:

— Подлец!

Лектор укоризненно посмотрел на Васю.

— Ну вот... А вы говорили, что у них одинаковые души.

— Я и сейчас это скажу.

Лектор промолчал.

— Видите? — торжествующим голосом произнес Вася.— Я хотел доказать, что жен можно бросать. При особых обстоятельствах. И я доказал.

— Ничего вы не доказали,— занервничал лектор.

Он налил в стакан воды и выпил. Он стал бормотать что-то невнятное. Его выручил поднявшийся на эстраду круглолицый парнишка. Паренек строго взглянул на усевшегося на свое место Васю и заявил,

что то, что напутал предыдущий оратор, очень легко распутать. Если Галя — нечестный торговый работник и Орангова это соблазнило, то их обоих надо судить. Если же Галя — честный человек и Орангов действительно ее любит, то его можно простить. Главное, чтобы Валя его простила.

— Вообще же,— заключил паренек,— если муж и жена оба порядочные, они сами во всем разберутся, без помощи выступлений с эстрады.

Этому здравомыслящему пареньку вполне можно было бы поручить создать теорию, освещающую путь влюбленным. Но я никогда его больше не встречал и поэтому решил сам попытаться.

Я решил взять пример с такой точной науки, как геометрия. Мы зубрим в детстве теоремы, а потом никогда не сталкиваемся с идеально точными равнобедренными треугольниками. В создаваемой мною теории я тоже взял идеальные условия, не встречающиеся в жизни.

На необитаемом острове жили восемнадцатилетняя Катя и двадцатилетний Ваня. Каждый день они встречались на морском берегу и ели ракушки. А потом вдруг выяснилось, что жить друг без друга они не могут. Они любили друг друга безумно, и эта любовь — до гроба.

Это правило. Все остальное — исключения. Правда, таких идеальных условий мы не встречаем в жизни, так же как не наталкиваемся на каждом шагу на правильные усеченные пирамиды. А спрашивается, почему не встречаем? Потому что все острова в основном заселены, а континенты и подавно.

Ах, если бы мы с Машей жили на необитаемом острове! Я мог бы дразнить ее сколько угодно, и она бы все равно меня любила... Но вокруг нас много людей. Например, Ухогорлонос со своим лобным рефлектором, главврач поликлиники совершенно неопределенного возраста. В этих условиях приходится как-то изворачиваться, проявлять гибкость, применять такое тонкое орудие, как критика и самокритика.

Да, сейчас я понял, что тема моего исследования должна быть совершенно другая. Как раз-то и надо поговорить об этой гибкости, чтобы не стать, как палка, как кочерга с отломанным концом. Тут на выручку приходит спасительное, как принято выражаться...

Глава девятая

Чувство юмора

Когда обезьянам пришла в голову дельная мысль потихоньку превратиться в людей, они, как известно, научились орудовать палками и камнями. Жила в те далекие времена одна ловкая обезьяна, которая острыми камнями выкапывала из земли вкусные корни и пожирала их немытыми. А у другой, неуклюжей, обезьяны это не получалось. От отчаяния она грызла кончик собственного хвоста, высоко подпрыгивала и кувыркалась в воздухе. Это было по меньшей мере нелогично. Ловкая обезьяна смотрела-смотрела на это зрелище, а потом, уперши руки в боки, страшно расхохоталась. Первый смех прозвучал во вселенной. Но не думайте, что именно после этого мир огласился бодрым смехом и украсился широкими улыбками. Решительно ничего хорошего не произошло. Неуклюжая обезьяна расфыркалась, швырнула камень в первую в мире веселящуюся единицу и удрала. Она удрала и пошла гулять по свету и стала всех уверять, что там, где вершатся серьезные дела, там не место смеху. А всего-то дел у нее было, что она, впадая в отчаяние, невероятно высоко подпрыгивала.

Говорят, что эта обезьяна так и не превратилась в человека. Говорят, она по сей день сидит в зоопарке, подпрыгивает и кувыркается. Может

быть, это и так. Но тогда я не понимаю, откуда взялись зажимщики критики и другие мрачные личности.

Не стала человеком и первая обезьяна. Она чересчур зазналась, и ее, как это всегда бывает в таких случаях, постигла неудача. Самой удачливой оказалась третья обезьяна. От нее-то и пошли люди, способные и трудиться и смеяться не только в часы досуга. Но что она из себя представляла, эта обезьяна, я, ей-богу, не знаю. Я ее не видел. В зоопарке ее нет. Спрашивается, куда она девалась? Никуда не девалась. Просто превратилась в человека. Но она была, очевидно, очень странным и сложным существом.

Я знаю, что я не самый достойный из ее потомков. Я дал этой главе столь многообещающее название, а сам все дальше и дальше ухожу от темы. Я прекрасно знаю и о другом своем промахе — я уже несколько раз упоминал про Петра Кирилловича, но до сих пор не назвал ни фамилии его, ни должности. Но этого вы от меня и не дождетесь. Не думайте, пожалуйста, что я чего-нибудь боюсь. Чего может бояться человек, не мечтающий о спальных гарнитурах и незаслуженной карьере? Решительно ничего, кроме землетрясения и Веньки Бубнового Валета. Просто у меня рука немного онемела, ее надо полечить синим светом. Она сама не выводит такие фамилии. Ее давно отучил от этого наш редактор.

Кроме того, я вообще не имею представления о том, что делает Петр Кириллович. У меня как-то мелькнуло подозрение, что он вообще ничего путного не делает. Я сказал об этом Висе Пьедесталенко. Вися ужасно испугался, курлыкнул несколько раз «мылгрыть» и после этого заявил, что ему некогда со мной разговаривать.

Единственное, что я знаю, это почему Петр Кириллович перебрался в особняк и почему он не может ходить пешком по улице. Дело было очень давно, еще до моего приезда в этот город. Петр Кириллович поселился тогда в нашем доме, в тридцать пятой квартире. Соседку мою, Екатерину Ивановну, как раз в это время выбрали домкомом. Она рьяно взялась за дело. Она обошла все квартиры, перезнакомилась со всеми, кого еще не знала, и, заявившись к Петру Кирилловичу, потребовала от него отчета, что он делает в своей жизни. Дыша себе в живот и шевеля колючками, Петр Кириллович объяснил ей, что он читает лекции, организует и заведует.

— Ты человек до того ценный,— сказала ему Екатерина Ивановна,— что даже сам себе не представляешь. Ты мне во как нужен! — Она резанула себя ребром ладони по горлу.— В субботу ты мне организуешь жильцов, чтобы они вышли двор убирать, а по воскресеньям будешь собирать стариков и домохозяек и проводить с ними беседы.

Екатерина Ивановна рассказывает, что она заметила тогда, как у Петра Кирилловича дрожали коленки. Но она подумала, что это от простуды, и посоветовала ему напиться чаю с медом.

А на следующий день к Екатерине Ивановне пришел Вися Пьедесталенко. Он заявил ей, что Петр Кириллович человек очень ценный.

— Ценный! — воскликнула домкомша.— До того ценный, что он сам себе представить не может.

— Может,— сказал Пьедесталенко.— Это он может. А жильцов ваших организовывать он не может. Ему некогда. Он большой начальник.

— Что ж,— вздохнула Екатерина Ивановна,— я начальников уважаю. Без пчелиной матки рой не держится. Раз он такой занятой, без него обойдемся. Пусть в субботу выйдет на часок проветриться, клумбы покопать, больше мы его тревожить не будем.

Вися Пьедесталенко объяснил, что его начальник не может вскапы-

вать клумбы. Эти клумбы могут оказаться той миной, которая подорвет его авторитет. Тогда его никто не будет слушаться.

— Вот беда-то,— сочувственно пробормотала домкомша.— Придется Ивану Ивановичу из пятой квартиры сказать, чтобы он тоже не ходил эти проклятые клумбы копать. У него десять человек детей. Как перестанут они его слушаться, так и пиши пропало.

— И вы, мамаша,— сказал Пьедесталенко, ободренный сочувствием,— должны как домком оберегать авторитет Петра Кирилловича пуще зеницы ока своего.

— Цел будет,— уверенно заявила Екатерина Ивановна.— В моем хозяйстве никогда ничего не пропадало.

Но через месяц Екатерина Ивановна прибежала к Висе Пьедесталенко на работу.

— Не уберегла,— сокрушенно сказала она.— Все у меня ладится. За квартиру жильцы платят. С клумб ни один цветочек не пропал. Волейбольную сетку с мячом ребята на ночь во дворе оставляют — до сих пор цела. А авторитет твоего начальника словно домовой унес. Ищи его теперь, как иголку в стоге сена.

— Что случилось? — испугался Вися.

— Жилец из первой квартиры назвал его дармоедом. Из второй — бездельником. Из третьей — барином. Из четвертой — белоручкой. А Иван Иванович из пятой квартиры, у которого десять детей, такое слово сказал, что я и повторить не могу. Скажи своему начальнику — пусть из нашего дома уезжает. Иначе он мне всех жильцов перебаламутит. Тут такое получается, хоть святых вон выноси.

— Да как я ему скажу? — Вися побледнел.

— Ты не скажешь, я скажу. На людях ему все равно не жить. Заклюют, как куры червяка. У моей снохи отец профессор. Обзавелся он своим домиком и как хорошо — от первых до последних петухов работает, и никто ему не мешает. Твоему начальнику, хоть ему дома делать нечего, тоже своя хата нужна. Без своей хаты он будет гол, как сокол,— ни почета, ни уважения. И пешком ему на работу нечего ходить, пусть врачей не слушает. Залечат они его этой ходьбой так, что весь авторитет на дороге останется. Есть машина — пусть и носу из нее наружу не высовывает.

Так по совету моей соседки-уборщицы и стал Петр Кириллович затворником, отшельником. И этого-то отшельника наш редактор Константин Петрович боится почему-то пуще осложнения после гриппа. Из-за него он никому из работников газеты и пальцем не дает тронуть гражданина Гурьева.

Я не знаю, кто посоветовал Гурьеву тоже завести отдельную хату. Уж не Венька ли Бубновый Валет? Венька без такой хаты просто пропадает. Украл часы, девать некуда — тащи на базар и пропивай. А Гурьев, хитрец, все в дом тащит. Конечно, в нашем доме Гурьев и дня не мог бы прожить. Иван Иванович из пятой квартиры, у которого десять детей, такое бы ему сказал, что не только Екатерина Ивановна не смогла бы повторить, но и старый извозчик.

Так и хоронятся они по своим хатам. Гурьев свое добро прячет, а Петр Кириллович — авторитет. У их жен на этой почве завязалась крепкая дружба.

Теперь попробуйте решить такую задачу с одним неизвестным. Гурьева разоблачают как взяточника. Куда денется авторитет Петра Кирилловича? В хате останется? Нет, дорогие мои. У Петра Кирилловича высшее образование. Он умеет решать такие задачки. Его до ухода на пенсию выставят из казенной хаты как покровителя жулика и не дадут захватить с собой авторитет.

И вот мы, работники газеты, только попробуем тронуть Гурьева, редактор хвать нас за руку. Константин Петрович смотрит на нас, как добрый хозяин на плохо воспитанного сторожевого пса. Спустишь такого пса с цепи, он и тяпнет за ногу почтальона, а то, не дай бог, участкового милиционера.

Полночь. На кладбище в это время неуютно. Еще хуже где-нибудь возле старой заброшенной часовни. Там носятся в воздухе летучие мыши, кричат совы и ухают филины. В городе по глухим переулкам бродит лихой человек, Венька Бубновый Валет. В этот недобрый час наш редактор Константин Петрович сидит один в своем кабинете и, с опаской поглядывая на окно, борется с нашим здоровым, веселым коллективом. Коллектив одних славит, других воспитывает, третьих разоблачает, а грустный редактор борется с коллективом.

Листки лежащей перед ним стопки бумаг тихо шевелятся, словно живые. Вот-вот из них высунется чья-то костлявая рука и схватит Константина Петровича за горло. Ага! Вот они, богомерзкие слова: «Гурьев собирает на стройках мошенников». Скорее красный карандаш! Уф! Строчка зачеркнута. Редактор косится на окно. Будто там светлее стало. Будто за окном сидит Петр Кириллович и показывает редактору пушистую шерстку на животе.

Я так увлекся этими мрачными описаниями, что самому стало жутко в окно глядеть. В это время пришел Вася Голубев. Он прочел эту главу, потом открыл окно настежь и зажег в комнате еще две лампочки.

— Теперь мне осталось порвать то, что ты написал, и атмосфера в твоей комнате окончательно очистится,— сказал он.

— Что тебе не нравится? — спросил я.

— Обезьяны. Совы. Филины. Летучие мыши. Петр Кириллович. Константин Петрович. Гурьев. Все это, вместе взятое, мне совершенно не нравится. Слишком мрачно. И при чем тут «Чувство юмора», стоящее в заголовке?

— Разве что-нибудь неправильно?

— Конечно. Петр Кириллович и Константин Петрович гораздо умнее и хитрее, чем ты их изображаешь. Кое-что они умеют. Кое-что они сделали. Все это сложно.

— Ах, чтоб им провалиться с этой сложностью,— сказал я с тоской.— Чересчур сложные машины нерентабельны. Их надо заменять другими, а не восхищаться количеством ненужных винтиков.

— Ты что же, хочешь, чтобы у Евгения Александровича было поменьше винтиков? — сердито спросил Вася.— Этот номер тебе не пройдет.

— Нет, я просто хочу, чтобы все нужные винтики и колесики были на месте, хорошо отрегулированы и смазаны. По-моему, чувство юмора — прекрасная смазка. Я как раз хотел это объяснить, а ты не дал мне дописать главу. Чуть колесико повернуло не в ту сторону — человек посмеется над самим собой, и все встало на место. Таким должен быть человек без недостатков в нашей пьесе. Тогда пьеса станет интересной и не обязательно будет запускать совхоз в небо.

— Нет, без неба не обойдешься,— покачал головой Вася.— Пока от земли не оторвешься, интересно не будет. Интересно над землей, под землей, на горе, под водой. Под горой, на ровном месте, уже абсолютно ничего интересного нет. Я много думал над тем, что интересно, а что нет. Человек днем бежит по улице — это скучища, если только, конечно, за ним никто не гонится. Побежит он ночью, да еще с ножом в зубах — это уже совсем другое дело. Догонять, прятать, падать со страшной высоты, стрелять, сидеть на дне бездны — все это неплохо. Но лучше неба, по-моему, все-таки ничего нет. Если бы ты увидел на небе огненное кольцо,

ты не сидел бы, как сейчас, повесив нос. Ты бы бегал, разговаривал и показывал пальцем вверх.

— Самое интересное — это люди,— назидательно сказал я.

— Смотря сколько их,— подмигнул Вася.— В комнату вошли двое в масках — это настораживает. А пятьдесят в масках — это просто маскарад. Все ясно.

— По-твоему, наш герой должен быть загадочной личностью?

— Безусловно. Какой интерес, если знать заранее, что он сделает и что он скажет?

И тут, подумав про Евгения Александровича, я вдруг сладко зевнул. В самом деле, какая скука! Ветеринар хочет составить точнейшее его описание. Это значит, заранее знать каждое его слово, каждый поступок. Нет, я больше не буду заниматься этим химическим человеком. Мне скучно. Мне надоело.

Глава десятая

Меня одолели посетители

Никакого Евгения Александровича нет и не будет. Может быть, и будет, но не раньше чем через два миллиона лет. Однако эта мифическая личность начинает отнимать у меня уйму времени. И этот товарищ никогда не узнает, сколько он доставил мне хлопот. Одно меня утешает — ничего нет на свете благороднее безыменных жертв.

Началось с утра. Сижу я один в кабинете, работаю и вот слышу, что в дверь кто-то тихонечко скребется.

— Войдите,— крикнул я.

Дверь слегка приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся худенький мужчина с желтовато-розовым лицом. Очень робкий. Он явно стеснялся самого факта своего существования.

— Заходите, заходите,— подбодрил я его.

Мужчина сделал шаг и остановился.

— Смелее, смелее! Заходите! Садитесь, пожалуйста.

Посетитель беспомощно оглянулся — ближе чем в двух метрах от него стула не было. Боясь, что он сядет прямо на пол, я подал ему стул.

— Вы обо мне читали,— нежно проворковал мужчина.— Вам обо мне писали...

— Кто писал?

— Мой сосед Жрицын.

— Так это вы Взъерепейник? — развеселился я.

— Н-негодяй,— прошептал посетитель,— Он всегда нарочно искажает мою фамилию...

— Какая же ваша фамилия?

— Взлелейник,— пролепетал мужчина, склонив головку набок.

— Ну, это разница небольшая,— утешил я его.

Умирающим голосом Взлелейник объяснил мне, что он не пришел жаловаться. Это совершенно бесполезно. Ему осталось в жизни одно — разыскать Евгения Александровича.

Я опешил. Я заверил Взлелейника, что никакого Евгения Александровича не знаю. Никогда о нем не слышал. Сморщив нос и опустив уголки губ, Взлелейник поплелся вон из комнаты.

А через минуту ко мне пожаловал поклонник «прелестной вечерней звезды» — Семен Авдеевич. Едва переступив порог, старик закричал:

— Меня совершенно не интересует, какой характер должен быть у Евгения Александровича. Ему не нужен характер. Это должен быть человек без характера.

Семен Авдеевич расстелил на столе чертеж.

— Я вижу, вы нашли какое-то несложное решение,— сказал я любезно.

— Проще, чем зажигательное устройство у автомобиля,— обрадованно подтвердил старик.— Вот тут, полюбуйтесь, схематически изображен Евгений Александрович.

— Где, где? — заинтересовался я.

Семен Авдеевич гордо показал на отрезок прямой, заключенный между двумя крохотными окружностями.

— А масштаб, масштаб? — спросил я.

— Один к десяти.

Я определил на глаз, что рост Евгения Александровича будет не более ста двадцати сантиметров. Это невозможно — это рост человека, играющего в куклы и стреляющего из рогатки. Я поделился своими сомнениями с Семеном Авдеевичем. Он ответил убежденно:

— Этого совершенно достаточно. Не надо излишеств. Характер, чувства, страсти — все это тоже, извините меня, излишества. Евгений Александрович должен быть изобретателем, иначе он решительно никому не нужен. Лучше мы дадим промышленности сотни талантливых Евгениев Александровичей, чем одного нытика с неустойчивым характером.

— А если не нытик и с устойчивым характером? — поинтересовался я.

— Зачем мне нужен его устойчивый характер? — Семен Авдеевич пожал плечами.— Ни мне, ни промышленности он совершенно не нужен.

— Как же он будет отстаивать свои изобретения?

— Не беспокойтесь. Дельная мысль всегда пробьет себе дорогу.

Я мог простить старику этот чертеж. Одного я не мог ему простить: почему он не хочет помочь мне разоблачить Грушняка? Редактор уже пять раз стучал по моему фельетону ногтем указательного пальца и говорил: «Это надо еще раз проверить».

— Семен Авдеевич,— попросил я.— Пройдемте со мною к редактору. Подтвердите, что Грушняк украл ваше изобретение.

— Я вам говорил уже, что Грушняк меня не интересует,— брезгливо поморщился изобретатель.— В него нельзя внести никаких усовершенствований.

В дверях кабинета показалась громада Сергея Васильевича Смирнова. Он приветствовал меня, молча приподняв руку и пошевелив кончиками пальцев. Семен Авдеевич рассеянно смерил его взглядом.

Я представил друг другу этих одержимых. Семен Авдеевич с ходу набросился на ветеринара и принялся ему доказывать, что Евгений Александрович, не обладающий крупным талантом изобретателя, решительно никому не нужен.

— В него придется вкладывать огромные средства,— сердился старик.— Как же можно без отдачи? Это нерентабельно.

— Ничего,— улыбнулся ветеринар.— Наши потомки создадут его в свободное от работы время.

— Игрушка? Безделушка? Кто вам позволит превращать человека в дорогостоящую модель?

Старик насупился и принялся свертывать свой чертеж. Когда он ушел, Сергей Васильевич уселся на стул и, полузакрыв глаза, сказал:

— Устал.

— Я тоже,— признался я.

— Можно вам задать один вопрос? — спросил Сергей Васильевич.

— Пожалуйста.

— Почему о Евгении Александровиче знает весь город?

— Понятия не имею,— ответил я.— Я не бегал по всему городу. Я говорил лишь немногим.

— Меня вот что смущает. Если бы я пустил слух, что через двести лет в магазинах будут продаваться телевизоры по рублю за штуку, это никого бы не взволновало. Почему о моем далеком Евгении Александровиче столько разговоров?

— Потому что он человек будущего,— сказал я, подумав.

— Я тоже человек, и я устал,— тихо промолвил Сергей Васильевич.

— Сергей Васильевич, я хочу знать, почему вы устали,— не выдержал я.

— У меня была битва...

— Где?!

— Дома. У меня было сражение...

— С кем?

— Со старухами. Не успел я приехать в город из совхоза, как ко мне явилась целая дюжина ведьм. Они требовали отвести их к Евгению Александровичу. Они слышали, что он лечит травами ревматизм. Я еле от них отделался.

Я выслушал эту историю с удовольствием и, когда Сергей Васильевич умолк, позвонил Висе Пьедесталенко. Нельзя упускать возможность попугать его самого и его начальника. Вот что значит пускать дело на самотек. Вместо важного научного труда рождаются нелепые обывательские слухи. Услышав про старух, Вися с перепугу громко закурлыкал.

— Ждите десять минут,— сказал я ветеринару, положив трубку.— Вися сообщит нам, что предпримет его начальник, чтобы вырвать Евгения Александровича из рук знахарей и старух.

Звонок раздался через пять минут.

— Ну, ну, курлыкай,— крикнул я в трубку и тут же осекся: я узнал голос Петра Кирилловича.

— Есть у вас фрак или смокинг? — спросил я Сергея Васильевича, закончив разговор по телефону.— Конечно, у вас нет ни того, ни другого. Скажите Юлии Семеновне, чтобы она почистила ваш лучший пиджак и свое панбархатное платье. Завтра вечером мы идем пить чай в хате Петра Кирилловича. У него будет писатель Федор Грюсный.

— Ну, знаете ли,— презрительно сощурился Сергей Васильевич.

— Ничего, ничего... Не гнушайтесь.

— Вы неплохой парень,— сказал Сергей Васильевич.— Но после знакомства с вами у меня началась беспокойная жизнь. Раньше мной не интересовались ни начальники милиции, ни старухи, ни...

— Ш-ш-ш! — Я погрозил ему пальцем. (В этой книге не упоминается должность Петра Кирилловича.) Разве вы забыли, кто мой редактор?

Кстати, о моем редакторе. Константин Петрович знает о проблеме создания Евгения Александровича. Он поинтересовался, что за дурацкие письма поступили в редакцию. В разговоре с ним я развивал ту мысль, что Евгений Александрович должен быть точь-в-точь, как Петр Кириллович, с колючками наружу и мягкой шерсткой внутрь. Редактор, разумеется, молчал, сдерживал улыбку и недовольно поводил носом. Он не безнадежен...

Глава одиннадцатая

Евгений Александрович идет по городу

Мы в тихой обители, где Петр Кириллович за семью замками хранит свой авторитет. Никаких мыслей о том, что хозяин живет не по средствам, не возникало. Но меня немного смущало одно — бриллианты на руках его жены. Жену Петра Кирилловича, когда эта чета жила еще в

нашем доме, ребята, бегающие во дворе, прозвали потихоньку Козлицей за привычку встряхивать головой, словно у нее была невидимая борода. Я буду вынужден называть ее так, поскольку настоящее ее имя запамятовал.

После разговора по телефону с Петром Кирилловичем я подумал, что в его особняке может состояться если не интересная, то забавная беседа. Ведь счел же Петр Кириллович необходимым позвать к себе и писателя. Но сейчас я понял, что Петр Кириллович пригласил нас только потому, что в первый момент, узнав о нашествии старух, страшно растерялся и не знал, что предпринять. Впопыхах он затеял это чаепитие, чтобы, в случае чего, было ясно, что он не пустил на самотек создание Евгения Александровича. И в спешке он, между прочим, позвал совсем не того писателя, который мог пригодиться в беседе о далеком будущем. Федора Грюсного не только будущее, но даже настоящее нисколько не интересовало.

За столом было невесело. Застенчивая худенькая Юлия Семеновна сидела в своем панбархатном платье неподвижно как мумия. Петр Кириллович и ветеринар затеяли длинный разговор о перспективах развития животноводства в нашей области. Вися Пьедесталенко потихоньку рассказывал мне анекдоты, а Федор Грюсный сидел молча. Козлица разливала чай.

Меня подмывало затеять в этом обществе дискуссию на тему: где поселить Евгения Александровича — в отдельной хате или в коммунальной квартире? Но в присутствии таких энергичных дам с крохотным ротиком, как Козлица, я тушуюсь.

Вдруг столовую огласил резкий, требовательный звонок. Звонили у подъезда.

— Боже мой, что же это такое? — испуганно пробормотала Козлица.—Вися, Вися!—закричала она.—Дуся, не смей открывать,—вернула она с полпути вышедшую в переднюю домработницу.— Вися, Вися, звоните в милицию!

Я переглянулся с сидевшим поодаль Сергеем Васильевичем, и мы взглядами договорились не открывать. Интересно посмотреть, что будут делать хозяева. А звонок продолжал дребезжать.

— Никогда, никогда в нашем доме этого не было! — причитала Козлица.

Петр Кириллович строго взглянул на Пьедесталенко. Маленький Вися Пьедесталенко, застегнув зачем-то пиджак, приподняв плечи, вышел из комнаты. Через минуту он вернулся.

— Там люди,— растерянно пробормотал он.

— Так я и знала! — Козлица всплеснула руками.

Сергей Васильевич не выдержал и вышел. Вернувшись, он, ни слова никому не говоря, снял телефонную трубку и вызвал пожарных. Горели кладовки в соседнем дворе.

— Вися! — завопила Козлица.— Пойдите скажите, чтобы не пускали огонь на нашу сторону!

— Пошли, Дима,—сказал Сергей Васильевич.— Юля, сиди пока здесь.

Грюсный немедленно увязался за нами. Какая удача! Он имел шансы увидеть нас покрытыми копотью и обгоревшими. Ценный жизненный материал для писателя. Но надежды его не оправдались. Пожарные уже прибыли и загородили своими телами самые красивые языки пламени. Наша помощь уже никому не была нужна. Мы постояли минуту в толпе зевак. И вдруг Сергей Васильевич, чье выражение лица давно уже мне не нравилось, ринулся вперед, схватил горящий стул, отброшенный пожарными в сторону, и расшиб его о тлеющую стену кладовки. Посыпались искры. Грюсный взглянул на ветеринара с восхищением.

— Пошли за Юлией Семеновной,— сказал мне Сергей Васильевич. У него был какой-то меланхолически-умиротворенный вид.

— Зачем вы расшибли стул? — спросил я ветеринара, когда мы трое покинули взбудораженную одинокую хату.

— Отвел душу.

— Гм... почему-то я давно подозревал, что вы именно таким способом отводите душу.

— Вам, конечно, приходилось читать научно-фантастическую литературу,— сказал Сергей Васильевич.— Вам, наверное, попадались загадочные люди с других планет, которые дышат фтором, жрут железо или наоборот. Чем хуже мой нормальный — земной, а не небесный Евгений Александрович, достойный брат наших великолепных потомков? Почему мне запрещают о нем говорить?

— Кто вам запретил?

— Этот... Нахохлившийся.

— Петр Кириллович?

— Он самый. Шепнул на ухо. Мне, конечно, наплевать на него. Но как он смеет думать, что он может мне что-то запретить?

— Вы нарушили его спокойную жизнь, как этот пожар в соседнем доме, как люди, столпившиеся у подъезда, как неожиданный звонок в передней.

— Ох уж я вернусь из отпуска! Ох уж я приложу руку к тому, чтобы его сняли с работы! — заскрежетал зубами Сергей Васильевич.

— Боюсь, что дело обойдется без вашей помощи,— сказал я.— Как это плохо, что таких, как вы, очень и очень много. Они «прилагают» руку только тогда, когда их лично обидели.

— И это правда,— усмехнулся ветеринар.

В этот вечер я надолго простился с Сергеем Васильевичем и его женой. Они уезжали на курорт.

Прошло несколько дней. Ко мне не приходили ни Взлелейник, ни Грушняк, ни Семен Авдеевич. В редакцию не приходило больше писем о «химическом человеке». Я начал было уже забывать о Евгении Александровиче. И вот в один прекрасный день моя соседка Екатерина Ивановна огорошила меня:

— А вы слышали, что в городе появился ненастоящий человек? Помните, вы сами давеча о нем говорили?

— Что за глупость!

— Не глупость,— поджала губы Екатерина Ивановна.— Я сама видела.

Я и слушать ее не стал. Однако на другой день она снова похвасталась, что видела ненастоящего человека. На третий день она заявила, что он ежедневно в одно и то же время проходит мимо наших окон. В пять часов тридцать минут вечера. На пятый день я не выдержал. Я ушел с работы пораньше и явился домой в пять часов двадцать минут. Екатерина Ивановна уже заняла наблюдательный пункт на балконе. Я уселся рядом с ней. На улице было людно: многие в это время возвращались с работы. Я вглядывался в каждого прохожего. Вот прошла пожилая женщина под руку с мужем. На них нечего смотреть: и так ясно, что оба настоящие. Прошел старик, опираясь на палочку,— самый неподдельный. Шли молодые, старые, многие очень симпатичные, но все самые что ни на есть настоящие.

— Сейчас пройдет,— сказала Екатерина Ивановна.

Ползли секунды, и каждая проносила мимо человека. Я остановил взгляд на высоком блондине, наискось переходившем улицу. Он не возбудил во мне никаких подозрений. Таких настоящих — только поискать! И я перевел глаза на других прохожих. Ба! Да кто же это там плетется?

Никак Взлелейник? Но мне сейчас не до него. Стрелка подошла к половине шестого.

— Вот он,— сказала соседка.

Я взглянул туда, куда она показывала, и снова увидел высокого блондина. Он перешел улицу и проходил как раз под нашим балконом.

— Чудеса,— вздохнула Екатерина Ивановна.— И до чего только люди не додумаются! То ракета, то комета. А теперь человек по городу пошел. Как живой, а не настоящий. Дела!

Я не отрывал глаз от блондина. Неужели это он? Зачем он так непростительно молод? Разве такого можно выпускать в жизнь? Теперь с ним хлопот не оберешься. Он слегка, едва заметно прихрамывает — вот уж это совершенно лишнее. Без этого можно было обойтись.

Сейчас блондин скроется за углом. Я опрометью выбежал на улицу, догнал его и пошел следом. Он шел очень знакомой дорогой. Вот мы свернули в тихий переулок и скоро подошли к дому, где жил Сергей Васильевич. Блондин кивнул нескольким женщинам, стоявшим у подъезда, и стал подниматься по лестнице. Я шел за ним по пятам. Блондин поднялся на четвертый этаж, подошел к двери, на которой был нарисован черт, так и не смытый Юлией Семеновной. Ненастоящий человек вынул из кармана ключ. Дверь открылась и захлопнулась.

Привычным движением я потянулся к звонку.

Часть вторая

Глава первая

Исповедь ветерана Жрицына

Нового обитателя квартиры ветеринара звали Евгением Александровичем Смирновым. Женя показался мне симпатичным юношей. Я задал ему несколько вопросов. Он оказался образованным парнем. Более или менее правильно говорил.

Рассердило меня, что Женя говорил «Бальзака́». Не мог уж ветеринар использовать меня для корректуры и литературной правки...

Женя рассказал мне, что после окончания десятилетки он года два работал каменщиком. В наш город он приехал, чтобы поступить на вечернее отделение строительного института. Здесь он уже начал работать на одной из строек у Гурьева.

Ах, плохо, что к Гурьеву! Там ему придется не только работать, но и бороться. Но в конце концов у Гурьева работает много чудесных парней. Если разобраться, они ничем не хуже этого таинственного Евгения Александровича. Почему ему надо создавать какие-то особые условия?

Я сказал Жене, что буду его навещать, сказал, чтобы он, в случае если ему что-нибудь понадобится, звонил ко мне по телефону. Я решил, что такое внимание не должно возбудить у Жени каких-то подозрений. Ничего нет особенного в том, что товарищ постарше берет опеку над одиноким парнем.

Когда я вышел на улицу, было уже темно. Не успел я пройти нескольких шагов, как мимо меня прошмыгнула чья-то знакомая фигура. Ну конечно, это был Взлелейник. Все ясно. Я заметил его часа два назад, когда сидел на балконе с Екатериной Ивановной. Он шел следом за Евгением Александровичем, хотел с ним поговорить, но я ему помешал. Он терпеливо ждал на улице, когда я уйду. В первый момент я хотел его задержать, не пустить к Жене, но потом сообразил, что это было бы

глупо. Взлелейник поймал бы его в другой раз. «Иди, дурак, иди»,— подумал я.

И вот дня через два, когда я снова пошел к Жене, я встретил его спускающимся по лестнице. Он объяснил мне, что идет к худенькому и тихонькому мужчине по фамилии Взлелейник, который очень просил утихомирить его буйного соседа. Взлелейник обращался уже во все инстанции и заявил Жене, что, кроме него, ему некому пожаловаться.

«Что ж, для начала это неплохо,— подумал я.— Наш с Васей человек без недостатков тоже должен будет во все вмешиваться и всем приходить на помощь».

Конечно, мы отправились вдвоем. Когда мы нашли нужный нам дом и вошли в подъезд, мы зашатались от обрушившегося на нас буйного разгула звуков. Тут смешались все громы — земные и небесные. Это веселились испорченные жрицынские радиоприемники. Звонить было бесполезно. Мы долго стучали в дверь кулаками. Потом из квартиры напротив вышел мужчина с тонким профилем и длинными ногами. Руки в карманах. Воротник поднят. Вокруг шеи обмотан шарф. Он молча стал спиной к нашей двери и начал очень высоко подпрыгивать, нанося удары в дверь обеими пятками. Это было трудное упражнение. Мы с Женей так не смогли бы и зачарованно глядели на молчаливого акробата. Попрыгав, он ушел. Только тогда я вспомнил, кто он такой.

— Это Роберт Плюнников, циркач! — крикнул я Жене в ухо.

Но даже Роберт Плюнников нам не помог, а больше никто на помощь не являлся. Тогда Женя с силой рванул дверь на себя. Она подалась довольно легко. Мы вошли в темный коридор, окунувшись в те звуки, которые нас до этого не достигали. Это была целая канонада. Я зажал уши поплотнее, а Женя вдруг куда-то исчез. Мгновение — и настала такая благословенная тишина, какой я ни разу в жизни не наслаждался.

— Быстро тебя Жрицын послушался,— сказал я, когда Женя вернулся.

— Там никого нет,— удивленно ответил он.— Я сам выключил.

Щелкнул выключатель, и мы увидели в коридоре двух женщин в длинных халатах, привлеченных сюда, видимо, необычайной тишиной. Обе были обмотаны полотенцами, подвязанными под подбородком. Когда одна из женщин открыла рот, я узнал Взлелейника. Теперешний наряд был ему очень к лицу.

— Познакомьтесь,— заворковал Взлелейник,— это моя вторая жена. Моя первая жена меня покинула. У моей второй большое достоинство — она глухая от природы. Она повязывает полотенце, чтобы поддержать меня морально.

Мы вошли в комнату и наткнулись на подушку. Она была продырявлена в нескольких местах.

— Жрицын нанес ей восемь ножевых ранений,— простонал Взлелейник.

У входа висели полотенца.

— Это для гостей,— объяснил хозяин.— Не хотите на всякий случай?

Приглушенные звуки привлекли наше внимание. Женя с подозрением покосился на гору подушек, возвышавшуюся на кровати.

— Там бабушка,— пролепетал Взлелейник.

— Она у вас тут не задохнется? — спросил Женя, снимая на всякий случай одну из подушек.

— Ду-ует,— послышалось, как из глубокого колодца.

— Не беспокойтесь, Евгений Александрович, она привыкла. Сейчас

мы ей скажем, что вы пришли.— И Взлелейник осторожно подергал за кончик седой косы, выглядывавшей из-под подушек.

Подушки бурно заходили, как морские волны, и из-под них вынырнула сухонькая востроносая старушка.

— Бабушка,— взволнованно сказал Взлелейник,— Евгений Александрович пришел.

— Ах ты, ангел ты наш,— залопотала старушка.— Поди-ко поближе, дай посмотреть на тебя, какой ты есть.

Но тут словно фугасная бомба разорвалась над нашими головами. Проклятый Жрицын снова включил приемники. Бабушка быстро начала креститься. Находчивый Женя придавил ее двумя подушками и выбежал из комнаты.

Через секунду стало опять тихо, и Женя вернулся. Вид у него был растерянный.

— Ничего не понимаю — там опять никого нет...

— Это Жрицына-то нет? — спросила старушка, скидывая с себя подушки.— Ты, милок, плохо смотрел. В сундук небось не заглянул. А Жрицын тоже живой человек, ухи у него не казенные. Разве мысленное дело — каждый божий день такую граммофонию слушать?

— А часто он приемники включает? — спросил я.

— А бог его знает. Там у него есть один, оскаленный, так его включай не включай, он все одно — орет как оглашенный.

— Пошли искать Жрицына,— потянул меня за руку Женя.

Мы вошли в комнату, где на столе и на полу стояли какие-то взъерошенные, обшарпанные приемники. С табуретки неприятно скалил зубы-клавиши небольшой приемник второго класса. Кровати не было, зато в углу стоял здоровенный сундук. Мы с Женей вместе приоткрыли крышку. На дне сундука лежал хмурый маленький старичок и читал газету. В этом тихом убежище было уютно: вся внутренность сундука была обита одеялами, в крышку ввернута электрическая лампочка.

— Принимайте гостей, папаша,— сказал Жрицыну Женя, протягивая руку, чтобы помочь ему встать.— Что же это вы наперед смерти в гроб залезли?

Старичок молча принял протянутую руку и привычным движением, высоко подняв ногу, перешагнул через стенку сундука. Захлопнув крышку, он жестом пригласил нас садиться на нее. Когда мы все трое уселись, Жрицын спросил:

— Из милиции?

— Нет,— мотнул головой Женя.

— Из райисполкома?

— Нет.

Жрицын перечислил еще несколько учреждений, но мы только и делали, что мотали головами.

Жрицын оживился и с интересом оглядел нас.

— Кто же вы?

— Гости ваши,— сказал Женя.

— Так это ты, гость дорогой, хозяйничал, приемники выключал? — строго спросил старик.

— Я.

— Заступник, значит?

— Может быть, и заступник.

— А что я сделал? — Жрицын подбоченился.

— К соседям врывался.

— А ты видел?

— И видеть не хочу.

— Значит, ничего и не докажешь,— выпалил Жрицын. Он начинал входить в раж.

— Докажу!

— Нет свидетелей.

— Найдутся.

— Поумнее тебя искали и не нашли.

— Вы при нас приемники включали.

— Ишь ты! Это Взъерепейник сам включил. Я в сундуке лежал.

— Взлелейник был с нами в комнате,— не выдержал я.

— Значит, сосед, Роберт Плюнников, включил. Он у нас Терпсихора мужского рода, на веревке польку пляшет. Ему музыка нужна.

Жрицын сидел веселый и довольный. Вся его система была продумана до мелочей. Свидетелей не было.

— Обойдемся без свидетелей,— сказал Женя и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся, таща за руку упирающегося Взлелейника.

— Дай ему в морду,— сказал Женя Взлелейнику, показывая на спокойно сидящего Жрицына.— Свидетелей нет!

Взлелейник стоял как вкопанный. Глаза его были полузакрыты.

— Бей, не робей!

Взлелейник поднял глаза, но тут же опустил. Жрицын смотрел на него гипнотическим взглядом, как удав на лягушку. Внезапно старик поднялся.

— Бей! — сказал он, подходя к соседу и подставляя щеку.— Нет свидетелей!

Взлелейник заложил руки за спину.

— Бей, храбрец!

И случилось чудо. Взлелейник крепко зажмурил глаза и наотмашь ударил своего врага по подставленной щеке кулаком. Затем, подобрав полы халата, он опрометью выбежал из комнаты. Старик посмотрел ему вслед с ненавистью. Через секунду взгляд старика потеплел.

— Это у тебя здорово получилось,— сказал он Жене.

— В другой раз еще лучше получится. А теперь мы пошли.

— Нет, ты погоди,— деловито сказал Жрицын.— Ты мне скажи, откудова ты такой взялся? Почему ты раньше не приходил?

— Да все как-то некогда было.

— Нет, ты мне скажи, почему ты раньше не приходил? — крикнул Жрицын срывающимся голосом.— Тебе некогда, ты шуры-муры с девками под кустами разводишь. А на чужую жизнь, в сундуке запечатанную, тебе наплевать?

— Не волнуйтесь, папаша,— сказал Женя.— Лучше вы нам расскажите все по порядку.

Пошевелив некоторое время усами, старик начал:

— Раньше у меня другой сосед был — Иван Иванович. Вечерком зайдет — дай, говорит, газетку почитать. Я и даю. Заскучаю — иду к нему. Так и жили мы душа в душу. Только раз собрал Иван Иванович свои вещички, да в район и укатил жить. В субботу, помню, уехал. В воскресенье я весь день на сундуке пролежал — скучал. А в понедельник утром слышу — кто-то в дверь скребется. «Войдите»,— говорю. Вот и вошел он в мою жизнь, как гвоздь в половицу, загнал меня в сундук, как старый тулуп...— Голос старика дрогнул.

— Это Взлелейник-то загнал? — спросил Женя.

— Он самый, Взъерепейник. Вошел он и стал возле двери. Я говорю ему: «Ты ближе подходи». Он сделал шаг. Я как крикну: «Иди сюда, я не кусаюсь!» А он вздрогнул и обмер весь. Да разве можно спокойно на такую овцу смотреть? Я вскочил с сундука, топнул ногой да как гаркну: «Убирайся отсюда, покуда цел!» Он шмыг в коридор! Больше он

в дверь мою не скребся. Только раз я запустил вечерком радио погромче, а наутро ко мне домком стучится. «Вы, говорит, слишком громко радио не запускайте, от вашего соседа жалоба поступила». Я ему после этого показал жалобу. С неделю такую музыку включал, что у самого на черепе трещина появилась. И вот заявляется ко мне в эту самую комнату участковый милиционер. «Вы, говорит, перестаньте хулиганить, а то я вас оштрафую». Милиционер за дверь, а я — к Взъерепейнику. Не шумел я, не ругался — подушку ножом пырнул и чистое полотенце в форточку выкинул. Взъерепейник после этого иначе как на цыпочках передо мной не ходил. Только письма стал всюду писать. Он бухгалтер, у него фантазия богатая. Как есть все напишет, ни слова не прибавит. И пошли к нам комиссии ходить, как в музей. И депутаты. И делегаты. И кандидаты. Только всем я говорю: Взъерепейник чепуху выдумывает. Комиссия за дверь, а я пойду напьюсь от радости. Много денег стал на это переводить, пришлось приемники на дом брать чинить. Как включу все разом, Взъерепейниково семейство под подушки хоронится. Я себе тут сундучок оборудовал. Лежу в нем, читаю газету... Только, братцы, скажу вам как родным,— надоел мне этот сундук, как горькая редька. Пропадаю я в нем. Тесно мне, душно, а помощи ниоткуда не видно.

Жрицын примолк.

— А вы зачем в газету жалобу писали? — спросил я.

— А чего ж мне не писать? Он пишет, и я научился. У нас с ним права равные — у него нет свидетелей и у меня нет. Это тоже хорошо — чего хочешь, то и пиши.

— Вы, папаша, больше не включайте приемники. А то мы тут такое устроим, что они самую легкую музыку принимать разучатся,— строго сказал Женя.

— Ладно уж! — Жрицын махнул рукой.

— Ходили бы вы лучше в кино,— посоветовал Женя.

— А может, и вправду пойти? — обрадовался Жрицын.— Уж скажи ты мне, парень, как тебя зовут.

— Евгений Александрович Смирнов,— представился Женя.

Старик встрепенулся.

— Ишь ты! Уж не тот ли ты самый Евгений Александрович, у которого моральный облик высокий, а сам он будто не настоящий, а еще лучше настоящего?

— Кто вам чепухи про меня наговорил? — засмеялся Женя.

— А ты не смущайся.— Жрицын похлопал его по плечу.

На другой день, придя в редакцию, я рассказал Васе Голубеву о своем знакомстве с Евгением Александровичем.

— На твоем месте я бы проверил документы у этого белобрысого недоросля,— сказал Вася.

— Я не хочу проверять у него документы,— ответил я тихо, но очень твердо.— Ты меня понял?

— Понял...— Вася даже не улыбнулся. Он очень хорошо меня понял.

А потом мы обсуждали поступок Евгения Александровича. Он, конечно, правильно сделал, что утихомирил квартирного тирана. Но метод, метод! Чужими руками в морду дал. С точки зрения юридической науки — метод, не достойный широкого распространения. Это только разреши! Представьте себе кратковременный кулачный бой между двумя министерствами или ведомствами, заменивший многолетнюю обстоятельную переписку по спорному вопросу. Я, конечно, уверен, что если Грушняку всего-навсего показать кулак, он перестанет ходить по инстанциям. Но я не решаюсь этого делать — образование не позволяет. Пишем фельетоны.

Глава вторая

О Жене знают

Вы не думайте, что я забыл, как Поймакин грозился в первый же день арестовать Евгения Александровича. С минуты на минуту я ждал беды, но Жене, разумеется, ни слова не говорил. И вот мой друг получил повестку из городского отдела милиции.

В то утро, когда Женя должен был идти в милицию, я попросил Екатерину Ивановну нажарить котлет на случай, если придется идти в тюрьму с передачей. Но не успел я собраться на работу, как в дверь позвонили — явился Женя. Он с удовольствием съел котлеты и принялся рассказывать. Вот что произошло в милиции.

— Так-так-так,— сказал Поймакин, пронзая взглядом вошедшего в кабинет Женю.— Значит, это ты Евгений Александрович Смирнов? А нука, давай сюда свои документы.

Женя вытащил паспорт, другие документы, какие-то справки и положил на стол. Начальник милиции жадно сгреб все это в кучу и принялся делать выписки себе в блокнот.

— А ну-ка, теперь сядь и напиши свою автобиографию,— приказал он.

Женя быстро исписал полстранички. Ведь он прожил очень мало.

— Нет, так дело не пойдет.— Поймакин скомкал листок и бросил его в корзину для бумаг.— Ты, парень, давай мобилизуйся и всю свою воображаемую жизнь изложи на десяти страницах. Иначе отсюда не уйдешь.

— Странная у него манера выражаться,— рассказывал мне Женя.— Я так и не понял, о какой воображаемой жизни он говорил. Пришлось всякую чепуху вспомнить, чтобы растянуть автобиографию на десять страниц. Написал даже, как сестре в детстве губу разбил...

Поймакина, видимо, эта деталь не смутила, и он доброжелательно похлопал Женю по плечу.

— Ничего, парень,— сказал он.— С такой автобиографией можешь спокойно ходить по нашему городу. Только давай припомни хорошенько, нет ли на твоей памяти какого-нибудь преступления. Расскажи, кого ты убил, кого ограбил, кого в речке утопил? Сколько раз ты в чужие карманы лазил, сколько раз документы свои подделывал?

— Ох и разозлился же я,— рассказывал Женя.— Я схватил стул и хотел расшибить его об стену. Начальник быстро вытащил пистолет и чуть было в воздух не выстрелил. Тогда я поставил стул, а он погрозил мне пальцем.

«Этого еще не хватало,— с ужасом подумал я.— С чего это Сергею Васильевичу вздумалось снабдить Женю своей привычкой хвататься за стулья? Ну и ну!»

— Поймакин извинился передо мной и сказал, что он пошутил,— продолжал свой рассказ Женя.— А потом стал опять меня допрашивать. Постарайся припомнить, говорит, не приходилось ли тебе в жизни хоть одного жулика поймать или хулигана, хоть самого плохонького. Я ему рассказал, что на меня как-то напали два бандита. Один от меня удрал и прострелил мне ногу, так что я до сих пор прихрамываю, а другого я привел в милицию. Ох и обрадовался же Поймакин! Стал вокруг меня ходить и руки потирать. А не записался ли ты, спрашивает, в дружинники на своей стройке? Я ему сказал, что, конечно, записался. Тогда он приказал: «Чтобы ты через неделю в этот кабинет Веньку Бубнового Валета привел, понял?» Я ему ответил, что понял. Только, спрашиваю,

почему вы его сами до сих пор сюда не привели? А он говорит: «Не твоего это ума дело. Тебе многое дано — с тебя и спросится».

Но как в самом деле Евгений Александрович будет голыми руками ловить бандита, за которым Али-Гусаков с утра до вечера гоняется с пистолетом на боку? Когда я спросил об этом Женю, он, подмигнув мне, ответил:

— Мне кажется, что Веньку надо ловить не с утра до вечера, а, наоборот, с вечера до утра. Мы с ребятами придумаем, как его поймать, да и ты нам поможешь.

Мне не понравилась уверенность, с которой были произнесены последние слова. Я привык иметь дело с дураками, подхалимами, бюрократами, должностными жуликами. Против них я оттачивал свое оружие — перо. Но что Веньке мои хлесткие, броские, разящие фразы, междометия и многоточия? Он приставит наган к моему носу и отнимет у меня отточенное перо вместе с часами (как один раз, между прочим, и сделал).

С такими невеселыми мыслями шел я в редакцию. Нехорошие предчувствия целый день мешали мне спокойно трудиться. В довершение всего я допоздна задержался на работе и без всякого удовольствия поглядывал на темное окно. Задержал меня Чугалинский.

— Дима! — Он умоляюще взглянул на меня.— Я хочу, чтобы ты прочел мою информацию. Это про того самого человека, о котором ты рассказывал мне в совхозе. Если Константин Петрович не захочет печатать этот материал, я пошлю его в другую газету.

Я стал читать. Информация называлась «Чудо XX века»:

«Группой ученых нашего города во главе с инженером т. Грушняком создан интереснейший экспериментальный образец человека будущего. Искусственно созданный мозг этого человека обладает исключительно широкими познаниями. Создатели называют свой образец Евгением Александровичем Смирновым. В настоящее время Евгений Александрович работает каменщиком на строительстве нового жилого дома. В беседе с нашим корреспондентом управляющий трестом т. Гурьев сообщил, что Евгений Александрович проявил себя очень вдумчивым работником. Он укладывает до пяти тысяч штук кирпича за смену. Наш корреспондент побеседовал также с самим Евгением Александровичем. Оказывается, он прочел 1 000 книг, знает 300 000 русских слов, видел за свою жизнь 1 000 000 людей, любил 1 женщину (свою мать), имел 75 товарищей, знает 125 немецких слов. Следует учесть, что все это искусственно вложено в его мозг...»

Дальше я не стал читать.

— Чугги,— сказал я,— триста тысяч русских слов — это невероятно. В толстённом орфографическом словаре сто десять тысяч слов. Откуда ты взял эти цифры?

— Евгений Александрович сам мне их назвал.

— Гм... А кто тебе сказал, что Грушняк стоит во главе группы ученых?

— Гурьев сказал. Из строителей, кроме него, никто не знает, кто такой Евгений Александрович.

— Гм... Но неужели ты не понимаешь, что все, что ты написал,— совершенно лишнее?

— Лишнее?..— горестно поднял брови Чугги.

— Лишнее. Если это «химический человек», у него нет матери и нельзя, чтобы он узнал о своем происхождении.

Вы думаете, он меня понял? Целый час я его уговаривал. Когда грустный Чугги ушел, в комнату вбежал возбужденный Женя. Он сказал, что сегодня с ним беседовал один из корреспондентов нашей газе-

ты. Жене это было очень неприятно — он вовсе не лучший рабочий на стройке. Он побеседовал с корреспондентом только потому, что не мог от него отделаться. Теперь Женя хочет, чтобы я не допустил опубликования материала о нем. Ему неудобно.

— Ты мне лучше скажи, где ты взял цифры, которые наговорил корреспонденту,— сказал я.

— Ты даже не представляешь себе, как мне надоел этот человек. Он бы умер, если бы я не назвал ему каких-нибудь цифр. Мне даже стало жаль этого дурака.

Меня передернуло. Почему все, даже Женя, жалеют дураков?

— Хорошо, Женя,— пообещал я,— о тебе ничего не будет написано в газете. А теперь идем домой. Нам по пути.— И я покосился на темное окно.

— Пошли, пошли,— радостно сказал Женя.— Сейчас уже поздно. А вдруг мы встретим по дороге Веньку Бубнового Валета? Я бы показал ему один приемчик...

— Брось задаваться,— рассердился я.— Иди домой один. Наверное, при виде меня у тебя возникают такие дурацкие планы. Пусть Али-Гусаков показывает Веньке приемчики.

Я злился на Поймакина. Как он смеет рисковать таким чудом?

Глава третья

Магарыч

Мне захотелось немедленно познакомить «живую модель» с Васей Голубевым. Правда, было поздно, но жена всегда пилит Васю очень долго, и они рано спать не ложатся.

Вася смотрел на Женю с острым любопытством. Я оставил их вдвоем, уведя в другую комнату Васину жену, чтобы она не мешала. Там она целый час пилила меня.

О чем говорили Василий с Евгением Александровичем, я не знаю. Но, когда мы прощались, Вася выразительно посмотрел на меня и сказал громко:

— Загублена блестящая идея.

Я не испугался, что Вася так сказал. Ведь Женька все равно ничего не понял.

Но почему же все-таки Вася считает, что загублена блестящая идея? Я спросил его об этом на другой день.

— Собирались выпустить в свет самого счастливого человека,— сказал он,— а что получилось? Твой Женька, может быть, и счастлив, но после разговора с ним я понял, что он дурак. Кулаки заменяют ему логику. В таких счастливцах никогда недостатка не было. Нет, ты мне подай самого умного и счастливого.

Я возражал. Я сказал, что, по-моему, в Евгения Александровича вложена какая-то другая, но очень интересная идея.

— Давай еще разок поговорим с ним,— попросил я.— Не надо делать поспешных выводов.

После работы мы отправились к Жене. Когда он открыл дверь, я очень удивился — на нем были очки. Женя немного смущенно объяснил, что он примерял очки Сергея Васильевича, а потом забыл про них.

— Пойдем выпьем,— сказал Вася Евгению Александровичу.— У меня сегодня именины. Я угощаю. Можешь не наступать мне на ногу,— обратился он ко мне.— Парень взрослый.

Женя с любопытством проследил, как я снял свою ногу с Васиной, и заявил, что сию секунду будет готов — только переоденется после работы.

Пока Женя возился в ванной комнате, я пилил Васю:

— Ты что делаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь? Это чудо двадцатого века, а ты его спаиваешь. Хватит того, что жена тебя с утра до вечера пилит.

— Он чудо, а я нет,— горько усмехнулся Вася.— Меня ты не бережешь. Со мной ты ходишь, когда я тебя приглашаю. А твое чудо просто человек немедленного действия. Вот, по-моему, и все... Жрицына утихомирить нетрудно, а в сложной обстановке твой Женька не сориентируется. Ты с ним еще наплачешься.

Я подумал, что, видимо, у Женьки действительно не хватает чувства самосохранения. Я стал подозревать, что неведомые мне создатели Жени вложили в него представление, что везде тишь, да гладь, да божья благодать и человек может всюду совать свой нос без опасения...

Когда Евгений Александрович вышел к нам переодетый, я не пустил его справлять Васины именины. Вася ушел один. А я принялся читать Жене нотацию. Я посоветовал ему поосторожнее совать всюду свой нос, особенно на работе.

— А ты разве не суешь всюду свой нос? — спросил Женя.

— Я другое дело, я журналист. Выражаясь футбольным языком, я нахожусь на штрафной площадке. Тот, кто подставит мне ножку, поплатится довольно быстро. А ты в центре поля. Тебе труднее попадать в ворота, а противнику легче подставить тебе ножку.

— А что я сделал? — сказал Евгений Александрович тоном шестиклассника.— Я ничего еще не сделал. Работаю, и все.

Но вскоре я убедился, что это не совсем так. В воскресенье я зашел к Жене. Дверь на лестницу была открыта настежь, дверь в большую комнату — тоже. А в комнате я увидел такую картину, что не знал в первый момент, к какому телефону-автомату бежать и какой номер набирать — ноль два или ноль три.

На обеденном столе, на том самом, где Юлия Семеновна мило потчевала нас с Сергеем Васильевичем чайком, стояли бутылки. В комнате сидели люди, взлохмаченные, в порванных в клочья рубахах, у каждого в руке — пустая бутылка. Они были молчаливы и неподвижны. Старший из них сидел за столом, обхватив голову руками. На продавленной кушетке расположился другой. Подперев подбородок кулаками, он смотрел на расставленную перед ним шахматную партию. Третий мужчина, вернее молодой парень, сидел в кресле. Перед ним на табуретке стоял микроскоп Сергея Васильевича. Он заглядывал в него одним глазом. Жени в комнате не было.

Я подошел к мужчине, сидевшему за столом.

— Где Женя? — спросил я его.

Он прохрипел:

— Повтори, что ты сказал, повтори!

— Повтори! — раздался вопль за моей спиной.

Я быстро обернулся. Кричал молодой парень. Он вскочил с кресла и вращал бутылкой над головой.

Я подошел к человеку, сидевшему на кушетке.

— Где Женя? — спросил я его.

Мужчина медленно повернул голову, оторвавшись взглядом от шахматной партии. С огромным трудом он выдавил из себя, как пересохший клей из тюбика, следующие слова:

— Я т-те-б-бе в мои дела... свой поганый нос... с-совать не позволю!

— Не позволю! — раздался вопль за моей спиной. Снова кричал молодой парень, вращая бутылкой.

И опять все замерло. Я заглянул в лабораторию Сергея Васильевича, под столы, под кушетку. Потом пошел на кухню. Жени нигде не было. Я хотел уже звать на помощь соседей, но сначала решил, на всякий случай заглянуть в ванную. Она оказалась запертой изнутри. Я постучал.

— Кто там? — раздался спокойный голос Жени.

— Открой,— тихо отозвался я.

Мне отворили. Женя сидел на низенькой скамейке и читал книгу.

— Ты их видел? — спросил он меня. Я молча кивнул головой.

— Я ушел, чтобы их не волновать,— сказал Женя.— Без меня они сидят тихо.

Я попросил Евгения Александровича объяснить мне все с самого начала до самого конца.

— Начало было хорошее,— заявил Женя.— Мы пили за дружбу. А конца еще не было.

— Ты с ними хотя бы знаком?

— А как же? Один — за столом сидит — наш прораб. Другой — десятник, третий, что в кресле сидит,— шофер. Они хотели, чтобы я поставил им магарыч с первой получки. Мне, правда, отец запретил это делать. Но я решил пригласить их домой. Я показывал им микроскоп, учил их играть в шахматы. Разве это плохо?

— Было бы еще лучше, если бы на столе стояло поменьше бутылок. Тогда твоя культурно-просветительная работа дала бы больше плодов.

— Я не виноват, что они с собой тоже принесли бутылки...

— Женя,— предложил я.— Пойдем выгоним твоих друзей как-нибудь повежливее. Не стоит оставлять их тут на ночь.

— Пойдем,— покорно согласился Женя.

Гости сидели в тех же позах. Женя подошел к прорабу и ласково погладил его по голове. Тот взбычился и прохрипел:

— Повтори, что ты сказал, повтори!

— Повтори! — с воплем вскочил шофер.

Женя подошел к десятнику и похлопал его по плечу. Тот медленно оторвал взор от шахматной партии.

— Я т-теб-бе не...— с невероятным трудом выдавил он из себя.

Надо было что-то предпринять. Заметив, что шофер беспрерывно морщится и вздрагивает, я спросил Женю:

— Что у тебя под микроскопом?

— Муха.

— Немедленно убери оттуда муху. Положи лучше кусочек хлебца.

— А-а,— махнул рукой Женя,— туда что ни положи, все равно смотреть тошно.

Я отнес микроскоп в лабораторию. Шофер облегченно вытер лоб подолом рубахи.

Долго нам еще пришлось возиться с гостями. Была уже темная ночь, когда все трое отправились восвояси, заплаканные и охрипшие.

Хотелось спать. Я ушел. А через несколько дней Евгений Александрович позвонил мне.

— Знаешь, меня уволили с работы. За то, что я приходил на стройку пьяный. Но только ты не думай, это неправда.

А что, собственно говоря, прикажете думать, после того как я видел его вместе с пьяницами?

Однако, когда я встретился с Женей и увидел его синие глаза, очень напоминающие ясный взгляд ветеринара, я устыдился своих мыслей. Нет, тут что-то не так, видимо надо выручать парня.

— Понимаешь,— сказал мне Женя,— они все время воруют: доски, кирпич, рамы, двери, даже шпингалеты. Я сам видел, как шофер, который был тогда у меня, продал грузовик леса какому-то типу. Я им сто раз говорил, чтобы они перестали это делать. Когда они были у меня, я сказал им, что заявлю на них в милицию. А теперь они составили какие-то бумаги, будто я приходил на работу пьяный, и издали приказ об увольнении.

— Теперь главное — спокойствие, Женя,— сказал я.— Ты попал в переплет. Такие переплеты превращают иногда людей в слюнтяев. Не надо вопить, что на земле нет правды и справедливости. Побольше выдержки. Мы тебя выручим.

— А я и не собираюсь вопить,— пожал плечами Женя. На губах его (кстати сказать, очень неплохо вылепленных) промелькнула улыбка. В глазах прыгали крохотные чертики. Трудно, наверное, вставлять в глаза таких чертиков искусственным путем.

«С этими чертиками я еще наплачусь,— подумал я.— Но видно все-таки, что основа в Евгения Александровича заложена правильная. Жулики и негодяи не сделают из него жалкого, обиженного страдальца».

Я думал, что достаточно двух-трех телефонных звонков, чтобы Женю восстановили на работе. Помню, когда к Поймакину пришли четверо молодцов — Коля, Толя, Шурик и Сашка — и заявили, что их уволили, помочь им оказалось нетрудным делом. Они «погорели» примерно так же, как Женя. Редакция есть редакция. Мы сели за телефоны, обзвонили нескольких человек. Без помощи печати мы предали дело гласности и создали общественное мнение. Ребят быстро восстановили.

Но, видимо, таинственный Евгений Александрович насолил своим врагам больше, чем те четверо молодцов. Гурьев отказался изменить приказ.

От этого «химического человека» неизвестно чего можно ожидать. Лучше держаться от него подальше. Так, надо думать, решил гражданин Гурьев.

Пришлось Жене подать заявление в суд.

Глава четвертая

Женю пытаются разоблачить

Не подумав как следует, можно решить, что для шпагоглотателя ничего нет легче, как проглотить иголку. Между тем даже у шпагоглотателя организм иголок не принимает. И если ему случится проглотить хоть самую маленькую иголку, и он сам и все окружающие поднимают страшную суматоху.

Меня раздражают врачи нашей поликлиники. Их переполошил Женя. Они хотят разъяснить жителям нашего города, что искусственных людей не бывает. Зачем им это нужно? Чем им мешает синеглазый Евгений Александрович?

Для начала врачи решили заманить Женю в поликлинику. Как-то Маша, глядя на меня умоляющими глазами, спросила, не простудился ли мой друг после недавней грозы. Ухогорлонос посоветовал мне послать Женю проверить слух. Строителям-де нужен хороший слух, когда они выстукивают стены, чтобы обнаружить в них пустоту. Я злорадно отвечал, что у Жени отродясь не было насморка, а стены выстукивают не строители, а сыщики.

И все-таки врачи добрались до него. Они просто-напросто прислали ему повестку: явиться в такой-то день, в такой-то час — и он пошел. Я ждал его до десяти часов вечера, а потом побежал в поликлинику выручать парня. Сторожиха не хотела меня пускать, но когда я ей объяснил в чем дело, сказала ворчливо:

— Идите. Вашего товарища лечат с самого утра. Бегите. А то его или залечат, или он с голоду помрет.

Я пошел по коридору, стараясь не смотреть на стены. Больным людям в поликлиниках демонстрируют иногда любопытные вещи. Им показывают увеличенную в миллион раз (может быть, и меньше, мне все равно) человеческую кожу, на которой крохотные волоски достигают размеров кухонного ножа. Показывают увеличенные и уменьшенные язвы и гнойники. Но я человек здоровый. Я не люблю на все это смотреть.

В одной из комнат я обнаружил Женю. Он сидел за столиком среди одуряющей белизны и читал брошюру о борьбе с бешенством. Увидев меня, он просиял, облизал сухие губы и поспешно спросил, не завалялась ли у меня в кармане корочка хлебца. Я признался, что у меня не хватило догадливости припасти корочку про черный день. Женя помрачнел.

— Идем отсюда.— Я потянул его за рукав.

— Не могу,— грустно пробормотал Женя.— Они взяли у меня кровь и попросили подождать, пока не будет готов анализ. Я никогда в жизни не видел таких внимательных врачей. С утра они ищут во мне какую-нибудь болезнь и не могут найти. Они так жадно смотрели в рентгеновский аппарат на мой желудок, словно я проглотил крупный бриллиант. А я проглотил всего-навсего какую-то белую дрянь, которую меня заставили съесть перед просвечиванием. Есть еще одна причина, почему я не хочу уходить. Я тебе потом скажу.— Он почему-то покраснел.

И тогда у меня пульс достиг ста пятидесяти ударов в секунду.

— Хорошо,— сказал я.— Сиди здесь. Я пойду возьму у них интервью. Я возьму у них такое интервью, что они позабудут, в какой стороне у них самих находится сердце. А ты почитай брошюру «Как кормить новорожденного ребенка». Это тебе пригодится в жизни.

— Я не могу читать, как надо кормить ребенка,— хмуро ответил Женя.— Меня самого надо кормить.

— Тогда посмотри на плакаты в коридоре,— посоветовал я,— и у тебя пропадет аппетит.

— Я лучше почитаю еще раз брошюру о борьбе с бешенством,— угрюмо пробасил Женя.— Мне это сейчас полезно...

Я знал, где лаборатория, и направился туда. На матовом стекле двери прыгали тени, до меня доносились возбужденные голоса.

— Семьдесят процентов гемоглобина,— послышался страстный шепот. По-моему, это говорил Ухогорлонос.

— Завтра пусть проглотит кишку,— произнес нежный женский голос.

В этот момент пульс у меня достиг ста восьмидесяти ударов в секунду. Я больше не отвечал за свои поступки и начал совсем не с того, с чего хотел. Я приложил руку к сердцу и вошел в лабораторию, волоча ногу и полузакрыв глаза. Первая, кого я приметил, была Маша. Она стояла рядом с Ухогорлоносом, и в его лобном рефлекторе отражались ее горящие ровным синеватым пламенем глаза, корону пепельных волос увенчивала белая шапочка. В руке она держала стеклянную пластинку с размазанной по ней Жениной кровью и рассматривала ее на свет.

— Гражданин, поликлиника закрыта,— строго сказал седоусый мужчина. На кармане его халата было написано: «Главврач».

— У м-меня б-болит...— простонал я.

— Что у вас болит? — недоверчиво спросила Агния Борисовна, к ко-

торой я был навеки прикреплен в этой поликлинике. Разумеется, она меня не узнала.

— У меня царапина на ноге. У меня болит голова. У меня разбито сердце,— сказал я.

— И с такими пустяками он пришел ночью в поликлинику! — возмущенно всплеснула руками шарообразная женщина с надписью на кармане: «Невропатолог».

— Да, с пустяками. Но вы тут разве сидите не из-за чепухи?

Наступило тягостное молчание. Его прервал главврач.

— Дайте ему таблетку пирамидона,— обратился он к Агнии Борисовне.— Помажьте ему йодом ногу,— приказал он хирургу.

— А с разбитым сердцем что будете делать? — ехидно спросил я.

— Он, наверное, ненормальный,— громко зашептал мужчина с надписью «Дерматолог».— Серафима Ивановна,— обратился он к невропатологу,— поводите у него пальцем перед глазами.

— По его истории болезни этого не видно,— возразила Агния Борисовна, которая наконец-то меня узнала.

— Ах, история моей болезни,— горько усмехнулся я.—За четыре года я всего один раз болел гриппом, а вы из-за этого исписали несколько листов бумаги.

— Больной, покажите вашу царапину.— Ко мне подошла врачиха с флаконом йода.

— У меня нет царапины.— Я отстранил ее.— У меня нет ничего, кроме претензий к вашей поликлинике.

— Интересно, интересно,— нервно засмеялся главврач.

Я на минуту призадумался, как бы получше поддеть этих врачей. Агния Борисовна ни одного из своих больных не помнит в лицо. Она все время пишет. Если ей вместо больного подсунуть серого волка в бабушкином чепце, она этого не заметит, пока волк ее не съест.

В этой поликлинике я видел однажды человека, подавившегося костью. Прежде чем вытащить кость, врачи допрашивали его с пристрастием, сколько ему лет и чем болела в детстве его бабушка. Я встретил потом этого человека. Он сказал, что изучает теперь на всякий случай азбуку глухонемых.

— В том, что вы говорите, есть рациональное зерно,— задумчиво сказал главврач (я подумал — уж не родной ли он брат нашего редактора Константина Петровича?).— Мы все это учтем, чтобы ваше сердце не разбивалось из-за пустяков. И это все, из-за чего вы пришли к нам?

— О нет, — поспешно ответил я.— Я хотел вам задать один вопрос. Объясните мне, пожалуйста, чем отличается человек от собаки?

— О, разница существенная, — ответил главврач тоном опытного преподавателя. — У собаки, например, кожа не выделяет пота. Вы заметили, как она высовывает язык, когда побегает?

— Спасибо,— сказал я с чувством.— Теперь объясните мне, пожалуйста, как вы сможете отличить «живую модель» от настоящего человека? Что вам надо от него? Зачем вы морите его голодом?

— Потому что все, что о нем болтают, антинаучно,— рассердился главврач.

— А доказать вы все равно ничего не сможете,— злорадно сказал я.

— Ладно уж,— проворчал главврач. — Пойдем отпустим голодного молодого человека. Не хочет глотать кишку во имя науки — не надо.

Длинной процессией двинулись мы к выходу. Женя сидел в вестибюле. Он пил чай из железной кружки и жевал хлеб с маслом. Сторожиха поделилась с ним своим ужином. Врачи смущенно опустили глаза.

— Теперь веди нас домой, — сказал я Маше.— Столовые закрыты. Екатерина Ивановна спит. Где я накормлю Женю?

Маша покорно повела нас к себе, прихватив и Ухогорлоноса. Уже по дороге я стал следить, куда был направлен взгляд Жени. Он был направлен совсем не в ту сторону, в какую нужно. И я понял, какая вторая причина удерживала его в поликлинике. Эта причина выглядела еще лучше без халата, в легком платье, без белой нашлепки на пепельной короне. Когда мы вошли в переднюю, Женя не уступил нам с Ухогорлоносом дороги. Он шел за Машей вплотную, не сводя с нее глаз. Ах ты молокосос! Я плелся позади, и мне показалось, что Ухогорлонос протягивал ко мне руки, готовый поддержать меня, когда я начну падать...

Но о шторме в двенадцать баллов, который разыгрался после этого вечера, я расскажу позднее. А сейчас речь пойдет о том, как Женя сдавал экзамен по литературе. Я уже упоминал, что он собирался поступать в институт.

Незадолго перед экзаменом я спросил его:

— Хорошо подготовился к сочинению?

— Я почти готов,— подмигнул мне Женя.— Ты даже не представляешь себе, какую работу я проделал.

Зайдя через несколько дней к Евгению Александровичу, я понял, что работа проделана действительно колоссальная. На полу в большой комнате стояли два довольно увесистых чемодана.

— Сто девяносто шесть сочинений я собрал,— сказал Женя со вздохом.— Сейчас я бегал в дом, где ты живешь, и достал сто девяносто седьмое. Это сочинение Алькиной бабушки. Вот оно.— И Женя, ухмыляясь, показал на лежащие на столе полуистлевшие листочки.

Я слышал о существовании этого сочинения. Недели четыре назад у меня был разговор о нем. Тогда как раз начало очень сильно припекать солнце. Если выйти на самый солнцепек и попытаться выдумать что-то полезное, у вас ничегошеньки не получится. В такое-то время обычно начинаются экзамены в школе. И вот, помню, ко мне постучались в дверь. За дверью стоял классической красоты юноша.

— Дядя Дима,— спросил он меня,— не сохранились ли у вас сочинения по литературе?

Увы, я должен был его разочаровать. Конечно, я ему подробно объяснил, в чем дело, чтобы он не подумал обо мне плохо. Выбросить сочинение в печку или на помойку — это неэтично, это эгоистично. Я рассказал юноше, что заканчивал десятилетку в другом городе и мои сочинения остались там в надежных руках.

— Что ж,— вздохнул юноша.— Может быть, стоит спросить у Алькиной бабушки?

Признаться, я сначала не сообразил, кого он имеет в виду, и испуганно замахал руками.

— Что ты, что ты! У бабушки сочинение будет с твердым знаком.

— А по-моему,— задумчиво сказал юноша,— у Алькиной бабушки сочинение должно быть без твердого знака.

И тогда я вдруг вспомнил, кто такая Алькина бабушка. В нашем доме жила приятная моложавая дама лет сорока с небольшим. Года два назад весь дом гулял на свадьбе ее дочери. Через некоторое время во дворе появилась колясочка, а в ней Алька. Конечно, у Алькиной бабушки должны быть вполне подходящие сочинения.

— Правильно,— поддержал я юношу.— Иди к Алькиной бабушке. Она женщина хозяйственная и аккуратная. Не может быть, чтобы она не сохранила такую нужную в доме вещь.

Мой великолепный сосед умел играть в футбол, волейбол, баскетбол. Он решал уравнения. Одного не умел мой юный красавец — он не умел писать сочинений по литературе.

Я вспоминаю себя в четырнадцать лет. Когда в школе «проходили Пушкина», я болел и не слышал объяснений. Зато я прочел «Евгения Онегина», выучил его наизусть. Придя в класс, я похвастался этим учителю. Учитель поглядел на меня иронически и с сожалением и тут же задал на дом сочинение на тему: «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни начала девятнадцатого столетия». Я пришел домой и попросил у матери тридцать копеек. На все деньги я купил спичек. Я соскоблил спичечные головки в стакан, налил туда воды и поднес ко рту. Сильный удар вышиб стакан из моих рук. Позади стоял мой суровый отец. Узнав, в чем дело, он положил передо мной томик Белинского, учебник по литературе и несколько брошюр. Я все прочел и все понял. А позднее я понял, что лучше всего не списывать с книги, а взять у старшего брата или у соседа позапрошлогоднее сочинение и переписать его от первой до последней строчки.

Каждый год я слышу робкую просьбу достать из сундука сочинение. И нетрудно понять, почему так получается. Все мы помним, например, автора одного из учебников по математике — Рыбкина. И некоторые студенты, учась в вузе, возможно, думают: «Эх Рыбкин, ты небось и не знал, что за штука такая — интеграл». А я убежден, что Рыбкин знал да помалкивал, потому что он, кроме всего прочего, знал границы между начальной и высшей математикой. А составители учебников по литературе с такими границами не считаются. Учителя же знают, что темы для ребят неподходящие, и не очень придираются к тому, что все сочинения одинаковые. Ведь учителя математики не придираются, когда все ученики одинаково решают задачи? Даже лучше решать одинаково, иначе легко заработать двойку.

Обо всем этом я думал, глядя на полуистлевшие листочки сочинения Алькиной бабушки.

— Дима,— сказал Женя,— мне не хватает сочинений на три темы. Помоги найти.

Я пошел к Маше, моей ровеснице. У нее хранилось в сундуке штук сорок пахнущих нафталином сочинений. Тут я нашел то, что нужно было Жене.

А наутро все пошло как по писаному. К Жене явились Коля, Толя, Шурик и Сашка, подхватили чемоданы и направились в скверик, неподалеку от института. Черномазый Коля был выделен в качестве связного, и вскоре стало известно, что Женьке досталась та самая тема́, на которую было написано сочинение Алькиной бабушки. Парни, расстелив на траве полуистлевшие листочки, стали быстро сооружать компактную, совершенно не заметную для глаза шпаргалку. И все было бы прекрасно, если бы не причуды таинственного Евгения Александровича. Он решил, что это недостойно его — тихонько получить шпаргалку и незаметно прочесть ее. Он вышел из аудитории, пришел на скверик, поднял с травы сочинение Алькиной бабушки и гордо удалился.

Вечером Женька явился ко мне веселый.

— Говори, какая отметка.

— Двойка...

— Врешь!

— Ей-богу, не вру. Двойка была вначале. Потом я получил пятерку.

И Женя рассказал мне, что произошло. Он при всех, совершенно откровенно, положил на стол сочинение Алькиной бабушки и переписал его. В момент, когда он, проверяя сочинение, раздумывал, как писать «вовремя» — вместе или отдельно, — костлявая рука, со свистом разрезая воздух, стремительно схватила пожелтевшие листочки. Над Женей стоял преподаватель и смотрел на него, как коршун на цыпленка. Потом преподаватель подошел к столу, где, прячась за цветочными горшками, вос-

седала комиссия. Через минуту величественная дама громко вызвала Смирнова. Женя подошел.

— Что ж, Смирнов,— сказала дама,— можете взять назад свои документы. Валериан Павлович,— обратилась она к обладателю костлявой руки,— вычеркните его, пожалуйста, из списка.

В это время под стоявшей на столе пальмой послышались всхлипывания. Там сидела старенькая, седенькая учительница.

— Детынька моя, — приговаривала она, поглаживая пожелтевшие листочки сочинения Алькиной бабушки,— я сразу ее почерк узнала. У меня, умница, училась. Теперь у нее, наверно, внучки.

— Есть внучек, — радостно отозвался Женька. — Алька в колясочке.

Величественная дама прикусила губу, но тем не менее строго повторила:

— Вычеркните его, пожалуйста, из списка.

Валериан Павлович, взмахнув костлявой рукой, вонзил перо в первую букву Жениной фамилии.

— Смирнов, Евгений Александрович,— зловеще прочел он вслух.

Женя ждал, когда костлявая рука проведет жирную черту. Но рука замерла, и обладатель ее повторил уже не зловеще, а растерянно:

— Смирнов... Евгений... Александрович...

И вдруг костлявая рука заходила ходуном, заплясала, задрожала и выронила ручку.

— Ты понимаешь, — рассказывал мне Женя, — они принялись шептаться и смотрели на меня так, будто я не человек, а привидение. Потом они сказали, чтобы я принес свое сочинение. Они его прочли и поставили пятерку. Вот и все.

Я, конечно, понял, почему ходила ходуном костлявая рука. Слухи о таинственном Евгении Александровиче заползали во все углы. Главврач со своей поликлиникой ничего не могли тут поделать. Но что думает об этом Женя? Я задал ему такой вопрос.

— Просто они не знали, кто я, а потом поняли.

— А кто ты? — похолодев, спросил я.

— Евгений Александрович Смирнов. Как ты думаешь, они слышали о моем отце?

У меня отлегло от сердца. Евгений Александрович не знает, кто он такой. Но, надо сказать, он зазнался. Он начал зазнаваться, наверное, с той минуты, как Взлелейник признал его последней инстанцией. И теперь этот человек без прошлого, без родителей поступает в институт, попросту говоря, «по блату» как сын чрезмерно влиятельных и несознательных родителей. Эх, фельетонная тема у меня пропадает!

Глава пятая

Человек почти без недостатков

Через миллион лет, а скорее всего лет через тридцать, абсолютно все будут культурными и образованными. Откроется величайший простор, и постепенно окажется, что каждый от природы обладает решительно всеми способностями. Все будут изящно плясать, петь чистыми грудными голосами, читать стихи, играть на любых музыкальных инструментах. Об этом мне очень весело думать. Меня, бодрого, молодящегося старика, будет беспрерывно развлекать жизнерадостная одаренная молодежь. Но об одной вещи мне почему-то страшно думать. А вдруг все будут не только плясать, но и писать? Писать стихи, романы, статьи, фельетоны, письма трудящихся, сценарии, текстовки для конферансье

и подписи под фотографиями в газетах и журналах? Не омрачит ли это мою спокойную, обеспеченную старость? По-моему, надо будет время от времени кидать жребий. Кому выпал жребий — пусть тот и пишет. А остальные пусть читают. Нельзя, чтобы все писали.

И, уверяю вас, все будут жадными глазами следить, кому выпадет жребий. И чтобы не было подвохов, жребий будут вытягивать крохотные несмышленые дети, вроде тех, что участвуют в наши дни в розыгрыше лотерейных билетов. Счастливчику, которому выпадет жребий, будут завидовать гораздо больше, чем обладателю билета, выигравшего автомобиль. Уж я-то знаю, как сильна и властна бывает эта страсть — водить пером по бумаге. Она овладевает всеми, у кого заведется часок-другой свободного времени. Если вы мне не верите, я могу призвать в свидетели всех газетчиков, а нас целая армия.

И вот у Евгения Александровича, после того как его уволили с работы. появилась уйма свободного времени...

Однажды я застал его на месте преступления — он прятал под подушку тетрадь. В первый момент в его искусственных глазах мелькнуло неподдельное смущение. Но потом он взял себя в руки и протянул мне эту тоненькую тетрадь. В ней оказались стихи. Евгений Александрович решил, наверное, что газетчик — это тоже все-таки литератор и сможет дать ему дельный совет, поставить диагноз.

Я прочел два-три стихотворения и впал в уныние. Не подумайте, что на меня напала тоска только потому, что в стихах шла речь о пепельном дыме волос и синем пламени глаз одной особы — разумеется, моей ровесницы. Стихи были плохие, книжные, без всякой искры божией.

«Эх, Сергей Васильевич,— подумал я. — Вы и ваши помощники сами не обладали поэтическим талантом и не могли вложить такого таланта в Женю. Но ведь могли вы сделать доброе дело: выдрать из Евгения все те молекулы и химические вещества, которые заставляют человека писать неважные стихи. Зачем было создавать еще одного рифмоплета на погибель литературным консультантам редакций газет и журналов!»

Женя смотрел на меня вопросительно, но не спросил: «Ну как?» Я промычал что-то неопределенное. Не люблю разговаривать с авторами стихов. Есть на свете вещи, к которым человек никогда не сможет привыкнуть.

Мы с Васей Голубевым долго обсуждали, как отучить Женю писать стихи. Наконец. Васю осенило.

— Не впадай в панику, — сказал он мне. — Мы направим его энергию в другое русло, с пользой для себя и для него. Пусть помогает нам писать второй вариант пьесы. Я думаю, что он принесет какую-то пользу в создании образа совершенного человека. Теперь мне кажется, что в нем действительно есть что-то положительное.

Мы пригласили Женю к Васе домой и посадили на кушетку, под усыпанный горошком пластмассовый абажур.

— Сейчас познакомлю тебя с интересной пьесой,— сказал Вася.— Действие происходит в верхних, разреженных слоях атмосферы.

— На Марсе? — поинтересовался Женя.

— Гораздо ниже, не волнуйся,— успокоил его Вася.

Женя слушал внимательно, несколько раз улыбнулся, но, когда чтение было окончено, сказал:

— Это немного скучно. Зачем вы послали в небо совхоз? Надо бы что-нибудь повеселее.

— А что лучше? Вишневый сад? — спросил Вася. — Ты вообще разбираешься в том, что скучно, а что не скучно? Дай я тебе прочту один отрывок и проверю.

— Давай,— заинтересовался Женя.

Вася начал:

— «В комнату вошли четверо. Трое принялись шарить по углам, четвертый бросился к столу. Он приподнял край скатерти и увидел человеческую ногу. Маленькую ножку.

— Она здесь! — крикнул он остальным.— Наконец-то мы ее нашли!

Резким движением он сдернул скатерть. Под столом сидела...» — Скучно? Читать дальше? — спросил Вася.

— Смотря кто сидел под столом,— сказал Женя.

— Сидела двухлетняя девочка и сосала палец.

— Чепуха.

— А если семнадцатилетняя девушка поразительной красоты?

— Тогда читай...

— А мне и про девочку интересно,— вмешалась Васина жена.

— Видишь — кому что,— сказал Вася.— Тебе интересно про девушку, ей — про девочку, еще кому-нибудь — про шпиона. Я думаю, ты не отказался бы загнать на небо свою стройку, чтобы безнаказанно швырять сверху в Гурьева кирпичами.

— Конечно,— оживился Женя.

— Ну вот. Теперь ты понимаешь?

Евгений Александрович немного подумал и сказал:

— Сегодня ночью я видел сон...

Мы с Васей затаили дыхание.

— Мне приснилось,— продолжал Женя,— что я заново прожил весь вчерашний день. Пот катил с меня градом, и жить на свете не хотелось. Ведь я заранее знал каждый свой шаг, каждое слово. Знал, что скажут и сделают все окружающие. Мне было точно известно, что меня похвалят за чистую кладку кирпича, и мне это уже не доставляло никакого удовольствия. Но я покраснел и улыбнулся — ведь надо было в точности повторять вчерашний день...

Женя был неговорлив. А тут разошелся.

— Так что же ты хочешь этим сказать? — спросил Вася.

— Наверное, повторять вчерашний день — главный недостаток...

— А если он великолепен? «Остановись, мгновенье...»?

— Все равно скучно.

— Погоди-ка, погоди, — вмешался я в разговор.— Значит, когда ты вечно лезешь на рожон, так это потому, что тебе скучно?

— Ну что ты? — удивился Женя.— Я просто в это время о себе не думаю.

Мы с Васей отметили про себя, что это было сказано без малейшей рисовки. Нет, он все-таки был неплохо задуман, этот парень...

— А сейчас мне скучно.— Женя умоляющими глазами посмотрел на нас. — В цирк пойти, что ли...

В цирк так в цирк.

Когда мы, купив билеты, принялись разыскивать свои места, Женю кто-то подтолкнул сзади. Это был Жрицын.

— Ты что же это, парень,— сурово сказал он Жене,— узнавать меня не хочешь? Давеча у входа носом к носу столкнулись, а ты облил меня презрением прямо на улице.

Женя извинился, стал расспрашивать, как жизнь.

— Маленько привыкаю,— ответил Жрицын.— В кино хожу, а то и в цирк. Иной раз, конечно, забудешься, полезешь спать в сундук, но это редко...

Женя с удовольствием следил за представлением. В последнем отделении на арене установили огромную клетку и впустили туда несколько усатых, ослепительно красивых бенгальских тигров. Они оказались кроткими, слабохарактерными существами. Дрессировщик что хотел, то с

ними и делал. Он обнимал их и целовал, клал им голову в пасть, валялся вместе с ними на подстилке. А потом в клетке на небольшой высоте натянули проволоку, и тигры принялись ходить по ней, отлично удерживая равновесие. Затем они уселись на свои тумбы, и в клетке появился совершенно новый, очень странный тигр с длинными задними ногами. Он стал откалывать на проволоке такие номера, что другие тигры замерли от восторга и зависти. Кончилось дело тем, что тигр откинул назад свою великолепную голову, и оказалось, что это всего-навсего человек. Это был Роберт Плюнников, знакомый мне Роберт Плюнников, но в тигровой шкуре.

— Вот он — без недостатков.— Усмехнувшись, Женя показал Васе на Плюнникова.— Не дрессировщик, а тигров не боится. И по проволоке хорошо ходит. Это очень трудно.

Вася тяжело вздохнул. В этот самый момент на арене произошло замешательство. Роберт Плюнников, поклонившись зрителям, хотел было убраться восвояси из клетки, но у выхода столкнулся с одним из тихих, ласковых тигров. Возможно, это смирное дрессированное животное не хотело сделать Плюнникову ничего плохого. Но все-таки это был огромный, огненный, со зловещими черными полосами хищник. От неожиданности Плюнников отпрянул назад. Этого-то, наверное, и не следовало делать. Тигр зарычал и поднял лапу. Его собратья занервничали, принялись бить хвостами по ляжкам и изрыгать дикие звуки. Началось щелканье бичом, пальба. Зрители сидели, вытянув шеи, затаив дыхание. Некоторые отвернулись, закрыли глаза. Мне захотелось смотреть куда-нибудь в сторону. Я повернул голову — стул рядом со мной был пуст. Женька исчез...

А в следующий момент я заметил, как он мчался, согнувшись, по узкой низенькой клетке-проходу, куда тигр не пустил Плюнникова. Женька схватил Плюнникова за руку, протолкнул его впереди себя в проход, пнул тигра ногой в морду и вместе с канатоходцем исчез в скрытом от глаз зрителей царстве слонов, тигров и цирковых артистов. А еще через несколько минут он сидел рядом со мной и вытирал лоб носовым платком.

— Плюнников тебе хоть спасибо сказал? — спросил Вася, сжав пальцы в кулаки, чтобы не видно было, как они дрожали.

— Он ругается,— печально ответил Женя.— Это все было нарочно. Тигр должен был рычать.

А зрители уставились на Женю.

— Ну и храбрец же ты, Евгений Александрович,— послышался голос Жрицына, сидевшего неподалеку от нас.— Ты и впрямь не настоящий, а еще лучше настоящего...

Публика вокруг нас зашушукалась. Мне стало не по себе. Я боялся, что кто-нибудь начнет задавать Жене неуместные вопросы. И я шепотом убедил его, что после этой конфузной сцены нам лучше уйти. И мы удалились, не дослушав предусмотренного программой рычания.

— Так кто же из вас герой: ты или Плюнников? — иронически спросил Вася, когда мы вышли на улицу.

— Он злющий. Он говорит, что я ему испортил номер,— сказал Женя.

— Женечка,— вмешался я в разговор.— Не пиши стихов, а перед тем как что-то сделать, думай на полсекунды дольше. Тогда у тебя не будет ни одного недостатка.

— Я не собираюсь больше ничего делать,— сухо ответил Женя,— мне надо готовиться к следующему экзамену.

Но не думайте, что мне удалось несколько дней прожить спокойно. Дня через два я чуть было не поседел.

Иду я по улице и вижу, что Евгений Александрович едет в роскошном лимузине. Сидит на шоферском месте и сам ведет машину. Увидев меня, он притормозил и жестом пригласил меня сесть рядом с ним. Я уселся, потому что мне было интересно узнать, в чем дело.

— Чья это машина? — спросил я.

— Это хорошая машина,— уклонился от прямого ответа Женя.

— Чья она?

Женя промолчал. Я почувствовал, как у меня начали неметь кончики пальцев, но, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, задал другой вопрос:

— Где ты научился водить машину?

— У моего отца персональная...

Ага. Кое-что я уже знаю о воображаемом отце. Он запретил сыну ставить магарыч начальникам. У него есть персональная машина. И еще кое-что я знаю об этом папаше. Он в детстве мало драл сына за уши. Из-за этого меня посадят теперь на десять лет. Вместе с Женькой. За увод чужой машины. Ах, если бы не десять, а хотя бы пять! Как плохо не знать уголовного кодекса... Может быть, всего один год? Может быть, коллектив возьмет меня на поруки?

Женя, небрежно и изящно пошевеливая рулем, свернул в переулок, и тут произошло сразу две встречи. Шедшая навстречу нам зеленая «победа» вдруг с резким визгом затормозила. А наперерез нам шел мотоцикл; на нем сидел Али-Гусаков со свистком в зубах и с пистолетом на боку. Женя остановил машину, и мы с ним вылезли наружу. Али-Гусаков, соскочив с мотоцикла, подбежал к нам и, узнав нас, остолбенел. С жалобным видом он обернулся в сторону зеленой «победы». Я тоже поглядел туда. Там, рядом с шофером, сидел Петр Кириллович и шевелил колючками. Женя зашептал мне на ухо:

— Я хотел, чтобы он один раз в жизни прошелся домой пешком, а он за две минуты раздобыл себе зеленую «победу». Здоровый, а живет как паралитик.

Надо было выручать Женьку и себя. Я подошел к зеленой «победе» и тихо сказал Петру Кирилловичу:

— Это Евгений Александрович Смирнов. Тот самый... Он пошутил.

И тут меня тихонько оттолкнули. Я увидел, как Евгений Александрович Смирнов просунул в окошко машины свою крупную лапу и похлопал ею Петра Кирилловича по плечу.

— Вы не бойтесь ходить по улице пешком. Веньку Бубнового Валета уже поймали.

Петр Кириллович свернулся в клубок, и изнутри послышался такой отчаянный шип, что Женя отдернул руку.

Но к нам уже спешил Али-Гусаков. Сказав мне на ухо, что все обойдется, он со зверским видом повел нас в милицию. Поймакин сидел в своем кабинете в позе Юпитера-громовержца.

— Так-так-так,— сказал он Жене.— Все-таки ты мне попался. А вас я предупреждал,— метнул он молниеподобный взор в мою сторону,— чтобы не партизанили, без заранее утвержденного плана не действовали. Видите, что теперь получается...

Я устало опустился в кресло. Женя стоял руки по швам.

— Выйди-ка на минутку,— приказал ему Поймакин.

Когда дверь за Евгением Александровичем закрылась, начальник сказал мне:

— Звонил Петр Кириллович. Он прощает Евгению Александровичу, что тот увел его машину. Увод машины не подорвет авторитета. Но Петр Кириллович требует, чтобы парню дали пятнадцать суток за то,

что он похлопал его по плечу в присутствии прохожих. А за похлопывание по плечу наказания не предусмотрено. Сейчас я как следует покричу, а потом его отпущу.

Мне оставалось только закатывать глаза, вздыхать и мысленно проклинать Сергея Васильевича. Али-Гусаков привел Женю обратно.

— Ты зачем увел машину? — Поймакин стукнул кулаком по столу.

— Я боялся, что у него отсохнут ноги. Я заметил, что он никогда не ходит пешком.

Поймакин грозно поднялся во весь рост.

— Да ты что! — Он застучал по столу обоими кулаками.— Не видел таких, что ли?!

— Не видел, честное слово, не видел,— захлопал глазами Женя.

Поймакин и Али-Гусаков недоуменно переглянулись.

— Так-так-так,— деловито произнес начальник милиции.— Сейчас мы это дело проверим.

Он порылся в ящике стола и вытащил оттуда пачку исписанных Жениной рукой листов. Я догадался, что это автобиография.

— Так-так-так,— продолжал Поймакин, листая бумаги,— кто у тебя отец?

— Секретарь райкома....

— И он не ездит на машине? — ядовито спросил начальник.— Пешком бегает?

— За пятьдесят километров в колхоз пешком не побежишь. А полкилометра он пешком пройдет. Он матери боится.

— А что мать-то?

— Говорит, брошу и выйду замуж за молодого.

— Хороша мать-то? — вздохнул Поймакин.

— Хороша,— опустил глаза Женя.

— Ну ладно. Иди домой. Я это дело проверю. Если врешь, тебе не поздоровится.

В комнату вбежал запыхавшийся Вися Пьедесталенко. Он не курлыкал. В милиции не покурлыкаешь.

— Суд был? — спросил он.

— Не было еще,— буркнул Поймакин.— Сейчас будет. Смотри. А ну,— гаркнул он Женьке,— поди-ка, похлопай меня по плечу!

Женя испуганно заложил руки за спину.

— Вот и весь суд,— обратился начальник к Висе.— Другой статьи нету. Нарушать закон не могу.

Вися с каменным лицом удалился. Я знал, что всю дорогу он будет хихикать, а своему начальнику Петру Кирилловичу, чтобы успокоить его, что-нибудь наврет.

Когда мы вышли из милиции, я не отпустил от себя Женю. Мы подошли к строительной площадке. Я вызвал Колю, Толю, Шурика и Сашку.

— Вы с ним знакомы? — спросил я их, показывая на своего спутника.

— Знакомы.

— С завтрашнего дня этот молодой человек будет совершенно бесплатно подносить вам кирпичи, пока его не восстановят на работе. У него чешутся руки. Он не может ни одной минуты жить без работы.

— Идет,— сказали Коля, Толя, Шурик и Сашка.

— Тебе нужны деньги? На что ты живешь? — спросил я своего мучителя, когда мы пошли дальше.

— Обойдется! — Женя тряхнул головой.— Во-первых, я продал часы Юлии Семеновны. Во-вторых, я послал матери письмо. Она вышлет.

Бедная красивая воображаемая мать!

Глава шестая

Шторм в двенадцать баллов

Писателю очень удобно передавать настроение людей, когда стрелка барометра показывает «переменно». Нахмурил человек брови — и туча из солидарности нахмурилась и солнце скрылось. Здорово получается. Сразу видно, что человек — царь природы. Закружилась у него голова от любви — и тут же набежал веселый ветерок, одурманивая запахом, украденным у роз. Ушла любовь — и небо стало серым и скучным, роняя бесцветные, никому не нужные слезы.

Но как быть, если герой живет, скажем, в Арктике? На душе у него то метель, то весна, то фиалки цветут, то смерч кружится. А за окном все одна и та же морозная полярная ночь.

Если бы события, о которых пойдет речь в этой главе, разыгрались поздней осенью, я мог бы тут же сочинить мрачный аккомпанемент — ветер стонет, тучи мечутся. Но в эти дни, как нарочно, не было ни облачка. Одно солнце хозяйничало в небе. Поэтому мне трудно будет передать читателю все оттенки моего душевного состояния.

После истории с уводом машины Петра Кирилловича я уезжал на некоторое время в командировку. А когда вернулся, я не узнал Жени. Его волнистые волосы спереди были взбиты, а сзади по-особому причесаны. Эта модная прическа ему очень шла. Одежда на нем была так отутюжена, словно он жил не один, а с тремя бабушками. И у меня екнуло сердце.

Собственно говоря, у Жени были причины ходить именинником. Его приняли в институт. Суд восстановил его на работе. И все-таки у меня екнуло сердце. Мне казалось, что теперь обязательно должно случиться что-то непоправимое. Я вспомнил поликлинику, тот вечер, когда Ухогорлонос протягивал руки, чтобы я не упал. Я вспомнил бездарные Женькины стихи про пепельный дым волос.

Видится ли Евгений Александрович с Машей? Если не видится, то зачем ему такая прическа?

Я недаром ждал беды! Она недолго ходила за околицей. Через несколько дней она вошла в мой дом в образе элегантного молодого человека ста восьмидесяти сантиметров роста. по имени Евгений Александрович Смирнов.

— Дима, мне надо с тобой серьезно поговорить,— сказал Женя.

Сердце мое! Если ты чуть не разбилось при виде в миллион раз увеличенной кожи, то сейчас ты разлетишься на мелкие кусочки...

— Говори...— ответил я.

— Я хотел попросить тебя некоторое время не ходить к Маше.

Я ждал каких-то совсем других слов. Поэтому мне на ум пришел один только вопрос:

— И долго мне к ней не ходить?

— Когда я женюсь на ней, ты будешь иногда приходить к нам в гости.

Удары судьбы делают человека цепким, хитрым и изворотливым. Я больше не испытывал растерянности и поэтому высказал очень дельную мысль:

— Женя, но ведь я хожу туда не первый год.

— Ну и что же? Месяца два не походишь, а потом ходи еще хоть пятьдесят лет.

Тут я вспомнил о своей теории, освещающей путь влюбленным. Она была тесно связана с густонаселенностью островов и континентов. Эта теория создавалась для Евгения Александровича. Я не знал, что мне придется использовать ее как оружие против него. Я сказал:

— Женя. На свете более миллиарда женщин. Зачем тебе Маша?

— А тебе тогда зачем?

Это был резонный ответ. Но у меня был припасен другой, убийственный вопрос.

— Женя. На свете более миллиарда мужчин. Неужели ты думаешь, что я один буду тебе мешать?

— А разве я сказал, что ты один? — удивленно посмотрел на меня Женя.

— И как ты расправишься теперь с целым миллиардом? Тебе придется взять у Жрицына сундук и везти в нем Машу на необитаемый остров.

— Мне не надо сундука. Кроме тебя, есть только Ухогорлонос, как ты его называешь. Я ему, может быть, тоже скажу, чтобы он к ней пока не ходил.

— Женя. Но, кроме Ухогорлоноса, есть еще главврач.

— Из него песок сыплется,— улыбнулся мой враг.

— Не скажи...

— Не запугивай меня. У него внуки. Я узнавал.

Тогда я решил подойти к вопросу с другого конца.

— Женя. Маша старше тебя. Она моя ровесница. Вы неподходящая пара.

— Это тебе так только кажется,— возразил Женя.

Я попробовал подойти к вопросу еще с одного конца.

— Женя. Тебе рано жениться. Тебе надо учиться. А тут заботы! Обеды, наряды...

— Ничего, я буду побольше зарабатывать и буду покупать ей наряды,— ответил Женя, нежно глядя куда-то вдаль.

Мне пришлось подойти к вопросу еще с одного, уже совершенно противоположного конца. Неприятный, между прочим, вопрос. У него столько же концов, сколько у дикобраза иголок.

— Женя,— спросил я,— а что ты сделаешь, если я по-прежнему буду ходить к Маше?

Женя печально опустил взгляд на свои руки, потом перевел его на мои. Затем он обвел глазами комнату и, видимо, нашел, что в ней слишком много бьющихся предметов.

— У вас вечером во дворе много народу? — поинтересовался он.

— Куча ребятишек. Они имеют шансы получить большое удовольствие. Но мне его не хочется им доставлять. Мы с тобой можем поехать за город. У меня есть на примете один совхоз. Там очень чистый воздух.

— Идет.— Женя поднялся.— Завтра поедем в совхоз.

Но тут я почувствовал, словно на меня легла какая-то тяжесть. Это был груз моих двадцати семи лет. Я старше, и я не должен идти на поводу у этого плохо воспитанного молокососа.

— Брось валять дурака! — сказал я.— Сначала ты пойдешь к Маше и спросишь, согласна ли она выйти за тебя замуж. Если согласна, я и сам к ней больше не пойду. Но если она не согласна. и ты будешь продолжать молоть чепуху, то я поеду с тобой хоть за тридевять земель бить тебе морду.

— Как же я ее спрошу? — поглядел на меня умоляющими глазами этот жалкий, беспомощный щенок.

— Вот уж не знаю.— Я развел руками.— Я у нее таких вещей не спрашивал. Опытом поделиться не могу.

— Хорошо, я попробую спросить,— прошептал Женя.

Он не был у меня несколько дней, и эти дни тянулись, как годы. На исходе пятого дня он медленно вошел в комнату и молча опустился на диван. Я внимательно посмотрел на него и тут же (уж в который раз!)

проклял Сергея Васильевича. Мало, что ли, бродит нас по свету, терзающихся из-за какой-то юбки? Надо же было создавать еще одного и обрекать его на муки!

А Женька сидит и молчит.

— Что же она тебе сказала, Женечка?

— Она сказала, что я старый дурак.

— Так и сказала?

— Она еще что-то кричала, но я ушел...

Мы помолчали. В передней задребезжал звонок. Очевидно, к Екатерине Ивановне пришла соседка. Мы слышали, как ей открыли. А через секунду дверь в мою комнату распахнулась. Вошла Маша.

Маша уселась на стул и принялась молча смотреть на Женю, постукивая пальцами по столу. Женя молча поднялся и молча ушел. Тогда Маша спросила:

— Правда, что этот старый дурак запретил тебе ходить к нам?

— И ты этому поверила?

— Ты думаешь, трудно поверить? Мама просила передать тебе, что запрет снимается.

Видали, какая она? Она очень хитрая. Сама же пришла ко мне, а обставила дело так, что это только унизило меня. Я сказал ей:

— Между прочим, тебе придется идти по тому же делу к Ухогорлоносу, а может быть, и к вашему главврачу. Возможно, еще к кому-нибудь. Я не знаю, как далеко простер свое влияние твой новый поклонник. Конечно, когда человек сознает свои права...

— Ты ведь тоже старый дурак, Димка,— перебила меня Маша.

— Ты так говоришь, потому что прописала сегодня двадцати больным уколы и теперь ищешь, кого бы еще ужалить...

Маша ушла, пообещав, когда я заболею, подобрать для меня самую тупую иглу. Какие у нас с ней сложные отношения!

Конечно, я не перестал видеться с Женей после этой истории. Шторм в душе моей улегся. Но Евгений Александрович очень помрачнел. Он с неделю не рассказывал мне о своих делах. А я и не расспрашивал его. Пусть. Мне тоже надо отдохнуть. Но отдыхал я недолго. Как-то мы случайно встретились, и Женя спросил:

— Ты знаешь типа по фамилии Грушняк?

— Знаю. Ну и что?

— Ты слышал когда-нибудь, как он визжит?

— Не приходилось.

— Он очень противно визжит.

— А кто заставлял тебя слушать его визг?

Женя не ответил и заговорил о чем-то другом.

Вы думаете, меня не интересовало, почему визжал Грушняк? Но пусть я узнаю об этом когда-нибудь попозже. Я рассматривал в зеркале свои виски и, к счастью, седых волос не обнаружил. Но я устал. Я устал гораздо больше, чем Сергей Васильевич после битвы со старухами.

И все-таки пришлось учинить Жене допрос раньше, чем мне этого хотелось. Я встретил на улице поклонника вечерней звезды Семена Авдеевича.

— Вы видели Евгения Александровича, того самого? — спросил он меня.

— Я его вижу чуть ли не каждый день.

— Не то получилось, совсем не то,— печально пробормотал старик.

— По-моему, то, что получилось, гораздо лучше вашего низкорослого бесхарактерного изобретателя, которого можно придавить ногтем,— возразил я.

— Хорошо, пусть он сам не изобретатель,— сердито сказал Семен Авдеевич.— Но неужели нельзя было создать такого Евгения Александровича, который не мешал бы изобретателям?

— Вам жаловался на него Грушняк?

— Жаловался. И я считаю, что в вашего Евгения Александровича надо внести серьезные усовершенствования.

— Что ж, это можно,— согласился я.— Подготовьте чертеж.

Но старик не расположен был шутить. Он взглянул на меня еще более сердито и пошел своей дорогой, не попрощавшись.

Что же все-таки произошло? Когда я увидел Женю, я немедленно спросил:

— Почему визжал Грушняк?

— Потому что я порвал его научный труд на ста пятидесяти страницах,— мрачно ответил Женя. Он по-прежнему был в плохом настроении.

— Да как ты посмел? — ахнул я.

— Ты на моем месте сделал бы то же самое,— хладнокровно ответил Женя.

— Расскажи все,— потребовал я.

— Могу и рассказать.— Евгений Александрович пожал плечами.— Этот Грушняк явился ко мне и пристал, чтобы я обязательно пришел к нему домой. Он сказал, что это очень нужно для науки. Мне стало так интересно, что я пошел. У Грушняка на столе лежала целая кипа бумаги, а в углу сидел какой-то небритый дядька. Этот Небритый смотрел на меня, как рысь. Правда! Он смотрел на меня очень странно, и мне показалось, что он вот-вот прыгнет. Грушняк попросил меня рассказать, какие у меня привычки. Я стал рассказывать, а он записывал. А потом я смотрю — Небритый медленно подкрадывается ко мне. Я сел поудобнее, чтобы вовремя дать ему под подбородок. Когда он подкрался совсем близко, он щелкнул фотоаппаратом возле самого моего носа. Я сказал, что для этого не надо было подкрадываться — мне не жалко, когда меня фотографируют. Тогда Небритый спросил: «Можно взять у вас отпечатки пальцев?» Я сказал, что, конечно, можно, потому что я никогда не видел, как это делается. Потом я вымыл руки и опять стал рассказывать Грушняку про свои привычки. В это время я просто так, между прочим, перелистывал бумаги, лежавшие на столе. На них было что-то написано. И вдруг я заметил, что на одной из бумаг написано мое имя. На другой — тоже. На третьей — тоже. Тогда я придвинул к себе всю кипу. А Грушняк положил на кипу обе руки и сказал, что это нельзя смотреть. Тогда я разозлился и хотел вырвать кипу. Грушняк лег на нее животом. Я просунул руку ему под живот, вытащил один лист и прочел. Там была написана всякая чепуха. Например, что у меня на руках пять пальцев, а во рту тридцать два зуба. Тогда я еще больше разозлился и сказал Грушняку, что он моих зубов не считал, а я, если захочу, ему все пересчитаю. Потом я вытащил все бумаги из-под его живота и стал их рвать. Я рвал долго, потому что листов было очень много, а Грушняк все время визжал, как свинья, которую неправильно колют. А Небритый стал прятать уцелевшие листы себе за пазуху. Я отвел его в ванную и сказал ему, чтобы он побрился, иначе я его убью. Он побрился. Вот и все.

— Все это мне не очень нравится,— сказал я.— Даже то, что ты заставил побриться Небритого. Я не знаю его фамилии. Как я буду его теперь называть?

— Не беспокойся,— ответил Женя.— Его щетина скоро отрастет. Он не умеет с ней бороться. Он просто стонал, когда брился.

— Женя, а можно тебя попросить не ходить к незнакомым людям? — сказал я.

— Я зайду еще только к одному. И тогда все. Я зайду к нашему управляющему Гурьеву.

Женька и до того был скучный, а как сказал про Гурьева, стал совсем как туча. Видя, что он собирается долго молчать, я взял книгу. А Евгений Александрович через некоторое время присел к пишущей машинке и долго стучал по ней одним пальцем. Я думал — пусть забавляется. Может быть, Вася прав — Женя не имеет представления о некоторых простых вещах вроде очков и пишущей машинки. Если бы я знал, что он печатает, я бы его не подпустил к машинке. А впрочем, кто его знает, может, и подпустил бы...

Глава седьмая

Женька взорвался

Кажется, только вчера эти листья вылупились из почек, а теперь я должен их топтать на улице, желтые и мокрые. Я не люблю, когда приближается осень. Может быть, поэтому я пришел в редакцию злой. А когда мой заведующий Петя дал мне убийственное задание, я превратился в тигра, точно такого, какой сожрет когда-нибудь Роберта Плюнникова.

— Редактор хочет,— сказал Петя,— чтобы ты организовал для газеты статью управляющего трестом Гурьева.

— Ты всегда слишком хорошо знаешь, чего хочет редактор,— прошипел я и вышел из комнаты, хлопнув дверью так, что задребезжали окна.

Я вошел к редактору без робкого вопроса «Вы не заняты?», и Константин Петрович строго взглянул на меня из-под очков.

— Константин Петрович, я не буду заниматься статьей Гурьева,— заявил я.

Редактор опустил голову и принялся что-то писать. Он не уволит меня за мой отказ, не объявит выговора. Он не возненавидит меня, не будет строить мне козней. Он просто найдет другого, кто поможет ему увидеть пушистую шерстку на животе Петра Кирилловича, жаждущего прочесть в газете статью гражданина Гурьева.

Я вернулся к себе в комнату, а через полминуты вошла секретарша и вызвала Петю к редактору. А еще через пять минут Петя ворчал на меня, засовывая в карман блокнот:

— Я и так занят, а теперь приходится из-за твоих фокусов идти к Гурьеву.

И тут у меня мелькнула дельная мысль.

— Черт с тобой! — Я поднялся.— Я передумал. Пойду к Гурьеву.

Но я сначала еще раз зашел в кабинет редактора.

— Константин Петрович,— сказал я,— печатать Гурьева в газете — позор.

Редактор опустил голову и принялся что-то писать.

— Константин Петрович, подождем немного со статьей. Гурьева вот-вот должны поймать на взятке.

Редактор писал.

— Неужели вам будет приятно, если над нашей газетой будут смеяться?

Редактор писал.

— Константин Петрович, ну кому нужна такая статья?

И тут редактор поднял голову и стукнул ладонью по столу.

— Ты видишь, как город строится. А мы что, молчать об этом будем?

— Константин Петрович, вся страна беспрерывно строится. Но при чем тут Гурьев? Может быть, по-вашему, ракета на Луну полетела пото-

му, что Гурьев читал Жюля Верна? Если бы не Гурьев, мы бы строились вдвое быстрее.

Редактор заработал пером.

— Константин Петрович, а если я сделаю так, что Гурьев сам откажется давать нам статью?

Перо скрипело, но в его скрипе мне почудились какие-то подбадривающие нотки.

— Константин Петрович, я так и сделаю, я иду к нему.

«Иди, иди»,— пропело мне перо.

И я пошел в трест. Возле кабинета Гурьева прохаживался красивый молодой человек. Я узнал его. Это был мой знакомый — Евгений Александрович Смирнов.

— Жди, жди,— подмигнул я ему.— А я пройду без очереди.

За широченным письменным столом сидел мужчина средней упитанности с розовыми щеками и мохнатыми бровями. Возле него толпились люди. Я присел подождать, когда они уйдут, а сам думал: «Как же я обращусь к нему? Где такие клещи, которые вырвут из моего рта слова «товарищ Гурьев»? Нет таких клещей».

— Я вас слушаю.— Гражданин Гурьев повернулся ко мне, когда все вышли из кабинета.

Я подсел к нему и показал свое удостоверение. Гурьев протянул мне руку, но я как раз в этот момент уронил блокнот и наклонился его поднять.

— Здравствуйте,— сказал я.— Нам нужна ваша статья о ходе жилищного строительства. Очень срочно.

— Давайте, давайте,— оживился Гурьев. Одной рукой он взял синий карандаш, другую протянул ко мне.

Я пожалел, что у меня нет секундомера, чтобы подсчитать, сколько времени эта рука провисит в воздухе.

— Где же статья? — Гурьев быстро зашевелил пальцами.— Давайте, я подпишу.

— Действительно, где же статья? — сказал я, ощупывая свои карманы.

— Вы ее не написали, что ли? — нетерпеливо спросил гражданин Гурьев.

— Кажется, нет,— задумчиво подняв голову, ответил я.

— Так бы сразу и сказали.

— Статью напишете вы сами,— медленно сказал я, глядя ему в глаза. Ну и глаза! Тут все перемешалось — и злоба и удивление.

Молчание длилось минуту.

— Когда нужна статья? — вертя в руках карандаш, спросил гражданин Гурьев.

— Сегодня.

— Сегодня мне некогда,— буркнул Гурьев.

Я поспешно поднялся. Отказ получен. Мне больше ничего не надо. Мы с Петей пригласим к себе главного инженера треста и будем его терзать. Статья этого хорошего парня появится в газете. Что может возразить против этого Петр Кириллович?

Я вышел из кабинета, и туда тотчас же проскользнула «живая модель» — Евгений Александрович Смирнов. Что такое? Щелкнул ключ... Может быть, надо вернуться? Постучать, чтобы быстрее открыли? Нет, я пойду сейчас на улицу топтать желтые мокрые листья.

Было уже поздно, я собирался ложиться спать, когда мне позвонил Поймакин и попросил зайти.

— Я вам покажу два документа и задам один вопрос,— сказал начальник милиции.

— Готов ко всему,— ответил я.

Поймакин протянул мне документ, пришедший из далекого-далекого городка. Я едва взглянул на него и тут же протянул обратно.

— Об этом и знать пока ничего не желаю,— ответил я.

— Нет, вы только послушайте, что он говорит! — удивился Поймакин.— А я хотел перед вами извиниться, сказать, что я знаю теперь, что вы не партизанили.

Я подсел к нему поближе и прошептал на ухо одну вещь, так, чтобы даже стены не слышали.

— Так-так-так, — улыбнулся Поймакин, — вот вы, оказывается, какие, писаки.

Потом улыбку смело с его лица. Он протянул мне другой документ. Там было написано:

«Я, управляющий трестом Гурьев, обязуюсь вернуть государству все ценности, приобретенные мною незаконным путем. Обязуюсь освободить занимаемый мною двухэтажный особняк. Обязуюсь никогда и ни у кого не брать больше взяток. Прошу послать меня работать каменщиком».

Под документом стояла жирная подлинная подпись гражданина Гурьева. Отпечатан документ был... на моей машинке. На моей машинке у буквы «р» отломан хвостик.

— Такие документы пишутся только в сказках,— сказал я.

— Нет, вы послушайте только, что он говорит! — вскочил Поймакин.— Он читал сказку, где Баба-Яга превратилась в Снегурочку, где Кащей Бессмертный стал Иваном-царевичем? Нет таких сказок!

— Товарищ Поймакин, чего вы от меня хотите? — спросил я.— Не я подписал этот документ, а Гурьев.

— Я хочу, чтобы ваш Женька перестал партизанить! — Начальник милиции стукнул кулаком по столу.— Он лично из-за вас партизанит. Теперь я это понял. Ветеринар тут ни при чем.

— Товарищ Поймакин,— сказал я.— Два документа вы мне уже показали. Осталось задать один вопрос. Я хочу слышать вопрос. Больше я ничего не хочу слышать.

— Это даже не вопрос, а просьба. Нам нужно, чтобы вы нам не мешали и не виделись со своим Женькой дня три.

— Прекрасно. Хоть отдохну!

И с того момента, как я вышел из кабинета Гурьева, я не встречался с Евгением Александровичем до тех пор, пока не увидел его спрятавшимся в ванной от Сергея Васильевича, ветеринара. Но о том, чему я и не был свидетелем, я могу рассказать со всеми подробностями — ведь я газетчик! Иногда мы видим мало, а пишем много.

Когда Женя проскользнул в кабинет управляющего трестом и повернул в дверях ключ, Гурьев замер и стал ждать, что будет. Если бы к нему вошел бандит или хулиган, он мог бы схватить телефонную трубку, поднять крик, броситься к окну. Но гражданин Гурьев знал, что вошел Евгений Александрович Смирнов, у которого в голове не жизнь, а сплошная фантазия.

Гурьев на своем веку навидался людей с фантазиями. Они, как правило, не кидаются на людей с кулаками ни с того ни с сего. Значит, Евгений Александрович и подавно должен вести себя смирно.

Но, с другой стороны, люди с фантазиями любят молоть в рабочее и в нерабочее время всякую чушь о честности и высоких стремлениях. Можно представить себе, сколько подобной чуши может намолоть Евгений Александрович, у которого в голове вообще ничего нет, кроме фантазий. Это скучно, досадно, никому не нужно. Поэтому Гурьев замер.

Женя сел возле него и протянул отпечатанное на моей машинке обязательство управляющего трестом, заканчивающееся просьбой послать его работать каменщиком. Гурьев прочел, молча порвал обязательство и бросил в корзину для бумаг. Тогда Женька протянул другой листок с тем же текстом.

— Подпишите,— попросил он.

Гурьев опять порвал бумажку.

Тогда Женька достал третий листок и вынул из кармана пугач. Но взяточник — не обязательно последний трус. Иногда бывает даже наоборот. Гурьев попытался выбить из руки Евгения Александровича оружие. Однако Женька был посильнее и знал приемы. Через несколько секунд Гурьев стоял полусогнувшись, тяжело дыша, правая рука его была закручена за спину. Потом Женька отпустил руку. Он смотрел на управляющего трестом, презрительно улыбаясь.

— Говори, сколько тебе надо денег,— прошептал Гурьев. В его глазах, помимо страха, было невыразимое удивление: человек-фантазия вышибает деньги!

И тогда Женька взорвался. Он схватил Гурьева за шею, пригнул его чуть ли не до полу и затолкал под письменный стол.

— Сидите тут,— приказала «живая модель».

— Чего ты хочешь от меня? — простонал Гурьев.— Бери все, что тебе надо.

— Подпишите.

— Не подпишу! Это тебе не восемнадцатый год,— огрызнулся Гурьев.

Женька сел на пол. Под столом поблескивали глаза.

— Вы хуже Веньки Бубнового Валета,— заговорил Женя.— Вы других людей совращаете. Наш прораб говорил мне, что он не может перестать воровать, потому что он должен давать вам взятки. Из-за этого он пьет. Вы паук.

— Я паук! — Гурьев всплеснул руками.— Я полгорода построил. А ты что сделал? Все, что ты сделал,— бред и воображение.

— Вы ничего не строили. Вы брюки протирали, бумагу портили и языком мололи. Вот вся ваша работа.

— Я организатор.

— Взяточник не может быть организатором.

— Не может! — горько усмехнулся Гурьев.— Что ты городишь чепуху, будто не на полу сидишь, а на трибуну взобрался! Ты жизни не знаешь. Ты всего месяц на свете живешь. А все, что было раньше, тебе мерещится.

— Таких сволочей, как вы, я никогда не видел,— сказал Женя.

— Где ж тебе было видеть! Тебя по кусочкам сшивали и в башку тебе затолкали полное собрание сочинений. Вся твоя автобиография из пальца высосана. Если бы твой отец был секретарем райкома, ты не ходил бы с черным брюхом и не клал кирпичи.

— Еще что вы скажете? — мрачно спросил Женя.

— Еще скажу, что тебя никто пальцем не трогает. На тебя, как на чудо заморское, смотрят. Почему ты на людей кидаешься? Чем я тебе мешаю? Отвяжись. Я тебе десять тысяч завтра домой пришлю. Вся твоя жизнь была как сон, но такие деньги тебе не снились.

— Подпишите сию минуту,— сказал очень медленно Женя. Лицо у него стало такое, когда он наслушался Гурьева, что управляющий трестом, уже ни слова не проронив, вынул из кармана карандаш и подписал.

Женя принес подписанное Гурьевым обязательство Поймакину и торжественно положил его на стол.

Поймакин минуты с две походил по комнате, а потом опустил руку на плечо Евгению Александровичу.

— Если ты такими методами будешь действовать,— сказал он,— тебе худо придется. Я не посмотрю, что у тебя мать красивая, а отец секретарь райкома.

Глава восьмая

Авторитет остался на дороге

Я сидел и смотрел, как Муся рисует самолеты, похожие на дерущихся петухов. С них летели пух и перья. Пропеллеры были, как разинутые клювы, перед крыльями таращились сердитые глаза.

Чудесная девчонка! Сейчас она рисует воздушный бой, а потом будет играть в футбол. Такие уж теперь пошли девочки. Еще попозже она будет заниматься боксом. Вот она выйдет замуж, и муж ее вынужден будет наблюдать такую картину: его любимая жена сидит на кушетке и шепчется с боксером.

Она будет сидеть на кушетке в той же позе, что сидит сейчас ее мать, поджав под себя ноги и облокотившись на подушку. И Муся будет шептаться с боксером так же, как Маша шепчется с Ухогорлоносом. И мужу ее придется молчать так же, как и мне сейчас, — ведь они оба боксеры и у них общие интересы. Я и подавно должен молчать — я не муж.

Но эти два врача с общими интересами могут шептаться сколько им угодно. Сегодня они не испортят мне настроения. Сегодня нашу газету рвут из рук. Я люблю, когда так бывает. Я, правда, еще не написал очерка, из-за которого нашу газету рвали бы из рук. Но я его обязательно напишу. А сегодня пусть пожинает лавры Васька Голубев. Правда, я на его месте не ходил бы именинником. В газете нет даже его подписи. Просто он дал отчет об одном хорошем-хорошем заседании. И сегодня в городе только и разговору о том, что на этом заседании как следует дали жару покровителю жуликов гражданину Гурьеву и покровителю Гурьева Петру Кирилловичу. И газетчики наши чувствуют, что скоро наступит день, когда редактору Константину Петровичу незачем будет бороться со своим веселым, здоровым коллективом.

Мое хорошее настроение не мешает мне, правда, время от времени прислушиваться к тому, о чем говорят Маша и Ухогорлонос. Если они говорят о гипертонии, то пусть наслаждаются беседой хоть до утра. Но я слышу, что они часто повторяют одну фамилию. Этой фамилии я здесь ни разу не назвал.

— О чем вы говорите? Что случилось с Петром Кирилловичем?

— У него что-то с сердцем,— ответила Маша.— Тебе неинтересно.

Я оставил Мусю и подсел к ним.

— Что вы там болтаете, эскулапы? — сказал я.— Я газетчик. Нет на свете такого сердца, которое бы меня не интересовало.

— Петра Кирилловича положили в больницу,— принялся мне объяснять Ухогорлонос.— Сегодня наш главврач ездил туда на консилиум. Больному плохо. Его жена оказалась замешана в каких-то темных делах, и это его подкосило.

Мы немного помолчали.

Мы немного помолчали и больше к этой теме не возвращались. Мало ли на свете других тем. Но читателю я должен еще кое-что рассказать о Петре Кирилловиче.

В этот воскресный день я еще не знал, что Гурьева поймали на взятке. Я не буду подробно описывать, как это произошло, ведь я не пишу

детективный роман. Да и ни один автор детективного романа не стал бы об этом писать: в таких романах пишут обычно о бандитах и шпионах. Эта публика исключительно подвижна. Она мечется из города в город, бегает по крышам, прыгает с самолетов и вообще ведет такой образ жизни, что не только мальчишки, но и пятидесятилетние мужчины, жадно глотающие подобные романы, лопаются от зависти. А взяточник утром пьет чай с сахаром, потом протирает штаны на работе, потом прячет взятку в сейф. Отправляясь вечером домой, он вынимает взятку из сейфа и по дороге покупает хрустальную вазу. Интересно? Ни чуточки.

И чтобы поймать взяточника, не надо бегать с пистолетом на боку, стрелять в воздух и прыгать с самолета. И ловить его надо не с вечера до утра, а с утра до вечера, при ярком дневном свете.

Гурьева накрыли не очень эффектно. Просто к Поймакину пришел тот самый прораб, который рвал на себе рубаху в комнате у Женьки, и все рассказал. Я не выяснял, что его толкнуло на это. Может быть, он не выдерживал взгляда ясных глаз Евгения Александровича, Коли, Толи, Шурика и Сашки. А может быть, толчком послужил запуск ракеты на Луну. Испугался человек, что ему, грешнику, не дадут вблизи посмотреть на лунное сияние. Я и сам, когда услышал по радио о запуске ракеты, с волнением стал перебирать свои грехи.

— Так-так-так,— сказал Поймакин, когда прораб пришел к нему.— Али-Гусаков, иди сюда. Сейчас этот гражданин пойдет давать Гурьеву взятку, а мы — за ним.

— Нет,— покачал головой прораб,— я даю деньги не прямо в руки Гурьеву, а одной старой бабке.

— Нет, вы послушайте, что он говорит! — вскричал Поймакин.— Он думает, что мы не сможем поймать Гурьева, когда бабка понесет ему деньги!

— Нет,— опять покачал головой прораб,— бабка несет их не к Гурьеву. Но я раза два или три видел, как она ходила с деньгами в один дом, к одной даме.

— А где живет дама? — оживился Поймакин.

Прораб шепотом назвал адрес. Поймакин откинулся назад в кресле и долго сидел с выпученными глазами.

— Нет, ты только послушай, что он говорит,— пробормотал он, обращаясь к Али-Гусакову.

Али-Гусаков приставил ухо ко рту своего начальника. Начальник шепнул ему нечто такое, от чего Али-Гусаков принялся обеими руками скрести свой затылок.

Что было дальше, не так уж важно. Так или иначе, клубок размотали и Гурьев был пойман. Все это было, как говорится, «заактировано» и «задокументировано». А когда все было заактировано и задокументировано, Поймакина пригласил к себе Петр Кириллович. Начальник милиции увидел перед собой непроницаемый колючий шар, внутри которого поблескивали настороженные глазки-бусинки.

— Что у вас там получилось с Гурьевым? — зашипел шар.— Я ничему не верю, все это сплошная провокация. Я требую, чтобы все было тщательно проверено. Надо еще посмотреть, кто эти люди, которые занимались делом Гурьева.

«Нет, вы послушайте только, что он говорит! — горестно прошептал самому себе Поймакин.— Я двадцать лет в партии, я десять ранений на войне получил. Я всю жизнь только и делаю, что сорняки корчую, чтобы они не мешали цветам к солнцу тянуться. А он мне не верит».

— Петр Кириллович,— сказал Поймакин вслух,— мне никто еще, кроме вас, не выражал недоверия. А я... А мне... Мне кажется, что я

сам имею право вам не доверять. Выяснилось, что ваша жена два раза принимала участие в передаче взятки Гурьеву. Она принимала ценные подарки от жены Гурьева. Знали ли вы об этом? Видели ли вы бриллианты на руках своей жены?

Замолчав, Поймакин поднял голову. Колючего шара не было. Петр Кириллович лежал на полу с закрытыми глазами, и пушистая шерстка на животе была выставлена для всеобщего обозрения.

Вы думаете, я злорадный? Что вы! Пусть главврач лечит сердце Петра Кирилловича, пусть он его вылечит. Но меня сейчас интересует другое сердце — сердце моего редактора. Ей-богу же, у каждого есть сердце.

У меня не было решительно никаких вопросов к Константину Петровичу, но я нашел предлог к нему зайти. Вы, конечно, забыли про фельетон о Грушняке? А я не забыл. Я зайду к редактору и спрошу про него.

Редактор писал.

— Константин Петрович, пойдет когда-нибудь мой фельетон о Грушняке? Он лежит уже больше месяца.

Редактор бросил ручку.

— А чего? — Он обернулся ко мне.— Фельетон хороший, можно дать.

Редактор достал фельетон из ящика стола, пробежал его и засмеялся:

— Это ты здорово написал: «Позавидовал лысый плешивому».

— Это не я сказал, это поговорка.

— К месту поговорка. Грушняк украл идею, а это, оказывается, не идея, а чушь. Ха-ха-ха!

Что с вами, Константин Петрович? Почему вы перестали бояться подвоха? А ну-ка, покажите, какие у вас глаза. Такие глаза были у моей соседки Екатерины Ивановны, когда она узнала, что поймали Веньку Бубнового Валета. Правда, сама она его не ловила и боялась его до полусмерти, но разве не приятно, что такого бандита поймал другой? Кто его знает, может быть, и у меня были такие глаза, когда я покорно отдал Веньке часы?

Мне показалось обидным отдать жизнь за часы. Лучше я отдам ее за что-нибудь другое.

Эх, Константин Петрович. Сколько раз вы рассуждали вроде меня: зачем я буду отдавать свое кресло из-за Гурьева и Петра Кирилловича? Но ведь Гурьев не часы, а кресло не жизнь...

Между прочим, дорогие читатели, я могу вам теперь назвать фамилию и должность Петра Кирилловича. Но на черта вам его фамилия? А должность? Должность хорошая. Ее займет другой, будем надеяться, такой ценный, что моя соседка Екатерина Ивановна, домкомша, разрешит ему вылезать из машины в самом людном месте.

Глава девятая

Похищение

Через час после того, как Евгений Александрович вышел из кабинета Гурьева, унося с собой подписанное обязательство, в кабинет вошел Небритый. Небритый пришел сюда после свидания с дамой, чей адрес заставил Поймакина шептаться и выпучивать глаза. После этого Гурьев имел шансы купить вечером, по дороге домой, хрустальную вазу. Но случилось так, что еще через две минуты в кабинет вошли двое в штатском и Али-Гусаков.

Гурьева не сразу арестовали. Не знаю, чего уж там не хватало следствию, но его пока оставили на свободе. А куда он денется из своей хаты?

Я не особенно люблю мышей, но, когда я вижу мышь, попавшую в мышеловку, мне всегда хочется ее выпустить. Поскольку я понимаю, что это никому не нужная мягкотелость, я просто стараюсь не смотреть на мышь и думать о чем-нибудь другом.

Писать и думать о попавшем в мышеловку Гурьеве тоже не ахти какое удовольствие. Но, надо вам сказать, что удержать его в мышеловке было не так-то легко. Он пробовал лапой каждую проволочку, крепка ли. Вставал на дыбки и высовывал нос наружу как можно дальше.

В протоколе первого допроса Гурьев записал:

«В течение длительного времени я знаком с талантливым инженером-изобретателем Грушняком. По проекту и под руководством инженера Грушняка была создана двигающаяся и говорящая модель человека, названная Евгением Александровичем Смирновым и работающая на одной из руководимых мною строек. Я и моя супруга, чем могли, помогали Грушняку в его интересной работе, ссужали его деньгами.

К сожалению, проект Евгения Александровича Смирнова имел, видимо, ряд существенных просчетов. Модель пьянствовала, бесчинствовала, из-за чего ее пришлось уволить со стройки, где она дезорганизовала работу.

Движимая чувством мести, модель явилась в мой рабочий кабинет и под страхом смерти вынудила меня подписать документ пасквильного содержания.

Поскольку в модель потребовалось внести серьезные усовершенствования, инженер Грушняк попросил меня изыскать необходимые для этого средства. Свободных денег у меня не было. Я попросил взаймы у приятеля. Когда деньги были принесены, органы милиции учинили у меня обыск и расценили происшедшее. как получение взятки. Между тем приятель мой ни малейшего отношения к моей работе не имеет.

В настоящее время говорящая модель изолируется нами как представляющая опасность для общества. В нее будут внесены соответствующие исправления и дополнения. В связи с этим прошу вернуть предназначенные для этой работы деньги, изъятые у меня под видом взятки».

После допроса, поздно вечером, Гурьев явился к Грушняку. У Грушняка сидел Небритый — бывший судебный эксперт, человек без определенных занятий, последнее звено в цепочке, по которой к Гурьеву шли взятки.

— Твой научный труд готов наконец? — спросил Гурьев Грушняка.

— Он его порвал...

— Кто?!

— Евгений Александрович.

— Я всегда говорил тебе, что ты растяпа,— разозлился Гурьев. — Ты сединой покрылся, а жить не научился. Ты всю жизнь за идеями гоняешься, а в доме у тебя ничего нет. Твое изобретение по улицам бегает, языком болтает, бумаги рвет, а ты глазами хлопаешь.

— Я боюсь, что он все-таки настоящий,— задумчиво сказал Грушняк.

— Да не все ли тебе равно? — вскипел Гурьев.— Тут никто доказать не может, настоящий или не настоящий.

— А вдруг он внутри железный? — прохрипел Небритый.— Он меня так за руку схватил, что я думал, мне конец пришел.

— Железный,— передразнил Гурьев.— Никакому магнитофону в голову не придет то, что он говорит. Он меня сволочью назвал.

— Да, мы уж тоже всего от него наслушались! — Грушняк сокрушенно потряс головой.

— Вот что,— сказал Гурьев,— вам срочно надо написать все заново. Чем вы пользовались?

Грушняк показал на лежащие на столе учебники анатомии и физиологии человека и психологии.

— Так этого же кот наплакал,— простонал Гурьев.— По этим учебникам все люди одинаковые. Как вы докажете, что именно это — ваше изобретение?

— Его привычки у меня есть,— оживился Грушняк.— Потом вы же сами дали нам его служебную характеристику.

— Характеристика! — усмехнулся Гурьев.— Я за свой век столько характеристик подписал, что целую дивизию близнецов можно выставить. По характеристике человека не отличишь.

— У него есть особые приметы,— сказал Небритый.— Он немного прихрамывает.

— Вот это он дело говорит,— обрадовался Гурьев.— У тебя профессия как раз подходит, чтобы человека от всех других отличить.

— Я его сфотографировал, отпечатки пальцев у него снял,— радостно захрипел Небритый, ободренный похвалой.

— Это хорошо,— сказал Гурьев.— Это к учебнику анатомии самое хорошее дополнение. А к учебнику психологии чего добавите?

— Идеи...— нерешительно пробормотал Грушняк.

— Идеи все из газет понадерганы,— зло прошипел Небритый.

— Да,— задумчиво произнес Гурьев.— Я слышал, как он с ребятами на стройке язык чесал. А меня он пауком назвал. Он и вправду верит, что жизнь можно прожить, как в газетах и книгах написано...

Трое в комнате на несколько секунд примолкли.

— Разве он один верит? — прошептал Грушняк.— Это не особая примета. Даже сын ваш, который в Москве учится, разве он не верит?

— Сына моего не тронь,— мрачно сказал гражданин Гурьев.— Пусть он знает одно — что отец его дома строил...

Так-то вот они поговорили. И договорились: Евгения Александровича, любителя захаживать в чужие дома, заманить в особняк к Гурьеву. Быстро закончить научный труд. А потом такая заваруха начнется, что Поймакин в деле Гурьева век ничего не распутает.

Они договорились, а за окном прохаживались двое в штатском. И после этого Поймакин попросил Женьку спокойно посидеть в особняке Гурьева, а меня — не мешать.

Жена Гурьева явилась к Евгению Александровичу домой и попросила его зайти к ней в особняк для серьезного разговора, Женя для виду поупрямился, а потом пошел. Там он вел себя тихо, пока не увидел Грушняка и Небритого, которые спешно восстанавливали свой научный труд. Женька опять хотел порвать бумаги, но Гурьев заманил его в соседнюю комнату и запер там, предварительно получив удар кулаком в нос. Когда Поймакин, Али-Гусаков и двое штатских пришли в особняк к Гурьеву, отперли дверь, «живая модель» бросилась к столу, за которым сидели Грушняк и Небритый, и схватила в охапку исписанные листы бумаги.

— Не сметь!— взревел Поймакин.

Женька застыл на секунду, а потом с сожалением положил бумаги обратно на стол.

— Ты тут на вещественные доказательства даже не дыши. Марш домой,— прошипел Поймакин.

— Товарищ Поймакин,— дрожащим голосом заговорил гражданин Гурьев.— Я вас прошу...

— Я вам не товарищ,— буркнул, отворачиваясь, начальник.

— Гражданин Поймакин, я вас прошу не лишать следствие основного вещественного доказательства. Вы не имеете права отпускать Евгения Александровича. Он должен быть приобщен к делу.

— Нет, вы только послушайте, что он говорит,— возмутился Поймакин.— Он хочет, чтобы мы такого верзилу прикололи булавкой к делу. Нет, он будет свидетелем.

Небритый поднялся из-за стола.

— Евгений Александрович не имеет права выступать в качестве свидетеля,— захрипел он.— У него нет года рождения, отца, матери, биографии...

— Ты что болтаешь?— Женька сжал кулаки.

— Брысь! — топнул на него ногой Поймакин.— Я тебе потом все объясню... Сию минуту иди домой.

И Женя ушел. После всей этой истории он ходил тихий и шелковый. Он так работал, что Чугалинский не выдержал и дал все-таки о нем в газете информацию. Там не было написано, что Евгений Александрович Смирнов знает триста тысяч слов и любил одну женщину (между прочим, теперь уже двух!). Там говорилось о том, что Женька укладывает за смену восемь тысяч штук кирпича.

Эту информацию Женя вырезал из газеты и положил под микроскоп, чтобы она бросилась в глаза ветеринару. Я заметил, что он с трепетом ждет приезда своего создателя, творца, изобретателя.

И вот однажды, поднявшись по лестнице, я заметил, что с дверей квартиры ветеринара исчез черт. Тут не было ни горилл, ни собачьих профилей, ни свиных рыл. Дверь была еще влажной, ее только что вымыли. Хозяева приехали.

Дверь была не заперта, и я вошел в переднюю. Но когда я услышал голос Сергея Васильевича, мне расхотелось идти дальше. Голос был такой, что я побоялся, как бы ветеринар, перепутав, не расшиб стул об меня.

— Верзила такой вырос, а в голове одни приключения,— громыхал Сергей Васильевич.— Добролюбов в твоем возрасте критические статьи писал...

— Мой дедушка в твоем возрасте женился,— вторила мужу Юлия Семеновна.

На скамеечке сидел Женька, зажмурив глаза. Услышав, что я вошел, он открыл глаза и подмигнул мне.

— Ты сам все рассказал? — спросил я.

— Сам...

Я повернулся и ушел.

«Так вам и надо, Сергей Васильевич,— думал я по дороге.— Распекайте теперь своего далекого Евгения Александровича. Вы не хотели идти на консультацию к начальнику милиции и действовать по заранее утвержденному плану. И ваша «живая модель» пошла гулять по городу, рвать научные труды и уводить чужие лимузины. Что ж, как сказал директор завода, с которым Петр Кириллович якобы разговаривал, Евгения Александровича всегда можно перевоспитать. Перевоспитывайте».

Я шел домой, и мне было легко. С приездом Сергея Васильевича с меня снималась ответственность за поведение «живой модели». Ответственность, которую я сам себе зачем-то навязал.

Но Екатерина Ивановна встретила меня в передней сердитая.

— У вас гости,— сказала она.— Настоящие. Ненастоящий — тот не пьет и не курит. А эти, господи прости, как артисты. Несамостоятельные.

В моей комнате расстилался табачный туман. На столе стояли две бутылки. На диване сидели Вася Голубев и человек почти без недостатков, директор совхоза «Звезда». Вася сидел, уронив голову на руки. Когда я вошел, он встрепенулся и стукнул кулаком по столу.

— Никакой пьесы мы писать не будем. Хватит дурака валять!

— Не будем, не будем,— успокоил я его.

— Совхозы по небу не летают,— продолжал он, вскочив с дивана.

— Не летают, не летают.

— И людей без недостатков не бывает! — Он снова стукнул кулаком по столу.

— Не бывает, не бывает.

Моя покладистость успокоила Васю. Он снова опустился на диван и затих. Но тут же ко мне прицепился человек почти без недостатков.

— Мне не нравится,— подбоченился он,— что в вашей пьесе снятый директор совхоза доит корову.

— Есть такой грех. А тебе-то что? Тебя сняли?

— А то, что незачем кадрами зря разбрасываться. Могли его послать фермой заведовать.

— Так это же на небе, не на земле.

— Тем хуже, что на небе, тем хуже. Уж ежели на небесах правды нет, то где же тогда ее искать?

У меня было два выхода — либо самому напиться, либо взять на себя функции дежурного по вытрезвителю. Я выбрал второе.

Когда взгляд у них стал осмысленным и они могли рассуждать здраво, зрело и разумно, я спросил их, показывая на бутылки:

— Что было поводом? Именины?

— Не совсем,— принялся рассказывать директор.— Мы с ним крепко поспорили. Я считаю, что вы оба не имеете права писать о человеке без недостатков. У него три выговора от администрации и четыре миллиона выговоров от жены. А ты трус — отдал грабителю часы и боишься жениться. Васю я, кажется, убедил.

И тут я произнес страстный монолог, первый и последний в моей жизни, ибо многословие — это, на мой взгляд, такой недостаток, с которым надо бороться с пеленок.

— Все знают,— сказал я директору,— что у твоих коров столько молока, что вымя по земле волочится, твоя кукуруза упирается в небо, доярки твои — пышки и работяги, жена — профессор, дети — отличники. А у Василия, допустим, четыре миллиона выговоров. Но попробуй ты напиши о нем. Ты двух слов связать не можешь, тебя читать никто не станет. А он о тебе такое напишет, что ты с утра до вечера будешь читать и оторваться не сможешь. Ты воду не мути и не сбивай нас с толку. Писать мы имеем право. О ком — вот вопрос. Ты свое начальство в областном управлении полжизни втихомолку ругаешь, а в глаза ни слова не скажешь. Такого, который всю жизнь только и делает, что ходит по инстанциям и с кем-то борется, мне тоже не надо. У Евгения Александровича нос еще не дорос. Где образец? Где полная гармония?

— Мы с тобой жизни не знаем, вот и все,— сказал Вася, вставая.— Сейчас я пойду домой и буду изучать жизнь.

И он ушел изучать жизнь и получать очередной выговор. С ним отправился и человек почти без недостатков.

Я отдыхал минуты две. А потом ко мне заявился Семен Авдеевич. Грустный. Не кричал и не говорил про Венеру.

— Я должен перед вами извиниться,— сказал он.— Меня вызывали как свидетеля по делу Грушняка. Я понял, что он не только дурак, но и подлец. С такими надо бороться. Но некогда, некогда. Не успеваешь. В человека надо внести серьезные усовершенствования. Чтобы он все успевал...

Мне очень понравился в тот вечер Семен Авдеевич. Мне даже захотелось взять его за образец. Только он был очень грустный.

Глава десятая

Суд

С Сергеем Васильевичем мне пришлось встретиться в тихом зале, где судили Гурьева, Грушняка и Небритого.

В этом тихом зале все стулья были нанизаны на длинные палки и наглухо к ним прибиты. Какими бы здоровенными ни были ручищи у ветеринара, он не смог бы поднять целый ряд. И стены тут были не такие, о которые можно расшибить стул. Эти стены внушали уважение Сергею Васильевичу так же, как всем присутствующим.

Поэтому я, войдя в зал, мог совершенно спокойно подсесть к Сергею Васильевичу, сидевшему в первом ряду. Но я почему-то не решился на это и устроился у самого выхода. Однако Сергей Васильевич почувствовал мой приход и обернулся. А вслед за этим на меня обернулось несколько сидевших рядом с ним человек: Женька, Юлия Семеновна и еще двое. Этих двух я никогда не видел, но почему-то они с большим любопытством на меня посмотрели. Это были красивая женщина средних лет и массивный мужчина, которого со спины очень легко было спутать с Сергеем Васильевичем, да и с лица, кажется, тоже. А потом они от меня отвернулись и продолжали слушать допрос гражданина Гурьева. Я тоже стал слушать.

Гражданин Гурьев не похудел за эти дни. Он был все такой же розовый, средней упитанности и сохранял прежний вид энергичного руководящего работника. Было ясно, что он вовсе не считает себя преступником, хотя «делал бизнес». И в то же время, мне думается, он верит во что-то, во имя чего — а не только ради денег — он строил... Вообще все это сложно. То есть до того все на свете стало сложно, что порой начинаешь подыскивать для мерзавца какое-то другое название. А он был и есть мерзавец.

Сидящий рядом со мной гражданин рассказал мне, что Гурьев виновным себя не признал. Единственное, чего он хотел, это внести в человека некоторые усовершенствования.

Допрос продолжается.

— Расскажите, какие усовершенствования вы хотели внести в Евгения Александровича Смирнова,— просит Гурьева судья.

— Он пьяница, хулиган. Надо было все это исправить.

— Каким путем?

— Этого я не могу сказать,— разводит руками гражданин Гурьев.— Евгений Александрович — не мое изобретение.

— И вы поверили, что он чье-то изобретение?

— Я очень верю в науку,— проникновенно сказал гражданин Гурьев.

— И такое великое изобретение, как человек, вы хотели использовать для того, чтобы запутать следствие, выйти сухим из воды?

Розовый затылок гражданина Гурьева краснеет. Мне кажется, что при всей своей выдержке он сейчас начнет путаться. Так и есть.

— Почему великое? — бормочет он.— Модель есть модель.

— Так,— радуется судья.— Значит, модель можно использовать для того, чтобы запутать следствие?

— Я этого не говорил,— сердится гражданин Гурьев.

— Хорошо, оставим это,— говорит судья.— Ответьте теперь, подсудимый, на такой вопрос. Гражданин Грушняк признался, что вы знали о его намерении присвоить чужое изобретение. Так ли это?

— Это неправда.

— Гражданин Грушняк, встаньте,— приказывает судья.— Вы подтверждаете то, что говорили на предварительном следствии?

Грушняк с готовностью поднимается. Он твердо знает одно: что его, старого дурака, никто в тюрьму не посадит. Поэтому ему хочется угодить судье.

— Подтверждаю,— квакает он любезным тоном.

Гражданин Гурьев вынимает из кармана платок и тянет его ко лбу. Мне не хочется больше на него смотреть. Я понимаю, что судья сейчас его просто воспитывает. Ведь давно доказано, что Небритый принес ему взятку, а не что-нибудь другое.

Но вот наконец Гурьева посадили на место. Теперь встает Небритый. И совершенно неожиданно он сажает в калошу суд, следствие и всех нас, сидящих в зале.

— Все это была шутка. Пусть плоская, но невинная шутка,— говорит он.— Неужели вы, граждане судьи, могли подумать, что мы с Грушняком преследовали корыстные цели? Неужели вы всерьез считаете, что можно взять человека за руку, привести в солидное учреждение и сказать: вот мое изобретение, давайте патент?

Бедный судья! По-моему, он растерян. Действительно, разве он мог подумать такое всерьез? Но тут его выручает народный заседатель. Я знаю этого заседателя. Он член какого-то ученого совета, и его замучили изобретатели вечного двигателя. Поэтому он нервный и худой.

— Могли подумать,— желчно отвечает он Небритому.— Очень даже могли. Чертежи вечных двигателей приносят в солидные учреждения. Между тем такой двигатель даже существовать не может. А человек вполне может существовать...

В зале раздались смешки. Небритый посрамлен. Конечно же, человек вполне может существовать.

Но утомительно слушать такое длинное, путаное дело. Я вышел в коридор покурить. Там сидела Екатерина Ивановна, моя соседка, и вязала чулок.

— Посидите, посидите тут,— сказала она.— Я сама устала, голова болит. Давеча другого взяточника судили, как в кино все сидели. Каждое слово понимали. А тут приплели человека, и ничего понять нельзя. Да разве мыслимое это дело — к такой грязной истории человека приплетать.

Мы посидели, повздыхали. А потом я вернулся в зал. Говорил защитник Грушняка и Небритого.

— Товарищи судьи,— хорошо поставленным тенором пел защитник.— Я считаю необходимым оставить открытым вопрос о происхождении Евгения Александровича Смирнова. Настоящий он или не настоящий, это, как вы сами понимаете, недоказуемо.

— О боже,— простонала красивая женщина средних лет, сидевшая рядом с Сергеем Васильевичем.

Защитник с недовольным видом покосился на нее и запел дальше:

— Я, как и вы, как и все присутствующие в этом зале, вполне могу допустить мысль об искусственном происхождении Евгения Александровича. И я вынужден указать на те серьезнейшие промахи, которые допу-

стило следствие. Взгляните на лист дела номер пять. Там сказано, что у Евгения Александровича были взяты отпечатки пальцев. Теперь перелистайте дело, и вы убедитесь, что абсолютно нигде не сказано, чьи же это отпечатки. Идентичны они или не идентичны...

Больше я не мог слушать. Я вышел из зала и пробрался к той двери, в которую должен был выйти защитник, закончив свою речь. Дождавшись его, я утащил его в самый глухой угол и стал умолять:

— Нас здесь не слышит ни одна живая душа. Заклинаю вас всем, чем угодно, скажите мне, что вы на самом деле думаете о Грушняке и этом Небритом.

— Они кретины,— шепнул мне на ухо защитник.

Я пожал ему руку и спокойно вернулся в зал. Он опустел — был объявлен перерыв. В вестибюле я увидел красивую незнакомку средних лет в окружении женщин. Ту самую, что воскликнула «о боже». Она и сейчас восклицала то же самое:

— О боже! Двенадцати с половиной фунтов родился — и не настоящий!

Глаза у нее смеялись. А рядом с ней сидела моя соседка Екатерина Ивановна и приговаривала:

— И до чего только люди не додумаются! Ненастоящий! Да как он у меня сразу десяток котлет проглотил, я сразу подумала, что настоящий.

Но мне не до женских разговоров. Ко мне приближается Сергей Васильевич Смирнов. И вот он пожимает мне руку.

— Как я ошибся в вас,— сказал ветеринар.— Когда я вам показал лягушку, я видел, что вы были взволнованы. Но я не знал, что эта лягушка доведет вас до умопомрачения, до исступления, до полной прострации. Вы так обалдели от этой лягушки, что забыли простые слова, которые произнесла при вас Юлия Семеновна. Она сказала, что ей нравятся имя и отчество моего племянника, Евгения Александровича.

— Сергей Васильевич,— ответил я,— пойдите и скажите все это защитнику. А ко мне не лезьте в душу. Откуда вы знаете, забыл я или не забыл?

В это время мимо нас проходил Поймакин, и я схватил его за руку.

— Вот мой свидетель,— сказал я.— Товарищ Поймакин, скажите, пожалуйста, этому мужчине, что я вам ответил, когда вы мне показали документ из далекого городка, где Евгений Александрович Смирнов проживал до лета тысяча девятьсот шестидесятого года.

— Он сказал, что, пока не закончит свою писанину, ему вредно знать — настоящий Женька или не настоящий,— ухмыляясь ответил Поймакин.— Но за это нельзя дать пятнадцать суток. Статьи нету.

— И все-таки, товарищ Поймакин,— сказал Сергей Васильевич,— вы ему должны дать пятнадцать суток. Он такими глазами после первой же встречи стал смотреть на нашего Женьку, что Женька сразу стал куролесить. Теперь людям в глаза смотреть стыдно.

Я задумался на мгновение. Я вспомнил, какими глазами смотрел на меня писатель Федор Грюсный на пожаре. Разве после этого мне захотелось покрыться копотью и обгореть? Я не куролесил. Правда, может быть, все дело в том, что я постарше...

— Нет, вы только послушайте, что он говорит!— вскричал Поймакин, сердито поглядев на ветеринара.— Может быть, Венька Бубновый Валет грабил людей оттого, что на него кто-то не так посмотрел? Тут дело тонкое. Тут надо в причинах разобраться. Может быть, вашего Женьку слишком долго под материнским крылом держали, а потом на волю выпустили. Вот он и пошел выкидывать номера.

— Пойдемте разберемся,— сказал ветеринар и потащил нас туда,

где сидела красивая женщина средних лет, а возле нее стоял очень похожий на Сергея Васильевича мужчина.

Я давно догадался, что это были воображаемые... то есть, извините меня, самые что ни на есть настоящие Женькины родители. Тут же возле матери сидело «великое изобретение», бывшая «живая модель».

— Смотри, Сашка,— сказал Сергей Васильевич брату,— я привел тебе сразу двух живых свидетелей того, что творил твой птенец.

Александр Васильевич Смирнов грозно взглянул на сына.

— Очень хорошо. Свидетели есть. До судебного зала недалеко ходить — двери открыты, сейчас окончится перерыв. Посадим его на скамью подсудимых.

— Позвольте, Александр Васильевич,— вмешался я.— Вы недооцениваете роль общественности. Не будем сажать Женьку на скамью подсудимых. Попробуем на него воздействовать другими методами.

Я почувствовал, что мне сию минуту надо поговорить с ветеринаром, чтобы понять все до конца. Я взял его за рукав и отвел в сторону.

— Сергей Васильевич,— сказал я,— мне хочется задать вам несколько вопросов.

— Если смогу, отвечу.

— Вопрос о Евгении Александровиче — не об этом Женьке, вашем племяннике, а о настоящем, вернее ненастоящем, далеком Евгении Александровиче снимается с повестки дня или не снимается?

— Что за вопрос? — возмутился ветеринар.— Конечно, не снимается.

— А вы случайно дали это имя? Вы не собирались брать Женьку за основу?

— Что за вопрос? — удивился Сергей Васильевич.— Неужели вы и этого не поняли?

— Но ведь в него надо внести самые серьезные усовершенствования.

— Разумеется,— произнес мой собеседник.— Он должен поглубже задуматься над своим призванием. Стать выдержаннее, разумеется, не из эгоистических побуждений, не ради спокойной жизни. Юность — это очень большой недостаток.

— Старость тоже...

— Старость тоже,— грустно сказал Сергей Васильевич.

— Значит, людей без недостатков не бывает?

— А кто его знает? Если не очень придираться к мелочам, может быть, и бывают. Как их получить — вот в чем загвоздка.

— Будем думать?

— Будем думать.

Перерыв окончился. Мы двинулись в зал слушать речь прокурора. Я думал о Гурьеве и Грушняке. Нелегко будет внести в них серьезные усовершенствования...

Глава одиннадцатая

Суд семейный

На дверях ветеринара, конечно, опять что-то нарисовал соседский мальчишка. Сегодня это был колючий еж, свернувшийся в клубок. Я посмотрел на него и вспомнил Петра Кирилловича. Эх, ведь мы с нашим редактором Константином Петровичем так ничего и не сделали для того, чтобы этого зазнавшегося товарища перевоспитали или хотя бы сняли с работы. Все обошлось без нас. Чтобы искупить свою вину, я сейчас приму самое непосредственное участие в перевоспитании белобрысого Женьки.

Большая комната Сергея Васильевича битком набита народом. Тут-то и пригодились все излишки мебели, из-за которых раньше негде было повернуться. Кресло, стоявшее на столике, сняли, и на нем уселся Поймакин. По обе стороны от него восседали Женькины родители. За обеденным столом разместилось еще много народу: Али-Гусаков, Сергей Васильевич, Юлия Семеновна, Семен Авдеевич, пришедший со своим братом, председателем райисполкома, Вася Голубев и я.

На продавленной кушетке расположились Мария Михайловна, Маша — моя ровесница, Ухогорлонос и врач нашей поликлиники. На столик, с которого было снято кресло, взгромоздились Коля, Толя, Шурик и Сашка. А в углу, между стеной и шкафом, сидели, тесно прижавшись друг к другу, Жрицын и Взлелейник. Понятия не имею, зачем они пришли.

Бледный Женька сновал по коридору и время от времени заглядывал в дверь.

— Стой здесь! — скомандовал ему Поймакин.— Все собрались? — Он обвел глазами присутствующих.

— Все,— сказал я.

— Теперь давайте сюда счеты,— обратился Поймакин к хозяину дома.

— Вот уж чего нет, того нет,— развел руками Сергей Васильевич.

— Тут без счетов не обойдешься,— заявил Поймакин.— А вдруг у меня пальцев не хватит загибать?

— Сию минуту,— поднялся я.

Конечно, я помчался к Чугалинскому, который жил неподалеку.

— Зачем тебе счеты?— спросил меня с легкой завистью Чугги, протягивая мне свое сокровище.— Ты, наверное, пишешь что-нибудь интересное?

— Эх, если бы для этого!— воскликнул я, убегая.

— Так-так-так,— сказал Поймакин, схватив счеты и передав их Али-Гусакову.— Откладывай без разговоров сразу две костяшки. Машину у Петра Кирилловича увел? По плечу его хлопал? Если такие молокососы начнут нас по плечу похлопывать, все вверх дном перевернется. Теперь дальше говори ты,— обратился он ко мне.

Я предчувствовал, что мне придется выступать в роли общественного обвинителя. Тяжело, конечно, было говорить. Я смотрел на красивую Женину мать — глаза ее были полны слез. Я видел, как двигает желваками отец Жени. Но говорить надо.

— Он у Грушняка научный труд порвал. Он взял на себя функции ученого совета или высшей аттестационной комиссии. Я считаю, что в его возрасте это совершенно недопустимо.

Али-Гусаков отложил третью костяшку. По лицу Жениной матери прокатилась крупная слеза. Семен Авдеевич тяжело вздохнул.

— Он насильно заставил побриться Небритого,— продолжал я.

— Безобразие!— вздрогнул Женин отец.

— А что, очень был небрит? — спросил Поймакин.— Впрочем, это неважно.

Али-Гусаков отложил четвертую костяшку, а Вася Голубев испуганно потер свою чернявую щеку. Вторая слеза прокатилась по лицу Жениной матери.

— Часы Юлии Семеновны продал,— продолжал я.— Не имел права.

— Ну какая чепуха! — замахала руками Юлия Семеновна.— Он же был без денег.

— Отложите костяшку,— властно приказал отец Жени.

Али-Гусаков отложил. Женина мать приложила платок к глазам.

— Еще он к Роберту Плюнникову в клетку залез. Незачем ему было туда залезать.

— О боже! К Плюнникову залез! — громко зарыдала Женина мать.

Эта стойкая женщина наконец не выдержала. Хорошо, что я не упомянул, что клетка была полна тигров.

— Не надо, мама,— прошептал, страдая, стоящий в дверях Женя.— Я не буду больше.

Али-Гусаков отложил шестую костяшку. Все сидели подавленные.

— У меня все,— вздохнул я.

Мы с Поймакиным словно договорились — оба не упомянули о том, как Женя ходил превращать Кащея Бессмертного в Ивана-царевича, как он заставил Гурьева подписать обязательство. Вопрос сложный, вызовет дебаты, просидим до утра.

— У кого еще есть замечания?— спросил Поймакин.

— Сочинение Алькиной бабушки на стол выложил,— подал голос черномазый Шурик. — Нет чтобы шпаргалку тихонько взять.

— Я тебе дам шпаргалку, — погрозил ему пальцем Поймакин. — Отложить костяшку!

Я тяжело вздохнул. Я считал, что костяшку надо отложить тем, кто выдумывает темы для сочинений.

— Еще он к чужой невесте сватался,— сердито проговорил Вася.

Я слышал, как прыснула Маша, и видел, как задрожала мелкой дрожью Женина мать. Восьмая костяшка была отложена.

— Еще он стильную прическу носил!— хором закричали Коля, Толя, Шурик и Сашка.

Женин отец стремительно обернулся и схватился за стоящий рядом стул. О! Я заметил, что это человек колоссальной выдержки. Как он крепился, когда говорили о том, как Женя увел машину. Но разве может идти со всем этим в сравнение стильная прическа!

— Отложить пять костяшек,— властно скомандовал Александр Васильевич Али-Гусакову.

— Александр Васильевич! — Я укоризненно посмотрел на него. — Ведь тогда придется скинуть костяшку за Небритого. По вашему выходит — сам стригись и других брей. А потом неужели, по-вашему, стильная прическа хуже грабежа?

— Одну, одну костяшку, — рассудил нас Поймакин. — Раз за увод машины одну, значит и за стильную прическу одну. Я меру знаю. Теперь все? — Он обвел глазами комнату.

Все молчали.

— Сколько получилось? — раздалось несколько голосов.

— Девять,— мрачно сказал Али-Гусаков.

— Девять... — зарыдала Женина мать.

— Слезами горю не поможешь, — сокрушенно покачал головой Поймакин. — Я-то думал, что пальцев не хватит.

— А теперь, товарищи,— начальник милиции встал, словно собираясь вскочить на коня,— я вношу одно предложение. Вспоминаю я свою молодость. Руки у тебя все время чешутся, и распирает тебя всего, неизвестно по какой причине. Цель-то у тебя благородная. Только рубишь иной раз с плеча, не понимаешь еще, что жизнь — дело тонкое...

— Эх, и тонкое,— вздохнули главврач, Семен Авдеевич и его брат, председатель райисполкома.

— И вот я предлагаю, товарищи, — скинем ему одну костяшку за молодость, — продолжал Поймакин. — Скинем одну костяшку?

— Пять, пять!— закричали Коля, Толя, Шурик и Сашка.

— Десять, десять, — подали из-за угла голос Взлелейник и Жрицын.

Большинство все же остановилось на одной.

— Позвольте, товарищи, — взволнованно поднялся я, — эту костяшку придется вернуть на место. Я забыл сказать, что Женя говорит Бальзака́.

— Ну и что? — удивился Поймакин. — Мы с женой всю жизнь так говорим.

— И мы с братом тоже, — сказал председатель райисполкома.

— А как же еще говорить? — спросили Коля, Толя, Шурик и Сашка.

Никто меня не поддержал, кроме Васи Голубева. Я опустился на место.

Поднялся председатель райисполкома.

— Я специально пришел сюда, чтобы сбросить одну или даже две костяшки за Взлелейника и Жрицына. К нам, в райисполком, перестали от них поступать жалобы. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю!— Я ткнул себя пальцем в грудь.— Но метод, метод! Чужими руками в морду дал!

— Чего там, хороший метод! — крикнул Жрицын, еще сильнее прижавшись к Взлелейнику.

— Воздержаться. Метод недостаточно проверенный, — резюмировал начальник милиции.— Прошу называть действительные заслуги.

— Он хорошо работает, поступил в институт — вот вам и две костяшки,— сказала Мария Михайловна.

— Одной хватит, — отрезал Поймакин. — Все работают, и все учатся. Еще что учтем?

— Одну костяшку надо сбросить за этого фантазера,— указал Женин отец на брата. — Носится с каким-то далеким Евгением Александровичем. Из-за этого на Женьку все обращали внимание. Он и нос задрал, не зная почему.

— Позвольте, но я тут при чем? — возмутился Сергей Васильевич.— Меня здесь не было. Вот кто фантазировал.— Он показал на меня.

Я пожал плечами. Обвинение было суровым и несправедливым.

— Ничего нет удивительного в том, — начал я, — что поведение Жени показалось мне подозрительным. Он, правда, пересаливал, но вел себя очень активно, во все вмешивался, проявлял смелость. Вот я и позволил себе вообразить хотя бы на короткое время, что он хими...

— Да ты что, — взревел Поймакин, — таких не видел, что ли? А еще литератором считаешься. Жизнь изучаешь по дороге на работу.

И он застучал по столу обоими кулаками.

— Видел, видел! — испугался я.— Все произошло потому, что я слишком сильно верю в науку. Но ведь я не один верю. Все верят в науку.

— Так-так-так! Скинуть одну костяшку за то, что все верят в науку. Еще что?

Я встал.

— Считаю необходимым скинуть одну костяшку за наследственность.

— Это что еще такое? — насторожился Поймакин. — Прошу не залезать в туманные области.

— Я не залезаю. Но я видел, как расшиб пылающий стул о горящую стену Сергей Васильевич. Я видел, как схватился за стул Александр Васильевич, когда заговорили о том, что его сын носил стильную прическу. Он не расшиб его об стену, но я чувствовал, что ему очень этого хотелось. По-моему, надо учесть, что в некоторых случаях в Женьке говорила наследственность.

— Погодите, тут надо учитывать условия внешней среды,— сказала Женина мать. — Сергею Васильевичу много приходилось бывать среди коров, вот он иногда и не выдержан с людьми. Александр Васильевич очень выдержан. Он всю жизнь работает с людьми. Он всегда с людьми.

— Да, среда у Женьки, когда он в особняке сидел, была плохая.— Поймакин заерошил свои русые кудри.— Скинем одну костяшку за такую среду. Что еще?

— Ах, как он хорошо показывает горло... — пробормотал Ухогорлонос.

— Прошу не сентиментальничать,— отмахнулся от него Поймакин.— Все должны показывать горло и делать прививки. Что еще?

Все молчали. Шесть костяшек выстроились рядом, как статьи уголовного кодекса. Никуда от них не денешься.

— Что теперь будем делать? — обхватил голову руками Поймакин.

— Продыху ему, продыху не давать! — крикнул Жрицын.

— Правильно, чтобы у него ни минуточки свободного времени не было, иначе я с ним тут с ума сойду, — сказал Сергей Васильевич.

— Детка моя, — прошептала Женина мать. — У него и так секундочки нет передохнуть. Завтра занятия в институте начнутся.

— Позвольте, — заволновался я. — Он окончит институт. К этому времени рабочий день сожмется. Что он будет делать тогда? У него окажется уйма свободного времени.

— Ничего, — успокоил меня Поймакин. — Он тогда будет совсем взрослый, сознательный. Почитает в свободное время Бальзака́.

Этого «Бальзака́» я не вынес и вскочил из-за стола. Но остальные тоже поднялись, видимо считая свою задачу выполненной. Правда, было заметно, что Женин отец не совсем доволен. Ему, конечно, хотелось, чтобы сын получил строгий выговор с предупреждением. А ведь это лишнее. Административными мерами тут многого не добьешься. Главное — сила общественного воздействия...

В комнате стало ужасно тесно, негде было повернуться, и, стремясь освободить место, мы с Машей очутились в лаборатории Сергея Васильевича. Почему-то обоим нам пришла в голову дельная мысль — не мешать другим людям.

— Слушай, — сказал я ей. — Я два года коплю деньги тебе на свадебный подарок. Если ты и дальше будешь тянуть, я пропью эти деньги с Васькой Голубевым. Он у нас каждую получку именинник.

Маша уперла руки в боки, как королева.

— Если ты когда-нибудь хоть одну рюмку... Я всю квартиру медицинскими плакатами увешаю, я всю санитарную пропаганду к нам в дом перенесу...

— А я ему покажу муху под микроскопом, — раздался за моей спиной голос Сергея Васильевича.

— Нехорошо подслушивать.— Я покачал головой.

— А я думал, синеглазая, что у вас с ним уже нет никаких секретов.— Ветеринар сжал Машин локоть.

— Сергей Васильевич,— попросил я, — уберите, пожалуйста, руку. На свете более миллиарда мужчин. Не могу же я с каждым ездить драться в ваше учебное хозяйство, хоть там и очень чистый воздух...

Я недавно долго смотрел на прелестную вечернюю звезду. Она очень перспективная, эта планета. Я уже заметил, что кто-то помахал мне оттуда рукой. Я сначала думал, что это Семен Авдеевич. Но потом я догадался, что это вовсе не он. Машет мне далекий Евгений Александрович. Почему я раньше его не замечал? Потому, что он тогда сидел на пылающем белом карлике, в миллионах световых лет от нас. Потом он перепрыгнул на Венеру. Скоро он переберется на Луну, а дотуда уж и рукой подать.

Я сам подам ему руку, чтобы легче было спускаться.

Я верю, что так и будет, я очень верю в науку...

Ташкент.



С. ГАЛКИН

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

(С еврейского)

Без меня

Когда меня не будет на земле,
То надвое, на черный цвет и белый,
Делить меня — нестоящее дело:
Там, где хула,— нет места похвале.

По бедности своей, бывало, мать,
Я помню, спичку надвое делила.
Убогий, жалкий огонек вполсилы
Мне и поныне больно вспоминать.

Когда меня не будет на земле,
Меня не мерьте скудной меркой этой —
Не омрачал я радости и света
Обидами и памятью о зле.

Отец, бывало, матери под стать,
Чтоб как-нибудь занять свой ум голодный,
Пытался волос расщеплять бесплодно.
И больно мне об этом вспоминать.

Когда меня не будет на земле,
Но буду вам я мил и после смерти,
Меня одной высокой мерой мерьте —
Огнем, который мне сиял во мгле.

Не надо свет и мрак сопоставлять,
Чтоб света
краем не прикрыли тени,
Затем, что людям новых поколений
Мне б не хотелось боли причинять.

Перевела **Ю. Нейман.**

***

Как зернами гранат, душа полна
Желаньями и каждому верна.

Одно из них гнездится всех прочней,
Чтобы всегда напоминать о ней,

Ведущей от Адама бытие.
Пускай ты Евой не зовешь ее —

Ты рад бы ей пожертвовать ребром
И муки от нее считать добром.

Ты с детства начал строить ей чертог,
А завершить, закончить все не мог...

Вот и теперь — в ночи́, средь тишины
Ищу я камень для его стены.

Перевела **А. Ахматова.**

***

Давным-давно я был черноволос,
Ты — белокура... так оно пришлось.
Но то, что нас влекло и разделяло,
С годами сгладилось мало-помалу.
Твой волосок иль мой — различья нет:
Все то же серебро, все тот же цвет...

Бывало, только волосок чужой
Меня коснется — что с твоей душой!..
Бушует буря. Мир огнем объят.
Все под сомненьем — верность, каждый взгляд...
Тот волосок на все ложился тенью,
Почти не поддаваясь высветленью,

Тот волосок — льняной иль смоляной —
Вставал стеной между тобой и мной.
Все, что вдвоем мы накопили прежде —
В нужде, в достатке, в муках и надежде,—
Бывало, все дрожит в твоей руке,
Вся наша жизнь висит на волоске.

«Нашел что вспоминать»,— ты скажешь хмуро.
Но вслушайся, коль вспомнить довелось:
Давным-давно... я был черноволос,
Ты — белокура...

Перевела **Ю. Нейман.**

Мое доброе слово

Так много их, прохожих, и любого
Впервые в жизни вижу я сейчас,
А может статься, и в последний раз,
Но каждому от сердца, без прикрас
Хочу я доброе промолвить слово.

Прохожие всегда спешат — и шага,
Конечно, не замедлят лишь затем,
Чтоб мне внимать... И, поневоле нем,
Я думаю: не обойдусь ли тем,
Что мысленно им пожелаю блага?

Но мысли, все еще живой и гибкой,
На склоне лет стал медленнее бег,
Ей не поспеть за юностью вовек...
Себе шепчу я: милый человек,
Спеши, напутствуй молодость улыбкой!

И стар и млад, ценя высоко время,
Торопятся, почти бегут бегом
И не догадываются о том,
Какое, напоенное теплом,
Ношу на сердце сладостное бремя.

И мир тускнеет, мир, любимый свято
И заключенный мной в волшебный круг,
Как будто мрак его коснулся вдруг
Или, обдав дыханьем чьих-то мук,
Злосчастье прошмыгнуло воровато...

И никнет дух... В смятеньи бью тревогу
Перед бедой, нависшей тяжело,
Зову все силы, только бы тепло,
Что в слово доброе мое вошло,
К сердцам людей себе нашло дорогу!

Перевел **И. Гуревич.**



С. КАПУТИКЯН

★

ПРОСТИ МЕНЯ

(С армянского)

Прости меня, любимый мой, прости.
Был прежде твоего рассвет мой ранний.
В моей душе — печаль воспоминаний
И образы, забытые почти,
Мне их не потерять и не найти...
Прости меня, любимый мой, прости.

И если загляжусь я ненароком,
И если позову полунамеком,
И с жаждой счастья в глубине глубин
К твоей груди склонюсь на миг один,
Чтобы в тебе опору обрести, —
Прости меня, любимый мой, прости.

В глазах моих сиянья не лови.
В них не горит счастливый свет любви,
В них сумрак, Ванским озером хранимый,
Смятение грозы неукротимой
И верность долгу на крутом пути...
Прости меня, любимый мой, прости.

Должна другая стать твоей судьбою —
Смеющаяся, та, что вся с тобою,
А я иным раздумьям предана,
И знать и помнить многое должна,
Мне от моей тревоги не уйти...

Любимый мой, счастливого пути!..

Перевела **М. Петровых.**



ПУБЛИЦИСТИКА

Я. ТАВРОВ

★

ИНЖЕНЕР И КУЛЬТУРА

У САМОГО ОКЕАНА

Антиподы — так окрестили моих сотоварищей по номеру в кулуарах гостеприимного тетюхинского Дома приезжих.

Кулуарами именовался маленький, напоминающий прихожую коридор, где всегда дымили курильщики, обсуждая далеко за полночь последние новости межконтинентального и местного, сихотэ-алиньского масштаба. В коридоре по любому поводу схватывались колымчанин Андрей Ильич и гость с юга, «институтский деятель» Порфирий Тихонович. Антиподы внешне походили друг на друга: оба немолодые, довольно грузные, с глубокими залысинами и с носами, для которых в украинской речи существует непереводимый эпитет — кирпатый. Только Андрей Ильич был полобастей, поживей, в зрачках у него то и дело вспыхивали веселые искорки, и ум у него тоже был быстрый, искрящийся. Порфирий Тихонович смотрел на собеседника строго и даже сумрачно, рассуждал неторопливо, нрав его не был лишен едкости. Это и выдавало полное несходство натур. Разногласия возникали поминутно.

Утром для споров не оставалось времени. Утром торопились в школу. Школа была особенная — межреспубликанская. В ней инженеры, обогатители чуть ли не двадцати совнархозов изучали опыт скоростной флотации руд.

Для ясности скажу несколько слов о том, что такое флотация. Это процесс, во время которого из превращенной в порошок и смоченной водой руды с помощью аэрации и различных химических реагентов извлекаются частицы металла. Взбалтываемая особыми приборами — импеллерами, медленно движется серо-стальная пульпа сквозь десятки камер. Обязательно медленно, обязательно через десятки камер — так предписывала господствующая теория. В результате на крупных обогатительных фабриках длина флотационных линий измерялась километрами.

А нужны ли эти километры? Таким кощунственным вопросом задались инженеры Тетюхинской обогатительной фабрики Г. Н. Курбетьев, Г. И. Косилов, О. А. Шумков и другие. Почему, спросили они самих себя, в век высоких скоростей должна двигаться с такой раздражающей тихоходностью пульпа? И ответили: не должна!

Они взяли новые флотационные машины, спроектированные головным проектным институтом и даже удостоенные в свое время государственной премии, и, оставив от «прославленной» машины только коробку, создали свой агрегат «Сихали», основанный на принципе скоростной флотации. Вместо намеченных по прежнему проекту двухсот камер теперь тот же объем пульпы ритмично обрабатывали сорок две камеры. Казалось бы, спорить не о чем. Однако началась борьба. Сторонники «классической» флотации объявили успех новаторов частной удачей, следствием особо благоприятной структуры руды. Тем самым опыт тетюхинцев блокировался, лишался общего значения и теоретической ценности. Тут бы принять дальневосточникам это частное признание — и делу конец. Но тогда весь этот эпизод не имел бы ровно никакого отношения к теме

нашего рассказа. Потому я и завел речь о скоростной флотации, что горсточка инженеров, работавших на самом краю советской земли, не просто опиралась на свой практический опыт. Эта горсточка — что характерно для советского инженера и его роли в культуре — представляла передовую школу в науке. Шумков, Курбетьев и их товарищи шли в своем эксперименте от теории прямоточных флотационных машин, разработанной в свое время профессором С. И. Митрофановым. Лекции Митрофанова слушал студент Олег Шумков. С той поры утекло немало воды. Тогда только вспыхивали первые зарницы великих перемен в науке и технике. Затем началась цепная реакция эпохальных открытий. Они вошли в жизнь, и наука стала вожатым промышленности. Новые общие принципы, как нож в масло, врезывались в самые разные области индустрии. Опыт нуждался теперь в окрыляющей силе новых теоретических концепций. От общей идеи и шли тетюхинские обогатители в своем сугубо практическом деле. Они понимали, что живут в век «сверхневероятных возможностей».

— Придет время,— заявил самый пылкий из них, Г. И. Косилов,— и флотационный цех уместится в одной комнате.

Это звучало почти фантастично. Они и были, несмотря на всю свою деловитость, людьми фантазии, людьми смелого полета мысли, инженерами дальнего прицела.

Подобная черта в людях особенно привлекала Андрея Ильича. Видимо, он сам был той же породы.

Днем Андрей Ильич дотошно осваивал новую технологию. Он не принимал ничего на веру, все осматривал, анализировал, спорил до хрипоты.

По вечерам Андрей Ильич исчезал. Горный поселок был для него местом, где что ни вечер совершались удивительные события.

Когда Андрей Ильич возвращался в гостиницу, Порфирий Тихонович уже успевал проштудировать с присущей ему основательностью добрый десяток страниц испещренного формулами текста.

— Как улов, рыбаче? — вопрошал он иронически Андрея Ильича.

— Богатейший,— ответствовал тот и тут же «разгружался».

Мы узнавали от него, на мой взгляд, любопытнейшие вещи. Оказывается, инженеры, техники составляли самый быстрорастущий многочисленный отряд тетюхинской интеллигенции. Он насчитывал восемьсот душ. От такой когорты во многом зависела интенсивность духовной жизни всего района. Эту жизнь обогащал всякий акт технического творчества. Взять хотя бы борьбу за скоростную флотацию. За ней следил очень широкий круг людей. Полемические статьи в журнале «Цветные металлы» читались зачастую и неспециалистами. Событие, относившееся к технике, вышло далеко за ее пределы. Оно подтверждало новые духовные возможности человека, живущего по старым понятиям «на отшибе», и потому стало фактом культуры.

Но Андрей Ильич говорил и о другом — о том, что за десяток километров от дома шли горняки в клуб слушать игру на скрипке инженера-автомобилиста Анатолия Дмитриевича Глобенко.

— Вы понимаете,— возбужденно говорил Андрей Ильич,— в поселке без нашего брата техника, что называется, вода не освятится.

И он рассказывал об инженерах-лекторах, ведущих слушателей в космос, в «недра» атома, в глубины Земли и по ее континентам, об участниках драматических коллективов, о техническом контролере обогатительной фабрики скромной и деятельной Инне Иншиной, которая вот уже сколько лет раздувала в людях любовь к театру, к живописи...

Вот тут-то Порфирия Тихоновича и прорвало.

— Эх, жаль нельзя провести презанятный эксперимент,— ядовито начал он,— повернуть время назад и на заре инженерной юности, фигурально говоря, «прижечь» некоторым из ваших друзей столь милые вашему лирическому сердцу дилетантские склонности. Я уверен, у нас тогда было меньше скрипачей-самоучек и гораздо больше изобретателей.

Андрей Ильич вскочил с места и, наклонив голову чуть вперед, как бы для удара, занял свою любимую в споре позицию.

— В таком опыте нет надобности, мой дорогой,— начал он неестественно мягко.— В Тетюхе еще не перевелись, к сожалению, люди, которых ничто не ворошит, кроме своего прямого оплачиваемого дела. Но именно они-то меньше всего задают тон на своем коренном поприще.

— Ну и что с того? Это просто статисты в технике. В прошлом веке, да и в начале нынешнего и такие фигуры имели какое-то право на существование. Овладевал смолоду этакий инженер набором нехитрых конструкций, вооружался знаменитым Hütte, и этого капитала ему было достаточно до седых волос. Век машины тогда был длиннее человечьего. А теперь все по-иному. Нынче в нашем, в любом техническом деле все летит вперед на сверхзвуковой скорости. Только успевай вглядываться, соображать. Справочники же теперь стареют, не успев увидеть свет. Поэтому технике в наши дни нельзя принадлежать наполовину. Ей три жизни отдать — и то мало. Часто слышишь, как с лучшими намерениями воздают хвалу многостаночникам от культуры. Инженера превратили в поставщика духовной пищи. Какой только духовный хлеб он не раздает! И живопись он истолковывает и мораль преподносит. А я не вижу радости в том, если механик разбирается в системе Станиславского, а у самого не читаны новинки по специальности. На деле в наш век нельзя быть инженером с большой буквы без сурового самоограничения. Широта, гармоничность — все это прекрасно, и я за них, но дайте срок. А пока, если мы хотим решить главную коммунистическую задачу, у инженера одна миссия в культуре: развивать технику! Вот что я давно собирался выложить вам, уважаемый коллега.

Так, с явным вызовом, закончил Порфирий Тихонович свою довольно длинную тираду. Тут бы его противнику перейти в яростную атаку по всем правилам словесной баталии. А он мирно и весело произнес:

— Браво! И я за такого инженера, но с одной поправкой. Одержимость техникой... Превосходно! Нам не нужны плохие инженеры, даже если они пишут хорошие стихи. И писать им стихи вовсе не обязательно. Дорого не то, что Глобенко играет на скрипке. Это случайность. Дорого, что сотни людей испытывают радость от его игры. Один техник ради этой радости прошагал десять километров. Какая непозволительная трата времени! Сколько нового мог бы он узнать за этот вечер! А ему хотелось не узнавать, а чувствовать. И это тоже род знания. Самонастраивающаяся кибернетическая машина, способная конструировать элементы других машин,— это уже не мечта. Но никто и никогда во веки веков не научит самую совершенную машину плакать от восторга. Почему же надо лишить людей, делающих машины, этой способности? Знаю, знаю, не к этому вы зовете. У вас мысль другая. Одни должны на время сузить себя ради широты остальных. Но нужна ли самой технике такая каста жертвенников?

— Ну вас к черту,— смущенно пробормотал Порфирий Тихонович.

ПРОФЕССИЯ ПРОФЕССИЙ

Среди того нового, что внесла в жизнь новая Программа нашей партии, есть одно очень важное, я бы сказал психологическое, последствие. Оно связано с отношением советского человека к будущему. Наша уверенность в нем, чувство своей власти над временем возникли, правда, значительно раньше октября 1961 года. Но в эту съездовскую, незабываемую осень наши представления о завтрашнем дне приобрели невозможный прежде класс точности.

Еще недавно мы говорили: «Сияющие вершины коммунизма...» Теперь одним этим не ограничишься. Теперь нужны обозначения одновременно и более точные и более емкие, несущие в себе богатство живых черт и подробностей. Большевики всегда чуждались досужих домыслов о будущем. Еще Маркс учил видеть в коммунизме «не идеал, с которым должна сообразоваться действительность», а реальное движение вперед. Это движение и создает на тысячи ладов, с разной степенью приближения образ человека будущего. И часто ловишь себя — уже сегодня хочется знать, каких качеств потребует коммунистическое завтра не просто от человека, а от ученого, инженера, рабочего, как сложится в будущем судьба отдельных профессий. Коммунизм внесет

громадные сдвиги в распределение общественного труда. Одни занятия потеряют свое значение, роль других несказанно возрастет. К последним относится профессия профессий будущего — инженерный труд. Он просачивается во все новые и новые отрасли человеческой деятельности — от сферы управления хозяйством до регулировки жизнедеятельности растений. Он вторгается в медицину тончайшими диагностическими приборами, он делает временное искусственное сердце помощником хирурга, он с помощью математических методов обосновывается в лингвистике и смело входит в зону искусства. Мы даже не подозреваем, какие перевороты в этой области вызовут новые технические средства выразительности. Наука делает реальностью «сумасшедшую мечту» Скрябина о сопряжении звука и света, и первая установка, гармонически синтезирующая звук и свет в новое зарождающееся искусство — светомузыку, уже создана в нашей стране.

Техника все в большей и большей степени становится орудием духовного производства. Перед нами единственный род экспансии, которая никому не угрожает. Этой экспансии вширь сопутствуют качественные перемены, меняется самый характер инженерной работы, в ней исполнитель уступает место исследователю.

Инженеризация труда заложена в природе современного машинного производства. Как ни искривлены пути технического прогресса при капитализме, но эта прогрессивная тенденция и здесь прокладывает себе дорогу. Во Франции с середины XIX века при общем росте численности всех работающих по найму в полтора раза инженерно-технические кадры возросли впятеро. В США доля технической интеллигенции во всей массе занятого населения увеличилась с 1910 года по 1950 год почти вдвое. В Англии такое удвоение произошло за тридцать лет, между 1924 и 1954 годами.

Бурное формирование «инженерного сословия» вызвало к жизни ряд теорий, именуемых технократическими. Мы были еще только на пороге века пластмасс, электроники, телевидения, атомной энергии и ракетной техники, а уже — это было вскоре после первой мировой войны,— уже слышались голоса, возвещающие наступление новой эпохи, главное действующее лицо которой — созидатель техники. Первые технократы упоены возрастающей ролью конструкторов, технологов в современном производстве. Эти люди изобретают машины, организуют их промышленное применение — стало быть, в их руках сосредоточивается реальная власть в промышленности. Значит, эти же люди должны и управлять обществом, основанным на индустрии!

«Инженеры призваны взять в свои руки индустриальную систему и привести ее в соответствие с требованиями науки»,— провозглашает один из лидеров технократии, Веблен. На первых порах технократы «сверхреволюционны», как сие и положено мелким буржуа, ринувшимся в политику. Они пытаются сплотить новый класс — «техников и организаторов», обещают «перевернуть мир мановением логарифмической линейки» и готовятся, заняв ключевые позиции в технике, «поставить капитализм на колени в три дня». Это бунтарство не пугает буржуазию. Оно ее устраивает. И не диво. Любая технократическая теория основана на той огромной ошибке, будто техника развивается по своим самодовлеющим законам, независимо от общественной среды. Если так, то инженер — служитель техники, и ничей больше.

Эта иллюзия была чудесным даром его величеству предпринимателю. Он взял ее на службу и начал совершенствовать. В свое время родоначальники технократических учений провозгласили «революцию инженеров и техников», спустя двадцать лет ее заменила «революция управляющих». Именно так называется нашумевшая книга Дж. Бернхема. Жизнь, как и следовало ожидать, развеяла мелкобуржуазные чаяния о политическом господстве технической интеллигенции. Вместо широкого промежуточного социального слоя технократы наших дней делают ставку на узкий круг «мэнеджеров» — специалистов-директоров доверенных монополий. Оказывается, они — управленческая аристократия, а не вся масса инженеров и техников (о рабочих в этих теориях и речи нет) — воплощают движущее начало производства. Этой немногочисленной директорской касте, осуществляющей волю промышленно-финансовой олигархии и практически неотделимой от нее, должна якобы принадлежать власть в обществе. Иллюзий стало меньше, «правды», пожалуй, больше. «Элита» — творческое меньшинство! — только на него полагается старый мир. Этому миру вообще чуждо представ-

ление о любом человеке как творческой единице, таящей в себе громадный заряд интеллектуальной энергии. Поэтому тщетно бы мы искали на Западе широкий взгляд на роль и место инженера в современной цивилизации. Для такой концепции нет места в самой жизни. Слишком ясна горькая истина: как бы ни множились ряды инженеров, техников в условиях капитализма, они остаются наемными работниками, исполнителями чужой воли. Они работают на хозяина. И особенно горько то, что они слишком часто живут только для себя.

СОЮЗНИК КОНСТРУКТОРА

Жизнь для себя... Но как это понимать? Олег Шумков не помнит, когда он жил по-иному. «Для себя» он затевал музыкальные и литературные вечера в институте, «для себя» по собственному выбору после защиты диплома поехал на Дальний Восток. Он видел любопытный край сквозь призму романтического воодушевления. А когда Олег узнал этот край ближе, таким, какой он есть, с его суровой обыденностью и только едва расколотой глухоманью, он полюбил его еще больше. И ради этой любви, от которой и в мыслях нельзя отречься, он остался на Сихотэ-Алине на долгие годы.

Фабрика была старой. Ее построили наспех, на чужой земле иностранные концессионеры, давно подбиравшиеся к русскому свинцу. Она обветшала, безнадежно устарела. А вокруг геологи и рудознатцы выведывали у земли все новые и новые клады. Они ждали достойной индустрии. На то, чтобы она появилась в Тетюхе, ушло добрых три десятка лет.

Фабрика была больше чем фабрикой. Она представляла собой здесь, как и всюду, центр культуры. Никто не понуждал Шумкова прививать людям вкус к литературе, музыке. Он сам нуждался в хороших, умных книгах, в жарких спорах.

Но все, что старался приумножить, развить Шумков — и добычу цветных металлов и понимание прекрасного,— все это было необходимо и окружающим. И потому эта жизнь для себя была всегда жизнью и для других.

Правда, случалось, что Шумкову хотелось одного, а далеко не личные обстоятельства требовали другого. Тогда он скрепя сердце поступался желаемым.

Так было, когда Шумкова отозвали на «руководящую работу». Что говорить, большой город манил, но пугало непривычное аппаратное дело, и к тому же далеко не к лучшему менялись материальные условия. Но коммуниста Шумкова убедили — он больше нужен во Владивостоке, и этого было достаточно.

С тех пор, как Шумков покинул Тетюхе, минуло четыре года. За такой срок не забывают друзей. Шумкова по сей день помнит весь поселок. К мыслям о нем постоянно приводят его инженерные дела — совершенствуется скоростная флотация, не узнать перестроенную фабрику; о ней добрым словом вспоминают в важных партийных решениях, и совсем недавно ее молодой директор Г. Н. Курбетьев награжден был орденом Трудового Красного Знамени.

Но удивительно не это. Инженер оставил ощутимый след в культуре. И сейчас в Тетюхе можно услышать сказки Шумкова (они в свое время передавались по радио), по-особому дороги обитателям Тетюхе и стихи Олега Александровича о Сихотэ-Алине, появляющиеся то в краевой газете «Красное знамя», то в альманахе «Тихий океан». Сказок, стихов могло и не быть. Главным было не это, а чувство поэтического в жизни. Это чувство передавалось широкому кругу людей. Широкие духовные интересы стали традицией в инженерной среде Тетюхе. И когда в сугубо специальной полемике Шумков, к ужасу некоторых «жрецов науки», поставил в один ряд с инженерными аргументами право на мечту в технике, в Тетюхе отлично поняли, откуда идет эта мысль, и поддержали ее.

Техника и мечта, наука и поэзия — разве они противоположны и разъединены?

Вся современная техника сверхвысоких давлений, температур и скоростей немыслима без старых спутников человечества — цветных металлов и целого отряда новооткрытых редчайших элементов. Они обычно сосуществуют целыми семьями в так называемых полиметаллических рудах. Их обогащение — сложнейший процесс. Механическое воздействие на них сплетается теперь с физико-химическими реакциями, а новые

задачи непрерывно требуют новых средств. Короче говоря, есть над чем думать и что решать Олегу Александровичу Шумкову — главному обогатителю совнархоза.

О своей работе Олег Александрович рассказывал мне в июльский вечер. Речь шла о сугубо технических делах — о том, как «со скрипом» налаживается производство уже запатентованного скоростного флотационного агрегата «Сихали», о многомиллионной экономии, уже принесенной новым методом, о еще бо́льших миллионах, которые уплывают из наших рук, потому что еще очень мало сделано для комплексного извлечения цветных металлов.

Передо мной был инженер с очень широкой эрудицией и изобретательским складом ума.

А потом Олег Александрович повел меня по городу. Мы медленно шли вдоль бухты, и Шумков говорил о своих частых поездках в Тетюхе, о старых, на всю жизнь, привязанностях и о новых друзьях, приобретенных во Владивостоке. Многие убеждены, что в зрелом возрасте нелегко сходиться с людьми. Олег Александрович не может о себе этого сказать. «Кто ждет друга, тот принимает стук своего сердца за топот его коня» — гласит восточная пословица. Шумков всегда слышит этот топот. Вот и теперь соскучился он по новому приятелю. Его зовут Виталий Коржиков. Он плавал по морям и океанам. Пишет стихи. Любит читать их — и свои и чужие. К нему нередко приходят в гости приезжие поэты — москвичи, ленинградцы. После такого вечера радостно на душе.

Хотя ничто не выдавало в Олеге Александровиче душевного разлада, а напротив, все утверждало полное согласие с миром, я все же спросил, не вызывает ли в нем раздвоенности одновременное тяготение к «разнородным стихиям» — технике и поэзии.

— Разнородным?! — Он вскинул на меня свой пытливый взгляд.— Вы в этом уверены? А я нет. Иногда задумаешь что-нибудь свое, обогатительское. Изведешься весь, а толку чуть — застрял где-то на полпути, а то и у самой цели, а ни шагу с места. Тогда, знаете, что делаю? Выключаю один штепсель и включаю другой. Хожу на выставку, слушаю музыку, читаю книги, но обязательно настоящие, то есть те, что «раскачивают» сердце. Читаю и стараюсь судить о вещах, очень отдаленных от техники. В таких случаях раньше говорилось: «Залез в чужую солому и еще шебуршит». А я шебуршу. И даже забываю на какой-то час, что я инженер. И нередко в этот же час внезапно начинаешь думать о том инженерном, оставленном на полпути. Эта мысль подкатывает на большой душевной волне, и ты видишь то, чего раньше не замечал,— новые подступы к решению задачи. Истинное отсеивается от ошибочного. Решение найдено.

Олег Александрович замедлил шаг и взял меня под руку.

— Мне кажется,— продолжал он,— все это вполне естественным. Наш внутренний мир неделим, нераздельно по своей природе и наше воодушевление. Если все в тебе устремлено к одной цели, то стих становится союзником конструктора...

МЫСЛИ ВСЛУХ

У нашей культуры есть одна важная особенность, еще ожидающая исследования. Речь идет о согласности материального и духовного развития советского общества.

Когда первый изобретатель — пещерный человек — насадил на рукоятку каменный топор, он независимо от своих намерений приблизил появление Аристотеля и Фидия. Так происходит и ныне, через десятки тысяч лет. Ради чего бы ни совершенствовали технику специалисты со званиями и без них, собранные всемогуществом доллара в лабораториях, эти люди в конечном счете «работают» на всю культуру. Однако эта тенденция пробивает себе ломаную, петляющую дорогу через хаос противоборствующих сил, и мы даже не подозреваем, до чего мал при этом «коэффициент полезного действия» затрачиваемых усилий.

Прямая связь между техническим и духовным прогрессом возникает лишь при социализме Эта связь коренится в неантагонистической природе нового общества и обусловливается генеральной закономерностью его развития.

«Коммунистическое общество, в отличие от всех предшествующих социально-экономических формаций, складывается не стихийно, а в результате сознательной и целенаправленной деятельности народных масс, руководимых марксистско-ленинской партией»,— говорится в Программе КПСС. Возрастающая роль субъективного фактора не уменьшает значения техники, но ее развитие отныне управляемо, а она сама превращается в служанку общества, а значит, и культуры. Тем самым непосредственным деятелем культуры становится и инженер. Это наш советский взгляд, но есть и другой.

Как нелепость, как парадокс воспримут потомки тот факт, что в час беспримерного триумфа человека, подчинившего себе самые могучие и сокровенные силы природы, мыслители Запада в пророчествах одно мрачней другого объявляли опасностью № 1 современную технику. Новое машиноборство — вот лейтмотив многих философских трудов последних лет. Высказываниями такого рода, граничащими порой с апокалиптическими пророчествами, можно заполнить толстенный том. Приведем лишь два из них, и притом наиболее далеких от мистики. «Машины все больше и больше занимают место людей, а самих людей терпят лишь постольку, поскольку они становятся придатком машин, теряя страсти и эмоции и предавая забвению моральные ценности»,— пишет видный американский социолог Л. Мэмфорд. В разрыве между техникой и прочими институтами видит основу всех бедствий его собрат В. Огборн, выдвинувший характерную и «модную» теорию неминуемого отставания культуры от техники. Нельзя не видеть объективную основу этих воззрений.

В обществе, именующем себя «свободным», высшая техника оборачивается безработицей, которая не делается слаще от того, что ее с отвратительной точностью называют «технологической». В этом же мире власть над ядерной энергией зловеще напоминает о себе атомным грибом, вставшим над Хиросимой. Жалок и страшен строй, где каждый успех научно-технической мысли подобен западне. И сколь двусмысленна в таком мире роль творца новой техники — инженера!

Итак, машина — враг. А не означает ли это: меньше инженеров — меньше зла? Этого, конечно, на «том берегу» никто не проповедует. В этом и нет необходимости. Инженеров даже в наиболее мощных капиталистических странах не так уж много. Больше ста тысяч инженеров дали советские вузы в 1959 году вместо тридцати шести тысяч в 1950 году. Рост — втрое. За тот же период выпуск инженеров в США уменьшился с пятидесяти трех тысяч до тридцати восьми тысяч. Так обстоит дело в цитадели империализма. Малоразвитые капиталистические страны испытывают инженерный голод. На единицы идет счет отечественным инженерам во многих недавно освободившихся от колониального гнета странах. Из четырнадцати миллионов конголезцев только десять «счастливцев» имеют дипломы. И то это учителя и врачи.

Идеологи рушащегося порядка запугивают людей «демонизмом» техники, ее разрушительной силой. Правда состоит в том, что капитализм по-прежнему не в состоянии разрешить давно назревшие инженерные задачи. По сей день совершенно не работают на цивилизацию громадные гидроэнергетические ресурсы Африки, Южной Америки и других обширных районов мира. Всего три процента влаги, выпадающей на землю, обращается на нужды орошения. На полях Ирака можно и поныне встретить земледельческие орудия, дошедшие до наших дней со времен Вавилона. Примитивное земледелие ведут двести пятьдесят миллионов крестьянских семей. Этого не скажешь о США, но и там эрозия почвы остается бичом земледельца.

Вот что происходит в шестидесятые годы XX века, когда, по подсчетам известного ученого Дж. Бернала, для разработки коренных проблем научно-технического прогресса в науку и проектирование надлежит вовлечь одну пятую всего населения земного шара.

Мы с вами живем в стране направляемого будущего. Оно открыто нам теперь в точно расчерченной перспективе двух десятилетий. К 1980 году выпуск специалистов в нашей стране возрастет в три с лишним раза. Учитывая несомненное опережение в подготовке технических кадров к 1980 году, каждое лето будет приносить нам «приплод» не менее четырехсот тысяч инженеров. Тем самым наше нынешнее трехкратное превосходство над США в этой области станет гораздо большим. Но суть не только в этом.

Нынешним летом очень пожилой инженер-судостроитель, датчанин по национальности, проработавший десятки лет на верфях Германии и Скандинавии, говорил мне после автомобильной туристической поездки по СССР:

— Я, как у нас говорят, родился в рубашке и провел счастливую, по нашим понятиям, инженерную жизнь. У меня всегда была работа. Хозяева мне попадались умные, не мелочные. Была возможность думать. За это мне более или менее щедро платили. Но всегда моя самая реальная идея была фантазией, если она не вмещалась в технический горизонт фирмы. А у вас перед каждым человеком техники — горизонт всего народа. Вот откуда появились атомный ледокол и космический корабль «Восток-2». Атомоходы конструируются по одним физическим законам на всех широтах, но люди, создающие их, живут по разным законам. Для меня, к примеру, самая совершенная машина — только машина. Для вас она — деталь нового мира.

НА ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ

Советских людей роднит одна всеобщая профессия: все они конструкторы будущего. Оно впереди и оно уже существует, как плод в завязи. Сами того порой не ведая, мы определяем не только его главные черты (это ясно и пионеру), но и множество микроособенностей завтрашнего дня. Лучший способ представить себе любую сторону коммунистического бытия — пристально вглядеться в нее сегодня.

«Вызревает» в наши дни и облик инженера близящихся коммунистических лет. Он уже приметен в любом заводском цехе, где сделаны хотя бы первые шаги для соединения производства и науки, он обретает более четкие черты на предприятиях с развитой экспериментально-исследовательской базой, и, наконец, он еще более заметен на тех заводах, где господство новой техники превращает само производство в своеобразную отрасль науки.

Дивные дела творятся сейчас в промышленности. Одни заводы, как, например, «Уралмаш», обзаводятся собственными научно-исследовательскими институтами, другие создают мощные проектные бюро перспективной технологии, призванные вторгаться в «незнаемое» или, говоря точнее, уже сегодня задумывать системы машин, которые будут молодыми и в 1980 году.

В сущности, к такой технике должен готовить себя любой инженер. «Мы находимся как бы в безвыходном положении,— говорит Н. С. Хрущев.— Пока делали одну машину и еще не успели внедрить ее в производство, а уже на смену этой машине ученые и изобретатели создали более усовершенствованную машину, лучше прежней».

Какие же качества требуются в этих условиях от рядового инженера? Еще недавно многие полагали, что по мере усложнения разветвления современной науки и техники должны будут разветвляться, суживаться инженерные специальности. Так и строилась в иных институтах подготовка инженерных кадров. А между тем наряду с отпочкованием все новых и новых теоретических дисциплин от единого материнского ствола на наших глазах все большую силу приобретает другой процесс — он ведет к синтезу, к взаимопроникновению наук, в частности к их математизации. Самые отдаленные отрасли знания получают общий язык. Это явление характерно и для техники. Дело в том, что автоматизация производства приводит к чрезвычайно неожиданному и любопытному явлению. В разнообразных отраслях производства возникает все больше и больше общих конструктивных узлов в совершенно не схожих по назначению машинах. Это и естественно, ибо автоматика самых различных машин основана на общих принципах, и они-то определяют наилучшие технологические схемы.

Решающее значение теперь приобретает способность глубоко проникать в физическую сущность явлений. Новейшая физика стала теорией техники. Следовательно, будущий инженер должен обладать не только широким профилем, но и должен поспевать за последним словом науки.

В какой бы области ни работал инженер, он уже сегодня должен следить за развитием «смежных зон». Синтез наук неминуемо ведет к синтезу техники. Еще совсем недавно практику-химику не было дела до математики. Теперь внедрение математических методов в химическое производство — актуальная задача дня. Математика при-

ходит на химические заводы не формулами, а сложной вычислительной техникой. В недалекой перспективе инженеру почти повсюду придется прибегать к современной теории информации, работать с кибернетическими устройствами. Кто попытается управлять ими механически, без теоретического ключа к этой «опредмеченной» науке, будет не господином высшей техники, а ее рабом.

Уже сейчас в печати обсуждается своего рода практическая задача — подготовка инженеров будущего по таким специальностям, как «кибернетика электрических систем», «новые источники энергии». За каждым из этих «профилей» высится вся система современного знания. Так все условнее становится грань между инженером и исследователем.

Универсализация инженерных знаний имеет громадное значение для духовного облика инженера. Она освобождает его из плена узкого техницизма, выводит на большую орбиту культуры. Излишне подчеркивать, сколь эта универсализация профессии отвечает другому, более общему процессу — росту духовной всесторонности личности. Очень интересно проследить, как «работают» совместно две эти тенденции на передовых рубежах техники, к примеру в бюро перспективной технологии — фабрике технического скачка. И все же, пожалуй, еще любопытнее подсмотреть новое в самых обыденных условиях. Им вполне соответствует Кузнецкий металлургический комбинат, производящий и чугун и сталь хотя и непрерывно совершенствуемыми, но в своей основе традиционными способами.

На этом крупном передовом предприятии, ставящем и уже решающем большие задачи комплексной механизации и автоматизации, именно необходимость «омоложения» и частичной замены старой техники вызывает особую интенсивность инженерной мысли, плотность связи ее с наукой. В технической библиотеке комбината (она сама по себе представляет знаменательное явление — почти миллион томов и двадцать тысяч читателей!) уже на сотни идет счет печатным трудам кузнецких металлургов. Семьдесят два инженера комбината имеют научные степени. Получил эту степень и сталеплавильщик Николай Семенович Михайлец.

Возможно, и даже вполне определенно, на комбинате есть инженеры с бóльшими научно-техническими заслугами, чем Николай Семенович. Он, как говорится, один из многих. Тем больший интерес представляет знакомство с ним. Я столкнулся с Николаем Семеновичем впервые на чисто «металлургической почве». Я знал, что Михайлец на ряде научных конференций отстаивал свой взгляд на очень сложную проблему — связь между повышенной основностью шлака и содержанием водорода в металле. Мое внимание привлекли и статьи за подписью Н. Михайльца, посвященные проблеме старения рельсов. Было вполне естественно, что с такими статьями выступает инженер, возглавляющий лабораторию рельсового металла Кузнецкого металлургического комбината — одного из основных поставщиков рельсов для всего Советского Союза. Писал Михайлец живо, доступно, и каждое его выступление снимало или пыталось устранить какое-то препятствие для практической работы. Это не могло не нравиться. Но статьи привлекали не только этим. В техническом языке есть термин «присадка» — так именуется реагент, способный в очень малой примеси оказывать решающее влияние на свойства основного вещества. Такой присадкой в статьях Михайльца служило пронизывающее их воодушевление, оно ни одним словом не выдавало себя, хотя присутствовало во всем.

Меру этого воодушевления я узнал позднее, во время совместных воскресных прогулок за город, которыми началась моя дружба с Николаем Семеновичем. Большой любитель природы, он предпочитал комнатным беседам вольные диалоги под соснами и березами в лесу, раскинувшемся сразу за городом, в предгорьях Кузнецкого Алатау.

Мой спутник чуждался высоких тем. Он доверчиво делился ближайшими заботами, тревогами. Их было немало. Кое-кто, ложно понимая связь науки с производством, превращал лабораторию едва не в придаток мартеновского цеха, иных из сотрудников отвлекали на задания, в которых даже с помощью электронного микроскопа нельзя было обнаружить исследовательского начала.

А ведь сколько научных тем ждет — нет, не может ждать своего решения! Усталость металла... Наш далекий предок, безымянный и гениальный инженер, сделав-

ший первую закалку металла, и тот знал: железо устает, и даже грубому топору надо помочь работать и жить.

— Иногда диву даешься,— размышлял как-то вслух на одной из таких прогулок Николай Семенович,— до чего узко смотрят иные инженеры на свою роль!

Впрочем, чему удивляться? Разве не самого Михайльца и его поколение вскоре после войны учили в институте: кибернетика — буржуазный бред, машины при социализме не стареют, инженеры не создают материальных ценностей, и потому да будет их соотношение с рабочими как можно меньшим. Хорошо, что свежим ветром сдуло в стране эти приземляющие теории заодно с иной трухой. И с кибернетикой нам оказалось по пути на земле и в космосе, и дряхлым конструкциям не даем больше путаться в ногах, и инженерами по другому, широкому счету насыщаем производство по той причине, чтобы шел быстрее обгон старого мира на всех магистралях техники.

И все же — такова была мысль Николая Семеновича — еще и сейчас немало инженеров видит главный смысл своей работы не в постоянной придумке, а в надзоре, в разного рода административных, толкаческих и канцелярских делах. Спору нет, и этим следует заниматься и хорошо заниматься. Но это то, что идет на убыль. В цехе коммунистического труда нет особой нужды следить за тем, как относятся к делу люди, и им потребен не мастер старого склада с его «давай, давай!», а технический советчик-технолог, конструктор, с которым можно поделиться инженерным по природе замыслом. Одновременно вычислительные машины берут на себя груз всевозможных утомительных расчетов. Та самая техника, которая усложняет инженерный труд, освобождает его от всего повторяющегося, механического. Ось инженерной деятельности смещается к исследованию, проектированию. Но и здесь кибернетика берет на себя расчетный, «технический», в узком смысле этого слова, труд и открывает неоглядный простор мысли, творческой фантазии.

Как этого не понять? Однако Михайлец знает собратьев по профессии, которые этого до сих пор не понимают. Поистине нет болезни более затяжной и трудноизлечимой, чем узость. Приведи «пораженного» ею человека в этот давно облюбованный Николаем Семеновичем редкой красоты небольшой распадок, куда он меня привел, и его не тронет то, как сошлись две сопки и с их противоположных склонов устремились навстречу друг другу веселая березовая роща, вся в темных крапинках и солнечных бликах, и торжественный бронзовоствольный сосновый бор. Но так и не слились два разнопородных леса, и ни одна сосна, ни одна береза не перебралась через дно распадка.

А может быть, нам лишь мнится, что разделяет рощу и бор эта узкая полоска. Они же, напротив, чувствуют себя накрепко соединенными ею. Не так ли и в более сложных явлениях мы часто воспринимаем как расчлененное то, что существует одно через другое? И не с умения ли видеть слитным внешне разъединенное начинается, в сущности, подлинная широта?

В такое примерно лирическое отступление пустился Николай Семенович. Но лирика вела к практическому выводу. Одно из качеств настоящего инженера наших дней — смелое воображение. Мечта и раньше предваряла открытия. Но протекла череда веков, прежде чем сбылась химера алхимиков о превращении вещества. Расстояние между мечтой и исполнением невероятно сблизилось, и мечта стала как бы рабочей гипотезой инженера.

За примером недалеко ходить. Давно ли увеличение прочности металла измерялось ничтожными величинами? Сегодня физика твердых тел позволяет с помощью термомеханической и термомагнитной обработки удвоить надежность стальных изделий. А впереди... Достигнутая наукой власть над расположением так называемых дислокаций в металле, то есть управление его глубочайшей структурой, несомненно приведет к упрочению межатомных связей в сотни раз. И кто знает, не станет ли этот фантастической прочности металл достойной оболочкой для агрегатов, связанных с управлением термоядерными реакциями?

Вот и посудите, где начинается мечта, а где — предсказанная наукой реальность. И уже не в научно-фантастических романах, а в научно-исследовательских центрах закладываются основы электронно-лучевой плавки, при которой источником высоких

температур будет служить бомбардировка твердого металла направленным пучком электронов напряжением до ста тысяч вольт.

Как поспеть за этим стремительным бегом науки и техники? Ответ один: для этого, помимо глубоких знаний, необходима «сверхсветовая» скорость творческого воображения. Оно несовместимо с косностью, с ограниченностью, ведь новаторство — это умение смотреть сквозь сделанное, дальше него.

Так в неторопливой беседе, возбужденный ходьбой и горным воздухом, рисовал Николай Семенович образ инженера наших дней. Мне вспомнился спор в Тетюхе, и я подумал, как бы пришелся по душе Порфирию Тихоновичу кузнецкий металлург с его страстной далекоприцельной поглощенностью своим инженерным делом. Уж его-то ничем не отвлечешь от главной цели в жизни.

В ту прогулку я еще не знал, что автор ряда научно-технических работ Н. С. Михайлец, следящий за металлургической литературой на трех языках и способный оставить отпуск в Крыму и за свой счет поехать в Москву на конференцию, посвященную физике твердого тела, пишет... театральные рецензии.

Чтобы писать об искусстве, Михайлец взялся за изучение эстетики. Но путь к ней лежал через философию. То, что прежде наспех проглатывалось для сдачи кандидатского минимума, теперь изучалось, в силу внутренней потребности, в семинаре, где к сознательному восприятию прекрасного готовила себя целая группа инженеров-металлургов.

Стремление инженера судить об искусстве, вооружившись целостным философским взглядом на мир, не менее дорого, чем сама любовь к искусству. Именно философия призвана «проявить» связь всего сущего, и чем полнее открывалась эта связь Николаю Семеновичу, тем больше он понимал и в искусстве и в наипервейшем, самом весомом деле своей жизни — в науке.

Наука, искусство, философия (я не говорю о политике, потому что она пронизывает и технику и искусство) — этот триединый комплекс интересов характерен для нашей технической интеллигенции шестидесятых годов. Не знаю, в какой мере занимается сейчас «наукой наук» живущий в Новокузнецке профессор Новосибирского металлургического института Петр Модестович Мословский, но его блестящие лекции о музыке, читанные им в университете культуры для кузнецких металлургов, привлекли слушателей широким взглядом на художественное начало в жизни.

Умение показать большим планом роль прекрасного в народной жизни характерно и для рассказов инженера Е. А. Замараевой о русском народном искусстве, с которыми она выступает в устном журнале металлургов. Говорит ли Замараева о безыменных художниках чугунного литья или о поколениях вологодских кружевниц, она не просто перечисляет — есть, мол, такое чудо, есть и другое. Рассказы Замараевой радуют глубоким, философским пониманием роли народа в созидании культуры. Кстати, в этом же устном журнале с очерками о развитии металлургии выступает и Николай Семенович Михайлец.

Но нельзя же все о металлургах. Неподалеку от «земли кузнецкой», в Новосибирске, живет и работает представитель другого отряда технической интеллигенции — геолог Геннадий Львович Поспелов. В перечне работ, опубликованных за последние годы в «Известиях Академии наук» (геологическая серия), приводится одна работа, которая носит несколько неожиданное название: «О характере геологии как науки...» Эта статья принадлежит Геннадию Львовичу. Она носит философский характер и рассматривает геологические формы движения материи. Но не удивляйтесь, читатель, если вы встретите то же имя в литературном журнале: Геннадий Львович владеет литературным пером, он член редколлегии одного из старейших наших толстых журналов — «Сибирские огни».

Вспоминаешь мысленно города, где ты жил разные сроки — долгие и короткие, — и повсюду видишь, как люди техники все щедрее и своеобразнее служат культуре не только своим прямым инженерным делом и политической активностью, но и любой своей раскрывшейся склонностью, своим пониманием будущего. Таких людей когда-то метко определил Макаренко. Он назвал их «капитанами дальнего мышления».

Нашим философам и социологам еще предстоит исследовать конкретное, живое переплетение причин и обстоятельств, создающих при социализме питательную среду для расцвета всех человеческих способностей. О главных предпосылках всестороннего развития личности говорится в новой Програме партии. Они коренятся в истинно человеческих условиях существования, которые сама история выделила в Програме нашей партии: Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов. Без этих предпосылок невозможно общество, в котором бы, говоря замечательными словами полузабытого утописта Т. Дезами, автора «Кодекса общности», «единственным законным ограничением развития какой-нибудь способности является наличие других способностей». Но, спрашивается, что ограничивает развитие способностей мультмиллионера или просто состоятельного рантье на берегах Гудзона, Темзы или Рейна? Он не знает нужды, на него не распространяется ни одна форма неравенства, и к его услугам все формы привилегий. Однако вряд ли кому придет в голову искать образец гармонически развитого человека в особняках богатых кварталов. Тут в лучшем случае найдешь образованных людей, которые иногда многое знают, многим увлекаются, но ради чего? Совершенный человек — это обязательно и совершенная цель, вера в нее, борьба за нее, а стало быть, неизбывная, активная любовь к человечеству. В таком случае мы говорим о новом, социалистическом гуманизме. Он героичен по своей природе. И здесь-то коренится одна из предпосылок великого поворота от духовной ограниченности к бескрайней широте ума и сердца.

Если толковать о людях техники, то есть особые обстоятельства, сближающие в советском обществе научную мысль и художественное вйдение. С давних пор пропасть между наукой и искусством существовала лишь для тех, кто не понимал глубоко ни науки, ни искусства. Поэтической кладовой практических сведений об охоте, гончарном деле, зачатках земледелия были древние сказки и мифы. В ту пору искусство и наука существовали в тесной близости. Но это два способа познания. И развиваются они каждый своим путем. Их обособление — закон развития культуры. Но это не значит, что человеку не дано охватить их как целое. Обычно в таких случаях вспоминают Леонардо да Винчи, Ломоносова и Гёте. Менее известно, что Галилей был одним из творцов современной итальянской прозы, а Ирен Кюри увлекалась поэзией и переводила английских поэтов. Великие ученые особенно часто обращались к искусству в жизнеутверждающие «ренессансные» времена. То была пора, когда бури общественного бытия и освобожденная от аскетических пут человеческая плоть врывались в книги, на подмостки театров и становились зеркалом истории.

Науку и искусство всегда роднила ясность. Мистика, изощренность всегда разводили науку и поэзию. Чем судорожнее цепляется за власть правящее меньшинство, тем больше ему на руку хаос идей, всеобщее затемнение истины. Для этой цели очень важно «рассорить», разделить барьерами лжи различные способы познания единой действительности. Так возникает пресловутая башня из слоновой кости и другие прибежища «избранных». В результате человек, причастный к миру техники, видит в искусстве праздную, иногда слишком мудреную, а то и просто вредную забаву, а художник усматривает в растущем техницизме грозную опасность для духовной культуры.

Коммунизм — наследник всех непреходящих общечеловеческих ценностей — берет в свой арсенал все формы общественного сознания, кроме одной, порожденной невежеством: религии. Но впервые в истории политическая, научная, нравственная и художественная идеология, сохраняя присущие им способ и средства «освоения» действительности, свободны от необходимости маскировать поведение классов и партий. Прозрачность, правдивость отражения общественного бытия становится общей чертой всех форм идеологии. Каждая из них на свой лад воплощает и развивает истинную человечность, которую несет с собой коммунизм. Это значит, что всю культуру пронизывает одно гуманистическое начало. Оно рождает и скромную скоростную флотационную машину «Сихали», и конструкции космических кораблей, и Двенадцатую симфонию Шостаковича. Подобно тому как великие открытия XX века «состыковали», как говорят техники, отдаленнейшие науки, так и победа нового социального порядка влечет за собой взаимовторжение различных форм общественного сознания — нравственного, научного, художественного.

Добро, красота, научные истины и техническое творчество находят друг друга. Убедительный пример тому — индустрия социалистических стран. В Чехословакии получила широкое развитие новая наука — промышленная эстетика. Речь идет о том, чтобы эта дисциплина преподавалась и во всех технических вузах Советского Союза. Уже сейчас наши институты выпускают художников-проектировщиков. Ленинградский совнархоз учредил на многих заводах должность главного художника. На него возлагается двойная забота: красиво должна выглядеть продукция предприятия, радовать глаз рабочих должен и сам цех. Речь идет об окраске станков, стен, об освещении, об озелененной территории. На заводах «Калибр» в Москве, радиально-сверлильных станков в Одессе, счетных машин в Вильнюсе и на ряде других промышленная эстетика стала предметом общественной заботы. Установлено, что приятная глазу окраска повышает выработку на два—четыре процента, а рациональное освещение — на десять—тридцать процентов. Так красивое становится слагаемым производительности. Эти факты очень характерны. Но главное то, что они выражают растущую тенденцию.

Конечно, эстетические суждения о машине включают иные оценки, чем отношение к скульптуре, и то бесспорное наслаждение, какое доставляет нам логика науки, не совсем совпадает с чувством, которое будят работы Коненкова или поэзия Пабло Неруды.

Когда Маяковский писал:

я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул,—

то это была метафора. Ясности идейного замысла у того же Маяковского во многих его поэмах служили сложность композиции и сложность образов. Общедоступность, народность искусства достигается не за счет его элементарности. Общедоступным в новом обществе становится и сложное.

Мысль о сродненности техники и искусства не только широко распространена в нашей стране среди ученых и деятелей техники, эта мысль стала чувством, она вошла в наше мироощущение, стала слагаемым общественной психологии. Поэтому нас не удивляет, когда академик В. В. Шулейкин, специалист по физике моря, выпускает в свет автобиографическую книгу, где соседствуют принадлежащие автору, выраженные в формулах расчеты научно-исследовательского судна «Персей», стихи и партитуры. Совсем недавно другой академик, крупнейший деятель в области автоматизации, И. И. Артоболевский, рассказал, сколь многим он обязан изучению истории архитектуры.

В новом мире, создаваемом на благо человека, творчество в технике становится неминуемо творчеством добра и красоты.



В МИРЕ ИСКУССТВА

А. КАМЕНСКИЙ

★

О САРЬЯНЕ

С шоссе на траву придорожного луга осторожно сворачивает автомобиль. Из него выходит невысокий седой человек в сером пальто, накинутом поверх забрызганного красками халата.

Это Мартирос Сергеевич Сарьян.

Он подымается по каменистому склону, долго и тщательно выбирает место для работы. Наконец отыскивает такую точку зрения, которая позволяет сегодня с особой ясностью увидеть ритмично изгибающиеся хребты Армянского нагорья с Араратом во главе, извилистую полосу долины с ее полями, виноградниками, нечастыми селениями. Над ними стоит немыслимо высокое небо, подернутое белесой дымкой близ гор, затем все более густое и глубокое в своей прохладной звонкой синеве.

Сарьян окликает сына, тот приносит ему походный мольберт и ящик с красками. Художник устраивается на складном стульчике, выдавливает краски на палитру и вновь всматривается в пейзаж, расстилающийся перед ним. Его взгляд становится пристальным, жестким, почти суровым. Несколько раз он переводит глаза на еще совершенно пустую белую плоскость холста: ему уже здесь видится что-то. Наконец Сарьян решительно берет в руки пучок кистей и принимается писать — без перерывов, напряженно, энергично. Он не встает с места, пока не закончит этюд.

Тот, кому посчастливится наблюдать Сарьяна за работой, не может отделаться от ощущения, что на его глазах творится какое-то волшебство. Художник воссоздает сложные контуры пейзажа, его быстро меняющиеся тона, его краски — то яркие, то приглушенные с такой свободой и уверенностью, что поначалу кажется, будто пейзаж не пишется, а лишь проступает на холсте под ударами кисти.

Но чем дальше, тем больше начинаешь понимать, как трудна эта простота, как далек художник от бесхитростного повторения натуры. В сущности, уже с первых мазков кисть мастера намечает не только видимый глазу пейзаж, но и многогранное отношение к нему. Восприятие природы связывается с определенными мыслями, чувствами, переживаниями, которые составляют как бы внутреннюю тему полотна, его живую душу. Художник не только запечатлевает природу, он беседует с ней, поверяя свои думы и волнения, спрашивая ответа.

В этюде, который художник сейчас заканчивает, есть все основные черты реального вида, пленившего воображение живописца: узнаешь и силуэты гор, и рельеф долины, и краски трав, камней, неба. Но все это выглядит преображенным. Да, на полотне те же горы, но здесь раскрыто во всей чистоте и ясности строгое, величавое благородство их облика, освобожденного от случайной путаницы линий, смутного разнобоя массивных форм, увиденных вразброс, нецельно. Стали единым широким простором раскиданные по долине поля, опрокинулся в бездонную глубину небесный купол. А пестрые цвета осенней армянской земли — ржавые и темно-зеленые, багровые и желтые, серые и лазурные — словно высвечены солнечным воздухом: откуда-то изнутри, из самой глубины полотна, идет теплое золотистое сияние, придающее колориту картины плотность и прозрачность, насыщенность и лучезарную светоносность.

В этом поэтическом повествовании отсутствует всякая наигранность, выспренность, замысловатость, оно просто и искренне.

Одушевленная кистью большого художника, природа обрела тут людскую сердечность и проникновенность. И хотя в пейзаже нет никаких внешних примет сегодняшнего дня (нередко встречающихся в других полотнах Сарьяна), хотя он изобразил вековые черты природы древнего края, в самом ее восприятии, в настроении, внушаемом картиной, ощутим дух современности.

Здесь все взято широко, крупно, обобщенно. Это повесть жизни, изложенная не при помощи рассказа о цепи событий, а как в портрете — в облике мира, где живет современник. И, как в портрете, «лицо» пейзажа обладает своим выражением, своей психологией, несет печать всего пережитого, передуманного, перечувствованного. Здесь отразились на свой лад и страда повседневного труда, и напряжение поисков, и горечь часов сомнений и скорби, и радость утра, и печаль заката. Здесь вся наша жизнь. И как небо, царит над нею гордое чувство взлета, устремления к высокой цели. Это чувство удесятерилось в своей выразительности, слившись с красотой родных художнику краев.

Мопассан заметил однажды, что архитектура «символизировала каждую эпоху и в очень небольшом количестве типичных памятников подводила итог манере думать, чувствовать и мечтать, присущей данному народу и данной цивилизации».

Пейзажи Сарьяна отражают многие черты нашей «манеры думать, чувствовать и мечтать».

Во имя разносторонней выразительности образа художник, постоянно, пристально изучающий объективные формы и цвета природы, смело и оригинально обобщает и трактует их. И в этом-то обобщении, отборе, характере ви́дения и изображения раскрывается всякий раз новая грань философской лирики, поэтических раздумий современника.

То «преображение» природы, которое можно было наблюдать, пока художник писал свой этюд, было вызвано к жизни не узко стилевыми исканиями, но мощным наплывом высоких чувств и размышлений человека наших дней. Сарьян кладет последние мазки, словно дописывает еще страницу лирического дневника нашей жизни.

Сарьяну восемьдесят один год. И коль скоро в такие годы художник повседневно берется за кисть, постоянно участвует в выставках новыми произведениями, столь редкостное творческое долголетие само по себе вызывает уважение и восхищение. Но когда посещаешь мастерскую Сарьяна в Ереване, быстро убеждаешься, что он не просто «еще пишет», а от картины к картине с молодой настойчивостью ищет иных, чем раньше, решений. Если в ближайшее время мы сможем вновь увидеть персональную экспозицию Сарьяна, то зал новых работ (или даже залы: за последние годы он написал очень много вещей) несомненно будет одним из самых интересных и своеобразных.

Чтобы сохранить до девятого десятка лет неуемную страсть к новаторству, необходимы, конечно, и талант и мастерство, без которых всякие искания окажутся бесплодными, станут цепью неудач, быстро изматывающих и опустошающих художника.

И все-таки даже такое счастливое сочетание качеств — талант и мастерство — еще не делает художника новатором. Нужно и многое другое: постоянное разностороннее общение с жизнью, умение видеть ее свежим, проницательным взглядом, ненависть к штампу и самоповторению, спокойная убежденность в плодотворности исканий, делающая органичным и последовательным творческое развитие. Наконец — и это далеко не маловажно — новатора создает не идущая на компромиссы принципиальность, отвращение к приспособленчеству.

Сарьян не знал его никогда. О художнике начали спорить, лишь только он показал на выставках первые свои самостоятельные работы (в 1907—1908 гг.). Их встретили свистками и насмешками.

Вьются краски с силой новой,
Посетитель точно пьян...
Пощади нас, о лиловый,
Пестрый, в крапинках Сарьян! —

веселился «некто в черном» на страницах газеты «Раннее утро». Другая газета торжественно сообщила, что перед картинами Сарьяна «барышни фыркают» — это казалось ей сражающей наповал формой критики. А некий Кравченко из черносотенного «Нового времени» встал горою за «святое искусство» и восклицал с благородным негодованием, что публика «вправе возмущаться, когда лица, именующие себя художниками, показывают такие шедевры (речь идет о картинах Сарьяна.— *А. К.*) и считают их за произведения искусства».

Невзирая на хулу, Сарьян продолжал спокойно работать. Вскоре насмешки сменились осторожным полупризнанием, а затем пришла и слава, крепкая и прочная, которую не могли подточить ни злобные нападки, ни сомнительные похвалы. «Уже в первый период своей деятельности, до великой революции, Сарьян занял очень видное место среди наших художников»,— писал А. В. Луначарский, как бы подводя итог той полемике, которая велась вокруг работ художника в дореволюционные годы.

В советскую эпоху Сарьян — признанный мастер, его имя окружено почетом и легендой. Однако споры не прекращались: менялись взгляды, менялся и сам Сарьян. Было опубликовано немало глубоких, серьезных статей, содержавших объективный и многосторонний разбор сложного творческого пути мастера. Но совершались порой и резвые вульгаризаторские набеги. Например, на страницах журнала «Искусство» в 1948 году можно было прочитать, что творчество Сарьяна — это «армянизированный (но не армянский) французско-декоративный формализм». Или там же в 1949 году: «Школа М. Сарьяна — я думаю, никто уже с этим не будет спорить (!) — берет свои истоки в новом формалистическом буржуазном искусстве Франции». Тут же сообщалось, что «школа М. Сарьяна» не может трактоваться как «национальная», как дающая «выражение национальной формы в искусстве». Все это писалось и печаталось в канун семидесятилетия художника, который давно уже по праву считался классиком армянской советской живописи и завоевал высокий авторитет и в своей родной стране и за ее рубежами.

Конечно, сейчас, когда имя Сарьяна называют в ряду самых уважаемых и признанных деятелей нашей художественной культуры, когда восьмидесятилетний юбилей живописца и присуждение ему Ленинской премии были отмечены как большой праздник советского искусства, грубые, невежественные нападки на замечательного мастера можно вспоминать лишь как скверный анекдот. И все же забывать о них было бы пока что неверно, неразумно. И не только потому, что этого требует правдивость изложения биографии художника, но и потому, что вульгаризаторские взгляды и предрассудки еще не стали в полной мере достоянием прошлого.

В иных монографических очерках рассказ о раннем периоде творчества Сарьяна напоминает историю болезни: «художник перенес увлечение декоративизмом», «страдал стилизаторством», «заразился примитивизмом» и т. д. Верно, конечно, что искусство живописца несет на себе печать многих сложностей и противоречий предреволюционной эпохи. Но по меньшей мере несерьезно рассматривать раннее творчество Сарьяна как сплошной поток ошибок и заблуждений, лишь сопровождаемых кое-какими смягчающими обстоятельствами («все-таки, смотрите, в картинах встречаются жанровые детали», «опять же, национальный колорит», «конечно, дореволюционные картины Сарьяна отличает примитивизм, но ведь вот первобытные и современные дикие народы достигают в своем искусстве впечатляющих художественных результатов. Сарьян, хоть и пошел вспять по сравнению с Рафаэлем, Рембрандтом, Репиным, но все же не хуже диких» [1]. Идя таким путем, немыслимо понять, в чем же притягательная сила искусства Сарьяна,

[1] Это почти цитата. Впрочем, вот и сама цитата во всей неприкосновенности: «Конечно, и примитивизм не исключает выразительности и силы воздействия художественного произведения. Искусство первобытных эпох и современных диких народов со своими приемами сочетания условности образа в целом и иллюзионизма деталей, необычными цветовыми отношениями и т. д. может достигать в высшей степени интенсивного, эмоционального воздействия. Но потому мы и называем это искусство примитивным, что способы его воздействия отвечают первоначальной ступени искусства и становятся недостаточными иа следующих, более высоких ступенях художественного разви-

столь ярко раскрывшаяся и в ранних его работах, невозможно разобраться в истоках творчества мастера, особенностях его эволюции.

Надо сказать, что негибкость суждений, школярские привычки втискивать все многообразие исторического развития искусства в однозначные, аршин проглотившие формулы до сих пор приводят к удивительным, парадоксальным нелепостям в оценке не только творчества отдельных художников, но и всей отечественной культуры начала XX века.

Облик художественной культуры времени определяют ее высшие достижения, а не дешевые сенсации дня, как бы крикливы и многочисленны они ни были. Кто должен представлять в памяти поколений литературно-художественную Россию предоктябрьского семнадцатилетия? Даже если не говорить о писателях и художниках, которые еще жили и работали в начале нынешнего столетия, но большинство лучших своих произведений создали в XIX веке (Л. Толстой, Чехов, Репин, Суриков, Римский-Корсаков), это Горький и Блок, Брюсов и ранний Маяковский, Куприн и Бунин, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель, Нестеров и Архипов, Коровин и Головин, Кустодиев и Рерих, Малявин и Грабарь, Коненков и Голубкина, Станиславский и Немирович-Данченко, Вахтангов и Мейерхольд, Качалов и Комиссаржевская, Шаляпин и Нежданова, Анна Павлова и Татьяна Карсавина, Щусев и Веснины, Ян Райнис и Леся Украинка, Шолом-Алейхем и Ованес Туманян, Янка Купала и Юлюс Янонис, Захарий Палиашвили и Комитас и многие другие. Какое блистательное созвездие имен! Какой огромный вклад внесли эти мастера (а их перечень отнюдь не полон) в развитие отечественной литературы и искусства! Ну можно ли называть «упадочным» период, когда все эти мастера одновременно выступали и большинство из них находилось в зените творчества? Хорош упадок!

Однако в общих очерках и высказываниях, посвященных художественной жизни России начала XX века, до сих пор часто встречается похоронная мрачность. Концепция строится очень просто. Сложилась в предоктябрьские годы, особенно в 1906—1917 годах, обстановка тяжелейшей политической реакции? Сложилась. Ускорила она кризис буржуазной культуры, привела к широкому распространению различных декадентских тенденций, породила ожесточенные нападки на лучшие, демократические традиции? Ускорила, привела и породила. Ну вот, стало быть, и все ясно. Значит, искусство этой поры упадочно и реакционно, а творчество отдельных мастеров должно рассматриваться как те или иные формы проявления идейного кризиса. Горький, Станиславский, Маяковский, Серов и иные? Это единичные случаи. Они пошли наперекор духу времени, их наследие обладает индивидуальной исключительностью.

Но позвольте, не слишком ли много исключений? Не слишком ли они значительны? И нет ли для них своего правила? Какой-то четкой, определенной общественной основы, почвы, взрастившей столь обширную плеяду выдающихся деятелей российской культуры?

Эту основу невозможно определить, если рассматривать начало XX века только как время реакции. Но все становится на свое место и обретает правильные пропорции, если исходить из абсолютно очевидного положения, что ведущей исторической тенденцией эпохи была подготовка революционных преобразований в стране. Неизбежность этих преобразований до такой степени назрела, так плотно насытила самый воздух времени, что не понимать, не чувствовать ее могли разве что самые толстокожие небокоптители. В целом же вся духовная жизнь эпохи — это многообразно выраженное отношение к грядущему переустройству жизни, размышление о нем, его предчувствие и переживание. Да, конечно, на поверхности времени, как грязная пена над глубинными течениями, заметно выступала деятельность тех литераторов, живописцев, критиков,

---

тия. Приемами примитивного искусства нельзя было бы написать картины Веласкеса, Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Репина, А. Иванова, Сурикова». Эти поразительно тонкие соображения насчет того, что картины Рафаэля и Сурикова нельзя написать приемами пещерной живописи, высказаны в книге А. Михайлова о М. Сарьяне (М. 1958, стр. 28) в связи с искренним убеждением автора, что в ранних работах художника «тенденциям примитивизма» принадлежит «ведущая роль» и стало быть, он совершил скачок из XX века в палеолит, к приемам, столь красочно изложенным выше.— *А. К.*

которые были наглухо связаны с обреченным буржуазным обществом и воспринимали неотвратимость его близкого конца как гибель всего и вся. Отсюда их животный страх перед действительностью, попытки изобразить мир как сплошной хаос, лишенный «разумной соразмерности начал», полная опустошенность душ. Но революционная ситуация в стране вызвала к жизни несравнимо более мощный поток искусства совсем иного характера и содержания. Прославление героического начала, гимны красоте мира, человека, идеалам его свободного, гармоничного развития — все эти темы и идеи составляют эстетическую основу многих замечательных произведений искусства и литературы в России начала XX века. Именно такие произведения и их создатели должны называться в первую очередь при попытках определить значение этого периода в истории литературы и искусства нашей страны. В силу какой странной логики следует считать, что самые характерные его качества воплощены в порнографии Арцыбашева и Вербицкой, реакционных бреднях Мережковского и Гиппиус, парфюмерно-салонной поэзии Игоря Северянина, нелепых, бессмысленных фантазиях «беспредметников» и т. д., а не в творчестве подлинно крупных мастеров, сильно и своеобразно отразивших новые веяния и устремления русского общества, шедшего навстречу революции? Почему надо уделять столь почетное место в истории тому, что бесславно умирало, и выводить за рамки основных закономерностей художественной эволюции как раз то, что навсегда сохранилось от этого периода и оказало плодотворное воздействие и на последующее развитие отечественного искусства уже в советские годы?

При этом, конечно, нельзя упускать из виду множество сложностей, тонкостей, извилистых поворотов развития искусства эпохи. Между различными художественными направлениями не было столь четких, резких граней, как во второй половине XIX века. Нередко случайная близость, недолгое организационное сотрудничество объединяло мастеров, чьи творческие принципы отличались весьма существенно. Судить о них огулом, объединять общей рубрикой всех участников различных группировок и объединений, брать за основу суждения обманчивое сходство некоторых стилевых приемов по меньшей мере несправедливо.

Так, нет ничего легче, чем окрестить дореволюционного Сарьяна бездумным декоративистом, декадентским стилизатором и т. д., как это и делалось неоднократно.

Однако на самом деле лишь в самых ранних своих вещах, входящих в цикл «Сказки и сны» и частично показанных на выставке «Голубая роза», Сарьян оказался во власти манерно-стилизаторских тенденций. Но эти работы, исполненные художником, только-только сошедшим со студенческой скамьи, попросту несамостоятельны (хоть и явно талантливы) и ни в малой мере не отражают творческого «кредо» мастера.

Большинство лучших вещей Сарьяна в эпоху первых его значительных и оригинальных творческих завоеваний в 1910—1917 годах написано на основе впечатлений, полученных художником во время путешествий по Ближнему Востоку в 1910—1913 годах (Турция, Персия, Египет). Это обстоятельство многих удивляет: ведь Сарьян, хоть и не с первых лет жизни (родом он из Нахичевани-на-Дону, слившейся теперь с Ростовом, а учился в Москве), был накрепко связан с Закавказьем, разумеется прежде всего с Арменией. Еще в 1901 году он впервые побывал там и с тех пор ежегодно месяцами жил и работал в этих краях, сразу же ставших ему бесконечно родными и близкими. Как и некоторые другие выдающиеся представители армянской художественной культуры (например, архитектор А. Таманян или композитор А. Хачатурян), Сарьян неотделимо вошел и в историю русского искусства. Различные национальные традиции органично сплетаются и взаимно обогащают друг друга в его творчестве.

Сам Сарьян пишет, что знакомство с природой и жизнью Закавказья явилось для него «событием потрясающим... Горные хребты со сверкающими снежными вершинами, скалы, ущелья с бурными реками, пригорки со стадами овец, уходящие вдаль, под нагроможденные друг на друга голубые горы, стада буйволов, лениво пасущихся на низинах или купающихся в мутных арыках, караваны верблюдов, движущихся по желто-розовым пыльным равнинам у Каспия, и многое другое, произведшее на меня неизгладимое впечатление, поставило передо мной задачу найти какие-то новые средства передачи своих чувств и переживаний. Средства у меня были ограниченные, я постепенно овладевал языком живописи, палитра у меня была еще серая. Школа мне очень много

дала, но во мне только-только начинал зарождаться художник, у которого еше не было языка. Запала мне в голову эта мысль — найти какое-то новое оружие, новые средства, чтобы лучше и сильнее передавать свой восторг и переживания». (Цит. по неопубликованной рукописи М. С. Сарьяна «Записи из моей жизни».)

Итак, по свидетельству самого художника, и тематика творчества и даже стремление найти новые живописные средства — «чтобы лучше и сильнее передавать свой восторг и переживания» — возникли у него под воздействием знакомства с Закавказьем. Что же заставило его искать сюжетов под чужими, хоть и восточными небесами?

Вряд ли это можно объяснять какими-то случайными причинами. Сходные события происходили в творческой биографии многих современников Сарьяна. К примеру, такой глубоко национальный художник, как С. Коненков, тогда же едет в Грецию (в 1912 г.) и вслед за этим создает большой цикл работ, посвященных античным мотивам. Еще раньше, в 1907 году, в Грецию ездил В. Серов — плоды этой поездки запечатлелись в таких замечательных полотнах, как «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Другие художники «путешествовали» в национальную древность (Н. Рерих, например), в мир идеальных образов (скульптуры А. Матвеева), сказочной фантастики (это начал еще М. Врубель), в наивно пеструю, масленичную праздничность привольной жизни, о которой мечтали народные лубки (Кустодиев, в некоторых картинах Юон).

Немало эпигонов, пустодумов и эстетов воспринимало подобные «путешествия» лишь как милую моду, позволяющую, в частности, презрительно отвернуться от «серой прозы» подлинной жизни, и сочиняло во множестве поверхностные, салонные стилизации в каком угодно духе — старорусском, новофранцузском, средневековом и т. д. Но в произведениях больших мастеров времени обращение к истории, фантастике, романтическому «преображению» действительности служило разного вида иносказаниями, истинной сутью которых были вполне современные чаяния и помыслы о прекрасном грядущем. Ведь эстетические идеалы большинства художников России лишь после победного завершения революции обретают четкую и последовательную социальную конкретность. До этого мало кто из них с настоящей ясностью понимал задачи будущего переворота, отчетливо предвидел контуры последующих за ним форм жизни. Потому-то возвышенные, светлые мечтания о совершенном человеке, о торжестве разума и справедливости часто принимают отвлеченный характер в их произведениях. Потому столь нередко господствует в этих произведениях метафорический перенос действия в вымышленную обстановку, весьма приблизительно напоминающую облик той или иной эпохи, той или иной страны; это, конечно, условная хронология и условные адреса лелеемого в мечтах золотого века человеческого счастья.

В таком духе исполнены и лучшие из дореволюционных полотен Мартироса Сарьяна. В них, правда, нет отлета в прошлое, исторической декорации. Здесь причудливо переплетаются вполне конкретные черты реальной действительности и лирические мечтания о такой жизни, в которой ничто не угнетает человека, ничто не омрачает чистоты его помыслов и чувств, свободно и гармонично раскрывающихся в светлом, радостном общении с прекрасной природой.

Конечно, и сюжеты, и конкретные детали, и палитра «ближневосточной» серии картин Сарьяна непосредственно связаны с реальными впечатлениями, которые художник получил во время своих путешествий. Но поэтическая, образная, идейная сущность этого цикла останется совершенно непонятой, если трактовать его как путевой дневник художника, прилежно ставившего перед собой бытописательские задачи. Это все равно что воспринимать серовское «Похищение Европы» как достоверную картинку древнегреческой жизни, а врубелевского «Демона» — как сделанную очевидцем жанровую зарисовку из житья-бытья злых духов.

Реальная обстановка жизни в Египте, Турции, Персии начала нынешнего века, разумеется, никак не наводила на мысль о земном рае. Но Сарьян создавал не репортаж, а сказку. И конкретные черты природы и быта Ближнего Востока использовались для нее лишь как натурный материал, который можно было отбирать, обобщать, видоизменять, отнюдь не заботясь о документальной точности изображения.

В большинстве этих картин Сарьяна нет символических намеков, деталей, атрибутов. Лишь причудливо сопоставленные в нескольких композициях деревянные египет-

ские маски обладают явной, прямой символикой выражения. Обрамленные цветастыми тканями, они выступают из нейтрального фона будто видения, бесплотные, но одушевленные, глядя в пространство строго и удивленно, испуганно и непроницаемо. Эти неожиданно воскресшие лики древнего мира воплощают в себе бессмертие искусства, которое прорывает толщу времени и приносит в живую, сегодняшнюю жизнь отзвуки далеких эпох, зарницы былых страстей и размышлений.

Но, повторяю, приемы подобного рода встречаются в цикле лишь как исключение, вообще же для него свойственны простота, внешняя обычность сюжетов и их композиционной разработки. Это и сбивает с толку поверхностно мыслящих критиков, которые видят, что в картинах вроде бы и есть «элементы реального быта», но поскольку они не составляют привычных жанровых сцен, не внушают зрителю какие-нибудь приличествующие случаю назидательные выводы и басенные морали, то, стало быть, здесь побеждает «самодовлеющий декоративизм».

Но к раскрытию образа в живописи может вести отнюдь не только сюжетная канва. Для Сарьяна, например, главным средством воплощения и раскрытия темы является живописно-пластическая структура полотен, художническое обобщение и трансформация реальной натуры, ее природной красоты.

Эти принципы взаимоотношения сюжета, содержания и методов их воплощения характерны для творчества Сарьяна на всех этапах. Изменялся идейно-образный строй работ художника, значительную эволюцию пережила и система живописных средств. Но, если не брать в расчет годов ученичества и первых опытов, во всех работах Сарьяна есть своя внутренняя тема, образная цель, сгусток жизненных впечатлений, помыслов, мечтаний.

Как в древних легендах и миниатюрах Востока, в ранних полотнах Сарьяна живет сочетание удивительной, ничем не замутненной простоты повествования и его пленительной красочности. Вот картина ночи: призрачный лунный свет, разрывая густой, темно-лиловый сумрак, трепещет на плоских стенах выстроившихся в ряд домиков, подчеркивает резкие силуэты пальм, застывшего в сонной меланхолии буйвола («Ночной пейзаж. Египет», 1911 г.). Знойный константинопольский полдень также преображается под кистью Сарьяна в картину, полную ликующей и мечтательной красоты: она разлита в звучных контрастах плотной синевы небес и солнечного сверкания желто-розовых красок зажатой домами узенькой улочки, в звонкой перекличке раскаленных бликов на крышах и резких, холодных теней у подножий зданий («Константинополь. Улица. Полдень», 1910 г.). Как ни скупы подробности, перед зрителем рельефно раскрывается поэтически целостная картина жизни, спокойной, чистой, до краев наполненной светлой радостью.

Такое вот ощущение жизни, запечатленное в самых различных вариациях и оттенках, составляет внутреннюю основу большинства сарьяновских полотен того времени. Их овевает легкое, вольное дыхание, в них непринужденное достоинство и естественность поведения людей соединяется с ясным, нетревожным восприятием приветливой и бесконечно щедрой в своем непоказном великолепии природы солнечных стран. Созерцательное размышление, ласковая, радушная человечность пронизывают не только обыденные сценки, будь то изображение восточных купцов, дремлющих в своих заваленных пестрым товаром лавках (1910 г.), женщин, спокойно шествующих с кувшином на голове по каирской улочке (1911 г.), едущей куда-то верхом на одной лошади супружеской пары (1912 г.) и т. д. Сходный строй чувств внушают и строгое величие горного пейзажа («Гора и проходящие верблюды», 1912 г.), и проникновенная, трепетная прелесть девичьих лиц («Персиянка», 1910 г.; «Голова девушки», 1912 г.), и трогательный облик осликов, мулов, верблюдов, собак, так густо «населяющих» картины и показанных с доброй теплотой сочувствия.

В каждом из названных и неназванных ранних сарьяновских полотен есть, пользуясь кинематографическим термином, «двойная экспозиция». Только это не два ряда сцен, идущих параллельно и связанных каким-то сравнительным сопоставлением — контрастом реальности и мечты, событий данной минуты и воспоминаний и т. д. Нет, здесь вступает в своеобразное сочетание «прямой», конкретный характер воплощения отдельных фигур, предметов, пейзажных кусков и иносказательный смысл всего изоб-

ражения в целом. Оно обладает определенным подтекстом, который вовсе не вытекает из повествовательного развития сюжетной ситуации и постижение которого требует активной, творческой работы воображения, ассоциативного мышления зрителя.

В самом деле. Вы рассматриваете, к примеру, темперу «Финиковая пальма. Египет» 1911 года. Вы видите массивный ствол дерева, фигурки людей у его подножия, настороженную голову верблюда, глинобитные домики пестрой окраски, ровную голубизну неба. Каковы бы ни были оттенки условности в изображении всех этих деталей, реальность, «натурность» каждой из них ни у кого не вызовет сомнений. Да и вся сценка в целом представляется увиденной воочию, невыдуманной — ничего нарочитого, фантастического в ней нет. Но что это — этнографическая картинка? Бытовой жанр? Нет, вы сразу же чувствуете, что содержание этой вещи куда значительнее, шире, сложнее. Чем больше вглядываешься в картину, тем рельефнее начинаешь ощущать, как «поют» краски неба, земли, домов, нежные и резкие, напряженные и расслабленные, громкие и затихающие; как «свободно и раскованно» движется ритм — быстрый и острый в гордом взлете веера огромных листьев пальмы, спокойный и плавный в других частях темперы. Солнечный свет, власть которого чувствуется здесь всюду — и в ярко освещенных местах и в густой тени,— объединяет пласты цвета, придает изображению общий лучезарно-золотистый тон. И соединяясь с нетревожным, тихим, полным спокойного достоинства характером жизни запечатленных на полотне людей и животных, этот поэтический образ наполняет душу ощущением счастья, радости, красоты.

Есть ли во всем этом сказка, мечта? Конечно. Чувство прекрасного вúдения не оставляет вас ни на минуту. Это сон с открытыми глазами, когда все окружающее сохраняет свой реальный облик, но предстает в новом, неожиданном значении, преображенное особым строем восприятия. Основным способом этого преображения, волшебным стеклышком, сквозь которое все видится по-иному, служит здесь язык живописи, ее выразительные средства, использованные с замечательной смелостью и виртуозностью. А движущей силой образного представления была, конечно, все та же сокровенная, высокая мечта о прекрасном, счастливом будущем человечества, которую вынашивали в канун революции лучшие люди России.

Примеры можно множить, но, изучая большинство других ранних вещей Сарьяна, мы придем все к тем же итогам. В таких соотношениях реальности и мечты — образная суть предреволюционного творчества художника.

Здесь таится и ключ к пониманию особенностей его живописных приемов в тот период.

В них немало своеобразного. Художник стремится к лаконичной форме, минует подробности, дает лишь самый общий очерк фигур и предметов. Он сопоставляет большие плоскости цвета, часто в контрастных отношениях, не заботясь о постепенных переходах, светотеневых градациях и т. д. Пространственные пропорции в его полотнах приблизительны, зачастую решительно смешены, так же как и пластика объемов, нередко почти двухмерная, без разворота в глубину. Словом, Сарьян отнюдь не добивался иллюзорности впечатления, последовательного внешнего правдоподобия, считая себя вправе отбирать в натуре (а затем свободно обобщать) лишь такие черты и особенности, которые необходимы были ему для воплощения задуманного образа. При этом, однако, следует иметь в виду, что, во-первых, картинам Сарьяна всегда присуща целостная и законченная декоративная гармония. Во-вторых, сколь бы ни были условными отдельные приемы, они, эти картины, никогда не производят впечатления пустого, анархического каприза артиста: в них есть очень ясная, закономерная, глубокая логика образа. Да и отклонение от натуры мыслится здесь лишь до строго определенных границ: обобщение строится свободно, но это именно о б о б щ е н и е натуры, а не отвлечение от нее. Все основные качества «модели» изображения полностью сохраняются и, более того, раскрываются куда полнее и острее, чем в иных «академических» холстах, где в разливанном море прилежно выписанных околичностей тонет главное, существенное.

Сарьян окончил московское Училище живописи, ваяния и зодчества, среди его педагогов были В. Серов, К. Коровин, А. Архипов, И. Левитан и другие выдающиеся мастера русского искусства. Даже самые яростные недоброжелатели художника не станут

утверждать, что он не овладел классической дисциплиной рисунка, всеми тайнами добротной академической выучки: это слишком очевидно опровергается хотя бы многочисленными графическими работами художника, где всегда сохраняется строгая пластическая структура, где налицо отличное знание и творческое постижение испытанных веками традиций построения формы. А зоркий, наметанный глаз без труда установит, что и в полотнах мастера, даже самых смелых и необычных по своему решению, у живописной «плоти» картин — прочный, крепкий линейный костяк. Сарьян вовсе не отбрасывал, не отвергал лучшее в старых традициях, но он не стал их рабом, безликим подражателем, а свободно и умело использовал для новых целей.

Понятие «реалистическое мастерство» не является раз навсегда данным и неизменным. Время постоянно выдвигает новые задачи, в соответствии с ними развивается и изменяется система изобразительных приемов, диапазон технических средств, характер и целенаправленность их применения. Так, стремление показывать действительность в ее подлинном облике, без прикрас и котурнов, во всей сложности и жестокой правде общественной жизни той поры, закономерно привело передвижников к разрыву с окостеневшими канонами «идеальных» академических композиций и разработке новых принципов реалистической живописи. То же глубочайшее отвращение к слащавому вранью и мертвечине салонно-академического искусства, то же побуждение рассказывать о жизни правдиво, только ограниченное, в основном, кругом эмоционального, эстетического переживания действительности, образами природы и повседневного частного быта, натолкнуло французских импрессионистов на открытие новых принципов «пленэризма», что явилось подлинной революцией в живописи.

Двадцатый век, уже с самого его начала, поставил перед изобразительным искусством проблему отыскания новых методов идейно-образного обобщения, а стало быть, и новых обобщающих приемов формального порядка. Человечество рванулось вперед в своем развитии — материальном, общественном, научном, психологическом, жизнь стала предельно насыщена событиями и волнениями. Надо было отыскать средства, с помощью которых все это необозримо расширившееся, увеличившееся богатство новой жизни укладывалось бы, выражалось в рамках пластических искусств. Именно в этом, а не в каких-то загадочных, необъяснимых изменениях вкуса таится причина поисков лучших художников эпохи.

Один из вариантов такого обобщенного, концентрированного в своей выразительности языка живописи мы встречаем в творчестве Сарьяна. Пиши художник иначе, в границах старых приемов, он не смог бы охватить в своих картинах такого многообразия мыслей и чувств, не смог бы добиться и той чисто зрительной современности художественного выражения, которая составляет столь ценную черту его творчества. И, разумеется, не только его. Если говорить только о русском искусстве начала XX века, то едва ли не у всех его крупных мастеров — от Врубеля и Серова до Архипова, Малявина, Крымова, Петрова-Водкина и других — с различными индивидуальными особенностями побеждает этот принципиально новый, тяготеющий к широким обобщениям стиль живописи. Впоследствии, на иных жизненных, идейных основах, он будет развиваться в произведениях крупнейших советских мастеров.

Наконец, у критиков раннего Сарьяна есть в запасе еще один совершенно убийственный аргумент: он в чем-то напоминает Гогена, Матисса и других французских художников нового времени. Верно, какие-то пункты соприкосновения стиля есть. Но что из этого следует? Сходство с этими великими мастерами — подлинное, глубокое, а не подражательное — по меньшей мере не зазорно. Однако у Сарьяна есть близость некоторых приемов, но нет сходства. Не потому, что он его не добился, а потому, что не искал. У его искусства была совсем иная почва, совсем другие цели. Поэтому любые попытки «выводить» Сарьяна из Гогена и Матисса — для похвалы или порицания, все равно — бессмысленны и антиисторичны.

Попытаемся решить одну нехитрую логическую задачу. Вот, как уже говорилось, импрессионисты совершили большие открытия в области «пленэристической» живописи, добились неведомой раньше свежести, тонкости, трепетности передачи облика природы, реально присущих ей соотношений и оттенков цвета, световоздушной среды и т. д. Вместе с тем общественный диапазон их искусства был ограничен. Значит ли это, что

всякий художник, который так или иначе использует открытия импрессионистов, обречет себя на узкость общественного содержания своего искусства?

Достаточно припомнить историю реалистической — я подчеркиваю это,— реалистической живописи после импрессионистов. Она широко и разнообразно употребляла и развивала их находки в области художественной формы. И это вовсе не мешало ей быть реалистической, общественно содержательной. Более того, художники, которые обходили открытия импрессионистов, оказывались в таком положении, в каком оказались бы, например, живописцы зрелого Возрождения, решившие игнорировать открытие законов перспективы [1].

Перекликаясь определенными стилевыми приемами с Гогеном и Матиссом, иногда и прямо используя плоды их замечательных открытий и в области живописной формы, Сарьян в своих идейно-образных исканиях шел совершенно иным путем, чем знаменитые французские мастера. В этом суть. Художник может изучать любые стилевые системы, которые его заинтересуют, может обратиться в далекое прошлое, что-то заимствовать у соседа — все это его личное дело. Решает то, чего он добился в конечном счете. Раз созданный им образ глубок, ярок, содержателен, современен, значит он победил. Все остальное — второстепенно или вовсе не существенно.

Сарьян принадлежал к числу тех интеллигентов России, которые вообще не задавались вопросом: «принимать или не принимать революцию?». Октябрьские события и последовавшие за ними коренные изменения в жизни страны были восприняты им как нечто долгожданное, давно назревшее, закономерное. С первых же лет советской власти Сарьян — деловитый, темпераментный участник строительства новой культуры. Революция застает его в Ростове, где он организует общество художников. В 1921 году по приглашению председателя Совнаркома Армении А. Мясникяна Сарьян с семьей переезжает в Ереван Отныне Армения навсегда становится и его родным домом и главной темой творчества. В Ереване он становится инициатором создания новой ассоциации художников, художественной школы, общества охраны памятников национальной старины и т. д. Сарьян был и одним из «полпредов» молодого советского искусства за рубежом. В 1924 году он едет в Венецию на XIV «биеннале», где впервые была представлена живопись, скульптура и графика СССР; через два года — в Париж, там Сарьян организует свою персональную выставку.

Ко времени революции Сарьян был уже вполне сложившимся мастером, признанным и прославленным, со своим кругом тем и образов, разработанным стилем, живописной манерой.

Но самые солнечные утопии, самые прекрасные, вдохновенные мечтания о буду-

[1] Сарьян писал в 1940 году (в журнале «Искусство»): «Я люблю в живописи свет и цвет, игру светотени. Я не представляю себе живопись без солнечного света, все обогащающего, создающего бесконечные световые, страшно трудно уловимые переливы. Французские импрессионисты дороги мне за свою любовь к цвету и свету... Я считаю, что импрессионизм — большое открытие, и не только в живописи. Импрессионисты-живописцы влияли на музыку, на скульптуру. В импрессионизме, правда, были разные уклоны, которые для нас неприемлемы, но в основном импрессионизм все же разрешил большие вопросы. Самое главное в области живописи (пластической формы) — это солнце, свет, цвет. Когда мы пишем вне этих условий, получится живопись не того качества, какое нам нужно: мрачно, темно, как-то ограниченно.

Если взять русскую реалистическую живопись, то произведения самых лучших ее представителей — Сурикова, Репина, Серова, К. Коровина несут в себе те или другие черты импрессионизма. Так или иначе, но помогал он всем. Тот, кто ругает импрессионизм, или кривит душой, или вообще ничего не понимает в живописи.

Иные художники поносят импрессионизм, а сами тишком да молчком таскают у импрессионистов то то, то другое. Надо уметь ценить важные достижения в искусстве, брать из художественного наследства то, что нужно современности. Но прежде всего, конечно, надо внимательно и глубоко разобраться в подобного рода достижениях».

Все это сказано по-художнически — с точки зрения личного опыта и наблюдений, откровенно, без строгой точности и последовательности искусствоведческих формулировок. Но в существе своем это высказывание Сарьяна абсолютно справедливо, проникнуто глубоким историзмом и сохраняет все свое значение и сейчас, через двадцать лет после своего опубликования.

щем оказались бы сейчас явно несвоевременными, далекими от живых забот эпохи, ее пафоса и страсти.

Сарьян стремится к тому, чтобы его картины вобрали в себя живое содержание жизни советского времени. Он ищет ее образы и «стиль, отвечающий теме». Ищет постоянно, упорно, многосложно. Это долгий и нелегкий путь. Порою художник терпит неудачи, иные из ценных его находок далеко не сразу завоевывают понимание и признание, другими он и сам пользуется лишь в нескольких работах, а затем отбрасывает, считая, очевидно, что они уже сделали свое дело. Все же новый стиль постепенно складывается и развивается. Он вовсе не перечеркивает работы дореволюционных лет. В произведениях Сарьяна советской поры узнаешь неповторимый почерк автора «Финиковой пальмы» и «Египетских масок». Только написано этим почерком нечто иное, да и сам он во многом изменил свой характер, свою «графику».

Когда говорят о Сарьяне, то обычно прежде всего вспоминают его натюрморты и особенно часто — пейзажи. Как портретист он еще не понят и не оценен в должной мере. Причина этого кроется и в том, что многие оригинальные приемы Сарьяна-портретиста не укладываются в узкоограниченные представления о реалистическом мастерстве, и в неистребимой рутине привычных, шпаргалочных характеристик-скороговорок (Сергей Герасимов — поэт среднерусской природы, Чуйков — певец преображенной Киргизии, Сарьян — картины солнечной Армении, Пимснов — город, Пластов — деревня, Нисский — вода, Дейнека — воздух; это давно все знают, и не сбивайте нас, пожалуйста...).

Но если, опрокинув рутину критических стандартов, основательно «посравнить, да посмотреть» портреты кисти Сарьяна, то станет ясным, что он очень крупный и своеобразный мастер этого труднейшего жанра. Без работ Сарьяна история советского портрета была бы явно обеднена.

Я говорю — советского, ибо в дореволюционные годы художник хоть и не так уж редко обращается к портрету, но все же значительно больше увлечен иными жанрами. Он написал в 1909 году озорной автопортрет «Человек-солнце», в 1910 году — похожую на видение, на дивный, тающий мираж «Персиянку», в 1911 году — обративший на себя внимание неожиданностью сопоставления человека и гор портрет И. С. Щукина, затем несколько изображений людей мужественного, сильного характера («Г. Левонян», 1912 г.; «А. Цатурян», 1915 г.; карандашный портрет А. Мясникяна, 1909 г.), несколько других портретов. В них есть немало примечательного, новаторского, они ясно связаны с общей гуманистической концепцией художника, сложившейся в ту пору. И все же какую-то завершенную, последовательно разработанную систему портретного творчества Сарьян тогда не создал. Отдельные работы этого жанра, иногда весьма удачные и значительные, все же остаются лишь эпизодами в потоке сложных исканий мастера.

Но в послереволюционную пору индивидуальный портрет даже в количественном отношении почти не уступает другим жанрам работы мастера. Впрочем, все они, эти жанры, смыкаются множеством общих граней, причем отнюдь не только стилевых.

«Человек и его дело» — таким девизом можно было бы обозначить поэтическое содержание большинства портретных работ Сарьяна. Измерять людскую ценность масштабом богатства и значительности творческого начала, раскрывать его действенную силу, борьбу, порывы — это вообще характерно для советского портретного искусства. Именно такова образно-тематическая основа в произведениях лучших наших мастеров этого жанра, таких, как М. Нестеров, Н. Андреев, В. Мухина, П. Кончаловский, С. Коненков, С. Лебедева, А. Матвеев, П. Корин, А. Гончаров и другие. Подобно им, Сарьян прост, проницателен и откровенен в своих рассказах о современниках.

Бывают художники, которые втискивают свою модель в заранее придуманную умозрительную концепцию: в этом случае изображаемый человек поневоле играет какую-то порученную ему роль, нередко абсолютно чуждую его истинному характеру и складу мышления. Бывают и идолопоклонники натуры: они подробнейше выписывают все морщинки и бородавки, воображая, что паспортная фотография может сообщить

зрителю все необходимые сведения о человеке. На деле в портретах такого рода людских мыслей, страстей, чувств не больше, чем живой крови в зеркальном отражении.

Все это глубоко враждебно самым основам искусства Сарьяна. Показать главное в человеке, его характере, духовном строе, творческом признании, сжать, спрессовать в пределах одного изображения целую жизнь — вот задача, которую видит перед собой мастер всякий раз, когда берется за портрет.

Подлинный художник использует выразительные средства искусства в динамической взаимосвязи и соответственно особенностям конкретного образного замысла. Школьные представления о системе субординации, соотношении, характере и последовательности использования различных приемов опрокидываются в практике новаторского творчества. И если избранная художником «стратегия» воплощения замысла оправдывается, приводит к победе, догматические претензии по поводу «отклонения от правил» звучат по меньшей мере нелепо. Коль скоро с помощью таких отклонений был достигнут полноценный художественный результат — значит, правила были в чем-то несовершенны или устарели сравнительно с новооткрытыми возможностями искусства. Только и всего.

Подобные размышления неизбежно возникают, когда рассматриваешь многие портретные (и, разумеется, другие) произведения Сарьяна. Вот, казалось бы, совершенно незыблемое, веками освященное классическое правило не только портретного жанра, но и вообще живописи как вида искусства: единство времени действия. Однако Сарьян находит возможным в иных случаях не считаться с этим правилом. Художник отступал от него еще в некоторых дореволюционных картинах, например в «Персидских мотивах». Но картины такого типа — дело особое, в них на свой манер употребляются принципы древних миниатюр. Ну, а в станковых портретных композициях, где нет условных стилевых декораций и о современниках повествуется на современный лад, допустимо ли такое отклонение от традиции?

Сарьян полагает, что допустимо. И доказывает это в нескольких блестящих работах (серия автопортретов, портреты Лусик Лазаревны Сарьян 1935 и 1941 годов и другие полотна, где в пределах единого пространства совмещено несколько изображений одного и того же лица).

Среди них особенно известен тройной автопортрет «Три возраста», написанный в 1943 году. Здесь художник изобразил себя в молодые, зрелые и преклонные годы. Вот они рядом, на первом плане огромного холста: справа — решительным жестом сжимающий палитру чернокудрый юноша с энергичным обликом; слева — задумчиво сощуривший глаза, немного усталый человек с кистью в руках; наконец, в центре, возвышаясь над своими «соседями» из дальних десятилетий,— крепкий мудрый старец, зорко и пристально вглядывающийся в окружающее, прежде чем нанести первые штрихи на расположенный перед ним чистый лист бумаги.

Удивительное сочетание! Будто памятные вехи, расставленные по ходу незримого течения жизни. И с какой обезоруживающей простотой преодолена тут извечная «одномоментность» живописи, прокрустово ограничение ее временно́го развития!

Художник ни в какой мере не бил на внешний, ошеломляющий эффект неслыханного приема. В картине нет ни плакатной резкости соединения различных кадров, ни смутной «остраненности», ни кокетливой «философичности». Совмещение разновременных изображений одного и того же человека на одном и том же полотне кажется абсолютно естественным и даже само собой разумеющимся.

Ведь как сильно, остро, разносторонне рассказывает это сопоставление об истории большой человеческой жизни! Перед нами не просто три физических возраста, но и три этапа духовного развития. Очень различные, они в то же время обладают и очевидным внутренним единством. У трех запечатленных ликов есть не только черты внешнего сходства, как у деда, отца и внука, но и близость, преемственность характеров, отношения к жизни, мировосприятия. Всем трем присущи сосредоточенная воля, напряжение душевных сил, живейший интерес к действительности В молодости художник смотрит на нее с дерзкой, победной уверенностью, возмужав — с неспешным, трезвым раздумьем, а в богатырской своей старости — с той мудрой ясностью понимания жизни, которая достойно венчает долгий путь труда, борьбы, исканий. Да уж, глядя на эту

картину, не вспоминаешь банальные причитания вроде «если бы юность умела, если бы старость могла». Здесь воспеты и увлеченная, мечтательная юность, которая умеет найти доброе применение звонкой силе своих порывов, и плодоносная старость — золотая пора счастливого содружества желания и воплощения.

У трехфигурного портретного изображения единый фон: далеко развернутый армянский пейзаж. Он придает полотну декоративное богатство и законченность, а кроме того, конечно, обладает глубоким символическим значением: это — родина, место жизни, неизменная тема творчества, источник красоты, бессмертная, вечно молодая земля...

Новаторская по многим особенностям своей образной концепции и самой формы ее воплощения, эта картина Сарьяна, однако, вполне согласуется с основными требованиями станкового искусства. Она обладает ясным, законченным единством повествовательного развития темы, не дробится в восприятии зрителя, смотрится как нечто целостное, слитное. Словом, раскрытие большого, значительного идейно-художественного содержания полностью остается здесь в рамках станковой «картинности».

Другое дело, что в границах этих рамок многое существенно изменяется по сравнению с прошлым. Но это не разрыв с классической традицией, а ее развитие, вполне логичное и последовательное при всей своей неожиданной смелости.

Я сейчас «вынес за скобки» один из оригинальных приемов портретного искусства Сарьяна. Разумеется, можно назвать и иные, например своеобразные «дуэты» портретного изображения и окружающих его предметных деталей или совершенно особое, нетрадиционное назначение декоративного фона, которое входит в живописную повесть о человеке, на свой манер дополняя и развивая его характеристику.

Но ведь эти и другие художественные средства никогда не являются для Сарьяна самоцелью — их роль в построении образа служебна. Поэтому правильнее будет попытаться понять и оценить любой из этих приемов в общей системе образной концепции портретов.

Вот портрет классика советской архитектуры академика А. Таманяна (1933 г.). Сарьян «построил» его в стиле творений замечательного зодчего: та же смелость, простота, лапидарность композиции. В глубине фона видны мощные, строгие контуры макета здания оперного театра в Ереване — одного из лучших произведений Таманяна. А вынесенная на передний план, взятая во всю высоту полотна полуфигура архитектора ритмом своих линий и объемов как бы повторяет четкие, граненые формы здания. Это неожиданное, хотя и удивительно просто достигнутое зрительное единство двух основных частей изображения придает ему совершенно особую выразительность. Как часто символические аксессуары профессий выполняют в портретах роль «стандартной справки»! Шахтеру дают в руки отбойный молоток, писателю — книгу, ученому — какую-нибудь колбу, но это традиционное механическое сцепление имеет чисто иллюстративный характер, служит, так сказать, примечанием к образу, не соприкасаясь ни с его человеческой сутью, ни с пластической концепцией.

В портрете Таманяна главное дело жизни человека раскрывается не в иллюстративных деталях, но в самой плоти изображения. Очертания макета театра служат конструктивной опорой композиции, составляют ее органическую часть. Вместе с тем, при всей своей ясной определенности, эти контуры будущего здания несколько призрачны: они воспринимаются скорее как овеществленная проекция мысли архитектора, «портрет» его творческих мечтаний, дополняющий портрет в собственном смысле слова.

Сарьян любит сопоставления в портрете и бесконечно щедр на выдумку их мотивов и сюжетов. Иногда он создает совершенно своеобразные, в определенном смысле полемические варианты градиционных классических приемов. Известны, например, десятки изображений поэтов, чей облик отмечен печатью романтического вдохновения. На фоне таких портретов во избежание кривотолков помещается муза поэзии или, на худой конец, символическая лира.

Именно такую привычную схему повторяет Сарьян в портрете замечательного армянского поэта Егише Чаренца (1923 г.). Только на втором плане вместо традиционной музы — красочные ткани и одна из любимых художником египетских масок. А в облике самого Чаренца нет и намека на легкокрылый артистизм, восторженное

«озарение» и т. п. Резко торчат скулы изможденного лица, огромный нос навис над упрямо сложенными губами, а глаза смотрят беспокойно, вопрошающе, с тревожным раздумьем. Здесь сказано все главное, все подлинное об этом человеке — о его неуравновешенном характере и взрывчатом темпераменте, о мятущейся душе, переполненной невысказанными образами, о работе над стихом — беспрерывной, мучительной и в то же время составляющей суть, смысл, радость жизни. Пестрые ткани фона — не только декоративное обрамление облика поэта, но своего рода иносказание о красочности, неожиданных поворотах и ритмах его фантазии (сходный прием Сарьян употребляет многократно — например, в известном портрете Рубена Симонова, 1939 г.). А у маски — несколько назначений. Она придает особую остроту, контрастность, непривычную выразительность декоративной композиции. Ее условная мимика, недвижная застылость форм классического канона оттеняет бесконечную привлекательность живого облика Чаренца — внешне некрасивого, «неправильного», но светящегося отблесками высоких раздумий и страстей. А вместе с тем сопоставление древней символической маски и «сегодняшнего», в потоке будней увиденного лица поэта содержит идею, которую точнее всего способно выразить двустишие самого Егише Чаренца:

Может и век и певца пережить вековечная песня,
лишь с повседневностью слив пламень зерна своего.

(Перевод С. Шервинского)

Это сливающее повседневность и вековечность могущество творческой энергии человека с особой силой раскрыто в самом известном и прославленном из сарьяновских автопортретов. Он написан в трудную пору нашей жизни — в 1942 году. Художник изобразил себя за работой, с палитрой и кистью в руках. Его лицо сосредоточенно, взгляд строг и пристален. Во всем облике живописца — широком разлете бровей, резких складках кожи, обтягивающей крепкие скулы, разметавшихся прядях седеющих волос — чувствуется огромное внутреннее напряжение, собранность. Энергично взметнулась сжимающая кисть рука, сейчас она опустится, нанеся смелый, решительный мазок на невидимое зрителю полотно. В некотором контрасте с этой суровой дисциплиной ума и сердца, так ясно запечатлевшейся в выражении лица и фигуры художника,— пестрая мешанина красок, выдавленных на палитру. Но в этом противопоставлении есть свой глубокий, значительный смысл. Творческая фантазия художника обладает магической властью, она способна, используя эту, пока еще бессмысленную, неодушевленную материю цветовых пигментов, создать чудесный мир светлых, солнечных образов. В этом мужественном утверждении высокой красоты, свободного полета раскованной творческой воли человека — гуманистический пафос портрета. Он был символичен в годы борьбы с фашизмом, он сохраняет все свое значение и сейчас, в дни мира.

Сюжетно-композиционное построение автопортретов 1942 и 1943 годов, портретов Таманяна и Чаренца сравнительно сложно. Но надо сказать, что подобная сложность не так уж часто встречается в портретных работах Сарьяна. Гораздо чаще они построены на сопоставлении крупно, «наплывом» взятой полуфигуры и фона — пейзажного или декоративного, связанного с портретным изображением чисто ассоциативно. Нередка и еще более простая схема: портрет и нейтральный фон, который служит лишь составной частью живописной формы полотна.

Но как бы ни была лаконична избираемая Сарьяном портретная форма, она оказывается достаточно емкой для создания многогранного образа. (Я говорю, разумеется, об удачных вещах. Как и у всякого долго и много работающего художника, у Сарьяна есть полотна незадавшиеся, случайные, «проходные». Они занимают свое место в творческой биографии мастера, но, конечно, не характеризуют принципиальных особенностей и качеств его метода.) Подлинная живопись может достигать своей цели и в разветвленной сложности симфонического развития темы и в строгой, четкой формуле образа. Впрочем, так называемая «внешняя простота» в работах Сарьяна бывает весьма обманчива. и порою затруднительно определить, что перед тобой: «симфония» или «формула». Во всяком случае, всегда — живопись и всегда (коль скоро речь идет о портретах) — неповторимый, индивидуальный характер. В недавнем портрете Ильи

Эренбурга (1959 г.) — рассеянный взгляд из-под полуопущенных век, скептическая складка губ, резкие, тяжелые морщины. И вдруг, как взрыв, седой костер взметнувшихся волос, а дальше, в глубине фона,— пляска лиловых гор, переплет разноцветных тканей, сложная гармония колорита, включающая и контрасты, и диссонансы, и отчаянные дуэли быстро сменяющихся ритмов. Слово «похоже» здесь может быть отнесено не только к чертам лица: тут и композиция — «Эренбург» и язык красок — «Илья Григорьевич»...

В сделанном «с ходу», в один сеанс портрете К. Игумнова (1934 г.) образ создает прежде всего графика лица — тонкая, строгая и в то же время угловатая: внешняя сдержанность смыкается здесь с внутренней свободой, артистической непринужденностью и непосредственностью, классическая ясность — с парадоксальной неожиданностью. В портрете поэта-переводчика М. Лозинского (1944 г.) дело решает пластика головы, также построенная на сложных, контрастных сплетениях: корректности и явной неправильности, нескладности облика; резкости, даже грубоватости отдельных черт и утонченности их общего выражения. Нежные, прозрачные тона колорита определяют в портрете Галины Улановой (1940 г.) впечатление воздушности, полета, проникновенной и трепетной чистоты души.

И всякий раз основное в портрете — творческий стержень жизни изображаемого человека. После революции Сарьян нашел своих героев и свою тему в портретном искусстве. Он остался выдумщиком, смелым новатором, мастером оригинальных форм, он по-прежнему всегда строит образ живописью, не сбиваясь на иллюстративность, но все свое мастерство отдает воплощению реальных черт советских современников, их сложной жизни, их больших дел, их творчества. Отсюда, разумеется, и многие новые свойства и принципы его живописной системы, идейного содержания и эмоциональных оттенков образов.

Эта новизна и эта верность всему лучшему, всему и поныне ценному из старого творческого опыта столь же отчетливо и полно раскрываются в пейзажных произведениях Сарьяна, созданных за советские годы. Пейзаж, портрет и натюрморт составляют триаду излюбленных жанров художника. Они тесно связаны между собой, но каждый из них, конечно, обладает определенной автономностью и неповторимостью. Нелепо рассуждать, какой из них «важнее» для Сарьяна. И все же, думается, я не погрешу против истины, сказав, что пейзаж в его творчестве — первый среди равных по значимости жанров. Именно в пейзаже получило наиболее развернутое, многогранное, целостное воплощение и мировосприятие художника, и его поэтика, и его живописная система.

Подъем был труден: музыка нового времени в сарьяновских пейзажах не сразу зазвучала в полный голос. Причина этого, конечно, не в том, что общественное мировоззрение художника изменялось медленно, не поспевая за ходом времени, что сколько-то лет он занимал осторожную, выжидательную позицию стороннего наблюдателя. Нет, как уже говорилось, для Сарьяна победа нового строя была осуществлением давних, самых сокровенных надежд, и с первых же лет революции он стал ее убежденным и действенным приверженцем.

Но Сарьян-художник поначалу не мог пойти вровень с Сарьяном гражданином и общественным деятелем. Как живописец он сложился не рассказчиком событий дня, но философом, раскрывающим духовный мир человека, его представления о прекрасном и совершенном. Абсолютно бесспорно, что такие представления можно выразить и в «сюжетных» произведениях, рассказывающих об определенных событиях. Подобные композиции иногда возможно закончить и в сравнительно оперативные сроки. История советского искусства свидетельствует это достаточно ясно: красота новых дней, мужественная, суровая, окрыленная радостью завоеванной свободы, раньше и отчетливее всего раскрылась именно в сюжетных полотнах — таких, как, например, «Оборона Петрограда» А. Дейнеки или «Смерть комиссара» К. Петрова-Водкина.

Но у Сарьяна иные жанровые привязанности, и он от них никогда не отказывался. А для расцвета несюжетных жанров изобразительного искусства необходимо, чтобы представления о прекрасном как следует отстоялись, образовали бы прочную, глу-

боко укоренившуюся эстетическую почву — и в повседневной жизни и в сознании художника.

Для этого требовалось время. Поначалу, в двадцатые годы, композиции Сарьяна порой выглядят будто бескровными. Он варьирует мотивы фантазий десятых годов, но то, что раньше было живой, возвышенной мечтой, теперь оказывается запоздалым воспоминанием о мечте, звучащим как странный анахронизм. Вскоре такие «воспоминания» навсегда исчезают из творчества мастера.

Но постепенно поэзия новой жизни все более глубоко проникала и в душу художника и в его картины. Раньше всего это стало заметно в портретах (о них уже шла речь), затем в натюрмортах, где щедро и мощно расцветало радостное, восторженное любование красотой предметного мира, утверждался мажорный, оптимистический строй. (Здесь сказалось, как говорят, «опосредованное» воздействие исторического оптимизма советской действительности на самый далекий от конкретно-событийного изображения жизни жанр живописи. Такое воздействие ясно ощутимо на протяжении двадцатых годов — и, конечно, позднее — в творчестве многих наших выдающихся мастеров натюрморта: И. Машкова, П. Кончаловского, А. Лентулова, П. Кузнецова, Р. Фалька и других.)

С пейзажем дело шло медленнее, но зато результаты оказались еще более значительными. На время отказавшись от создания крупных полотен, Сарьян пишет этюды и небольшие картины (где, впрочем, как правило, сохраняется пространственная масштабность композиций), изображающие уголки Еревана, армянские городки и селения, горы и степи. В них господствует интонация светлого, сосредоточенного размышления, любовная сердечность повествования о повседневном течении жизни. Диапазон оттенков спокойной, созерцательной лирики колоссален, но эта ее основная интонация не меняется, что бы художник ни показывал — цветение весеннего дня в садике старого ереванского дома, маленький армянский поселок, обжигаемый полуденным зноем, сбор винограда в пору осенней страды, строительство медно-химического комбината или как-то неожиданно, дерзко врывающуюся в горный пейзаж фабрику в Алаверди... Такое неколебимое постоянство настроения вовсе не обозначает, что художнику был безразличен объект изображения — лишь бы найти очередной повод для красивых сочетаний форм и красок. Суть дела, конечно, совсем в ином. Сарьян упорно искал и постепенно находил внутреннее единство всех важных качеств и особенностей новой жизни в родной стране. Оно, это единство, составило основу, почву новой поэзии, нового образного строя работ художника. Оно было спокойным, ибо жизнь установилась, вошла в свои берега, обрела ясность пути, свой стиль, свой ритм. Оно было счастливым. Оно было сказочным.

Да, сказочным. Сарьян ведь сложился как мастер легенды, привыкший мечтать с кистью в руке. В этом «повинны» и индивидуальные особенности его дарования и, конечно, традиции армянской художественной культуры. В дооктябрьские времена он мечтал о прекрасном будущем, казавшемся ему тогда далеким, неведомым, призрачным. А в нашу эпоху великой заботой художника стало воспеть романтику, солнце, счастье свободной жизни. Сарьян не мог достичь этой цели, когда гремела буря гражданской войны, когда затем «в сплошной лихорадке буден» какой-то срок было очень трудно разглядеть сложившиеся, уже отчеканенные историей черты облика новой действительности. Доброе десятилетие Сарьян к ним приглядывался, «прицеливался» в десятках работ разных жанров. А когда наконец он четко осознал, так сказать, человеческое содержание новых дней, уловил их спокойный, рабочий, сосредоточенно-творческий лад, появились картины, где вся великолепная радостная красота сарьяновской живописи сроднилась с новью, поет о ней, славит ее.

И вот тут-то самые обычные, всем знакомые впечатления нашей повседневности стали сплетаться с пленительной, светлой сказочностью.

Это видно уже во многих композициях тридцатых годов.

Вот, скажем, «Сбор винограда» 1933 года или «Сбор персиков в колхозе» 1935 года. Предельно простые сцены без эффектных сюжетных «ходов» и уж, конечно, без всякой внешней фантастики. Близ обычных армянских построек женщины собирают виноград, под сенью огромного дерева колхозники складывают персики. Словом, ника-

ких фабульных ухищрений. Но чем больше вглядываешься в полотна, тем властнее захватывает их огромное поэтическое обаяние. Голубизна небес, зелень поля, желтые, розовые, синие цвета строений в «Сборе винограда» обладают поразительной светоносностью, они звенят, поют, сияют, ласковые, приветливые, лучезарные. В «Сборе персиков» более глубокие тона, более размеренные, тягучие ритмы, но это несравненное чувство озаренности, сверкающего, чистого, как горный родник, счастья жизни победно звучит и тут.

Так колдовская сила живописи преображает обыденные сценки в прекрасные легенды о солнечной красоте жизни.

Сказочность тут не в небылицах сюжета, а в характере восприятия, воплощенном музыкой зрительной формы.

Могут сказать: а причем здесь вообще сказка и легенда, если художник изобразил то, что увидел и почувствовал в действительности?

Верно, живописец отталкивается от реальных впечатлений и наблюдений, но он сумел так увидеть и показать обыденное, что оно выступило перед зрителем как бы в новом, особом измерении. Ранний Сарьян придавал лишь видимость реальности своей мечте, создавая фантастическое объединение отдельных подлинных деталей жизни под небесами утопической страны счастья. Теперь он истинную реальность проецирует в красочные небеса легенды, которая не изменяет существу правды, а лишь помогает понять ее глубже, тоньше, во всем спектре жизненных красок. В этом большое, принципиальное различие и в этом же — очевидная близость картин дореволюционного и послереволюционного Сарьяна.

Постепенно сарьяновские пейзажи-сказания обретают все бо́льший размах и мудрую зрелость, вбирая в себя не только определенным образом окрашенное чувство жизни, но и широко разветвленные, масштабные размышления «о времени и о себе», сложную и глубокую философскую лирику нашего современника.

Эта зрелость новой, в послеоктябрьские годы сложившейся идейно-образной концепции Сарьяна очевидна в десятках его произведений тридцатых—пятидесятых годов, но, пожалуй, достигает наибольшей полноты и совершенства в пейзажном цикле «Моя Родина», удостоенном Ленинской премии.

Определение «пейзажный цикл», несомненно, требует оговорки, которую мне давно уж пора было сделать. Хотя у Сарьяна порой встречаются картины, запечатлевающие природу, так сказать «в чистом виде», но в огромном большинстве случаев художник включает в свои пейзажные полотна изображения людей, животных, разнообразных строений, промышленных предприятий, сценки быта и т. д. Однако сарьяновские картины такого типа чаще всего именуются пейзажами, и в общем резонно, ибо отдельные жанровые элементы, сколь бы много их ни было, имеют в полотнах подчиненное значение, разбросаны в огромных, далеко расстилающихся пейзажных пространствах. Перед нами поистине л о н о п р и р о д ы. Оно служит руслом жизни, в котором течет обычный, небурный поток событий. Кто-то высказал предположение, что самый термин «paysage» (пейзаж) произошел от сращения двух французских слов «pays» (страна) и «usage» (обычай, обыкновение, образ жизни). Не берусь судить, насколько это верно в историко-лингвистическом смысле. Но вот для определения некоторых существенных особенностей сарьяновских пейзажей эта гипотеза очень подходит. Он создает не «виды», а синтетические изображения облика отчего края, его повседневного бытия на просторах родной земли. Называть такие картины пейзажами, конечно, не слишком точно, но все другие разновидности общепринятой классификации жанров подходят здесь еще меньше.

Мир сарьяновских пейзажей прост, и вход туда открыт каждому. У порога зритель не спотыкается о приступку замысловатого заглавия. В нем художник обычно дает только справку: изображено то-то, там-то, в такое-то время года или дня. Возможно, столь аскетичная, подчеркнутая прозаичность названий представляет собой скрытую форму полемики. Ведь как часто можно встретить на выставках пейзажи, поименованные с натужной претензией на грандиозное обобщение, но представляющие собой всего лишь раздутый донельзя, «привставший на цыпочки» убогий этюд с натуры. Сарьян полагает, и вполне справедливо, что обобщение, поэзия, образ должны быть в самой

картине, а уж если там их нет, то даже самое цветистое красноречие этикетки не замаскирует внутреннюю пустоту живописи.

И вот мы переступаем этот порог, прочитав мимоходом название — ну, скажем, «Колхоз села Кариндж в горах Туманяна». Необходимо несколько мгновений для «аккомодации», для привыкания: глазу надо переключиться на восприятие сгущенных цветовых акцентов, лапидарных объемов, четких, решительных контурных линий, словом, взять на себя бо́льшую, чем обычно, концентрированную нагрузку. Перестраивается также и восприятие пространственное, его привычные масштабы, мерила и пропорции.

Однако сарьяновское искусство менее всего «ученое» и вовсе не требует от зрителя премудрого знания сокровенных тайн построения живописного образа. Вся механика возникновения ассоциаций заложена в самой природе эстетического чувства человека.

Вот и при знакомстве с полотном «Колхоз села Кариндж в горах Туманяна» у зрителя быстро появляется ощущение родственной близости, проникновенного сопричастия изображенному. Поначалу, у самой границы первого плана картины, взгляд встречает крохотную жанровую сцену: колхозный пастух сопровождает стадо, бредущее по каменистому полю. Эта миниатюрная (соотносительно с размахом пейзажа) группа дает зрителю как бы масштаб соразмерности, помогает ему совершить «подстановку», ощутить себя уже внутри запечатленного мира.

При этом не возникает убогое, гнетущее чувство: дескать, ты один из «малых сих», жалкая песчинка в необъятной вселенной. Как в пропорциях и пластической конструкции величественных античных храмов, так и здесь человек — мера всех вещей, и весь окрест лежащий мир увиден его глазами, понят его душой.

Оторвавшись от плоскости первого плана, мы будто отправляемся в полет. Ритм постепенно убыстряется, природные формы видятся еще более обще, контурно. Первыми на пути встречаются мощные купы деревьев — темно-зеленые с желтыми и коричневыми рефлексами. Они разметались, словно выдерживая натиск бури, хотя показан спокойный, солнечный день. Но это резкое движение вызвано не силой ветра, а порывистым настроением взлета — в таких пейзажах своя, образная «метеорология»!

Вслед за этим порывом наступает относительное успокоение, равновесие чувств, а поле зрения раздвигается в своих границах, как в кино, когда на смену обычному экрану приходит широкий (да простится мне это сравнение: ведь в 1952 году, когда писался «Колхоз села Кариндж», широкого экрана у нас, кажется, еще не было и в помине. Что поделаешь: старушка живопись богата и давным-давно уже владеет теми зрительными возможностями, которые бурно завоевывает кино, порою не помня родства).

Сосредоточенный, спокойный взгляд плывет над зеленым полем, бурыми кирпичиками домов села Кариндж, погружается в прохладную лиловую тень первых горных отрогов. Минуты раздумья, созерцания, мечтательного отдыха мысли...

И опять подъем, все более крутой, напряженный. Цветовые тона стали холоднее, ритм — более тяжким, вязким, прерывистым. А когда путь трудного восхождения позади, снова — быстрый, решительный взлет к вершинам горной цепи, к сияющему своду «торжественных и чудных» небес. Траектория этого пружинистого взлета намечена колоритом: желто-розовые краски выжженного солнцем, карабкающегося вверх склона, глубокие тона вершин и — звонкая, легкая, прозрачная голубизна небес, мягкая дымка облаков.

Разумеется, я совершил сейчас — вновь воспользуюсь кинотермином — замедленную съемку движения взгляда по вертикальной композиции полотна. Кроме того, нельзя забывать, что оно всегда воспринимается в целом, и на какой бы его части ни задержать внимание, другие в это время не перестают «работать». Эту нерасторжимую цельность образа пейзажа необходимо иметь в виду и при попытках его трактовки.

«Колхоз села Кариндж в горах Туманяна» — пример, взятый мною наудачу. Он легко может быть заменен равноценным (но не одинаковым!). Сарьян — художник серий. Не таких, чьи части объединяются определенной сюжетной последовательностью, а представляющих собой собрание вариаций какой-то сквозной образной темы. Каждая из этих вариаций уникальна и обладает самостоятельным значением. В них не дубли-

руются композиционные схемы, колористическое построение, особенности конкретного воплощения образа. Но в них есть единство взгляда на мир, общность строя чувств, близость характера и направленности лирических размышлений. И, конечно, ясное родство важнейших черт стиля. В чем-то соприкасаясь, порою даже повторяя одни и те же или сходные мотивы (они, однако, получают всякий раз новые оттенки и новое развитие), эти вариации дополняют друг друга, составляя в конечном счете нечто цельное, законченное, вроде стихотворного или музыкального цикла.

Такова и серия «Моя Родина». Здесь есть вещи монументального, эпического склада («Пейзаж. Армения», «Араратская долина из Двина», тот же «Колхоз села Кариндж») и более камерного звучания («Лалвар», «Бюракан»). В некоторых картинах людские фигуры отсутствуют вовсе («Арарат из Двина», «Араратская долина из Двина»), а в других занимают значительное место в изображении («Сбор хлопка в Араратской долине»). В «Армении», «Колхозе села Кариндж», «Лалваре» взгляд совершает постепенное восхождение ввысь; в «Арарате из Двина», «Сборе хлопка» он долго движется по горизонтали полей, а затем стремительно взлетает по склонам гор; в «Араратской долине из Двина» сменяются один за другим пространственные планы, равнина разворачивается вширь и вглубь свободно и беспрепятственно, как в открытом море, и где-то в бесконечном отдалении, уже став не землей, а лиловым маревом, смыкается с прозрачным небосводом.

Различны и приемы колористического построения полотен. В «Армении», во всех отношениях самой обобщенной вещи цикла, господствуют контрастные сочетания больших декоративных масс цвета — розовых, желтых, зеленых, синих — «спектральных», однозначных, почти лишенных оттенков и переходов. В «Араратской долине из Двина», «Бюракане» есть ведущая цветовая тональность: в первой — зеленая, во втором — желто-оранжевая. В «Сборе хлопка», «Колхозе села Кариндж» — многоцветность, полихромия, сложная в своей ясной, строгой субординации колористическая гармония. Надо при этом заметить, что во всех полотнах серии средой, объединяющей формы и краски, их воздухом, материей, строительным материалом является солнечный свет различной интенсивности. В сущности, можно было бы сказать, что в картинах Сарьяна мы видим не так или иначе освещенные краски, а скорее по-разному о к р а ш е н н ы й с в е т.

По отношению к творчеству Сарьяна очень часто употребляют эпитет «солнечный» Это естественно, без этого просто не обойдешься. Но в своем привычном эмоциональном значении такой эпитет, на мой взгляд, односторонне, далеко не точно характеризует искусство художника: для внимательного зрителя очевидно, что в пейзажах Сарьяна гораздо чаще встречается задумчивая сосредоточенность, чем безудержная, восторженная радость и так называемая «приподнятость» настроения.

Зато как технический термин слово «солнечный» абсолютно приложимо к сарьяновским пейзажам. Они действительно всегда освещены открытыми солнечными лучами, погружены в их сияние, имеющее огромное множество градаций, «дышат» их оттенками, переливами, рефлексами. Если для науки использование энергии солнца является пока что делом будущего, то в искусстве эта проблема на свой лад решена Сарьяном — мастером солнечной, светоносной живописи.

Наконец, чрезвычайно многолики отличия и особенности образного содержания разных полотен цикла. «Армения» — это праздник, национальное торжество. Словно бы вся республика, ее поля, горы, небеса, принарядившись, отмечают день радости. Здесь и силуэты вершин Армянского нагорья «разворачиваются в марше» и четкие цветовые акценты поют призывно, гордо и звонко, как фанфары.

А в «Араратской долине из Двина» звучит спокойная, задумчивая музыка будней В этом полотне пространственный разворот воплощает и ход времени: бесконечен запечатленный мир, и за далью приходит новая даль, как день за днем. С этим образом сопрягается повседневная смена забот и радостей, надежд и тревог. Это земля вечная и сегодняшняя, видавшая десятки поколений и живущая для нынешнего. Неоглядны просторы долины, но и этот глинобитный домик в поле. и прихотливо вьющиеся тропки. и каждое малое деревце имеют свои права на жизнь, свое место под солнцем. Тут вновь действуют ассоциативные «подстановки» — ниточку отдельной человеческой жизни ви-

лишь в перекресте огромного, сложного узла тысяч и тысяч сплетенных судеб. Такой ход мысли порождается, конечно, не какими-то антропоморфными намеками и уподоблениями, а глубочайшей людской сердечностью образа пейзажа. В нем есть сложное равновесие чувств, ясное «да» и этому тихому солнечному дню и дням грядущим. Это не сытое, хвастливое довольство и не бездумная, легковесная самоудовлетворенность, но спокойный и мудрый вывод из глубоких размышлений о жизни, из философского созерцания ее, которое и воплощено в пейзаже.

Я говорил уже о запечатленном в «Колхозе Кариндж» чувстве взлета, целеустремленного порыва, истоки которого лежат в наблюдениях за обычным, подчеркнуто будничным током жизни на родной земле. Можно было бы проследить оригинальное развитие этого мотива в пейзаже «Арарат из Двина». Можно было бы подробно исследовать поэтический строй пленительного в своей чистой, прозрачной напевности «Сбора хлопка в Араратской долине», тонких лирических миниатюр «Лалвар» и «Бюракан». Но и простого сопоставления этих картин достаточно, чтобы уловить, хотя бы в основных чертах, их «лица необщее выражение».

Ну, а единство столь различных по своему поэтическому содержанию частей цикла, внутренняя близость их идей, образов определяется законченной четкостью миросозерцания художника, глубокой современностью взлелеянного нашей эпохой восприятия жизни. Дух советской современности — в утверждении красоты и высокой радости бытия, светлой гармонии человека и природы. Он в этом всеохватывающем взгляде на мир, в активной, динамичной, мужественной силе его постижения. Он в огромном богатстве «духовного зрения», которое позволяет художнику «увидеть» в природе повесть о современнике, поведать и о полете его мечты, и о его зоркой, жадной восприимчивости ко всему прекрасному на свете, и о той легкой, сладостной, не ранящей сердце грусти, которая каким-то глубинным, затаенным оттенком всегда сопровождает познание, свершение, победу.

На примере серии «Моя Родина» можно проследить и особенности живописного стиля в нынешнем творчестве Сарьяна, черты различия и близости этих особенностей с принципами ранней живописи мастера.

Критика и до сих пор нередко строит сравнение стилевых систем дореволюционного и послереволюционного Сарьяна на основе чистого, безоговорочного контраста. В упомянутой книге А. Михайлова это сравнение развивается следующим образом: «...Мы видим стремление к более реалистическим формам передачи природы: от условно-плоскостного построения Сарьян переходит к реально-пространственному, предметы приобретают бо́льшую объемность, колорит становится более конкретным, органичнее связанным с предметом (тогда как ранее он носил зачастую декоративно-условный характер, отвлеченный от реальных свойств предмета)... Выключение изображаемого из реального пространства и перемещение его в условную плоскость, характерное для предреволюционной формалистической живописи, являлось одной из форм ухода художников от действительности, одним из выражений кризиса искусства. И наоборот, преодоление условной плоскостности и возвращение к пространственной и объемной живописи свидетельствовало о победе реалистического мышления и о расширении познавательных, образных возможностей искусства». Как бы обобщая приведенные суждения, В. Зименко в статье «В мире поэтических образов М. Сарьяна» предложил следующую формулу: «...Ранние работы, вроде — «Финиковой пальмы» (1909), и поздние произведения, как «Араратская долина из Двина», «Колхоз села Кариндж в горах Туманяна», разделены, по существу, глубокой пропастью» (журнал «Искусство», № 6, 1961. Дата создания картины «Финиковая пальма. Египет» сообщена неверно — она написана в 1911 году).

Итак, если поверить цитированным критикам, ранний и поздний Сарьяны отличаются как ночь и день. От формализма он перешел к реализму, от условности к безусловности, от легкомысленного декоративизма (как захочу, так и покрашу) к академической благопристойности «конкретного колорита». Словом, стихи и проза, лед и пламень. Глубокая, зияющая пропасть. И нет даже мостика, по которому нынешний седой юбиляр мог бы перейти для встречи со своей далекой мятежной юностью.

Дивная концепция. Четкая, простая, удобная в обращении. И одна лишь деталь портит дело — в действительности все обстоит совершенно иначе. Не потому, конечно, что художник на протяжении шести десятков лет творчества оставался недвижным. Искусство Сарьяна претерпевало изменения, и весьма существенные. Но это была закономерная эволюция, а не разрыв с прошлым, органичное развитие, а не смена кожи на змеиный манер.

Важнейшее отличительное качество реализма заключается в его способности давать объективное изображение действительности. Если те или иные формальные средства и стилевые приемы могут помочь постижению этой основной цели реализма, стало быть употребление их художником-реалистом вполне допустимо. Во всяком случае, любая попытка свести реализм к какому-то каноническому набору формальных средств и приемов неизбежно приводит к сектантскому догматизму. Почему, например, объемно-пространственная живопись — суть реализм, а плоскостная — формализм, как пишет А. Михайлов в приведенном отрывке из его книги? Подлинная история искусства опровергает такие схоластические нормативы. Можно назвать объемно-пространственные реалистические произведения и плоскостные формалистические. Но ведь можно найти, и в изобилии, примеры обратного свойства. Если даже не уходить в прошлое, а взять произведения последних десятилетий, то, например, у Сальвадора Дали есть сколько угодно объема, пространства и объемной пространственности, но от этого его омерзительный бред не становится реализмом. И, с другой стороны, скажем, «плоскостное» полотно А. Дейнеки «Мать», «плоскостной» плакат Д. Моора «Помоги!», «плоскостные» гравюры В. Фаворского (я могу значительно продолжить эту серию примеров) — классические произведения социалистического реализма.

Взаимоотношения Сарьяна с «плоскостными» и «объемно-пространственными» принципами живописи также «не влезают» в упрощенческие концепции. Охотники трактовать тяготение художника к объему как признак его «перехода к реализму» в послеоктябрьские времена попадают впросак по неожиданной причине: это тяготение началось еще задолго до революции. Простое знакомство со многими картинами Сарьяна десятых годов дает неоспоримые доказательства на этот счет. Да и сам художник писал в упомянутой статье 1940 года: «...Плоскостная живопись увлекала меня некоторое время. Впоследствии я старался уйти от нее. Мне хотелось объема... С 1912—1913 гг. начинаются мои работы объемного характера». С 1912—1913 гг.! Ну что стоило бы художнику подождать еще пяток лет — как это облегчило бы дело для составителей искусствоведческих задачек «на прямые пропорции»!

Два основных периода в творчестве Сарьяна (взятые в целом, представленные лучшими, характерными произведениями) следует рассматривать именно как две различные исторические формы реалистической живописи. Неверно их противопоставлять, сталкивать, натравливать друг на друга, их надо сравнивать, отмечая разное, а не выдумывая враждебное.

Я уже пытался провести сравнение идейно-образного строя полотен двух этих эпох. Что касается стилевой эволюции, то ее необходимо рассматривать в непосредственной связи с этим строем, с общим изменением поэтики работ художника.

Своеобразным камертоном для этой цели может служить проблема условности. По меньшей мере наивно утверждать, что в советские времена Сарьян от нее отказался и перешел к простому копированию натуры (будто в этом и заключается реализм!). «Когда я пишу пейзаж,— рассказывает Сарьян,— нередко прибавляю или увеличиваю, или уменьшаю отдельные его части, отдельные детали, но это не исправление ошибок природы, это просто необходимо для усиления моего творческого восприятия природы... Я это делаю потому, что того требует мой художественный замысел, мое волевое творческое восприятие природы». (Цит. по книге А. Виннера «Техника живописи советских мастеров». М. 1958.)

Вот вам и «безусловность»! Волевое, творческое восприятие природы, использование ее как натурного материала для реализации образной идеи — такова одна из основных заповедей работы Сарьяна-пейзажиста.

Перейдя в советские времена от возвышенных, но утопических иллюзий к повествованию о живом, обретенном счастье жизни, художник вовсе не отверг условных приемов, он лишь заменил одни их конкретные формы другими в соответствии с новыми образными задачами.

Как мы видели, знакомясь с пейзажами цикла «Моя Родина», масштабность размышлений и чувств художника потребовала для своего воплощения огромного пространственного размаха — перед нами в разных аспектах предстает весь край, все повседневное течение его жизни.

Во имя этой цели художнику понадобилось, в частности, употребление такого сугубо условного средства, как построение перспективы сверху вниз, не совпадающее с обычным направлением движения человеческого взгляда в пространстве. Сарьян из тех художников, которые еще задолго до завоевания космоса и даже до значительного развития авиации сумели взглянуть на нашу планету с небес. И не с «птичьего полета», но с высот человеческой мечты, человеческого воображения. Пространство в большинстве его пейзажей следует воспринимать не в привычном для нас двухмерном развороте «от» и «до», а применяя, так сказать, кубический метраж, звездную перспективу, мысленный взгляд сверху, дающий вйдение в целом, огромными пластами.

Такой принцип — трактовать пейзаж не как локальный вид местности, а как «мир в разрезе» — встречался и в некоторых работах раннего Сарьяна (а в различных формальных и образных вариантах у ряда мастеров прошлого). Но, например, в тех же «Персидских мотивах» этот принцип был, во-первых, умышленным повтором стилевых традиций восточной миниатюры, во-вторых, одним из узоров сказочного воображения. Сарьяновские пейзажи советской эпохи, сохраняя некоторые черты сказочности, запечатлевают не сон, но явь, не пригрезившийся град Китеж, а живой облик будней, ставших воплощенной легендой.

Пейзажи Сарьяна — художественное предвидение нового взгляда на мир, порожденного появившейся у нас лишь теперь «космической» точкой зрения на нашу планету. Он, конечно, объективен, этот взгляд. Но он еще светится восторгом и вдохновением победной силы человеческого творчества. Ультрасовершенные счетные машины, виртуозная автоматика могли предугадать все — и силу взлета ракеты, и угол ее движения, и время выхода на орбиту, и тысячи других сложнейших вещей. Но вот предсказать, что советский летчик, взлетев в космос, прежде всего воскликнет: «Красота-то какая!» — они не могли. Это не их, автоматов, дело. Почем им знать, что чем могущественней и свободней становится человек, тем больше в нем расцветает художник.

Строя пространство в своих пейзажах, Сарьян добивается как можно бóльшей широты и всеобщности характера изображения — это ясно связано с упомянутой идейно-художественной концепцией. Именно следуя ей, а не каким-то незыблемым, обязательным канонам, он стремится к стереоскопической полноте, глубине и протяженности объема: плоскостная двухмерность привела бы тут к неуместной камерности, явному сужению образного диапазона (все это не мешает Сарьяну порою прибегать и к плоскостному изображению — например, в пейзажных фонах некоторых портретов: мастер не чувствует себя прикованным к приему, как каторжник к тачке).

Та же условность и та же закономерность, органичность, идейно-образная оправданность этой условности очевидны и в колорите сарьяновских полотен. Когда художник находит это нужным, он, не колеблясь, отходит от воспроизведения «реальной окраски предметов». Вы видите в «Армении» холмы и скалистые уступы, сверкающие на солнце почти безоттеночными розовыми, оранжевыми, желтыми красками, каких в натуре не встретишь. Вы замечаете в «Арарате из Двина» немыслимое по академическим законам соседство светло-зеленого, коричневого, желтого и темно-синего цветов, в «Колхозе Кариндж» — лиловых буйволов и звонкобронзовых лошадей, в «Араратской долине из Двина» — карминно-красные стволы деревьев. В любом из этих и других сарьяновских пейзажей встречаются целые цветовые массивы и силуэты, сплетенные в сложных, часто весьма причудливых сочетаниях, вовсе не дающих точного повторения природного соотношения красок.

Наконец, солнечная светозарность пейзажей художника, о которой так много говорится, тоже представляет собой итог «волевого, творческого восприятия» художника.

Волевого, но не своевольного. Цвет в полотнах Сарьяна не механическое соединение разрозненных красочных акцентов, но целостная в своих сложных связях и сцеплениях колористическая гармония. Это, во-первых, гармония декоративная, которой художник всегда придает огромное значение. Зрелая, совершенная красота создаваемых им цветовых композиций способна сама по себе приносить зрителю радость и наслаждение. Это достигается нелегко: декоративная выразительность цвета в сарьяновских полотнах «поверена алгеброй» векового опыта живописной культуры, вобрала в себя тончайшее понимание и так называемого закона дополнительных цветов, и соотношения элементов естественной, спектральной гаммы, и точное представление о необходимости ее коррекции в соответствии с оптикой человеческого бинокулярного зрения, и уверенные приемы достижения тонального единства и т. д., причем добротные знания идут тут рука об руку с безошибочной, отшлифованной десятилетиями работы художественной интуицией.

Но главная «работа» колорита в сарьяновских произведениях (усиливающаяся в своем воздействии благодаря декоративной красоте цветовой гармонии) — это участие в образном звучании картин. Художники часто говорят, что цветом можно «строить» пространство, объем, воздушную перспективу. Сарьян широко использует эти формальные возможности колорита, но основное для него то, что он «строит» цветом образ.

Это определение применимо здесь в разных значениях и оттенках. Можно говорить о ведущем голосе цвета в ансамбле средств, с помощью которых овеществляется, «озвучивается» мелодия настроения пейзажей. В «Армении» мощные, мажорные массивы цвета, смыкаясь в пестрый карнавальный хоровод, сразу же создают ощущение праздника, торжества, могучего душевного подъема. В «Араратской долине из Двина», где господствует не контрастное сочетание ярких цветов, а единая (со сложными градациями) зеленая тональность, колорит располагает зрителя к задумчивому созерцанию, самопогруженности, сосредоточенному восприятию спокойных, величавых просторов полей, уходящих в бесконечность. В «Сборе хлопка в Араратской долине» сопоставление нескольких звонких цветовых акцентов и нежных, тающих красок собранного хлопка, виднеющихся на горизонте затянутых бело-голубой дымкой гор, каким-то неожиданным путем внушают зрителю искрящееся, улыбающееся чувство прозрачно-светлой радости и чистоты показанной жизни.

Кроме общего настроения, цвет в сарьяновских полотнах определяет и ход более частных, широко разветвленных ассоциаций мысли и чувства. Они, эти ассоциации, конечно, развиваются у каждого зрителя по-особому, субъективно.. Но они идут в том основном направлении, которое намечено эмоциональным строем колористического решения холста.

Наконец, солнечный свет, о котором, глядя на сарьяновские вещи, иногда даже забываешь, как о воздухе, которым дышишь, настолько он там естествен и привычен,— этот свет всегда живет и звучит хотя бы в подтексте картин. Конечно же, он исполняет не только роль «юпитера», освещающего сценическую площадку изображения. Его дыхание, трепет, животворная сила составляют как бы вечную, неразрушимую материю запечатленного мира. Он усиливает, бесконечно обогащает чувство радости, он не меркнет и в часы печальных размышлений, трудных переживаний, смягчая и просветляя их. Он зримая основа глубинной, жизнеутверждающей концепции художника, «смысл философии всей».

Язык колорита также служит в сарьяновских полотнах выразительности повествования о днях нашей жизни. Сколь бы ни был причудлив, необычен, условен какой-то выхваченный наудачу отдельный прием, он находится в строгом сопряжении с общей реалистической структурой образа, с ясной целеустремленностью его идейного содержания, обобщающего духовный опыт времени.

Целям этого обобщения подчинена вся система художественных средств мастера И чем основательнее знакомишься с творчеством Сарьяна, тем больше убеждаешься, что применяемые им условные средства не только о п р а в д ы в а ю т с я итоговым результатом произведений, но закономерно п о р о ж д а ю т с я логикой развития и воплощения выношенных идейно-образных замыслов.

Нередко говорят, что самобытная оригинальность сарьяновских пейзажей объясняется не столько своеобразием художественных приемов мастера, сколько особенностями армянской природы. Вот-де поезжайте в Армению, поглядите на ее поля и горы и тогда поймете, что Сарьян создает чуть ли не цветные фотографии различных видов своей родной республики.

Что армянский ландшафт непривычен, поначалу даже неправдоподобен для глаза северянина, это верно. И кристаллические формы горных хребтов, чьи снеговые вершины врезаются в сияющий небосвод, и резкая смена сурового однообразия каменистых полей цветущим роскошеством плодородной долины, и напряженная интенсивность красок земли, и ковровая их пестрота, и, наконец, яростная живопись солнца, почти всегда открытого и горячего,— все это делает армянский пейзаж несравненным и неповторимым. Недаром его первозданное, космическое величие потрясало человеческое воображение еще со времен библейской древности.

Все это так. Но картины Сарьяна вовсе не являются простым слепком армянской природы, как бы ни была она прекрасна и своеобразна. Странное дело, говоря о пейзажах Сарьяна, почему-то забывают, что и до него и одновременно с ним Армению изображали очень многие художники. В сотнях полотен вы можете увидеть Армению экзотическую и обжитую, «ориенталистическую» и понятую на европейский лад, солнечную и серую, пряную, как лоток с южными фруктами, и унылую, как любое изделие пушкаря-натуралиста, что бы он ни изображал, хоть рельеф Луны.

Но сарьяновскую Армению можно увидеть лишь на полотнах Сарьяна. Эта сарьяновская Армения, единственная и уникальная, конечно, имеет своим прообразом реальную, подлинную Армению. Но она преображена, претворена кистью великого мастера, получила обобщенное выражение, увидена взглядом замечательного советского современника — мыслителя и поэта, гуманиста и гражданина.

Другое дело, что, приезжая в Армению, встречаясь с ее природой, мы прежде всего вспоминаем именно полотна Сарьяна. Мы просто не отдаем себе отчета в этот момент, что глядим сейчас на эту древнюю землю глазами живущего среди нас художника. Это похоже на то, как народ иногда поет песни, не зная имен их авторов и полагая, что эти песни словно бы сами собой появились, сложены «всеми вместе». Такова убеждающая сила большого, подлинно реалистического искусства. Можно сказать, что в известном смысле Сарьян «открыл» для современников армянский пейзаж, подобно тому как Тернер некогда «открыл» лондонские туманы, импрессионисты — поэзию и красоту парижских улиц, Левитан — светлую, нежную прелесть среднерусской весны, печаль родных полей.

Вот чему послужили «условности» сарьяновской живописи! Как можно было убедиться, по своей формальной природе они в советскую эпоху близки и родственны тем, которые художник употреблял еще в молодые годы. Но ныне у них другой «приводной ремень», новый характер образов и мировосприятия, а стало быть, и новые художественные итоги.

И еще несколько слов о проблеме условности. Я уже много говорил о ее огромном значении в творчестве Сарьяна. И все же употреблять этот термин для определения какого-то исключительного, сугубо индивидуального свойства сарьяновского искусства, на мой взгляд, совершенно неправильно. По сравнению с чем оно условно? С натурой, объектами изображения в их естественном состоянии? Но простое копирование предметов, создание «вторых пуделей» никогда не было задачей настоящего искусства. Может быть, по сравнению с традициями старой живописи? Но разве сама она не условна? Разве даже самое последовательно-иллюзорное изображение жанровой сцены, пейзажа, натюрморта в рамках двухмерной плоскости холста не условно? Всякое искусство имеет свое «как будто», без этого оно вообще не существует.

Иное дело, что вместе с общим развитием искусства развиваются и видоизменяются формы и особенности его условностей. Мастера древнего Египта, изображая людей, обычно показывали голову и ноги в профиль, плечи и руки — анфас, корпус — в трехчетвертном развороте: так, по их представлениям, они запечатлевали самое главное в человеке, самое важное для богов и потомков. Художники Возрождения с их гу-

манистическим пафосом изображали своих героев во всю высоту картины, а окружающий мир — как бы стелющимся у их ног. В пейзажах XVII века появляются три искусственных плана композиции, различающихся и по перспективной удаленности от зрителя и по основному колористическому тону; у Пуссена в пейзажах такого рода бродят нимфы, размышляют, нежатся боги и герои древних мифов: это воображаемые картины земного рая, воплощенной гармонии и совершенства. Жанристы XIX века стремились заставить зрителя поверить, будто он сейчас, здесь видит ту или иную сценку повседневности, показанную «как она есть» (и в этом столько же «как бы» и «если бы», что и в условностях живописи иных времен). Импрессионисты мечтали «остановить мгновение» потока жизни. Многие художники-реалисты XX века ищут способов спрессовать, сплотить в пределах одного изображения многие грани колоссального пестрого идейно-эмоционального опыта своего времени; отсюда идут приемы широкого, насыщенного обобщения.

Примеры можно продолжать до бесконечности. Пока существует искусство, всегда будут появляться те или иные условности художественного решения образа — это аксиома. Но если мастер с помощью избранных им творческих приемов в состоянии создать объективную — в конечном счете — картину жизни, значит, его искусство обладает и бесспорной «безусловностью», правдивостью, познавательной и эстетической ценностью. И вот такой «безусловностью» обладают и работы Сарьяна и произведения многих других художников-новаторов, напряженно искавших и ищущих такие приемы и способы правдивого отражения своей современности, которые соответствуют духу, характеру, особенностям эпохи.

В 1933 году в стихотворении «Наш язык» Егише Чаренц говорил:

Ширятся душевные границы
и не выразят, чем дышит век,
ни Теряна звонкие цевницы,
ни пергаменный Нарек.

Даже сельский говор Туманяна
нас не может в эти дни увлечь,
но отыщем поздно или рано
самую насыщенную речь.

(Перевод Анны Ахматовой)

Сарьян, сохраняя глубокое уважение к «пергаменным» традициям, искал и нашел «самую насыщенную речь», с помощью которой и поведал в своих полотнах о том, «чем дышит век». Именно поэтому разработанный им стиль оказал могучее воздействие на нынешнюю школу армянской живописи, да и на многих мастеров из других республик.

Разумеется, было бы очередной данью догматизму утверждать, что для Армении творчество Сарьяна — это, так сказать, истина в последней инстанции. Время идет вперед, и молодые армянские живописцы, души не чающие в Сарьяне, почитая, тщательно изучая его огромный опыт, ищут и новых художественных откровений, новых средств повествования о столь быстроизменчивой жизни наших дней. У них «своя, иная даль» Сарьян отлично это понимает и с благожелательным вниманием наблюдает за исканиями новых поколений. Да и как ему, смелому новатору с младых ногтей и до глубокой старости, не одобрять сердечно и любовно вечное обновление, вечную весну искусства. Ему глубоко чуждо и непонятно сердитое брюзжание иных «маститых», всерьез полагающих, что те, кто работает не так, как они, работает плохо, «потрясает основы» искусства. Такое брюзжание — верный признак творческого одряхления и бессилия. Ворчуны теряют чувство нового, связь с молодежью. А Сарьян, вечно окруженный юной порослью художников, передает ей эстафету своего чудесного, нестареющего искусства.

Присуждение Мартиросу Сергеевичу Сарьяну Ленинской премии — общественное событие большой принципиальной значимости. Оно не только воздает должное твор-

ческим заслугам выдающегося советского живописца. Оно еще и наносит ощутительный удар по некоторым укоренившимся предрассудкам и вульгарным воззрениям, связанным с непониманием образной природы живописи, выразительных возможностей ее художественного языка. Одним из наиболее частых проявлений упрощенчества являются попытки сводить действительное содержание полотен к их сюжетным схемам. Носители таких взглядов рассматривают картину как раскрашенную иллюстрацию из школьной хрестоматии, практически отбрасывая всю сложную алгебраическую сумму средств образного воздействия живописи. В сюжетной картине они не видят ничего, кроме внешней фабулы. Что же касается таких жанров, как портрет или пейзаж, не говоря уж о натюрморте, то их третируют как второстепенные и малозначительные (ведь в них «ничего не происходит»). Именно усилиями вульгаризаторов понятие «тематическая живопись» очень часто распространяется только на сюжетные полотна, причем лишь на такие, где показаны какие-либо знаменательные, памятные события. Что подобные события могут дать для живописцев великолепный творческий материал — вещь абсолютно очевидная. Но неужто в портретах, пейзажах, изображениях повседневной жизни людей нельзя воплотить великие темы времени, огромное и разностороннее общественное содержание? Однако работы подобного рода «тематическими» называть не принято, и в неписаной «табели о рангах» жанров живописи им отводятся последние места. И единственно потому, что по упрощенческим представлениям значительную общественную тему можно раскрыть лишь в сюжетном действии, ясно и беспрекословно излагаемом словами «те-то и те-то делают то-то и так-то». Все остальное — от лукавого. Сторонники таких взглядов вполне могли бы оценивать идейное и художественное качество оперы, знакомясь с ней по телевизору с выключенным звуком.

В упомянутой статье В. Зименко, опубликованной в связи с юбилеем художника и присуждением ему Ленинской премии, можно прочесть, в частности, следующее: «Механическое подражание Сарьяну вряд ли может прельстить настоящего художника, даже если он очень молод — вторым Сарьяном стать невозможно. Да вряд ли и необходимо ставить вопрос таким образом, тем более что судьбы каждой национальной художественной школы сейчас особенно зависят от развития тематической картины — той области творчества, которой Сарьян касался лишь мимоходом».

Вот, не угодно ли! Оказывается, один из крупнейших советских художников, первый живописец — лауреат Ленинской премии вроде бы стоит в стороне от магистральной линии развития нашего искусства. И даже судьбы развития родной ему национальной художественной школы не «особенно» с ним связаны. И все это потому, что Сарьян, оказывается, лишь «мимоходом» писал тематические картины.

Ну как можно сказать такое! Сюжетных (или, точнее, «событийных») полотен Сарьян действительно не писал — это не его жанр. Но его пейзажи, портреты, натюрморты! Разве не являются они «тематическими картинами» в самом высоком и благородном смысле этого понятия? Разве не звучат в них огромные темы нашего времени, не раскрывается мировосприятие советских современников, их думы, мечты, радости, их представления о прекрасном?

Таких результатов можно добиться и в сюжетной и в несюжетной живописи. Ни к чему противопоставлять их — каждая может быть хороша по-своему. В полотнах Сарьяна нет происшествий, там все, что нужно, рассказывают облики людей, формы и краски природы. Там во всю силу «работают» могучие, выразительные средства искусства живописи. Быть может, постижение образов картин Сарьяна несколько сложнее, чем восприятие сюжетных полотен. Но от этого произведения художника не становятся менее ценными. У нас сейчас сама жизнь воспитывает миллионы глаз для подлинной живописи. Красноречивое тому свидетельство — признание и понимание массовым зрителем такого непростого художника, как Сарьян. Народ любит, уважает и славит его. Ленинская премия — высшее выражение этой заслуженной славы.

В новой Программе Коммунистической партии Советского Союза говорится, что произведения советской литературы и искусства «призваны служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания».

служить источником радости и вдохновения для миллионов людей... Я думаю, что картины Мартироса Сарьяна в полной мере отвечают этому прекрасному призыву партии.

Когда Сарьян устает, он надевает старую соломенную шляпу и выходит в сад, окружающий его дом в тихом ереванском переулке. Сарьян идет к винограднику, который сам вырастил и с ревностным упорством каждый год выхаживает и обновляет. Он трудится здесь так же истово и любовно, как за своим мольбертом. Он становится неотличимо похожим на армянских крестьян, которые под знойным солнцем терпеливо и настойчиво обрабатывают свою скудную, каменистую землю, превращая ее в цветущий сад.

Один из недавних натюрмортов художника так и называется — «Плоды каменистых склонов горы Арагац». Редкая для Сарьяна многословность названия. Но его возникновение, его пафос понятны. Изобилие этих дивных могучих плодов, их радостная, улыбающаяся человеку красота — каких трудов, какого напряжения энергии и воли они стоили!

Прекрасные сады сарьяновской живописи, открытые людям, обогащающие и возвышающие их души, выращены ценой такого же повседневного, упрямого, самозабвенного труда, как эти «плоды каменистых склонов».

Говорят, что критику не положено терять равновесия чувств, что он должен на все окружающее смотреть строго объективным, научным взором, которого и радость восторга не затемняет и слеза не заволакивает.

В таком случае, я нарушаю законы своей профессии.

Я гляжу на Сарьяна, нагнувшегося над кустами виноградника, на его сосредоточенное лицо, маленькую сутулую фигуру, привычные к работе руки — и еле сдерживаю волнение.

Хочется склониться перед старым художником, благодаря его за великий труд, за добытую и подаренную людям красоту, за радость и солнце, которыми светятся полотна Сарьяна.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. ЛУНАЧАРСКАЯ-РОЗЕНЕЛЬ

★

ЛУНАЧАРСКИЙ - ЧИТАТЕЛЬ*

В воспоминаниях, биографических очерках, рассказах современников, характеризуя многогранную личность Анатолия Васильевича Луначарского, прежде всего упоминают его эрудицию, его колоссальную начитанность.

Чтение было для него такой же необходимой частью его существования, как дыхание, как биение сердца. Чтение было для него работой и отдыхом, утешением, когда он бывал огорчен или раздосадован; иной раз прочитанное делалось предметом взволнованных, резких споров с авторами, высказывания которых казались ему вредными, фальшивыми или вульгарными.

Мне хочется поделиться воспоминаниями, непосредственными впечатлениями о Луначарском-читателе. Я не берусь исчерпать эту тему; вероятно, к рассказанному здесь можно многое добавить, но хочу надеяться, что мне удалось вспомнить и записать ряд интересных штрихов.

С самого раннего детства, семи-восьми лет, Анатолий Васильевич полюбил чтение. Возможно, что от этого чрезмерного, целиком захватившего его увлечения книгами наряду с положительными явлениями — приобретением разносторонних знаний, развитием художественного вкуса, памяти, фантазии — были и отрицательные: комнатный образ жизни, недостаток спорта, детских игр и постоянное утомление зрения. Уже с первых классов гимназии он страдал сильной близорукостью.

Мать Луначарского, Александра Яковлевна, была женщиной образованной, до известной степени даже передовой, но властной и взбалмошной; «мальчик в очках» казался ей чем-то недопустимым, «нигилистическим». Когда Анатолий жаловался ей на плохое зрение, она только сердилась на него за «глупые выдумки». Лет до тринадцати из-за упрямства матери он лишен был возможности следить в классе за тем, что писали на доске, рассматривать географические карты и атласы, наблюдать за физическими опытами, даже активно участвовать в занятиях и играх своих одноклассников. Учился он хорошо благодаря блестящим способностям и замечательной памяти, но учеба в гимназии не увлекала его, и весь свой пыл, все свое свободное время он отдавал самостоятельному чтению.

В тринадцать лет он добился наконец у матери разрешения надеть очки, и, как он неоднократно вспоминал впоследствии, в его жизни подростка произошла резкая перемена: появились краски, все кругом ожило, похорошело... Он впервые почувствовал по-настоящему прелесть Киева, он полюбил прогулки с товарищами в Дарнице, Святошине, катание на лодках по Днепру и «Старику» — так называется старое, живописное русло Днепра; он сблизился со сверстниками... и еще больше полюбил чтение.

Мне рассказывал мой старший брат, учившийся в киевской гимназии одновременно с Анатолием Васильевичем, на два-три класса моложе его, как соученики, приглашая на маевку на Днепре, уговаривали: «Смотри, обязательно приходи. Будет сам Толя

* Из подготовленной к печати книги «Память сердца».

Луначарский!» И семнадцатилетний Толя Луначарский, взобравшись на развесистую иву, произносил зажигательную речь, полную юношеского огня и вместе с тем глубоко содержательную. В этой пламенной речи сплетались имена социологов, философов, убедительные цитаты и собственная молодая, пытливая мысль.

Чтение привело его к революции, к марксизму, чтение дало возможность ему, почти подростку, сделаться агитатором в одном из пролетарских районов Киева. То, что он узнавал из книг, он умел просто и темпераментно излагать в рабочих кружках.

Так еще в юношеском возрасте складывалась личность Луначарского — эрудита, оратора.

Многие пишущие об Анатолии Васильевиче, на мой взгляд, слишком усердно подчеркивают легкость, с которой ему давались публичные выступления, лекции, диспуты, доклады. Часто пишут о его выступлениях экспромтом.

Действительно, и на моей памяти бывали случаи, когда тему доклада он узнавал чуть ли не в машине по дороге на собрание.

В 1928 году А. М. Горький после длительного отсутствия приехал в Москву. О том, что правительство поручило Луначарскому приветствовать Горького в Большом театре, сам он узнал только за сорок минут до своего выступления: намечался другой оратор, и Анатолий Васильевич предполагал быть на этом вечере в качестве слушателя. Несмотря на это увлекательная по форме и полная глубокого анализа речь по случаю приезда А. М. Горького — один из самых блестящих и полноценных образцов ораторского искусства Луначарского.

Когда некоторые товарищи, знавшие об абсолютной внезапности этого выступления, поражались такому таланту импровизации, Анатолий Васильевич пожимал плечами: «Ну какая же импровизация? Ведь сколько я писал о Горьком еще до революции и, разумеется, продолжаю как критик заниматься его творчеством». А что касается формы его речей, темперамента, образности — Луначарский всегда был во всеоружии своего дарования.

Когда, случалось, его уговаривали выступить на самую неожиданную тему (а отказывать он не любил и легко давал себя уговорить), он вынимал блокнот, снимал пенсне и, щурясь, писал несколько строчек своим мелким, неразборчивым почерком. «Ну, что ж с вами делать? Вот, моя шпаргалка готова». Он прятал блокнот и во время доклада почти никогда не заглядывал в него. Очевидно, пока Анатолий Васильевич писал, у него создавался план выступления, и он мог ограничиться такой «подготовкой».

Все это так. Но я не раз повторяла лицам, подчеркивавшим необычайную способность Анатолия Васильевича к экспромтным выступлениям, ответ Луначарского заместителю президента ГАХН Амаглобели, который получил задание во что бы то ни стало уговорить Луначарского выступить на торжественном вечере в ГАХНе (Государственная Академия художественных наук). Амаглобели приехал в Наркомпрос и просил передать наркому письмо президента ГАХН Петра Семеновича Когана, в котором он заклинал Луначарского приехать «хоть на полчаса» и сказать «хотя бы несколько слов». Амаглобели твердо решил не выпускать Анатолия Васильевича из поля зрения и по возможности не расставаться с ним до начала вечера. Он сидел в секретариате наркома, когда тот принимал посетителей, затем отправился на заседание ГУСа (Государственного Ученого совета), где председательствовал Луначарский, затем сопровождал его на жюри по присуждению архитектурных премий, затем на заседание редколлегии издательства «Academia». Наконец они оба отправились в ГАХН.

В машине Анатолий Васильевич казался очень усталым. «Мне стало немного совестно за свою настойчивость»,— сознавался впоследствии Амаглобели. «Чего же хочет от меня ГАХН? Какая, собственно, тема моего доклада?» — спросил Луначарский. Амаглобели ответил. Тема была эстетико-философская, сложная. Остаток пути Анатолий Васильевич молчал; молчал и его спутник.

А через десять минут Луначарский выступил с полуторачасовым докладом, вызвав настоящую овацию писателей и ученых, составлявших аудиторию этого вечера.

От ГАХН до нашей квартиры на улице Веснина было совсем близко, и Анатолий Васильевич пригласил своего спутника поужинать с ним.

За столом Амаглобели воскликнул: «Я не могу понять, я просто поражен: весь день я не отставал от вас ни на шаг. Мне кажется это чем-то непостижимым: ведь вы же не готовились к этому докладу!» Анатолий Васильевич ответил ему очень серьезно: «К этому докладу я готовился всю свою жизнь».

Это была чистейшая правда. Как у пианиста-виртуоза сложнейший пассаж кажется легким, чем-то само собой разумеющимся, а на самом деле является результатом многолетнего упорного труда, так и ораторские выступления Луначарского, помимо врожденного таланта, требовали огромной предварительной работы, колоссального накопления знаний, умения мобилизовать эти знания.

Анатолий Васильевич был большим тружеником. Он любил свою работу, он трудился с увлечением, вдохновенно. Поэтому со стороны могло казаться, что в стиле его работы есть нечто «моцартианское», легкое. Да, ему чуждо было «гелертерство», если под этим понимать натужную, безрадостную лямку. Его энергия, работоспособность, жизнерадостность побеждали усталость, возраст, нездоровье.

Он поглощал книги по самым различным отраслям знаний; на его столе лежали труды по философии, биологии, педагогике, археологии, медицине.

Помню, как один крупный немецкий профессор медицины, приняв Луначарского как пациента и побеседовав с ним, был твердо убежден, что его собеседник — врач по образованию. Анатолий Васильевич уверил его, что не имеет никакого отношения к врачеванию. «Но ведь вы в курсе всех наших самых острых, самых злободневных проблем! Невероятно!» «Меня очень интересуют ваши медицинские проблемы. Я охотно читаю книги по медицине»,— отвечал Луначарский.

Подобные разговоры у него бывали с людьми самых разнообразных профессий: инженерами, музыкантами, агрономами.

Вспоминаю, как, увлекшись, он прочитал мне целую лекцию по океанографии, и мне показалось тогда, что это самая интересная и важная из наук.

Анатолий Васильевич был чрезвычайно активным человеком. С юношеских лет и до конца своей жизни он упорно, жадно учился, собирал знания.

Годы эмиграции, вынужденной разлуки с родиной он блестяще использовал для изучения культуры и искусства Западной Европы. Годы ссылки, тюремного заключения были для него годами самой интенсивной работы.

Например, во время одиночного заключения в киевской Лукьяновской тюрьме он изучил английский язык. В своей мрачной тюремной камере он читал в подлиннике Шекспира и Бэкона, немецких философов и поэтов и не испытывал нередкого для таких условий уныния и депрессии. Как будто именно о нем сказал Ленин, что «пребывание политического деятеля в тюрьме содействует его научным работам и занятиям».

Луначарский вспоминал Лукьяновскую тюрьму: «В последние недели моего пребывания в одиночке, когда меня за какую-то провинность лишили прогулок во дворе, я начал страдать от бессонницы, следовательно, читал и писал до утра. Почерк у меня, ты сама знаешь, возмутительный. Каждое слово, написанное в тюрьме, подвергалось самой тщательной цензуре, и жандармский ротмистр, которому полагалось проверять мои рукописи, совершенно замучился. «Ради всего святого, г-н Луначарский, пишите разборчивее! У меня теперь из-за вас нет личной жизни: я ночи напролет сижу над вашими каракулями». Меня эти жалобы не слишком растрогали. Хуже, что я сам позднее мог разобрать далеко не все свои рукописи из Лукьяновки».

Во время ссылки в Калугу он сделал стихотворный перевод поэм и драм великого провансальского поэта Мистраля, писавшего на langue d'oc. В двадцатых годах Анатолий Васильевич был избран действительным членом Академии Мистраля в связи с этой его юношеской работой.

Живя на Капри, Анатолий Васильевич ежедневно отправлялся в Неаполь, где он работал в публичной библиотеке.

«Меня жутко укачивало в Неаполитанском заливе. Вспомни описание качки в «Господине из Сан-Франциско» Бунина и ты поймешь, что это отнюдь не подарок

судьбы дважды в день совершать подобную морскую прогулку».— «Ну, и как же ты поступал?» — «Никак. На пароходе я прочитывал газеты лежа и сосал лимон... но это не помогало. Сотни раз я проделал этот путь и каждый раз страдал морской болезнью. Вдобавок меня изводил Горький: его совершенно не укачивало, и он пытался уговорить меня, что никакой морской болезни нет на свете, что все это самовнушение. Он предлагал мне повторять по модному тогда методу д-ра Куэ: «Я чувствую себя отлично. Меня ничуть не тошнит». Но эти попытки автогипноза приносили самые плачевные результаты: мне делалось еще хуже... Зато удивительно хорошо работалось в Неаполитанской библиотеке. Тихо, прохладно, и полы не качаются».

Вообще Анатолий Васильевич очень любил обстановку хорошо организованной публичной библиотеки. Очевидно, сама атмосфера большого книгохранилища настраивала его на спокойную и вместе с тем интенсивную работу.

В 1930 году Анатолий Васильевич, готовясь к гегелевскому конгрессу, охотно посещал берлинскую публичную библиотеку, и, когда дирекция любезно предложила ему брать книги на дом, он, разумеется, поблагодарил и воспользовался этим, но больше из чувства такта, а на самом деле охотно продолжал бы посещать читальный зал библиотеки.

Возможно, что эти навыки студенческих лет, периода жизни в эмиграции наложили свой отпечаток на отношение Анатолия Васильевича к книгам. Анатолию Васильевичу важно было иметь возможность читать книгу, черпать из нее знания или художественное наслаждение, а его ли это книга, библиотечная ли, взятая ли на время у знакомого — ему было почти безразлично.

Анатолий Васильевич любил красиво изданную книгу. Когда ему попадалась особенно художественно оформленная или редкая, старинная книга, он любовался ею, показывал близким, отмечал качество иллюстраций, шрифта, переплета, но, прочитав, охотно разрешал любому знакомому взять ее на время, и если эту ценную книгу у него «зачитывали», не слишком огорчался. На моей памяти он с досадой и возмущением говорил только о похищенных у него книгах с дарственными надписями Владимира Ильича Ленина и Горького. Особенно горевал он об автографах Ленина. Я пыталась найти способ помочь этому горю: «Ты ведь догадываешься, кто именно сделал это, и ты имеешь возможность заставить вернуть тебе эти книги». Анатолий Васильевич досадливо морщится: «Да, конечно. Но ведь это ужасно противно. Мне придется обличать человека в воровстве, на виновнике останется несмываемое пятно... Я надеюсь, что эти книги рано или поздно будут проданы в музей или в Ленинскую библиотеку». Лицо Анатолия Васильевича разглаживается, настроение явно улучшается: «Очевидно, их украли, чтоб выгодно продать, и тогда в музее их увидят тысячи советских людей».

Луначарского иной раз упрекали друзья за то, что он не собирает настоящей, подобающей ему как писателю и ученому библиотеки. На это он возражал шутя: «Несомненно, я люблю книгу; я, быть может, больше всего из всех вещей, созданных людьми, люблю книгу. Конечно, я самый настоящий библиофил, но я не библиоман, а тем паче не библиотаф». Этим последним он не был ни в коем случае, и все те, кто приходил к нему домой, непременно рассматривали содержимое книжных шкафов и выбирали, что им вздумается.

Луначарский получал книжные новинки советских издательств, выписывал нужные ему для работы книги из-за границы, но в Москве при невероятно напряженной работе ему просто некогда было думать о систематизации и планомерном пополнении своей библиотеки.

Зато во время командировок или лечения за границей, особенно в Париже, Анатолий Васильевич с удовольствием посещал букинистов. В Париже мы чаще всего жили на левом берегу, в советском посольстве, или в гостинице «Лютеция» на бульваре Распайль, недалеко от знаменитого «Бульмиш» (бульвар Сен-Мишель), и каждая наша прогулка пешком неизбежно приводила нас к лавочкам букинистов на набережной Сены.

Анатолий Васильевич подолгу с наслаждением перелистывал пожелтевшие страницы книг, иногда кое-что покупал; но дело здесь было не в приобретении, а в самом

процессе прогулки, неторопливого выбора, беседы со стариками букинистами (я ни разу не видела среди парижских букинистов ни одного молодого лица). Луначарский с удовольствием погружался в эту атмосферу, создаваемую серым гранитом, стальной с сиреневыми бликами водой реки и длинным рядом столов, заваленных драгоценными томами, подчас очень неказистыми на вид.

Продолжая машинально перелистывать страницы, Анатолий Васильевич поворачивается ко мне: «Вот сейчас я чувствую себя в Париже... В Париже иронического и мудрого Анатоля Франса».

Мне хочется рассказать здесь один эпизод, пусть не прямо относящийся к моей теме, но сам по себе любопытный и связанный с посещением парижских букинистов.

В ноябре 1927 года Луначарский возглавлял советскую делегацию, приехавшую в Париж на торжества по случаю столетия со дня рождения великого французского химика Марселена Бертело.

Предстоящая речь Луначарского, по-видимому, волновала некоторые правительственные круги во Франции, но после ряда переговоров решено было, что Луначарский выступит на приеме у министра народного просвещения. Этот пост занимал тогда Эдуард Эррио, крупнейший политический деятель Франции и старый знакомый Анатолия Васильевича. Они познакомились за несколько лет до мировой войны в Лионе, где Эррио в качестве мэра города принимал группу иностранных журналистов и в их числе Луначарского — вице-председателя союза парламентских журналистов в Париже.

В честь Марселена Бертело премьер-министр устроил большой прием в Версальском дворце. На приеме наш поверенный в делах передал Анатолию Васильевичу слухи, что правые члены кабинета интригуют, стараясь под каким-либо предлогом не допустить публичного выступления советского народного комиссара.

При прощании Эррио наклонился к Анатолию Васильевичу и сказал ему что-то шепотом. Сейчас же защелкали аппараты фото- и кинорепортеров; этот интимный разговор обратил на себя внимание присутствующих.

Когда мы вернулись в город, Анатолий Васильевич сказал мне: «Нам нужно минут пятнадцать посидеть в кафе напротив театра «Одеон», мы там оставим машину (машина была с советским флагом и буквами C. D. — corps diplomatique), перейдем улицу и подойдем к букинистическим лавкам за «Одеоном». Я должен встретиться здесь с Эррио, он хочет о чем-то договориться со мной без свидетелей».

Вскоре мы подошли к магазинчикам, ларькам, столам букинистов, густо облепивших заднюю стену театрального здания, как ракушки дно корабля. Спускались сумерки, сквозь туман виднелись силуэты людей, склонившихся над книгами. Большой, приметной фигуры Эррио не было видно. Зато в одном из магазинчиков Анатолий Васильевич заметил первое прижизненное издание «Сида» Корнеля и стал мне показывать дату выхода книги и заставки. Почувствовав знатока, хозяин показал ему «Исповедь» Руссо с замечательными иллюстрациями. «Совсем недорого, исключительный случай».

Вдруг мы услышали знакомый раскатистый голос одного из самых красноречивых ораторов Франции; мы обернулись: в двух шагах от нас у соседней лавочки стоял Эррио и громко восхищался какой-то старинной гравюрой.

После рукопожатий и теплых приветствий Луначарский и Эррио отошли в сторону, предоставив мне возможность рыться в старых книгах. Они быстро и легко договорились относительно порядка выступления на приеме в министерстве просвещения и вместе вернулись к прилавку.

«Не правда ли, cher maître, я выбрал романтическое место для нашего свидания? — говорил Эррио, всматриваясь все в ту же гравюру. — Как я люблю все это и никогда не бываю здесь — нет времени. Вот отойду от политики и ежедневно буду наведываться сюда». «Вы отойдете от политики? Разве это возможно?» — смеясь, заметил Луначарский. «Совершенно невозможно ни вам, ни мне, — также смеясь, отвечал Эррио. — А вот эта гравюра останется мне на память о нашем свидании в сумерки у доброго старого «Одеона».

Он взял меня под руку. «Пусть агенты сообщат куда полагается, что у Эррио была условленная встреча с молодой дамой в черном пальто, а этот незнакомый господин в очках с бородкой просто тут же выбирал книги». Он хохотал от души.

В Луначарском-читателе поражало его исключительное умение сосредоточиваться. Среди шума, разговоров, в присутствии посторонних людей он мог, если это было нужно, читать и запоминать самые сложные вещи. Его ничто не отвлекало, для него не существовало помех, если он был захвачен работой.

Когда я пыталась «навести порядок» дома — в часы занятий Анатолия Васильевича выключала радио, не позволяла играть на рояле, громко разговаривать в соседних комнатах и т. п.,— он всегда останавливал меня: «Мне это ничуть не мешает. Напротив, мне приятно читать серьезные вещи и слышать, что кругом жизнь, музыка, смех, голоса...» Думаю, что в этом была не только любезность по отношению к домашним, но и действительно присущее ему умение концентрироваться.

В Париже Анатолий Васильевич любил прочитывать десятки газет за столиком в кафе. Шум, движение, музыка, пестрая толпа ничуть ему не мешали.

Мне эта привычка доставляла много огорчений: Париж кишел белогвардейцами, внешность Анатолия Васильевича благодаря постоянным фото в газетах всех направлений была широко известна, и я боялась хулиганской выходки или террористического акта, но бороться с этой долголетней привычкой Анатолия Васильевича было нелегко. «Сколько бы я ни выписывал и ни покупал газет, а такого выбора, как здесь, не может быть ни дома, ни в отеле. Да, научную литературу, беллетристику лучше читать в другой обстановке, не спорю... Но газеты — только в кафе»,— повторял он, перелистывая огромные простыни газет на полированных палках. «Не забывай, я старый парижанин. Когда я жил здесь в эмиграции, я даже корреспонденцию получал на «Кафе Сантраль».— «Но тогда это было по крайней мере безопасно!»

Мне так и не удавалось переубедить Анатолия Васильевича. Видя, что я огорчена, он старался отвлечь мое внимание: «Ну разве тебе не интересно наблюдать за публикой в кафе? Вот гарсон принес старику с розеткой Почетного легиона в петлице вермут и газету. Наверно, он читает «Фигаро». Ну конечно, я угадал! А этот интеллигент с желчным лицом и несвежей рубашкой должен читать «Энтрансижан»; посмотри, мне не видно. «Энтрансижан», я был прав. Скажи мне, кто ты, и я скажу, что ты читаешь»,— перефразировал он поговорку.

Луначарский говорил и читал на многих европейских языках, к которым за последние месяцы его жизни в связи с назначением его послом в Мадрид прибавился испанский. Знание латыни, французского и итальянского облегчало ему изучение испанского языка. На его ночном столике появились испанские словари, учебники, он прочитывал ежедневно две-три испанские газеты и читал роман Мадарьяги, поднесенный ему автором, в подлиннике.

Осенью 1933 года Анатолий Васильевич лечился в клиническом санатории в Париже, помещавшемся на одной из тихих улиц в районе Пасси. Он уже почти не вставал с постели. Изредка врачи разрешали ему недолгую прогулку в машине. По утрам я выходила к большому газетному киоску, в нескольких кварталах от нашего санатория, и покупала ему ежедневный «рацион прессы», как он выражался: «Правду», «Известия», «Юманите», «Матэн», «Таймс», «Морнинг пост», «Фигаро», «Секоло», «Газетта ди Рома», «АВС», «Фоссише цайтунг», «Винер цайтунг», «Журналь де Женев», «Бунд», эмигрантскую немецкую «Паризер тагеблатт», сатирические листки «Гренгуар» и т. д.

Через несколько дней владелица киоска издали приветливо кивала мне и отпускала газеты вне очереди, очевидно в качестве привилегии для оптовой покупательницы. Еще через некоторое время она сказала: «Мадам, вы, очевидно, управляющая каким-нибудь большим пансионом для иностранцев. Напишите на бланке вашего пансиона список нужных вам газет — я думаю, что смогу устроить вам скидку». — «Вы ошибаетесь, я не имею отношения ни к какому пансиону».— «Но в таком случае я не понимаю, зачем вам газеты на семи языках?» — «Для моего мужа». Она вытаращила глаза. «Для

вашего мужа? О, мадам... Значит, ваш муж самый образованный человек, о котором я когда-либо слышала».— «Возможно. С этим я не стану спорить».

По своей натуре Луначарский меньше всего был чисто «кабинетным» ученым.

Когда сердечная болезнь уже заметно подточила его силы, он сердился на врачей, советовавших ему отказаться от лекций и публичных выступлений, государственной и политической деятельности и заняться исключительно научным и литературным трудом. «Как я могу провести такой водораздел в своей работе? Чепуха! Из меня нельзя сделать библиотечной крысы! Я не Вагнер из гётевского «Фауста».

Его знакомство с новыми книгами всегда перекликалось с жизнью, наталкивало на активные действия.

В 1929 году Анатолию Васильевичу прислали новые переводы на немецкий язык Шандора Петефи, и у него возникло желание познакомить с великим венгерским поэтом советского читателя. Он так зажегся этой мыслью, что в течение шести дней, когда он болел гриппом, пользуясь подстрочником и несколькими немецкими переводами, написал большую статью о Петефи и перевел лучшие из его стихов. Сборник стихов Петефи в переводе Луначарского имел большой успех в Союзе и был высоко оценен венгерской и немецкой печатью.

Прочитав пьесы Штуккена, Луначарский был настолько увлечен немецким драматургом, что сам перевел и обработал его «Свадьбу Адриана ван Броуэра», которая шла в московских и ленинградских театрах под названием «Бархат и лохмотья».

В ноябре 1932 года в Германии широко и торжественно отмечалось семидесятилетие Гергардта Гауптмана. К этим юбилейным дням Макс Рейнгардт поставил в своем театре новую пьесу юбиляра «Перед заходом солнца». Спектакль прозвучал очень веско и драматично. Политические события в Германии, близкая и реальная угроза фашизма, упорные слухи об автобиографичности пьесы заставили следить за всеми перипетиями драмы с напряженным вниманием. Исполнитель главной роли — Матиаса Клаузена — Вернер Краус воплотил образ умного, сильного человека, современного Лира, с необычайной правдивостью.

Возвращаясь домой под впечатлением спектакля, Анатолий Васильевич сказал: «То, что мы видели сегодня вечером, настолько захватывает, что я боюсь довериться только спектаклю. Чтобы судить о пьесе, я должен прочесть ее». На другой день Анатолию Васильевичу прислали экземпляр пьесы, и он тут же, не отрываясь, прочитал все пять актов. Закончив чтение, он сказал: «Да, это действительно большое явление в театре. Невольно вспоминаешь раннюю пьесу Гауптмана «Перед восходом солнца». И, сделав несколько коротких карандашных заметок, он вызвал стенографистку и начал диктовать.

Вскоре позвонили из нашего посольства и просили передать Луначарскому, что машина, которая должна отвезти его в клинику на операцию, уже ждет его у подъезда. «Я сейчас кончу»,— сказал Анатолий Васильевич и продолжал диктовать. Меня поразило его присутствие духа. Через несколько минут я услышала, как он увлеченно и страстно произнес последние слова статьи: «И, как бы ни покрывала буржуазия своими похвалами... Гауптмана, мы, не имея, к сожалению, возможности сказать о нем: «Он наш!» — имеем полную возможность крикнуть ей: «Вы лжете, он — не ваш».

«Иду, иду, надеваю пальто...» В таких условиях была создана статья «Перед восходом и заходом солнца», которую критика называет маленьким шедевром исторического анализа. Впоследствии я перевела эту пьесу под редакцией Анатолия Васильевича, и Гауптман авторизовал мой перевод.

Щедро, от всего сердца делиться тем, что казалось ему талантливым, интересным, нужным, было как-то органически свойственно Луначарскому.

Читая произведения молодых советских писателей, Луначарский не пропускал мимо своего внимания того, в чем он чувствовал хотя бы задатки настоящего дарования.

Не буду говорить здесь о его отношении к Маяковскому: это широко известно, об этом писали очень многие, и я также в своих воспоминаниях написала о любовном и вместе с тем взыскательном внимании Луначарского к Владимиру Маяковскому.

В начале двадцатых годов появились свежие, непосредственные, самобытные стихи комсомольских поэтов: Безыменского, Уткина, Жарова; и вскоре трое юношей стали частыми гостями в доме Анатолия Васильевича. Когда они впервые появились в его кабинете, после беседы, чтения стихов Анатолий Васильевич, радостный, оживленный, вышел из своей комнаты: «Бросай все и приходи послушать! Как талантливо!»

Общеизвестно, какую помощь в качестве наркома, критика, старшего друга Анатолий Васильевич оказывал молодым писателям.

В начале 1923 года Сибирь, недавно освобожденная от колчаковщины, была еще «белым пятном» для москвичей, где-то за тридевять земель от Центральной России. В столице знали смутно, понаслышке, что в Новониколаевске (Новосибирске) организовалась группа одаренных прозаиков, поэтов, критиков, объединившихся вокруг журнала «Сибирские огни». Но ни их лично, ни их произведений в Москве не знали.

Луначарский один из первых среди членов правительства посетил Сибирь. Мы выехали из Москвы в чудесную весеннюю погоду в легких пальто, а встречавшие нас в Новониколаевске сибиряки были в пимах, ушанках, закутанные в тяжелые меховые шубы. Немудрено, что в таком «оформлении» Анатолий Васильевич писательницу Лидию Николаевну Сейфуллину принял за мальчика. Местные люди, знакомя их, шепнули: «Наша гордость. Настоящий талант». Анатолий Васильевич от души пожал руку миниатюрному существу в меховой дохе и нахлобученной ушанке, из-под которой видны были только большие темные глаза и задорный круглый нос. Вечером Луначарский спросил у предревкома: «Вы знакомы с молодым татарским писателем Сейфуллиным?» «Нет, никогда не слыхал».— «Странно. А я слышал о нем хорошие отзывы, говорят, способный. парнишка. У него есть какой-то роман о малолетних правонарушителях». Предревкома расхохотался: «Ах, если «Правонарушители», я знаю, о ком вы спрашиваете. Это не молодой татарский писатель, а молодая русская писательница — Лидия Сейфуллина».

Позднее в Москве, приходя к Анатолию Васильевичу, Сейфуллина спрашивала: «К вам молодой татарский писатель. Можно войти парнишке?»

Всю дальнейшую поездку по Сибири Анатолий Васильевич с увлечением читал «Сибирские огни» и отдельные книжки писателей-сибиряков. Он часто повторял стихи уже пожилого поэта-геолога, прошедшего вдоль и поперек самые глухие таежные места Сибири: «От твоей юрты до моей юрты горностая следы на снегу. Навестить меня обещала ты, я дождаться тебя не могу».

Открыв для себя талантливых сибиряков, Луначарский многое сделал, чтобы познакомить читающую публику нашей страны с этой группой писателей. Сейфуллиной он помог обосноваться в Москве и рекомендовал Театру имени Вахтангова ее «Виринею», имевшую большой и прочный успех.

Начав читать про себя «Записки из города Гогулева» Л. Леонова, он после первых страниц прервал чтение, пригласил близких послушать и прочел вслух всю повесть; а через некоторое время к нам домой пришел юный синеглазый автор, к которому Анатолий Васильевич сохранил до конца своей жизни интерес и уважение.

«Зависть» Ю. Олеши доставила ему настоящую, бурную радость. Под впечатлением этой повести он напевал на мотив перезвона колоколов: «Том-вир-лир-ли, Том с котомкой, Том-вир-лир-ли молодой». Инсценировку этой повести в Театре имени Вахтангова он искренне и горячо поддерживал.

Все новое, талантливое в любой области искусства, особенно в литературе, Луначарский воспринимал как залог роста нашей культуры, как приближение счастливого будущего.

Перечислить такие «радости» невозможно. Не могу не упомянуть «Время вперед!» В. Катаева, «Неделю» Ю. Либединского, «Разгром» А. Фадеева, «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого, стихи М. Светлова.

По всему складу своей натуры Анатолий Васильевич был склонен останавливаться на положительных явлениях Он вообще неохотно ругал, хотя в случае необходимости ругал энергично; однако если в литературном произведении бывала хоть искорка дарования, он именно на этой искорке останавливал свое внимание и готов был помогать росту и совершенствованию автора.

Я припоминаю буквально два-три случая, когда Луначарский с досадой захлопывал книгу, отказывался читать дальше. Так произошло с популярным в свое время романом Калинникова «Мощи». Анатолия Васильевича коробила в этой книге грубость и примитивность антиклерикальной агитки и не менее грубая эротичность Другой случай произошел во время болезни Анатолия Васильевича: я читала ему вслух сенсационную вещь французского писателя Альбера Лондра о торговле «белыми рабынями». Мы дошли до главы, где описано, как агенты-скупщики рыщут по нищим городкам Польши и Румынии и задешево скупают юных девушек из бедных семейств для продажи их в дома терпимости в Южную Америку. Анатолий Васильевич внезапно прервал меня: «Не надо! Я не хочу слушать! Все это слишком гнусно!»

Вообще в последний год своей жизни он стал строже и требовательнее в выборе чтения. Он сказал как-то, решительно отодвигая рукопись пьесы, присланной ему автором: «Не знаю, много ли мне отпущено времени. Я не могу тратить время и силы на подобные ремесленные поделки».

За исключением этих трех эпизодов я не могу припомнить аналогичных случаев. Обычно любую начатую книгу он внимательно прочитывал до конца.

У меня хранятся книги с надписями на полях, сделанными рукой Анатолия Васильевича. Иногда он подчеркивал целые абзацы, иногда выделял одну фразу, даже слово. Случалось, он ставил большой вопросительный знак, нота бене (NB) или несколько восклицательных знаков.

Почти все эти надписи сделаны карандашом, очень неразборчиво, многие слова сокращены. Мне кажется, что для литературоведов они могут представить большой интерес как живое, непосредственное высказывание Луначарского тут же, под свежим впечатлением прочитанного.

Луначарский замечательно читал вслух. Особенно мастерски он читал драматические произведения. Я часто слышала отзывы отличных актеров, которые утверждали, что в нем театр потерял крупного артиста.

Меня поражало умение Анатолия Васильевича придавать каждому действующему лицу характерные черты, меняя тембр голоса, ритм, акценты. Он мог читать сцену, в которой участвовало семь-восемь человек, и обозначать каждое действующее лицо только интонациями, не называя имен.

Однажды в гостях у Шаляпина в присутствии Горького Анатолия Васильевича уговорили прочитать «Моцарта и Сальери» Пушкина, и после этого чтения Горький со слезами на глазах расцеловал его, повторяя: «Нет, Федор, не обижайся, но у тебя так не получится».

Когда у нас собирались друзья, Анатолий Васильевич охотно читал вслух. Его любимые классические вещи для такого чтения были: «Маленькие драмы» Пушкина, лермонтовская «Тамань», особенно «Мороз, Красный Нос» Некрасова. Из советских авторов он любил читать «Про это» Маяковского, «Песню о ветре» Луговского, «Гренаду» Светлова и особенно вдохновенно «Думу про Опанаса» Багрицкого. Мне приходилось слушать разных исполнителей этой вещи, но по музыкальности, темпераменту, романтике образов никто не мог с ним сравниться. Как жаль, что Багрицкому не пришлось услышать свою «Думу про Опанаса», исполненную Луначарским.

В редкие свободные вечера в Москве, чаще во время служебных поездок по Союзу и за рубежом, во время лечения на различных курортах Анатолий Васильевич любил читать мне вслух, а я еще больше любила слушать его. Случалось, что, когда позднее я перечитывала одна вещи, с которыми познакомилась, слушая Анатолия Васильевича, я испытывала разочарование, так как, читая, он умел подчеркнуть все самое интересное и ценное в художественном произведении.

Кроме умения читать, Луначарский так же хорошо умел слушать. Многие известные, а иной раз начинающие драматурги приходили домой к Анатолию Васильевичу и читали свои пьесы. После чтения обычно обменивались впечатлениями, иногда спорили, подчас во время споров страсти разгорались. Анатолий Васильевич удивительно точно запоминал любой штрих и, анализируя пьесу, поражал автора и всех присутствующих верностью цитат.

При всей своей доброжелательности он был чрезвычайно правдив, подчас даже резок. Вспоминаю, как, выслушав сатирическую комедию Николая Эрдмана «Самоубийца», после того как он смеялся чуть не до слез, он резюмировал, обняв Николая Робертовича за плечи: «Остро, занятно... но ставить не следует». И к этим словам ничего не добавил.

Иные редакторы, режиссеры говорят: «Я должен художественное произведение прочитать своими глазами. Я не воспринимаю на слух». А Луначарский великолепно воспринимал «на слух». У нас дома читали свои пьесы Б. Ромашов, А. Афиногенов. В Киршон, И. Сельвинский, А. Глоба, А. Глебов, М. С. Нароков, Д. Чижевский, С. Амаглобели и многие, многие другие. Я описала подробно в воспоминаниях о Маяковском чтение поэмы «Ленин».

Когда авторы предлагали Анатолию Васильевичу прочитать свою пьесу у него дома, он охотно соглашался и при всей своей огромной загруженности всегда находил свободный вечер, иногда очень поздний вечер, чтобы не только самому прослушать пьесу, но дать возможность режиссерам, актерам, критикам познакомиться с ней.

Способность Луначарского не только воспринимать, но и запоминать услышанное сыграла большую положительную роль во время его глазной болезни. Врачи не запрещали ему читать, но предупреждали, что ему опасно переутомлять зрение. Если бы не умение слушать, это ограничение было бы для него огромным лишением, но он установил такой порядок: при дневном свете, сидя у стола, он читал сам, а по вечерам или когда из-за больного сердца ему приходилось оставаться в постели, я или кто-нибудь другой из близких читали ему вслух. Изредка он прерывал, просил повторить, иногда делал короткие заметки в блокноте. Таким образом даже больной глаз не лишил его возможности продолжать свою писательскую и научную деятельность.

Жизнь Анатолия Васильевича прервалась слишком рано — ему едва исполнилось пятьдесят восемь лет. Он до конца сохранил свою огромную работоспособность, яркую эмоциональность, точную память, интерес и любовь к жизни и людям.

Анатолий Васильевич любил повторять изречение из корана: «Человек, вырастивший дерево или написавший книгу, не умирает до конца».

Луначарский многое сделал, чтобы помочь вырастить новую смену советских людей: он написал много хороших книг.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МАРЬЯМОВ

★

СНАРЯЖЕНИЕ В ПОХОДЕ

(О романе В. Кочетова «Секретарь обкома»)

С Василием Антоновичем Денисовым, первым секретарем Старгородского областного комитета КПСС, нас познакомил новый роман Всеволода Кочетова «Секретарь обкома». Этот роман явился одной из попыток откликнуться на значительную и ответственную тему, рожденную нашей действительностью. «Руководитель нового типа» — так В. Кочетов устами одного из персонажей своей новой книги рекомендует ее главного героя. И именно потому, что столь ответственна задача, поставленная писателем перед собою, именно потому, что книгой своей он пытается ответить на пытливые и вдумчивые вопросы читателей, следует разобраться в этом романе со всей обстоятельностью и серьезностью. Чем крупнее задача, тем необходимее высокое совершенство в ее решении и тем более выверенными и убедительными должны быть предлагаемые ответы. Это относится ко всем областям жизни. В искусстве же речь должна идти о художественном совершенстве и о неотделимой от него идейной ясности.

В своих выступлениях В. Кочетов, однако, силился разделить неразделимое. «Язык, композиция, мастерство изложения — дело наживное»,— говорил он в предисловии к роману И. Мельниченко «Пока ты молод», рекомендуя эту книгу читателю и не замечая того, что плохой язык, беспомощная композиция и отсутствие мастерства и в этой книге неотделимы от самых серьезных идейных просчетов. Вот и в новом романе В. Кочетова есть среди действующих лиц писатель Евгений Баксанов, провозглашающий тот же знакомый тезис.

В одной из глав романа автор пересказывает воспоминания Баксанова: «Один литературный сноб сказал ему, было: «Излишне спешите, дорогой товариш Баксанов! За жизнью все равно никто из литераторов не угонится. Служенье муз, как всех нас учит Пушкин, не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Нельзя, знаете, писать по тому принципу, какого придерживаются иные повара: за вкус не ручаюсь, а горячо будет».— «Извините,— ответил Баксанов.— Я воевал и сейчас воюю. Я не гурман, а солдат, и по себе знаю, что в боевой обстановке кружка кипятку, вот этой самой горячей, клокочущей воды, дороже самых изысканных яств. Извините. Вы устроились у литературного камина, заложив нога за ногу и подставив огню подошвы домашних туфель. А я в походе».

Писатель Баксанов развивает ту же тему в беседе с архитектором Забелиным. Архитектор говорит: «А вот я слыхал.. один высказывался... Имени его не назову, это не столь существенно. Старгородский поэт один. Он говорил так: беда нашей литературы в том, что у нас пишут, не рассчитывая на века, пишут, рассчитывая на сегодняшнего читателя. Это верно?»

Конечно, мысль неназванного «старгородского поэта» глубоко неверна, и спорить с нею несложно. Трудно представить себе настоящего художника, который сознательно отвернулся бы от «сегодняшнего читателя», подчинив свое творчество абстрактному расчету «на века». Но Баксанов возражает серьезно: «...В общем-то, Николай Гаврилович, меня бессмертие мало волнует. Меня больше волнует, как я выполняю свой сегодняшний гражданский долг, есть ли польза

от моего труда сегодня... Маяковский сказал: «Умри, мой стих, умри, как рядовой!» Пусть и мои романы гибнут в бою, как рядовые. Лишь бы они сражались».

Эти мысли и слова Баксанова очень характерны. Если вчитаться в них со вниманием, нетрудно заметить, что, говоря о походе, Баксанов не вникает в самую суть старого символа, а, цитируя строку Маяковского, обходит ее главный смысл. Ведь чтобы с пользой занять свое место в походе, надобно быть к этому наилучшим образом подготовленным и снаряженным (завернуть портянки и то нужно умеючи), а чтобы по праву сказать о «солдатской смерти» стиха или романа, необходимо рассматривать литературное произведение как грозное, то есть совершенное и всегда готовое к бою оружие. Мысль же о том, что мастерство «дело наживное»,— это признак пренебрежения к своему оружию, забвения основных правил похода и боя. Продолжая ту же аналогию, можно припомнить не один пример того, как в боевой обстановке нечищеное, запущенное оружие, вместо того чтобы поражать цель, увечило стреляющего. А ведь и от нерадивого солдата можно было услышать порой: «До того ли? Некогда. Мы в походе!»

Пренебрежение к мастерству обосновывается у Баксанова стремлением торопиться, поспевать за событиями. Это стремление хорошее. Но и торопясь, не следует жертвовать — спешки ради — глубиной и серьезным изучением описываемой действительности и мастерством ее художественного отражения. Однако о результатах, достигнутых Баксановым в его творчестве, читателю судить трудно.

Портрет прозаика написан скупо: «Жизнерадостный толстяк, очень хорошо выступающий на партийных конференциях, на больших областных собраниях, на совещаниях и слетах».

Что же касается литературной деятельности Баксанова, то мы узнаем о ней, когда Баксанов водит секретаря обкома Денисова по вновь открытому клубу старгородской художественной интеллигенции. Тут представлены «два романа, четыре повести и две пьесы», написанные Баксановым. Цифровой перечень и упомянутое заглавие одного из романов («Половодье») исчерпывают наши представления о нем как о художнике.

Денисов, листая на ходу его книги, говорит: «Это неплохо, неплохо».

По описанию можно предположить, что книги эти Денисов увидел впервые, и его одобрение могло относиться разве что к иллюстрациям, если они там были.

Хотя в одной из глав о Баксанове говорится определенно как о писателе, приверженном к деревенской теме, сумма разбросанных по всему роману деталей показывает его как человека, отнюдь не наполненного накопленным материалом, не одержимого, подобно всякому истинному художнику, своей темой. Баксанов готов приняться за любой материал, подаренный ему случаем. Побыл он с архитектором Забелиным в селе Заборовье — и вот уже собирается писать «о старом архитекторе, который обрел вторую молодость, попав случайно в условия, подобные тем, что были в Заборовье». Услышал от директора музея Черногуса историю советского дипломата, приехавшего в Иран в первые годы советской власти,— и уже предыдущие замыслы отложены: Баксанов принимается за книгу об этом дипломате и собирается хлопотать о командировке в Тегеран, чтобы посмотреть, «где там эти Зергендэ и парк Атабек Азама». Открылся в Старгороде народный театр — и вот срочно «вскипает» пьеса, на этот раз неизвестно о чем, только бы мы убедились в мобильности Баксанова. Так — в виде вечной погони писателя за «материалом» — представляют себе природу литературного творчества иные желающие попасть в литературу, но далекие от нее люди.

Вряд ли достойна поощрения и та склонность к живописанию с натуры отдельных лиц (прямо из жизни, да и в роман; когда портретом, а когда и карикатурой), какую проявляет Евгений Баксанов. Не зря Л. Н. Толстой горячо открещивался от подозрений, будто бы в его романах могут быть узнаваемы живые прототипы. В статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой писал: «Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо; в особенности потому, что та литературная деятельность, которая состоит в описывании действительно существующих или существовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я занимался». В письме к Л. Н. Волконской он повторял то же самое еще энергичнее: «Я бы

стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить».

Русская литература знает много художественных жизнеописаний, литературных портретов и автопортретов — от пушкинского Пугачева до фурмановского Чапаева, от автобиографических книг Короленко и Горького до романа Николая Островского. Сам Толстой изображал Наполеона и Кутузова под их собственными именами, и отнюдь не этот род литературы имел он в виду. Он говорит о сходстве, которое могло бы быть узнаваемо в узком кругу «посвященных», о намеках и полунамеках на черты и поступки лиц, про которых «говорят в свете». Речь идет о том же, что имел в виду Иван Александрович Хлестаков в письме к другу своему душе-Тряпичкину, когда, рассказывая о новых своих уездных знакомцах, замечал: «Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу». От такой именно литературы тряпичкинского толка, рассчитанной на «любознательных» читателей, которые пытаются во что бы то ни стало установить, кого из своих знакомых вывел автор в лице того или иного персонажа, и открещивался с такой горячностью Л. Н. Толстой.

Впрочем, как ни трудно судить по роману о характере творчества Баксанова, но высказываемые им мысли о литературе, несомненно, совпадают с мыслями, не раз высказанными самим автором книги. В том числе и противопоставление пылких слов насчет «этой самой горячей, клокочущей» воды пушкинскому утверждению о том, что «служенье муз не терпит суеты». Однако слишком часто новый роман В. Кочетова доказывает неправоту мыслей и рецептов, предлагаемых Баксановым Торопливость в решении большой и сложной темы, к великому сожалению, влечет за собой то, что тема эта решается чаще всего поверхностно, приблизительно. Главная суть перемен, о которых хотел бы рассказать своим читателям автор, остается неувиденной.

В облике героя романа Василия Антоновича Денисова отсутствует наиболее существенная, наиболее покоряющая и радующая черта, какую наблюдаем мы у таких людей в жизни. Им непременно свойственно самое глубокое (не только теоретическое, но и практическое) знание порученного им дела во всех его чрезвычайно разнообразных проявлениях. В последние годы партийная работа стала огромной школой народного опыта, и этот опыт, во всей его конкретности, вбирает в себя руководитель, с тем чтобы передавать его людям и уметь применить лучшее в нужных условиях.

Кругозор Денисова, судя по тому, каким предстает он в романе, ограничен истинами, наспех почерпнутыми из самых общедоступных и кратких источников. Дела Денисова показаны с чрезвычайной приблизительностью. В описаниях его поступков и высказанных им словах суть дела всегда отсутствует.

На самой первой странице романа, встретившись на заседании бюро обкома с секретарем обкома комсомола Сережей Петровичевым, Денисов обещает ему «рассказать что-то очень интересное о комсомольцах». Но так и не удается нам узнать, что же именно «очень интересное» хотел рассказать о комсомольцах Денисов, как не узнаем мы, что же происходило на упомянутом заседании бюро.

Вообще эта смутно неопределенная форма — «что-то» сказал, «нечто» совершил, «как-то» поступил — чересчур часто вытесняет из романа реальное раскрытие слов и действий.

Чрезвычайно невнятным становится смысл разговора, когда речь заходит о том, как колхозы области покупают технику, принадлежавшую машинно-тракторным станциям. А ведь это должно быть для Денисова насущно важно, и в жизни решениям этого вопроса на местах сопутствовало немало раздумий.

Говорится о том, что Денисов и все бюро обкома готовятся к сообщению о весеннем севе на Бюро ЦК по Российской Федерации И снова суть дела заменяется самыми общими местами, а затем, когда сообщение уже сделано, мы слышим реплику Артамонова (секретаря соседнего — Высокогорского — обкома), выходящего вместе с Денисовым: «Неплохой доклад, сосед, сделал. Мысли интересные». Но что же это были за мысли? Этого автор так и не раскрывает.

Наконец, Денисов собирается выступать на Пленуме ЦК. В Москве, в гостиничном номере, он обсуждает со старгородцами черновик своего выступления. «Самое интересное у вас в выступлении, Василий Антонович,— сказал секретарь райкома,— это вопрос партийной работы. Если разовьете эту часть, будет и все интересно.

Вы совершенно правы. Партийную работу надо развертывать шире... Народ очень растет. А значит, и кое-что новое вносить в партийную работу приспело время».

Снова неопределенное «кое-что». Но что же именно?

Затем мы узнаем, что «выступление Василия Антоновича вызвало большой интерес». Тот же Артамонов считает, что Денисов «немножко переложил в вопросах партийной работы». А одного из секретарей ЦК мысли Денисова так заинтересовали, что он пригласил его к себе на беседу и тоже сказал: «Вы интересно рассуждали о партийных комитетах на селе». Но что же было сказано в этом выступлении, кроме единственной — бесспорной, но не слишком ли общей — мысли о том, что «партийную работу надо развертывать шире»? Вряд ли эта мысль сама по себе могла бы так заинтересовать секретаря ЦК.

Вот строчки, которые написаны, видимо, для того, чтобы показать, как занят своим делом Денисов, даже возвратившись из обкома домой: «...звонил обкомовский телефон. Василий Антонович уходил в кабинет, разговаривал с кем-то, кому-то что-то советовал, кого-то довольно раздраженно отчитал».

Автор хочет убедить читателя, что его герой близок к народу. Но вместо художественного раскрытия этого тезиса мы вынуждены удовлетворяться декларацией: «Василий Антонович любил разговоры с людьми. Это были крутые разговоры, без дипломатических увертох, прямые, открытые. Ты открой свою душу, и перед тобой душу откроют». А дойдет дело до самого разговора, и не увидим мы в нем ни крутости, ни прямоты, ни душевности.

Любимые Денисовым разговоры «с людьми» звучат так:

«— Культуры хотят люди»,— замечает Денисов колхозным руководителям.

Парторг отвечает:

«— Культуру можно строить только на крепкой материальной базе».

Денисов спрашивает:

«— Вот коммунизм — как вы его мыслите, товарищ председатель и товарищ парторг колхоза?»

На этот раз откликается председатель:

«— От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Чтобы читатель не забыл, что это беседа живых людей, председатель при этих словах «повертел на блюдце стакан с остывшим чаем». А Денисов не удовлетворился, он потребовал ответа и от парторга:

«— А вы, товарищ Лисицын, как думаете?

— Да так же, как Иван Савельевич».

Для чего же понадобился Денисову весь этот разговор? А для того только, чтобы (хотя ни председатель, ни парторг о «материальном» ровно ничего не говорили) уточнить:

«— Вы правильно оба думаете, но потребности ведь мыслятся для человека не только в материальном».

Нам говорят о душевности и прямоте, а читаем мы лишь самые общие места. Их произносит Денисов, и в ответ ему такие же фразы произносят его собеседники. Даже дома в беседе с женой Василий Антонович не изменяет себе.

«— Настоящее, оно фундамент будущего»,— изрекает он.

«— Ты и прав и неправ, Вася»,— откликается жена.

И наконец, место, где Денисов высказывается несколько подробнее и конкретнее, чем обычно. Он говорит о кукурузе. Надо полагать, что это для него проблема весьма существенная. Оказывается, однако, что он способен в связи с этой проблемой изложить лишь краткий набор самых первоначальных, самых элементарных сведений. «Отличная культура для силоса,— говорит Денисов.— И массу большую дает с гектара, больше, чем что-либо иное, и питательность имеет высокую. С подсолнечником, со всякими ботвами картофельными не сравнишь».

Стоит отметить между прочим, что человек, мало-мальски соприкоснувшийся с сельским хозяйством, несомненно знал бы, что слово «ботва» — существительное собирательное и множественного числа не имеет. Но важнее другое: вся реплика неотразимо свидетельствует, что круг познаний Денисова о кукурузе сформирован с помощью самой тощей популярной брошюры. И все же произнесенных Денисовым слов достаточно, чтобы жена его, София Павловна, умиленно воскликнула: «Я тебя слушаю, Вася, каждый раз — ты же постепенно агрономом становишься. Инженер! Химик! И вдруг!..»

В годы, прошедшие между XX и XXII съездами КПСС, мы не раз читали стенограммы выступлений партийных руководителей на многочисленных всесоюзных, зональных и областных совещаниях, где обсуждались

вопросы сельского хозяйства. В этих выступлениях тщательно разбирался опыт передовых колхозов и совхозов, сопоставлялись различные методы агротехники, пересматривались научные принципы, казавшиеся незыблемыми и неприкасаемыми. И если бы мы поинтересовались биографиями выступающих, то во многих случаях столкнулись бы с тем фактом, что столь основательные агрономические знания самостоятельно накоплены людьми, получившими образование в Промышленной академии, в технических вузах, в Высшей партийной школе.

И эти примеры подлинно глубокого и всеохватывающего знания дела повседневно воспитывают партийных руководителей всех звеньев — от секретарей колхозных организаций до партийных работников областного, республиканского и всесоюзного масштаба. У Денисова мы глубоких знаний не видим и поэтому не можем разделить умиление Софии Павловны: роман не показывает нам ее мужа ни знающим инженером-химиком, ни потенциальным знатоком существа агрономических вопросов, ни человеком, по-хозяйски вникающим во всю сумму разнообразных экономических проблем Старгородской области. Упоминания о том, что Денисов занят решением вопросов, связанных с магнитной аномалией, обнаруженной на территории области, с перспективным планированием культурного развития, с опытом перестройки села Заборовье, даны так же вскользь, в самых общих чертах, без какой-либо попытки раскрыть существо дела. Тому, что более глубокое проникновение в возникающие проблемы доступно Денисову, автор призывает поверить на слово. Но посылки его остаются неубедительными. Напротив, всякий раз, когда он отказывается от фигуры умолчания и пытается раскрыть содержание того, что обычно скрыто за словами «что-то» и «нечто» (а подобные попытки встречаются в романе очень нечасто), мы испытываем такое же разочарование, какое рождает упомянутый монолог Денисова о кукурузе. Скупая конкретизация ни разу не поднимается выше начальных, общеизвестных истин и потому лишь подрывает веру в Денисова: подлинные черты нового не получают в его характере, поступках и размышлениях сколько-нибудь убедительного художественного раскрытия.

Несколько шире касается В. Кочетов в своем романе взаимоотношений обкома с художественной интеллигенцией области, в частности со старгородскими писателями. Но на этой теме мы остановимся несколько дальше. Сперва следует поговорить о другом, более существенном.

Рассматривая Денисова как тип нового руководителя, рожденный нашей действительностью, В. Кочетов противопоставляет ему антагониста, носителя старых отрицательных черт, старого стиля руководства. Это секретарь соседнего, Высокогорского, обкома Артамонов, окруживший себя в областном масштабе атмосферой культа собственной личности, подменяющий единоличным диктатом коллективную мысль членов бюро. Артамонов давит всякую попытку критики, возникающей снизу, рассыпает кары и милости, выговоры и квартиры, окружает себя послушными исполнителями и льстецами; благополучными рапортами он обманывает Центральный Комитет, добивается славы и высоких наград — до тех пор, пока не становятся явными действительные факты. Обнаруживается, что рапорты Артамонова представляют собою набор дутых цифр, что рост поголовья скота достигнут благодаря закупкам в соседних областях, что и поставки также выполняются маслом, купленным в магазинах (в том числе и в старгородских). «Передовая» область на деле оказывается отсталой и истощенной. Принцип «рапортовать во что бы то ни стало, остальное как-нибудь образуется» оказывается единственным принципом, положенным Артамоновым в основу руководства, и приводит его к неизбежному краху. По стечению обстоятельств Денисов одним из первых (речь идет о живущих за пределами Высокогорской области) видит печальные плоды деятельности Артамонова. После длительных колебаний и сомнений он сообщает о них в письме, адресованном Центральному Комитету, и в результате Денисова из Старгорода направляют в Высокогорск, рекомендуя на пост первого секретаря и поручая ему исправление всех тяжелых последствий артамоновского хозяйничанья.

Надо сказать, что фигура Артамонова написана в романе наиболее живо. Изображение его в домашней обстановке, беседа с Денисовым, ночная сцена в охотничьем домике, откуда Артамонов ведет руководящие телефонные разговоры с рай-

онными работниками, обладают несравненно большей достоверностью и конкретностью, чем туманно перечисленные дела Денисова. И, может быть, по этой причине — то есть потому, что Артамонов обладает жизнеподобием, а Денисов лишь прочерчен пунктиром и остается условной схемой, лишенной художественного наполнения,— они не воспринимаются как действительные антагонисты. Впрочем, нет. Есть тут еще одна, более веская и печальная причина.

Тема отношения Денисова к Артамонову возникает с самых первых страниц романа. И, читая слова, которые говорит Денисов о своем соседе, мы всякий раз убеждаемся в том, что главное чувство, испытываемое старгородским секретарем по отношению к высокогорскому коллеге,— это зависть. Не зависть в лучшем смысле, способная воодушевить на соревнование, способствовать работе мысли и рождению новых идей, но зависть самая банальная, несколько озлобленная и, хочется сказать, мелкая. Она сквозит в первом же импульсе Денисова, когда в одной из первых глав второй секретарь Лаврентьев предлагает ему пересечь областную границу и поглядеть, как идут дела у соседа.

Денисов, как пишет В. Кочетов, «не очень охотно» согласился на это предложение. «Как-то не хотелось навязывать себя преуспевающему соседу. Может ведь и не совсем правильно понять этот визит. Он ведь человек такой: к секретарям ЦК ходит запросто; надо и не надо, все равно ходит».

Желчновато звучит здесь эпитет «преуспевающий», а затем к нему присоединяется это самое «надо и не надо», и все вместе создает атмосферу ревнивого недружелюбия. И когда заходит речь о том, что у Артамонова все колхозы уже отсеялись и отрапортовали, Денисов думает опять-таки не о существе дела, не о том, полезен ли для старгородских (и высокогорских) земель сев именно в данные сроки или, быть может, стоило бы повременить, чтобы не было урожаю ущерба. А ведь только так и посмотрел бы рачительный хозяин на это сообщение. Разве мало известно нам случаев, когда даже при самых жестких требованиях — отсеяться поскорее, ни на что не взирая, и отрапортовать как можно раньше — местные руководители, учитывая конкретные условия данной весны, шли порою на риск, часто весьма серьезный, и оттягивали дни сева ради будущей пользы. Но не эту заботу видим мы у Денисова. Он ни во что не вникает. Его занимает лишь самый факт: высокогорцы отрапортовали, а старгородцы еще не смогли. «Значит, у нас слабина в организации дела».

И в другой раз Денисов так же ревниво размышляет об успехах соседа: «Артамонов взял цифрами, показателями, размахом. Артамонов много насеял, он собирается за один год чуть ли не в два раза увеличить поголовье крупного рогатого скота в области, почти в три раза превысить плановое задание по продаже колхозами мяса государству. Сообщение Артамонова,— так мысленно заключает Денисов,— было сообщением большого хозяина, отлично знающего, как и что надо делать». Снова Денисов завидует эффекту, не задумываясь над сутью. Но ведь это-то и есть скороспелый, поверхностный подход, присущий руководителю с т а р о г о типа.

Денисова от Артамонова отличает не столько стиль работы, не столько строй мышления, сколько заданные ему автором морально-этические качества. По авторскому замыслу, Денисов честен, а Артамонов способен переступить пределы честности. Денисов, хоть и с некоторыми колебаниями, но может отказаться от личных пристрастий и предубеждений (необоснованное покровительство «выходящему в тираж» фронтовому другу Суходолову, первоначальная неприязнь к Черногусу и Юлии, неприятное чувство, испытанное Денисовым к Владычину после его критического выступления на партийной конференции); Артамонов же в своих отношениях с людьми остается под властью глубоко личных побуждений. Но и Денисов и Артамонов — в масштабах своих областей — изображены «хозяевами» в том особом смысле, какой придавался этому слову десяток лет назад. Именно как такой «хозяин» Денисов считает себя вправе возить за собою хвост «своих людей» — от помощника Воробьева до директора крупного завода Суходолова.

Суходолову Денисов обязан спасением жизни на фронте. Это достойно благодарности, заслуживает прочных дружеских чувств. Но ведь Денисов свою благодарность переносит в иную сферу. Он считает

себя вправе платить покровительством, держать Суходолова на директорском посту и ставить завод под угрозу во имя личных отношений, вопреки справедливой критике, которая долго остается безрезультатной. Это не «ошибка» Денисова, как писал И. Шевцов в статье о романе. Это стиль руководства, и притом плохой стиль. А что касается дружбы, то ее Денисов поддерживает, весьма подчеркнуто соблюдая дистанцию. Прослеживая его отношения с Суходоловым, чаще думаешь о кумовстве, нежели о добром товариществе. Недаром этой «дружбе» приходит конец, едва Денисов вынужден отказаться от покровительства Суходолову, то есть как раз тогда, когда тот более всего нуждался бы в дружеской, а не в покровительственной поддержке.

И у Денисова, так же как и у Артамонова, проглядывают черты отнюдь не демократического свойства. Вспомним, например, проезд Денисова с Артамоновым по улицам Высокогорска. Завидев на тротуаре «пожилую женщину с продуктовой сумкой», Артамонов останавливает машину и выходит. Далее рассказано, что Артамонов «подал ей руку, поговорил, попрощался; женщина с благодарностью смотрела ему вслед». Вернувшись к Денисову, Артамонов объясняет, что это нянечка из больницы; она ухаживала за Артамоновым, когда ему оперировали аппендицит. Не станем останавливаться на том, что так подчеркнуты здесь обыкновенное рукопожатие и якобы вызванный им благодарный взгляд (потом Денисов будет вспоминать о них снова). Согласимся, что в данном случае Артамонов подчинился естественному человеческому побуждению и поведение его тоже было естественным.

Но почему же эта сцена так запала в душу Денисова? Попрощавшись с соседом и оставшись в машине один, он «снова и снова перебирал и обдумывал события дня... Сцена с нянечкой из больницы его поразила. Беспокоила мысль: как бы в таком случае поступил он, Василий Антонович? Остановил бы машину на улице, вышел бы к той, которая ухаживала за ним во время болезни? «Да или нет? Да или нет?» — придирчиво спрашивал себя. И с полной самокритичностью признался в конце концов, что не уверен в этом». Он принимает эту сцену как у р о к и из полученного урока делает законченный, четко сформулированный вывод: «Надо завоевывать сердца и чувства людей каждым повседневным делом, при каждом общении с ними. Прав, прав Артамонов». Так естественный импульс обращается в выработанную, нарочито задаваемую себе п о к а з н у ю норму поведения.

Эта сцена объясняет и странную мысль, которая, по словам автора романа, явилась у Денисова, когда он посетил «вечер встречи поколений», устроенный в заводском Доме культуры. Придя на этот вечер, Денисов решает: «Раз вечер поколений и веселья, так уж чего меряться рангами, тут надо быть человеком, и больше ничего». Эта мысль высказана так, словно само собой разумеется, будто во всякое иное время «быть человеком» не следует и «меряться рангами» необходимо.

Припомним маленькие радости Денисова. Он испытывал удовольствие от того, что секретарь подал ему коробок спичек прежде, чем Денисов успел попросить его об этом. Ему приятно думать, что шофер Бойко возит его восемь лет (при нем «из тридцатидвухлетнего стал сорокалетним, отпустил усы, двое ребятишек у него... родились»). Но зато с каким нескрываемым чувством превосходства размышляет Денисов о «малых сих», вспоминая «одну старенькую актрису из Драматического театра».

Актриса эта — так излагаются мысли Денисова — «рассуждала на собрании: прошло, мол, время, когда мы играли руководителей, директоров заводов, секретарей обкомов, всяких ударников и зачинателей, теперь театр стал демократичней — простых людей играем, которые и на трамвае ездят, и в очереди в баню стоят, и полы моют. А поиграли так год-другой»,— переходит Денисов к собственному выводу,— «и за голову схватились: без ударников-то и зачинателей искусству не обойтись, без людей, совершающих дела важные и значительные. Просто, бедолага, сама не знала ни одного директора, ни одного партийного работника, поэтому и от других требовала их не знать».

Мысли «старенькой актрисы» тут так же примитивны и неумны, как приводившееся рассуждение «старгородского поэта» об искусстве, «рассчитанном на века». Но разве не странно, что в рассуждениях Денисова присутствует то же обособление людей, которые «в очереди в баню стоят», от людей, «совершающих дела важные и

значительные». Разве не странно звучит сожалительное «бедолага», произносимое по адресу женщины, которая «не знала ни одного директора»?

А вот нарисованный глазами Денисова портрет Клавдии, жены второго секретаря Старгородского обкома: «Год назад, в том санатории, в котором он проводил очередной отпуск, Василий Антонович познакомился с дочерью короля одного из дружественных Советскому Союзу восточных государств, что называется — с настоящей принцессой крови. Жена Лаврентьева, Клавдия, осанкой своей, умением держаться, походкой очень напоминала ту принцессу. Но восточную принцессу годами, с колыбели, обучали повадкам королевы. Клавдия с этими повадками родилась. Ну, а если что и не пришло с рождением, то было взято ею самой в упорном, настойчивом труде». Про «настоящую принцессу крови» и про то, как он обучал ее ходить на лыжах, Денисов вспоминает с пиететом не однажды. Но это уж пусть бы. Однако зачем же говорить всерьез и с явной похвалою об упорном, настойчивом труде, затраченном советским агрономом ради того, чтобы усвоить королевские повадки?

Правда, Денисов в свою очередь укоряет Артамонова за охоту с егерями, за охотничьи домики: «Барство это, Артем Герасимович, барство». Артамонов отвечает иронически: «Демократ ты, гляжу». Денисов спрашивает: «Это что — вроде ругательства у тебя?» Артамонов не оставляет иронического тона: «Да нет, напротив, одобряю. А я вот не дорос до такого. Во мне еще пережитки сидят.— Артамонов кокетничал».

Но то, чем кокетничает Артамонов, есть и в Денисове, хотя ни он сам, ни автор романа этого не замечают. Разве, например, такое положение, когда вместо естественных, не замечаемых ни самим, ни другими простых отношений с окружающими приходится специально задавать себе «демократические» нормы поведения, способствующие «завоеванию сердец и чувств людей», согласуется с нашими представлениями об облике руководителя и социалистической этике?

Нет, Артамонов и Денисов вовсе не антагонисты. И чтобы понять это со всей очевидностью, надо вспомнить страницу романа, на которой рассказано о возвращении Денисова с Двадцатого съезда партии. В. Кочетов дает этот рассказ через призму воспоминаний Софии Павловны. Это место следует прочитать внимательно, и потому я позволю себе привести обширную цитату:

«Никогда не забудет София Павловна тех дней, когда вернулся Василий Антонович с Двадцатого съезда партии, на котором так остро критиковали культ Сталина и последствия этого культа. Он рассказал ей все, и они вместе все заново переживали. Несколько недель они чувствовали себя физически больными, как будто от сердца каждого из них был отхвачен большой, очень важный, живой, пульсирующий кровью ломоть. «Соня, Соня,— говорил он, страдая,— вся же жизнь наша прошла с ним, не мыслилась без него, думалось: мы-то умрем, а он все будет жить и жить. Ведь мы в нем любили Ленина. Помнишь, как он учил любить Ленина, помнишь «Вопросы ленинизма»?» Они доставали «Вопросы ленинизма» и вновь перечитывали вдохновенные главы об Ильиче. «Соня, Соня,— говорил он, — ведь в нем мы любили партию, нашу родную партию, которая вырастила нас с тобой, выучила, вооружила такой идеей, от которой жизнь трижды содержательней, осмысленней стала. Соня!..» — Стоя перед фотографическим портретом Сталина, который висел на стене в домашнем кабинете, он сказал однажды: «Нет, я его судить не могу. Его может судить партия, народ, история. Но не я, Василий Денисов. Отдельно взятый, я мал для этого. Соня, ты можешь меня понять или нет?»

Что она могла ему ответить? Она плакала вместе с ним».

Далее рассказывается, как Василий Антонович и София Павловна постепенно «отделили объективное от субъективного, свои чувства от исторической реальности... Вспомнилось им, что было время, когда они испытывали досаду и горечь от того, как именем Сталина заслонялось имя Ильича... Но прошли годы борьбы с уклонистами, годы индустриализации, затем военные годы... В общих трудных испытаниях имя Сталина недосягаемо возвеличилось».

Наконец «кризисное состояние и сама болезнь постепенно поутихли». Василий Антонович призывает Соню: «Будем исправлять недостатки, которые были же, были, ты отрицать этого не можешь, нет?» Но и в дальнейшем, как вспоминает София Павловна,

Денисов «никогда не забывал сказать, что... Сталин для него всегда был выдающимся марксистом и революционером». Вспоминая эти дни, София Павловна в заключение останавливается лишь на том, как ее муж осуждал тех, кто «поспешил примазаться» к критике культа личности, но по существу самой критики так ничего и не может добавить к тем заклинаниям, с какими он к ней обращался: ведь «недостатки... были же, были, ты отрицать этого не можешь...»

Слов нет, речь идет о трудных днях, о самых сложных чувствах и мыслях, о страницах собственной жизни, которые каждому приходилось открывать заново. Но главным результатом решительных и мужественно правдивых слов, произнесенных на Двадцатом съезде КПСС о культе личности Сталина и о последствиях этого культа, было поистине грозовое очищение всей атмосферы нашей жизни, новый стремительный рывок в общем движении вперед, к коммунизму, и восстановление справедливости по отношению к тысячам без вины пострадавших и погибших людей. Вскрывая ущерб, нанесенный культом личности нашему общему делу, съезд показал вместе с тем — и это самое важное,— что, несмотря на все трудности, вера людей в справедливость и величие наших целей не была поколеблена, социальная природа социалистического общества не изменилась; культ оказался лишь чуждым наростом на здоровом теле. Именно поэтому — вопреки культу — были достигнуты все исторические победы в нашем развитии и одержана беспримерная военная победа в смертельной схватке с фашизмом. Именно поэтому и вся тяжкая правда, сказанная об испытаниях, о жертвах и потерях, какие мы понесли в годы культа личности, стала не поводом для плача и не болезнетворным началом, а напротив, вдохновляющим стимулом новых побед. Об этом говорил Н. С. Хрущев в своем докладе на XXII съезде КПСС. Партия, сказал он, «смело пошла навстречу трудностям, она честно и откровенно сказала народу всю правду, глубоко веря, что ее линия будет правильно понята народом. И партия не ошиблась. Наше движение вперед по пути к коммунизму ускорилось. Сейчас мы свободнее расправляем грудь, легче дышим, смотрим зорче и яснее».

Для Денисова, как явствует из воспоминаний Софии Павловны, разоблачение культа личности явилось преимущественно трагедией потери своего божества. Ведь даже с тем, что «именем Сталина заслонялось имя Ильича», он, как мы видели, в свое время сумел примириться и даже смог внутренне оправдать это. Денисов в домашнем уединении ищет поддержки у жены. Но, как мы уже прочитали: «Что она могла ему ответить? Она плакала вместе с ним». Ощущение «физической болезни» проходит у Денисова лишь в результате отделения «своих чувств от исторической реальности» (?). Но ведь это звучит только как вынужденное внешнее примирение. Недаром Денисов так истерически требует от жены подтверждения: были «недостатки» или не были? Словно в зале заседаний Двадцатого съезда его поразила внезапная глухота, словно все, что говорилось там, совершенно не дошло до него.

Слова Денисова «Нет, я его судить не могу» мысленно произносились в ту пору и многими другими. Но они означали лишь меру тяжести, а не решимость к бегству от трудных решений. Конечно, ни один «отдельно взятый» член партии не мог тут быть единоличным судьей. Но не мог он уходить и от участия в общем ответе, не отделяя себя тем самым от партии.

Такое отношение к культу личности могло бы присутствовать в характере Артамонова, проливая дополнительный свет на природу его поступков. Но автор характеризует подобным образом не Артамонова, а именно Денисова. И не случайно. Потому что и присущие Денисову антидемократические черты тоже являются частицей именно того чуждого нароста, какой был образован культом личности на теле нашего общества.

Обратимся к предыдущему роману В. Кочетова—«Братья Ершовы». Основной разговор о Двадцатом съезде партии происходит в этом романе при обстоятельствах весьма сомнительных. На новоселье Крутилича пропиваются деньги, полученные двурушником и циником Орлеанцевым («гонорар за недавнюю статью в газете — отклик на решения Двадцатого съезда). В возникающем здесь разговоре отрицание культа личности поручено инженеру Воробейному, предателю, служившему немецким захватчикам; роль беспринципного ренегата предоставлена режиссеру-формалисту Томашуку («Я был среди тех, кто славословил...

Попробуй. скажи поперек... Ха-ха!»). А сам Орлеанцев высказывает «еретическую» и, по мнению тут же появляющегося оппонента, зловредную мысль о том, что партии предстоит еще заниматься ликвидацией последствий культа. Безыменный инженер, единственный за этим столом носитель положительного начала, тут же издевательски возражает Орлеанцеву, что дело, дескать, не в том, чтобы последствия культа ликвидировать, а надо сталь варить.

Слова эти убедительно показывают, что для анонимного инженера осталось и после Двадцатого съезда непонятным, насколько тесно связаны друг с другом оба процесса: уничтожение последствий культа личности и новые успехи — как в области сталеварения, так и во всех прочих областях народного хозяйства.

И есть в «Братьях Ершовых» другая удручающая сцена. Уже после того, как Двадцатый съезд со всей решительностью поведал о существовавших в годы культа извращениях социалистической законности, В. Кочетов прикоснулся к этой теме в одной из глав своего романа. Там рассказывалось, как театр обсуждает новую пьесу. В пьесе действуют те же братья Ершовы, переименованные на этот раз в братьев Окуневых. Художественный руководитель театра не хочет ставить эту пьесу и противопоставляет ей другую, написанную неким неназванным столичным автором. «Актуальнейшая...» — говорит о ней худрук.— «Сюжетная канва такая. Человек несправедливо был осужден. Был оторван семнадцать лет от жизни... Жена, конечно, давно вышла за другого. Друзья... кто умер, кто тоже исчез, кто отшатнулся. Автор прослеживает жизнь этого человека после возвращения. Нелегкую, сложную жизнь, когда надо преодолевать недоверие к себе со стороны окружающих».

Помянутый режиссер Томашук угодливо поддерживает худрука и — с провокационностью, конечно нарочитой — приводит единственный жизненный пример подобной ситуации, называя... того же Воробейного, отсидевшего свой срок, как сказано, за пособничество гитлеровским оккупантам, а затем амнистированного.

Далее с явственной насмешкой пародируется финал, якобы задуманный худруком для будущего спектакля: резво излагается режиссерский проект этакого «вознесения» невинно пострадавшего героя: «Мы построим пандус, широкой спиралью подымающийся к директорской ложе... Герой уйдет по этому пандусу ввысь, ввысь...

— Вознесем его, так сказать, на небо,— сказал Гуляев.— Причислим к лику святых...»

И здесь и далее в романе понятия реабилитации и амнистии странным образом путаются. Это объясняет и фразу о недоверии к реабилитированным.

Находится еще один пример — в самом театре.

Яков Ершов рассказывает:

«Эх, один тут у нас вернулся... Подлая была личность, в театре его терпеть не могли, заносчивый, недоброжелатель. И что ты скажешь, замели его в 49-м. Ну зря, конечно, замели. Диву мы все давались. Чего его сажать? Должно быть, из-за какого-то давнего прошлого, когда с эсерами путался в молодости. И прямо, можно сказать, помогли гражданину. Вышел сейчас, приятели святого из него сделали. Великомученик, личность — и так далее. А как был скотина, так и остался».

Быть может, все это является плодом поспешности, отсутствия времени на размышления, результатом стремления поскорее ошпарить читателя «этой самой горячей клокочущей водой». Но, безотносительно к причинам, такие пассажи звучат как свидетельство непонимания решений Двадцатого съезда. То же самое может объяснить «физическую болезнь» и слезы семьи Денисовых в новом романе В. Кочетова.

Ведь Денисов на Двадцатом съезде был не гостем. А коммунисты, которые выбирали делегатов, и затем делегаты, избиравшие состав руководящих органов партии, отдавали свои голоса, веря, что те, кому оказывают они высокое доверие, будут сознательно и активно участвовать в принятии и осуществлении решений Двадцатого съезда. Автор романа «Секретарь обкома» уверяет нас, что его герой был среди людей, облеченных этим высоким доверием. Он — по роману — кандидат в члены Центрального Комитета. Но отказывая себе в праве на суд, внутренне сопротивляясь этому суду и не принимая его, Денисов не оправдал доверия пославших его коммунистов. Из доклада Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС и выступлений делегатов съезда мы

все знаем теперь о событиях, происходивших в 1957 году,— год спустя после того, как был осужден культ личности Сталина. Фракционная антипартийная группа, состоявшая из приверженцев тех методов и порядков, какие господствовали при культе личности, пыталась захватить руководство партией и страной. «Члены ЦК, которые в то время были в Москве,— рассказал товарищ Хрущев в докладе,— узнав о фракционных действиях антипартийной группы внутри Президиума, потребовали немедленного созыва Пленума Центрального Комитета». На Пленуме антипартийная группа была разгромлена. Члены ЦК, о которых говорилось в докладе, это и были в большинстве своем секретари областных комитетов партии. Попробуем задать себе вопрос: можно ли представить в их числе секретаря Старгородского обкома Денисова со всеми его сомнениями, сетованиями и переживаниями? Представить это себе невозможно.

Как говорилось выше, наиболее подробно освещенной сферой деятельности Старгородского обкома оказалось в романе руководство работой местных писателей. Не станем тут говорить о том, что наряду с обесцвечиванием всего того яркого богатства жизни, какое на самом деле должно находиться в поле зрения секретаря обкома, это создает несомненный «перекос» и весьма односторонне представляет работу обкома. Попробуем разобраться в том реальном материале, какой предлагает нам романист.

Областную литературу представляют в книге прозаик Евгений Баксанов и поэт Виталий Птушков. Оба они задуманы в свою очередь антиподами, так же как Денисов и Артамонов.

С Баксановым мы уже знакомы. Птушкова охарактеризовать вкратце еще труднее, так как в романе он представляет собой карикатурное воплошение всех без исключения зол, с которыми намерен воевать автор. Он и безоговорочный поклонник западного формализма и автор гимна «кондовой» русской печке. Его перу принадлежат и бесформенные заумные стихи и стилизованный под старую былину пасквилянтский «сказ» об областном руководстве. Словом, Птушков — это шаржированная кукла, покорно и мгновенно принимающая любые формы и объемы, удобные автору. И, как всякая кукла, Птушков позволяет произносить за себя любые слова, облегчающие противнику провозглашение ответных разящих реплик. Автор хочет нас заставить поверить в то, что Птушков чрезвычайно популярен в среде старгородских восторженных девиц; что даже и менее легковесные люди всерьез говорят о нем как о способном поэте; что его судьбой пристально занимается не только местное отделение Союза писателей, но и обком партии; что Артамонов переманивает Птушкова из Старгорода в Высокогорск, тут же предоставляя ему квартиру. Но можно ли поверить этому, прочитав образцы творчества Птушкова, приводимые в книге? Нам предлагаются беспомощные стенгазетные вирши «Сказа о боярине Василии Деснице»: «Тех, кто целился в десятку, да ни разу не промазал, награждал Десница щедро. Сыпал им в карманы злато, терема им возводил». Или строка написанного Птушковым высокогорского «гимна»: «Отец и хозяин, заботой объятый...» Конечно же, прав веневский читатель Н. Степочкин, написавший в газете «Литература и жизнь», что «у нас бы такой не смог выступать со своими стихами: в Доме культуры освистали бы». В Веневе несомненно бы освистали, а В. Кочетов хочет нас уверить, будто из-за Птушкова спорят две области.

Огнев — секретарь Старгородского обкома, мягкотелый и политически не очень зрелый и грамотный человек. Написан он тем же приемом доведения до предела наивности, что и Птушков. Например, Птушкову приписывается мысль, что «партийность для художника — ограничение его мира». А через несколько страниц и Огнев — как-никак партийный работник, секретарь обкома по агитации и пропаганде — готов с ним согласиться: «Может быть, и в самом деле пора, как утверждает Птушков, отказаться от непременного требования партийности в литературе?» В свою очередь, не успеет Огнев подумать, что он прав, стараясь «не раздражать, не обострять, не допускать конфликтов», как редактор местной комсомольской газеты тут же напрямик, не стесняясь в выражениях, глядишь, и поучит недотепу-секретаря: «Оберегать от критики — это означает выращивать не поэта, не художника, а зазнайку, литературного вельможу, который, придет час, вам же на голову, извиняюсь, сходит». Доказательств справед-

ливости этого поучения долго дожидаться не приходится: Птушков и впрямь не замедлит буквально «сходить» своим неуклюжим «сказом». Все разыгрывается как по нотам, с легкостью необычайной, ибо все механически задано, все исходит из авторского «соображения», а о правдоподобии характеров, о логике и реализме заботиться недосуг — только бы вода поскорее закипела.

В конце романа Огневу придется уйти со своего поста и передать дела Владычину, бывшему секретарю одного из райкомов Старгорода. Но до ухода он еще послужит автору, покорно оглупляя те мысли и слова, которые автор желает опорочить. Выставив перед читателем таких персонажей, как Птушков и Огнев, можно ими пользоваться для этой цели даже и без словесных дуэлей. Достаточно отдать им, например, мысль, что «литература не хлебопекарное производство»,— и она будет опорочена уже одним тем, что ее высказывает глупый Огнев. Достаточно заставить Птушкова думать о том, что «только правда, одна правда питает высокое, непреходящее, истинное искусство»,— и читатель ощутит некий подвох, таящийся в этом утверждении. Но можно организовать и такую дуэль, какая происходит в сцене прихода Владычина к Огневу. Огнев тут еще секретарь обкома, Владычин — еще секретарь райкома. Он просит у Огнева список художественной литературы, которая могла бы способствовать воспитанию масс. Нам уже было сказано раньше, что Владычин пошире и поумнее Огнева. Он и сам мог бы поучить секретаря обкома не хуже, чем редактор комсомольской газеты. И мы понимаем, что дело тут вовсе не в списке. Вся эта сцена — заранее обдуманный спектакль, в котором Огневу придется сыграть роль одураченного простака. Так оно и есть. Вместо того чтобы отправить своего посетителя в парткабинет за готовым ответом на заданный им вопрос, секретарь обкома начинает отвечать самолично, черпая свою премудрость из «тонкой папочки», заключающей «несколько листов бумаги, скрепленных в левом углу скрепкой». Он диктует длинный список имен — от Горького и Алексея Толстого до Фадеева и Шолохова. Список этот нужен, чтобы Владычин мог разоблачить косность и ретроградство Огнева. Оказывается, что примеры Власова, Корчагина, Чапаева, Давыдова, молодогвардейцев для нынешнего читателя устарели. «...Люди могут спросить: а вот о нас, о нас, об ударниках новой эпохи, эпохи строительства коммунизма — что есть почитать?» Недотепа Огнев, конечно, не способен припомнить ни В. Овечкина, ни Д. Гранина, ни Е. Дороша, ни В. Солоухина, ни Ю. Смуула, ни А. Кузнецова, ни одного имени авторов молодых и старых, которые написали о современности горячие книги, обладающие своими достоинствами и недостатками и вызывающие оживленные читательские споры. И уж, понятно, невдомек Огневу ответить, что и герои старых, уже классических книг нашей советской литературы тоже могут сейчас — и долго смогут — учить людей новой эпохи, помогая воспитанию человека — строителя коммунизма. Ведь заданная автором Огневу задача в том и состоит, чтобы он оставил Владычину возможность резвиться на чистом поле, изображая дело так, будто «поклонникам кипятка» современная литература никого, кроме Птушкова, противопоставить не может.

И еще одну поставленную автором задачу покорно выполняет Огнев. Ему поручено высказать подозрение, будто у писателя Баксанова, художника Тур-Хлебченко (ох, уж эти прозрачные псевдонимы!), у композитора Горицветова, а заодно и у не стесняющегося в выражениях редактора-комсомольца завелась некая групповщина. Ведь должны же мы понимать, что если такое подозрение высказывает Огнев, то никакой групповщины на самом деле быть не может. Младенческое простодушие огневских построений призвано убедить нас в этом. Баксанов, думает Огнев,— «противник того, что называет «возней» с Птушковым, он в хороших отношениях с редакторами газет, он сумел сплотить вокруг себя и художников и композиторов, он умеет эмоционально выступать на областных и городских партийных конференциях, к нему хорошо относится партийный актив». Можно подумать, что Огнев тут не просто размышляет о Баксанове, а готовится заполнить наградной лист, чтобы представить областного писателя к ордену. Но не будем забывать, что это мысли Иванушки-дурачка. Для него все навыворот. На свадьбе он рыдает, на похоронах пляшет, а собственный наградной лист тут же, в беседе с Денисовым, оборачивает кляузой: «К сожалению, у нас групповщина процветает. И редакторы газет в нее входят, и писатели, и художники, и

театральные деятели. А во главе — Баксанов...» Вот только партийный актив, хорошо относящийся к Баксанову, позабыл в своем списке наш Иванушка. Разве не ясно нам теперь, как она безобидна и даже хороша собою эта мнимая, привидевшаяся Огневу групповщина? Но тема эта почему-то продолжает волновать автора. И чтобы окончательно разрушить предположение о возможности групповщины, он опять конструирует соответствующий эпизод с той же безыскусственной прямолинейностью, что и в беседе между Владычиным и Огневым. Денисов вызывает своего помощника, и тот докладывает, что все деятели, заподозренные в групповщине, находятся в данный момент за пределами Старгорода. Баксанов «где-то в области». «Тур-Хлебченко на сланцевых рудниках. Портреты пишет. Жена так объяснила». А Горицветов «в Средней Азии, в гости к какому-то композитору поехал». Получив эти сведения, Денисов может уничтожить все подозрения Огнева под корень. «Вот чертовы групповщики!» — восклицает он с издевкой.— «Работают! Колхозы перестраивают, портреты шахтеров пишут, народные мелодии записывают».

Вот и рухнуло обвинение в групповщине. Видите, как все просто.

Правда, мы не знаем, насколько способствует «перестройке колхоза» Баксанов одним лишь фактом своего пребывания в Заборовье. Ведь ничто иное нам в романе не показано. Правда, нам трудно понять, каким образом из сообщения о том, что Горицветов «в гости к какому-то композитору поехал», можно сделать вывод, что он «народные мелодии записывает». Правда, и самый факт, что люди эти работают, ничем еще не опровергает другого, усвоенного нами из романа факта, что люди эти все время настойчиво и последовательно противопоставляют себя всему остальному искусству, стараясь изобразить дело так, будто на одном полюсе существует самоотверженный изготовитель «кипятка» Евгений Баксанов, а на другом — Птушков и прочие «снобы». И между этими двумя полюсами в искусстве нет решительно никого. А ведь на самом-то деле э т о и есть главная примета групповщины, присно памятная еще со старых, рапповских времен, когда нехитрым принципом «хоть сопливенькие, да свои» иные деятели воодушевлялись на сокрушение всех инакомыслящих. А эта-то групповая примета торжествует в романе, она не только не опровергается, но и возводится в доблесть. Она свидетельствует о «боевитости» Баксанова, позволяет ему самоутверждаться и даже требовать от обкома таких вещественных поощрений, как именное вечное перо.

Оказавшись с Денисовым в одной машине, Баксанов напрямик подсказывает секретарю обкома, что не худо бы тому догадаться и оказать писателю уважение: «Если бы мне, скажем, от имени обкома подарили вечное перо с хорошей надписью: от обкома, мол, писателю-коммунисту такому-то, это для меня было бы самым дорогим подарком, хотя цена ему несколько рублей. Не в рублях дело. В отношении».

И хотя Денисов, как мы уже видели, может судить о творчестве Баксанова разве лишь приблизительно, он тут же обещает попутчику просимый подарок. «Под занавес», в последней главе романа, обещание выполняется. И, конечно, коли уж дарить ручку кому-либо из областных литераторов, то выбирать не из кого. Не Птушкову же (кстати, уже сбежавшему под артамоновское крылышко и снова подстерегающему Денисова в Высокогорске) делать такой подарок! А других, извините, нет.

Вот как, по В. Кочетову, обстоят литературные дела в Старгороде, несмотря на то, что ими так пристально занимается местный обком. И тут нужно сказать, что несмотря на усиленное внимание к областной литературе и искусству, Денисов все же не понял главного, что скрывалось за просьбой Баксанова о подарке, не разобрался в истинном смысле этой истории, да и самого Баксанова так и не раскусил до конца. А разобраться стоило.

В самом деле, ведь еще до того, как заговорил Баксанов про «вечное перышко», он принялся назойливо добиваться определенной линии по отношению к писателям. Начав с того, что мнение Денисова лично ему, Баксанову, «совсем не безразлично», он задал вопрос: «Почему в своих докладах вы никогда не помянете нашу продукцию — продукцию писателей Старгородской области, продукцию наших художников, композиторов?». Не зря прибегает он к этому обезличивающему и совсем неуместному в данном случае слову «продукция». Конечно, если мерить «кипяток» литрами, отбрасывая качественные оценки произведений, то можно включать в доклад цифровые данные: столько-то тонн чугуна, столько-то, скажем,

штук холодильников или патефонов, три романа, четыре пьесы, две симфонии. Но если согласиться, что настоящее произведение искусства так же неповторимо, как и открытие нового в любой области науки и техники, то тут уж говорить о «продукции» будет неуместно, а надобным окажется идейно-творческий анализ данного явления в отдельности. Баксанов не понимает этого. Он упрощает и вульгаризирует существо дела, отстаивая преимущества «кипятка» перед истинными художественными ценностями. Он уверяет секретаря обкома, будто бы «существует теория», что в искусстве «чем меньше, тем лучше». Денисов справедливо удивляется: такое утверждение «по меньшей мере идиотизм. Это кто же так рассуждает?» И хотя он совершенно прав, предполагая, что таких идиотов быть не может и что говорилось, вероятно, «пусть меньше, но лучше, чем много, но плохо», Баксанов продолжает настаивать, что есть «такие». «— Да у нас, в наших кругах,— уклончиво ответил Баксанов». И Денисов перестал сомневаться.

«Уклончивость» писателя, анонимность его обвинений, упорное неназывание имен («старгородский поэт один», «есть такие», «существует теория», «найдутся, скажут») не что иное, как старый испытанный метод злобных проработчиков, передергивающих чужие слова, создающих «теории» из вывернутых наизнанку мыслей, а затем навязывающих эти теории, какими бы идиотическими они ни выглядели, своим оппонентам.

И со всем этим своим унылым скарбом — с серийной «продукцией» вместо творческого труда, со склокой и ябедами, с групповщиной и науськиванием — они непременно норовят спрятаться за спину обкома, заручиться поддержкой, навязать партии мелочную опеку вместо широкого идейного руководства искусством. Но партия всегда выступала против мелочной опеки и администрирования в руководстве литературой. Уже в письме ЦК РКП «О Пролеткультах» было сказано: «...ЦК будет следить и поручит губкомпартам следить за тем, чтобы не было мелочной опеки над реорганизуемыми пролеткультами».

Партия руководит литературой и искусством, уделяя им очень много внимания. Но она учитывает особенности, своеобразие литературного дела и не отождествляет его с другими областями своей работы. В частности, не случайно в докладах и выступлениях руководителей партии не говорится о литературе так, как хотел бы Баксанов. Не надо взваливать на партийные и государственные органы решение тех вопросов, которые писатели могут и должны решать сами.

«Думаю, что вряд ли мне в моем выступлении нужно заниматься разбором ваших произведений. Как вы знаете, я не литературный критик, поэтому и не чувствую себя обязанным разбирать ваши литературные труды.

Некоторые факты свидетельствуют о том, что вы и сами не очень охотно друг друга критикуете. Не думаю, что вы хотите, чтобы это неприятное занятие было возложено на мои плечи. Сами пишете, вам самим, прежде всего, следует и критиковать написанное»,— говорил Н. С. Хрущев на Третьем съезде писателей.

А Баксанов во что бы то ни стало хочет именно такую обязанность взвалить на плечи Денисова. И, выпрашивая перышко, он даже не пытается скрыть, что в упоминании своего имени в докладе, а затем в именном подарке от бюро обкома он видит не что иное, как «первые ступени» той лестницы, по которой его поведут на вершины почета и литературной славы, к которой он изо всех сил стремится. При этом явственные приметы все того же комчванства слышатся в этих его словах: «От обкома, мол, писателю-коммунисту». Ну, а как быть обкому, ежели с хорошим произведением выступит беспартийный писатель? Такая возможность для Баксанова, очевидно, исключена. Ну, а если и появится такое произведение, то (на взгляд Баксанова) Денисов это может оставить без внимания. На всех прочих Баксанов изливает лишь желчь анонимных обвинений, злобных кляуз, нашептывает передернутые цитаты и извращенные мысли. Во всем этом и стоило бы разобраться Василию Антоновичу Денисову.

Отмеченный по собственному прошению именным вечным пером, писатель Е. Баксанов главный пафос расходует на доказательства своего права торопливо писать. Почему-то эту странную позицию поддержала газета «Литература и жизнь», поместив письмо кандидата педагогических наук Ю. Идашкина, где о «большом удовольствии», полученном от этих именно

деклараций Баксанова, так прямо и говорится. Автор письма уверяет, что «роман В. Кочетова — хороший ответ делом тем, кто мало обращает внимания на главное — содержание, цель, направленность произведения». Да, роман В. Кочетова еще раз отлично доказывает «делом», что старая марксистская истина о единстве формы и содержания остается незыблемой. Попытка расчленить эту формулу, заявляя при том, что была бы направленность, а «остальное приложится», может привести лишь к тому, что пострадают и форма и содержание. Владычин в своем разговоре с Огневым ссылается на то, что «Мать», «Цемент» и «Поднятая целина» были написаны по горячим следам событий. Это так. Но ведь ни А. М. Горький, ни Ф. В. Гладков, ни М. А. Шолохов не ставили в ту пору своей сознательной творческой задачей написать эти книги кое-как, по принципу «за вкус не ручаюсь, а горячо будет». Напротив, все они настойчиво стремились в своей работе к художественному совершенству, о чем свидетельствуют черновики и варианты упомянутых книг.

«Подставив огню подошвы домашних туфель», не пишет никто. Литература — не забава лентяев. Грешно внушать читателю подобные извращенные представления. Только во вред нашему общему великому делу построения коммунизма можно сегодня приписывать передовому рабочему такие суждения о работниках советской культуры, какие высказывает Дмитрий Ершов в книге «Братья Ершовы»: «Эх, эх, есть еще такие, мы вкалываем, а они только все осмеивают и тем корм себе добывают. Интеллигенция...»

Нужно совершенно утратить представление о структуре реального общества, в котором мы нынче живем, чтобы возвращаться к зряшным противопоставлениям рабочего класса интеллигенции, то есть к разделению и сталкиванию тех элементов, которые стали у нас прочным, неразложимым на составные части сплавом. Кто такая Валентина Гаганова? Кто такой Герман Титов? Кто такая Галина Буркацкая? Рабочие они, крестьяне или интеллигенты? Разве не слились в них по-новому все эти классовые понятия, знаменуя тем самым наше приближение к коммунизму? И разве можно представить в их устах произносимое с этаким презрительным ненавистничеством слово «интеллигенция»?! И свои книги наши писатели адресуют именно таким людям — реальным сегодняшним своим читателям с их неизмеримо возросшим вкусом, с самыми высокими и строгими требованиями. Так разве можно сознательно заставлять их глотать «клокочущую воду» вместо настоящей духовной пищи? В обстоятельствах исключительных, трудных — порою, верно, приходилось довольствоваться и кипятком. Но есть ли у нас основания прибедняться и изображать дело так, будто бы сегодня литература наша не способна производить истинные художественные ценности и по нищете своей вынуждена лить в подставленные кружки лишь голый кипяток?

Ставить своей единственной задачей работу «на вечность», пренебрегая сегодняшним читателем, как призывает «старгородский поэт»,— глупо. Но вовсе не излишне помнить о том, что произведение искусства, которое с художественным совершенством отразило дух и идеи своего времени, сохранило живой, полнокровный образ современника и тем самым выполнило свою задачу сегодня, несомненно останется дорогим читателю и завтра. Да, Маяковский говорил: «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» Но тут же, рядом, обращаясь к «товарищам потомкам», писал он и о том, что «мой стих трудом громаду лет прорвет...» И это ведь он же сказал о литературном труде: «Поэзия — та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды». Невзыскательная же, непритязательная торопливость способна привести лишь к тому, что автор окажется не в состоянии выполнить возложенные им на себя задачи не только завтра, но и сегодня. Мы уже видели, насколько серьезны просчеты в новом романе В. Кочетова, какой неточной оказалась направленность произведения в результате отказа от заботы о художественном мастерстве, о полнокровии и правде характеров, о глубине изображаемой картины.

Грустно убеждаться в том, что новая книга писателя написана хуже, чем предыдущие его книги. Но и умалчивать об этом нельзя: доброжелательность критических суждений не означает непременного одобрения во что бы то ни стало, вопреки правде. Да и сам В. Кочетов говорит о том, к чему может привести стремление уберечь писателя от критики. Поэтому приходится констатировать, что попытка писателя доказать свое право писать быстро, с тем что «осталь-

ное приложится», привела к тому, что «Братья Ершовы» оказались хуже, чем «Журбины», а новый роман в свою очередь слабее «Братьев Ершовых».

Сюжет книги чрезвычайно рыхл; он определяется не стройным архитектурным планом, а произвольным вторжением множества тем, заимствованных из только что услышанных известий и сообщений. Можно сказать, что и «Живой труп» подсказан Л. Толстому хроникой, что и «Преступление и наказание» Ф. Достоевского родилось из судебного отчета. Но надо ли добавлять, что во всех подобных случаях имело место глубокое художественное осмысление сообщенного факта, проникновение в социальные и философские глубины, превращение хроникального пунктира в трехмерно объемное и совершенное произведение искусства? А в романе В. Кочетова мы видим лишь механическое перенесение общеизвестных фактов, регистраторство без художественного воплощения.

Все мы знаем, например, о преждевременной показной затее — о создании картинных галерей в колхозах, где еще не удовлетворены многие иные, куда более насущные культурные нужды. И вот открытие такой колхозной «Третьяковки» в селе Озеры становится предметом кратковременного заблуждения Денисова, выступившего на торжестве с приветственной речью, а затем пришедшего к тому же выводу, какой и был нами уже прочитан в соответствующих статьях.

Из опубликованных сообщений черпается (и тоже таким образом, что это не помогает нам глубже проникнуть в суть явления) факт сдачи государству купленного в магазине масла, становясь лишь иллюстрацией антигосударственной практики Артамонова.

На том же иллюстративном уровне остается и вошедший в книгу рассказ об организации народного самодеятельного театра в Старгороде. Притом, эта внешняя примета современности подается совершенно несерьезно, ради того только, чтобы пристегнуть «к делу» легкомысленную сестру Софии Павловны Юлию. Владычин предлагает ей — художнице — стать художественным руководителем нового театра, и Юлия принимает его предложение. Со стороны Юлии такой шаг допустить еще можно: она достаточно для этого безответственна. Но секретарь-то райкома должен понимать, что руководство народным театром следует поручить не художнику, а режиссеру, и лучше опытному.

Не раз говорилось в последнее время о восстановлении народных художественных промыслов. И вот София Павловна отправляется в деревушку Чирково, славившуюся некогда искусными кружевницами.

Здесь она трогательно призывает местных колхозниц:

«— Возьмитесь, возьмитесь, пожалуйста, за дело возрождения искусства кружевниц в Чиркове... Бабушка Домна такая мастерица, такая мастерица...»

И вот «двенадцать девушек плотно засели за работу».

И вот немедля «в Чирково приехали корреспондент и фотокорреспондент «Старгородской правды».

И вот уже чирковскими кружевами завалены не только старгородские склады, но и европейские рынки...

Происходит все это как по щучьему велению. Правда, на этот раз вопреки общеизвестным жизненным фактам, показывающим, сколько реальных трудностей возникает на самом деле перед умельцами художественных ремесел, как мешает им так называемый «вал» и многое другое, не имеющее отношения к искусным рукам бабки Домны.

Знакомым, не однажды читанным фельетоном выглядит в романе и вся история Демешкина, некогда храброго солдата и хорошего производственника, соблазненного бесом стяжательства. Оригинально, правда, сформулирован в романе рецепт борьбы с грехом алчности: «Когда-то, борясь с воровством, в некоторых странах ворью рубили руки. Мы должны рубить дачные участки, и рубить безжалостно».

На подобных формулах и сентенциях, произносимых персонажами романа, а также и самим автором, сто́ит остановиться особо. Почитая, видимо, афористичность непременным признаком художественности, автор рассыпает по роману лаконические сентенции на самые различные темы с необыкновенной щедростью, но и с той же огорчительной поспешностью. В результате афоризм оборачивается стертой банальностью.

Вот, к примеру, мысль Денисова: «Где способна спасовать или изменить любовь, там выстоит, все выдержит дружба».

Но и любви он тем не менее готов отдать должное: «Любящая женщина, пожалуй, посильнее очень и очень многих сильных по должности».

«Одновременно белое и черное быть не может же?» — это мысль Софии Павловны, его жены.

Ей принадлежит и такой афоризм: «Без компаса в океане плыть нельзя. История тоже океан...»

Юлия: «В мире материального чудеса невозможны...»

Она же: «Сколько существует мир, столько и идет борьба нового со старым».

Впрочем, Юлии дано высказать и более оригинальную мысль: «Чем красивей женщина, тем большему числу людей она принадлежит. Некрасивая — только одному».

Черногус: «А все же любовь окрыляет человека».

Он же: «Книги должны служить людям».

Секретарь Приморского обкома Ковалев: «Повар может и украсить жизнь человека и испортить ее».

Сын Денисова Александр: «Искусство не должно утомлять. Иначе оно не искусство».

«Вся жизнь состоит из проблем, вопросов и загадок».

А вот лишь очень немногое из того, что так охотно говорит нам от себя автор:

«Что ни говори о ней, как ни порти ее, как ни осложняй, а жизнь все-таки прекрасна»;

«По-разному приходит любовь к людям»;

«Грядущее всегда, рано или поздно, берет верх над тем, что осталось в прошлом»;

«Если июньская ночь коротка, то в отличие от нее июньский день долог»;

«Франция — мать духо́в».

И Владычин не без торжественности сообщает о пришедшей ему в голову «очень интересной мысли»: «Во все века прогресс двигали энтузиасты».

Как мы помним, Владычин — персонаж положительный. Рисуя его портрет, автор прибегает к художественному методу, вовсе наивному: он поручает Владычину самому сообщать о своих достоинствах. В беседе с Денисовым Владычин с той же торжественностью заявляет о своих воззрениях: «Я, Василий Антонович, знаете, как считаю? Я считаю, что партия все может. Для нее невозможного нет. Честное слово!»

Он настолько уверен, что это убеждение присуще ему одному, Владычину, и больше никому, в том числе и Денисову, что даже уверяет секретаря обкома в своей правоте честным словом.

Он сообщает далее:

«Скажу о себе. Был парнишка как парнишка, но довольно рано попал на общественную работу,— уже в школе комсоргом был. Потом война. Как говорят, испытание огнем, боевая закалка. Потом снова много общественной работы».

Вопрос о том, почему он до сих пор не женат, дает Владычину повод поведать секретарю обкома о своей чрезвычайной занятости:

«Сейчас я мог бы жениться только при одном условии... При том, если бы встретилась такая, которой с первого раза можно было бы сказать: выходите за меня немедленно замуж. На обдумывание ответа — вам тридцать пять секунд, а то через шестьдесят секунд я уже должен ехать на бюро, на заседание, на открытие клуба, на партсобрание на такой-то завод, в такой-то институт и те де, и те пе».

Впрочем, дальнейшее течение романа убеждает нас в том, что Владычин прихвастнул. Не так уж он занят. Когда на горизонте появляется Юлия, у него находится предостаточно времени для встреч и прогулок, во время которых он продолжает хвалить себя.

«Я любил выступать на школьных и институтских вечерах,— повествует он Юлии.— Так сказать, мастер художественного слова. А в армии был живой книгой».

Когда Юлия начинает зябнуть, Владычин накидывает ей на плечи свой плащ.

«— А вам не будет холодно? — спросила Юлия.

— Холодно, возможно, и будет. Но я не простужусь, Юлия Павловна, не беспокойтесь, пожалуйста. Как все тупицы, я по утрам делаю физзарядку и обтираюсь водой из-под крана».

Денисову он говорил о своем здоровье несколько иначе. Оправдывая моложавость своего облика, он тогда жаловался:

«Я ревматик, знаете ли. А ревматики, говорят, лицом не стареют. Они стареют суставами да кровеносными сосудами».

Но, конечно, с секретарем обкома — один сюжет, а с молодой. понравившейся женщиной — другой. Тут поминать о стареющих

суставах как-то ни к чему. Ей он читает стихи и присовокупляет: «На свою память не жалуюсь». Подняв ее на руки, Владычин прыгает через поток и приговаривает: «Что бы сказали коммунисты Свердловского района, если бы увидели своего секретаря в эту минуту».

Все это — штрихи автопортрета. Но ведь этакое самоизображение действует против авторского замысла. Вместо положительного героя перед нами предстает хвастун и самовлюбленный позер.

Задуманные В. Кочетовым в лице Денисова и Владычина образы партийных работников не удались ему. Автор словно бы прошел мимо всего богатого опыта советской литературы, который накапливался со времен «Недели» Ю. Либединского, «Чапаева» и «Мятежа» Д. Фурманова, «Разгрома» А. Фадеева. Образ Давыдова в «Поднятой целине» стал примером, на котором науке подлинного, а не показного «завоевания сердец» учились и продолжают учиться поколения читателей. И в литературе самых последних лет мы найдем те же поиски, то же стремление воплотить в художественные формы новые черты этого образа.

Но вернемся к Владычину.

Лишь одна его черта увидена глазами другого персонажа. О его необычности, о его исключительном целомудрии узнаем мы из мыслей Юлии. И вот как изложены эти мысли:

«В своих словах, в своих действиях он не был похож на многих других. Он еще не пытался, как бы невзначай в оживленном разговоре, положить свою руку на ее полное круглое колено, над которым вздернулся подол юбки. Он еше ни разу не заглянул к ней за лифчик, хотя она и не очень хлопочет о том, чтобы окружать глухой тайной то, что находится за лифчиком».

И оценив его только с этой стороны — потому что суть их разговора и на этот раз остается нам неизвестной,— Юлия умиленно лепечет:

«Хороший,— думала она,— милый, добрый, умный».

Говоря в начале статьи о некоторых чертах образа Денисова, мы касались лишь одной стороны: как отвечает этот образ главной авторской задаче — изобразить крупного партийного руководителя нового типа. Но раз уж заговорили мы здесь о портретном живописании в новом романе В. Кочетова, то хочется вернуться к тем эпизодам, где Денисов предстает перед читателем в качестве семьянина. Тут мы тоже сталкиваемся со многими чертами, которые мешают нам ощутить симпатию к этому человеку и поверить в него как в художественное создание.

Поглядим на него в тот момент, когда сын рассказывает ему о своем намерении жениться на Майе. Забота о собственной анкете преобладает над всеми естественными чувствами Денисова. Он прежде всего осведомляется: «А в смысле ее родственников — что там мне предстоит испытать? Не разъяснишь ли?»

Далее Александр объясняет, что он и Майя намерены жить отдельно от родителей. Стремление естественное и похвальное. Но каковы доводы Александра? Хотя Василий Антонович и говорит, что он даже не спрашивает о побуждениях, Александр настаивает: «Ты не спрашиваешь, но я, пожалуйста, объясню... Ты — секретарь обкома. У тебя свой режим и свой образ жизни. А к нам могут и будут приходить люди не совсем в том плане, к какому ты и мама привыкли. Могут быть инциденты».

Надо полагать, что Александр достаточно хорошо знает отца, чтобы ощутить неизбежность инцидентов из-за возможности проникновения в дом Денисовых людей «не в том плане» (точнее, «иного круга»), пусть это будет даже молодежь, с которой дружит его сын.

Изображая Денисова в домашней обстановке, автор непрерывно — до слащавости — декларирует его любовь к «Соньчику» (так звучит интимное обращение Денисова к Софии Павловне в отсутствие посторонних). Но вместе с тем, не щадя чувств жены к ее сестре Юлии, Денисов позволяет себе ругать Юлию буквально площадными словами, со злобностью ханжей и сплетниц и с нервозностью труса, опасающегося опять-таки, чтобы не оказалась замаранной его собственная репутация. При этом Денисов, кстати, снова обнаруживает свойственное ему непонимание людей, сказавшееся в его отношениях с Суходоловым, Огневым, Черногусом, Артамоновым.

«Зачем ты привезла эту стерву?» — спрашивает Василий Антонович у жены, когда Юлия появляется в Старгороде.

«Она у тебя способна на панель выйти!»— заявляет он далее. И, наконец, настаивая

на своем предвзятом и неверном представлении о свояченице, Денисов попрекает Софию Павловну: «Сестра жены секретаря обкома — гулящая девка!»

Начиная говорить и действовать, Денисов неизменно разрушает те представления, какие настойчиво внушает нам автор своими декларациями.

«Декларативный» портрет превращается порою в этой книге в самопародию.

Прошел перед нами, например, один из персонажей романа. И вдогонку — буквально в спину — автор торопливо заставляет нас не только разглядеть внешность этого персонажа, но и постичь весь его внутренний склад. Он пишет: «Лебедев ушел, большой, шумный, уверенный в себе, влюбленный в жизнь, в работу, умеющий сразу находить с людьми общий, простой, доверительный язык».

В своих героях, наряду с афористическим способом выражения мыслей, автор ценит также и присущую им эрудицию.

Пригласив в свою машину Баксанова, Денисов оправдывается перед Софией Павловной: «Он славный малый, Соня, этот Баксанов. Вот увидишь. Начитанный, эрудированный».

Юлия мысленно восхищается Черногусом как «острым, эрудированным человеком».

Денисов взял Воробьева к себе в помощники потому, что тот был «интересным собеседником, эрудированным...»

Но примером эрудиции самого Денисова может служить оброненный им отзыв о «Персидских письмах» Монтескье: «Прочел несколько главок. Остроумная вещица».

София Павловна — по специальности историк. Она готовит докторскую диссертацию и руководит археологическими раскопками. И именно ей приписывается следующее сенсационное утверждение: «...Когда-то Генрих Шлиман, раскапывая один из холмов на Итаке, отыскал то, что тысячелетиями считалось порождением, фантазией поэта,— гомеровскую Трою».

Но если вспомнить самого Гомера, то окажется, что путь из Трои на Итаку отнял у Одиссея тридцать лет жизни. А обратившись к современным источникам, легко вновь убедиться в достаточно общеизвестном факте: Троя находилась не на острове Итаке, а на материке, на северо-западе Малой Азии, и именно там раскопал ее Генрих Шлиман.

При виде поющих гуляк Птушков задумывается над тем, что на смену старым песням «явились, правда, менее стойкие, но все же достаточно эмоциональные вокализы...» Почему вокализы? Ведь и в этом случае такой общедоступный источник, как «Краткий музыкальный словарь», сообщает, что вокализ — это «пьеса для пения б е з с л о в» Почему же на смену песням приходят пьесы без слов?

Черногус встречает Юлию комплиментом: «Вы вполне оправдываете свое имя». Но Юлия не знает, что ее имя имеет какое-нибудь значение. Черногус восклицает:

«Неужели вам никто об этом не говорил? «Юлия» женская форма от «Юлий». А «Юлий» по-латыни значит — «блестящий». Вы «блестящая», Юлия Павловна, вот вы кто».

Если мы захотим проверить эрудицию Черногуса по обыкновенному латинско-русскому словарю, то тут же и убедимся, что старик поступился истиной галантности ради. Права-то была Юлия. Ее имя как в женской, так и в мужской форме никакого значения не имеет. А «блестящего» и «блестящую» означают имена Люций и Люция, которые в данном случае никак к делу не идут.

И как знания героев подменяются самыми первоначальными сведениями из наспех прочитанных общедоступных источников, как афористичность снижается до банальности, как эрудиция демонстрируется весьма неточными сведениями, точно так же и реализм повествования отступает перед грубой натуралистичностью — особенно когда сюжет входит в область отношений между полами. Натуралистичность эта приобретает различные оттенки — от обыкновенной пошлости, какую мы уже встретили в характеристике «необычности» Владычина, до «дразнящего» эротизма или олеографической псевдокрасивости. Чтобы не быть голословным, снова приходится обращаться к примерам.

Не раз словоохотливо и щедро нам преподносятся сцены пристального разглядывания племянником Александром тетки Юлии. Он «смотрел на ее смуглую шею в светлых завитках подкрашенных волос, на ее округлые, мягких линий плечи, на туго стянутую талию, на крупные сильные бедра, на ее крепкие, не толстые и не тонкие, ноги. Да, конечно, совсем не урод». И снова: беседуя с

Александром, «Юлия отбросила одеяло до пояса, села в постели. Открылись ее плечи, ее грудь под тонкой сорочкой; матовым нежным шелком светилась ее розоватая теплая кожа».

Так и нагнетается атмосфера намека, греховного предвкушения. И Денисов, приходя домой, почему-то мимоходом заглядывает к спящей Юлии. И читателя снова ведут туда, где терзается бессонницей та же Юлия, в которую «выстрелили любовью»:

«Она крутилась, не в силах найти такое положение, чтобы, наконец, уснуть. Она вновь и вновь взбивала подушки, перекидывала их то так, то этак. Она сбрасывала с себя одеяло и, озябнув, вновь натягивала его до подбородка. Если бы кто послушал со стороны, то он мог бы поклясться в том, что Юлия даже постанывала слегка, сама того не замечая...»

А вот и натуралистичность попроще. Описывается София Павловна в сшитых ею самой комбинезонах: «Кое-где у нее было немножко больше, чем бы хотелось: брюки и лямки комбинезонов это подчеркивали с излишней старательностью. Но ничего, ничего. Хуже, когда там меньше, чем надо».

И снова о ее костюме, который «был сшит так, что в его вытачках и складках не затерялась ни одна из форм Софии Павловны...»

И много раз — почти уже патологически подробнейший разговор о туалетах обеих сестер, о женских туфлях, о каблуках, о влиянии каблука на те же «формы»...

А когда в отношениях «плотское» начало отступает перед «духовным», то и «формы» уступают место бесплотной «красивости». Глядя на Майю, «Александр не мог отвести взгляда от ее добрых красивых глаз, ожидающих его ответа; он смотрел на упавшее до плеч белое золото ее волос...», и снова всматривался «в эти изгибы губ, и в эти длинные светлые ресницы», и ему «ужасно» хотелось «коснуться ее золотисто-белых волос».

Но и грубость, и лепет, и дразнящий намек создают в романе лишь одну видимость пола. На самом-то деле все герои, в том числе и Юлия, остаются бесполыми бумажными фигурками; они не действуют сами, а лишь переставляются по воле автора. Они не обладают характером, но лишь предъявляют справки о якобы присущих им свойствах. Потому и Юлия, только что «постанывавшая» от приписанной ей страсти, так покорно и мгновенно засыпает, заночевав с Владычиным в сарае, на рыбацких сетях. Потому, несмотря на обилие деклараций о любви Денисова к Софии Павловне (в одной такой декларации, как в заклинании, Денисов повторяет имя жены двадцать один раз на протяжении одного абзаца), а быть может, именно благодаря такой декларативности в эту любовь тоже никак нельзя поверить.

Пошлость не может быть безнаказанно впущена лишь в какую-либо одну область художественного произведения. Она не преминет распространиться, поразить всю его ткань. В этой истине убеждает снова и роман В. Кочетова. Когда писалось о любви Денисова, автор, видимо, усомнился: а могут ли быть два объекта, о которых человек с равным правом говорил бы, что они ему «дороже всего на свете»? Денисов говорит так о своей жене. И все с той же нераздумчивой поспешностью автор заставляет Денисова рассуждать вслед за этим следующим образом: «Дороже Сони у него никого и ничего не было. Ему могли бы задать вопрос: а партия? Он бы ответил: а для меня они, знаете ли, неразделимы». Это упражнение в формальной логике, это сопоставление несопоставимого звучит не только анекдотически, но и нестерпимо пошло.

Декларативно оправдываемая торопливость, пренебрежение художественной формой приводят, конечно, и к множеству погрешностей в самом языке романа. Мы читаем в нем такие фразы: «Вошла еще одна красавица за этот день»; «Я тебя не узнаю, что ты до сих пор не отослал это письмо»; «Александр понял это, помог ей за локоть»; «Это мелочь по сравнению с тем, что вскоре после его ухода положила на стол Огнева секретарь»; «Плотные мамы в шубах свободно катались на ледяной дорожке одни». Второму секретарю обкома Лаврентьеву приходится разговаривать языком протоколов из крокодильской рубрики «Нарочно не придумаешь». Он говорит, что ему болеть не приходилось, если не считать «ранения на фронте, из-за чего рука долго не действовала, да и то вернулась к жизни тоже через физические упражнения». О Юлии рассказано, что она, «поливая их какой-то магического действия жидкостью, полоскала перед сном свои холеные ноги с накрашенными красными ногтями».

О монотонности языковых приемов говорят такие характеристики персонажей. Александр водит в танце, «что бог»; Суходолов готов драться, «что лев»; Артамонов держится на трибуне, «что Наполеон».

Авторская речь остается обезличенной и сухой там, где говорится о делах и поступках людей. В отступлениях, претендующих на философичность, появляется вычурность. Сказано, например, о том, что лето проходит, и следует длинное отступление, которое начинается так: «Древние люди, наши диковатые предки, расставаясь с очередным уходящим летом, не на жизнь, а на смерть бились с природой в глухие зимние месяцы, всегда боялись, а вдруг-де новая-то весна, новое лето и не придут...» А в описания природы вторгается та же слащавая «красивость», какую мы встречаем в описаниях Майиных глаз и волос: «Вначале не было ни фанфар, ни барабанов, ни восторженных, ликующих кликов — был только свет, были только краски, они заменяли все... аквамарин сменялся бледно-сиреневым нежным свечением, которое охватывало добрую половину горизонта, оттесняя первозданную синеву к западу. Это были как бы первые запевы флейт, к которым едва-едва присоединяли свой голос кларнеты. Затем... вступали трубы. Они крепли, ярчали, набирали все больше розовой желтизны. В небо веером взлетал фонтан золотых, все сметающих на своем пути пламенных стрел. Это вскрикивали тысячи звенящих фанфар...»

Изысканные, хоть и не похожие на настоящий рассвет фонтаны, опалы, аквамарины и кларнеты лишь еще пуще оттеняют вязкую натуралистическую серость общего языкового фона этой книги.

Защита поспешности, предположение о том, будто бы содержание может быть отделено в искусстве от заботы о художественном совершенстве формы, от настойчивого труда художника, опровергается новым романом В. Кочетова наиболее убедительно.

Это вопрос старый. Недавно изданные «Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича напоминают о том, что он возникал уже и в первой половине минувшего века. Ссылаясь на П. А. Вяземского и подтверждая «совершенную справедливость» его слов, мемуарист приводит замечание о том, «что не довольно писателю иметь дарование, мысли, сведения, нужно еще искусство писать; без этого дара писатель — как стрелок, не попадающий в цель». Даже и сравнение приводилось как раз из той самой области, где ищет Баксанов доказательств «второстепенности», необязательности искусства писать.

Литература наша в походе. И это требует от каждого художника заботы о снаряжении и тщательного ухода за своим оружием.

Работая над «Секретарем обкома», В. Кочетов оставил эту заботу без внимания. В результате роман оказался сырым, а его образы — недодуманными и ненаполненными. Главная задача (показать «руководителя нового типа») осталась нерешенной, а многие частные решения, предлагаемые читателю, приходится признать весьма сомнительными. В этом-то для пользы общего литературного дела мы и пытались разобраться со всей откровенностью.



ОТКЛИКИ и КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ГОЛОС ТРУДОВОЙ АВСТРАЛИИ

Австралия

«Риалист райтер» («Писатель-реалист»), литературно-критический журнал. № 6. 1961. Орган Национального совета писателей-реалистов Австралии. Год издания 4-й. Канберра. Редактор Фрэнк Харди.

★

Если бы понадобился еще один пример, подтверждающий, что для литературы расстояние не помеха, то успех австралийской литературы у советских читателей мог бы послужить прекрасным доказательством этой истины. Многие тысячи километров разделяют Австралию и СССР, но произведения австралийских писателей нашли за последние годы дорогу к сердцам советских людей. У нас вышли и выходят книги Причард, Харди, Маршалла, Уотена, сборники рассказов и новелл, представляющие творчество Моррисона, Вэнс Палмера и многих других рассказчиков, мы хорошо узнали творчество классика австралийской литературы Лоусона, поэзию старейшей австралийской поэтессы Мэри Гильмор и молодых поэтов. Австралийская литература с ее неповторимым своеобразием вошла в культурный обиход широкого круга советских читателей.

И это неспроста, ведь в лучших произведениях австралийской прозы и поэзии с особой силой звучат мотивы борьбы и солидарности простых людей, людей сурового труда, закаленных и отважных, всегда готовых помочь попавшему в беду товарищу, пустить, как писал в одном из своих рассказов Лоусон, «шапку по кругу». «Мы все товарищи» назвал свои стихи крупный австралийский поэт Бартлетт Адамсон, умерший десять лет тому назад. «Австралийская литература... всегда была выражением и отражением социального протеста»,— говорится в передовой статье одного из номеров «Риалист райтер».

Не так давно в Москве был получен последний номер этого журнала, уже в новом оформлении. Значится на нем «номер шесть», но по существу это первый номер печатного издания «Риалист райтер», размножавшийся до сих пор при помощи стеклографа, впервые издается типографским способом. Перед нами тонкая тетрадь — всего шестнадцать страниц убористого текста. Начиная с этого номера «Риалист райтер» — орган Национального совета писателей-реалистов Австралии. Раньше он был органом Сиднейской группы этого объединения.

В передовой статье четко и ясно определена позиция журнала: «Наша точка зрения — это точка зрения рабочего класса, точка зрения реализма с социальной целенаправленностью, точка зрения литературы и писателей, связанных с рабочим движением. Мы выступаем за более тесную связь между писателями всех стран и за революционное развитие демократических традиций австралийской литературы».

Журнал придерживался этой точки зрения все время своего существования. Поэтому, чтобы полнее показать, что представляет собой это издание, обратимся к его предыдущим номерам. Их всего пять, так что правильнее было бы называть издание «альманахом», а не журналом, печатались они на ротаторе и выходили, как говорится, «по возможности». Но стоит ли этому удивляться, зная, что в свое время роман Харди «Власть без славы» типографские рабочие набирали, печатали и брошюровали «за свой счет»; что талантливый новеллист Моррисон, уже пожилой человек, вынужден работать садовником, а писать урывками, «между делом»; что почти ни один из прогрессивных писателей Австралии не может прожить литературным трудом.

Но дело не только в материальных трудностях и лишениях. Кое-что о политических, цензурных ограничениях писательского труда в Австралии мы узнаем из редакционной статьи того же «Риалист райтер», красноречиво озаглавленной «Закон о преступлениях — угроза литературе». Речь идет о новых дополнениях и поправках к «Закону о преступлениях», принятых в Канберре. Этот закон и, в частности, «дополнения» к нему, по словам журнала, «явно направлены против произведений литературы и журналистики, не говоря уже о главной цели — расшатать и ослабить рабочее движение». В «дополнениях» прямо говорится о «любой книге, периодическом издании, листовке, плакате, газете», которые, с точки зрения канберрских законодателей, могут представить «угрозу» для общества. Разумеется, тут имеются в виду не такие литературные выступления, которые прославляют войну или расовую дискриминацию. Нет, «опасными» сочтены литературные произведения и статьи, разоблачающие пропагандистов войны, ратующие за мир, за социальную справедливость, за расовое равноправие.

Сообщая о том, что более тридцати писателей Австралии подписали протест против нового наступления на передовую литературу страны, журнал призывает не ослаблять усилий в этой борьбе.

Но судебные преследования, санкции по закону — это крайние меры. В одном из номеров журнала Фрэнк Харди рассказывает о том, с какими «нормальными» трудностями сталкивается писатель, не желающий умножить ряды поставщиков журнального чтива, поступиться своими принципами ради денег. Не так давно скончался Арчер Кроуфорд — честный и даровитый австралийский писатель. Речь Фрэнка Харди на его похоронах не просто надгробное слово — это написанный с любовью и волнением портрет писателя-труженика, писателя-борца, чьи черты характерны для многих австралийских писателей, вышедших из рабочего класса, посвятивших ему свое творчество. «Он начал писать в коммунистических заводских бюллетенях еще в тридцатые годы, в первые годы войны с фашизмом, до того как он поступил в авиацию. И с той поры вел непрекращающуюся борьбу, чтобы остаться писателем и развивать свой талант в условиях социальной системы, враждебной всему, что он отстаивал и о чем писал...» Сколько горестей, мук и тягот принесла ему эта борьба! Писатель много и напряженно работал ради заработка. Он был санитаром в госпитале, плотником, декоратором в студии телевидения; писал по ночам. Не раз, по свидетельству Харди, он отдавал в заклад свою пишущую машинку; он проделывал пешком огромные концы, чтобы сэкономить гроши... А разве ему недоставало таланта? — спрашивает Харди.— Во время войны и в первые послевоенные годы Арчер Кроуфорд печатался в популярных журналах, его рассказы передавались по радио... Но затем к нему отнеслись с равнодушием и враждебностью, по существу обрекли на голодную смерть только потому, что в своем творчестве он хранил верность народу.

Условия, в которых жил и работал Арчер Кроуфорд, мало чем отличаются от тех, в которых живут и работают многие австралийские писатели старшего и младшего поколения. В последние годы в австралийскую литературу пришло немало молодых писателей. Журнал стремится познакомить их, так же как и своих читателей, с историей прогрессивной литературы Австралии, с ее истоками. С этой точки зрения представляет интерес статья Поля Мортье о социалистическом реализме в литературе.

Обозревая путь прогрессивной литературы в стране, автор пишет о том, как Коммунистическая партия поддерживала стремление рабочих проявить себя в литературе. В период депрессии появились рабочие клубы искусства, школы писателей «и другие организации, отражавшие стремление рабочих воплотить свои чаяния и надежды в литературных произведениях».

В годы второй мировой войны и в послевоенные годы в стране возникло несколько групп писателей-реалистов. Они читали свои произведения на заводах и фабриках, участвовали в организации так называемого Австрало-Азиатского книжного общества [1]. Помогали они и приходу в литературу новых людей — таких, как Доротти Хьюэт, Давид Форрест, Рой Тюллипэн и другие.

---

[1] Общество это было основано в 1952 году; его создание было вызвано тем, что прогрессивные писатели, как правило, лишены возможности издавать свои книги в буржуазных издательствах. Общество выпустило уже свыше тридцати книг разных авторов.

Представляет интерес и близкая по теме статья Ф. Харди «Писатель и рабочее движение». Харди отмечает: «Многие интеллигенты, в том числе писатели, сблизились с рабочим движением», отдают ему свои дарования и способности. В то же время рабочее движение выращивает свою интеллигенцию, своих писателей и деятелей театра. «Начиная с 1944 года,— по словам Харди,— движение писателей-реалистов стремилось стать центром притяжения для писателей, связанных с рабочим классом, но наличие общих взглядов,— подчеркивает Харди,— не означало стандартизацию многообразия талантов «австралийских писателей-реалистов» Харди подчеркивает, что за последние десятилетия как раз писатели левого направления и создали наиболее значительные австралийские романы.

Статья Харди заслуживает внимания и потому, что откликается на волнующие австралийских писателей творческие проблемы, в частности на проблему изображения положительного героя, человека труда. «В некоторых кругах,— пишет автор статьи,— стало модно усмехаться при упоминании таких произведений, но не подлежит сомнению, что литература должна вновь обрести героические качества. В наше время литература, отражающая идеи буржуазии, утратила искусство созидания героических образов, она боится пробуждения народного сознания и не видит ничего героического в жизни народа. Но мы придерживаемся иной точки зрения и стремимся к жизнеутверждающему началу, к созданию новых героических характеров, и притом живых, из плоти и крови».

Харди ссылается на книги Моррисона, Хьюэт, Д. Уотена и других, свидетельствующих о том, что жизнь и борьба рабочего класса может послужить основой для создания талантливых произведений.

Если мы уделили так много места публицистическому и критическому разделу журнала, то это вовсе не говорит о бедности его художественного раздела. Нет, напечатанные в журнале рассказы и стихи в большей своей части читаются с живым интересом. Последний номер журнала открывается рассказом К. С. Причард «Женщина с метлой». Действие рассказа происходит в годы депрессии, когда безработных в порядке благотворительности привлекли к работам по строительству плотины. Рассказ написан в форме воспоминаний старого рабочего о трудных днях, когда «после многих месяцев бродяжничества в поисках работы мы скатились на самое дно». Группа безработных, измученных непосильными условиями на плотине, пытается устроить митинг протеста; против них власти посылают отряд конной полиции. Полицейские с дубинками в руках нападают на безработных. Нескольким из них, в том числе рассказчику, удалось укрыться в маленьком домике, хозяйка которого, пожилая женщина с метлой, «вступает в бой» с полицейскими и выгоняет их из своего дома. Рассказ написан с теплым юмором, и, читая его, ясно представляешь себе и чудовищные условия жизни в бараках на строительстве плотины, и обстановку полицейского террора, и, как живую, видишь старую женщину с метлой, «своим мужеством пристыдившую нас, крепких и рослых мужчин».

В большинстве рассказов, напечатанных в журнале (Д. Хэндри, Артура Пайка, Джима Гендерсона и других), перед читателем проходят картины тяжелой, безрадостной жизни людей труда, но ни в одном из них не найти ни следа сентиментальности, ни налета филантропической снисходительности к «бедным и обездоленным».

Несколько рассказов посвящено теме расовой дискриминации, тяжелой жизни коренных жителей Австралии, обреченных на вымирание.

В одном из последних рассказов Арчера Кроуфорда речь идет о происшествии, случившемся более тридцати лет назад. Рабочий Джо Доусон узнает от своего приятеля-коммуниста о том, что в Советском Союзе «начали выполнять пятилетний план, чтобы индустриализировать всю страну». Желая выразить свои добрые чувства, Джо решает послать в Москву молоток, который когда-то подарил ему на память его старый товарищ.

Тема дружбы с советским народом звучит на многих страницах журнала. Приятно прочитать стихотворение У. Брауна «В магазине игрушек в Москве», написанное после посещения автором «Детского мира» во время его поездки в СССР, перевод сти-

хотворения Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь...», теплые слова привета, обращенные к делегации советских писателей, посетивших Австралию.

Говоря о поэтическом разделе журнала, следует назвать стихи мельбурнского поэта Сирила Гуда, клеймящего зверства расистов, стихотворение Фреда Госса, проникнутое ненавистью к войне, но особо хочется отметить очень хорошие стихи молодого рабочего поэта из Сиднея Дениса Кеванса, и прежде всего его «Южную мелодию», напечатанную в последнем номере «Риалист райтер»,— стихотворение, проникнутое горячей любовью к народу Австралии, к ее трудящимся, «распознавшим, где наши друзья и где враги».

Само собой разумеется, что в журнале есть рассказы и стихи, которые скорей могут служить авторскими заявками, чем зрелыми произведениями. Может быть, не все, кто выступает в журнале, посвятят себя литературе, но редакция поступает правильно, не проходя мимо стихов и рассказов, написанных еще неуверенной рукой.

Журнал не боится критических замечаний о напечатанном. В своих письмах читатели откровенно высказывают свои суждения о прочитанном.

Трудно сказать, как сложится дальнейшая судьба «Риалист райтер» — ведь журнал не имеет достаточных средств и борется за свое существование в трудных условиях. Хочется от всей души пожелать успеха ему и тем писателям, опытным и начинающим, которые выступают на его страницах. Каждый из них вносит свою посильную лепту в «шапку по кругу».

В. РУБИН.

ХАМЕЛЕОНЫ

ФРГ

«Ди культур» («Культура»), ежемесячник по вопросам культуры, литературы и политики. Август, сентябрь 1961. Год издания 9-й. Мюнхен. Ответственный редактор Ганс Доллингер.



Как это часто бывает, на крутых исторических поворотах особенно отчетливо раскрывается истинная сущность людей, носивших до поры до времени маски благородных героев — поборников мира, защитников демократии. Нечто подобное произошло недавно с автором знакомого советским читателям романа «Не убий!» — западногерманским писателем Гансом Вернером Рихтером.

Как известно, августовские события в Берлине, когда правительство Германской Демократической Республики решило положить конец провокациям западноберлинских реваншистов и обезопасить мирную жизнь своих граждан, вызвали не только новый приступ военной истерии боннских милитаристов и политиков, но и непристойную возню среди определенной части западногерманской и западноберлинской интеллигенции. Нашлись, к сожалению, и писатели, которые приняли участие в разжигании военной истерии и злобных нападках на Советский Союз и Германскую Демократическую Республику. Среди них оказался и Рихтер. В своей статье «Конец иллюзий», опубликованной в августовском номере «Ди культур», он развязно требует «решительных ответных мер», призывает западногерманскую военщину «разрушить заграждения у Бранденбургских ворот». Едва ли можно предположить, будто Рихтер не понимает, что рекомендуемые им «ответные меры» могли бы повлечь за собой роковые для Западной Германии последствия. Видимо, судьбы западногерманского населения весьма мало его волнуют, если он в нынешней ситуации согласился выступить в неприглядной роли литературного наемника милитаризма.

Столь же мало удается Рихтеру стать в позу защитника интересов населения Германской Демократической Республики, которое, как он пишет, оказалось отрезанным от «свободного мира» и испытывает посему «невыносимые муки».

Правда, если полистать прошлогодний комплект «Ди культур», то в июльском номере можно обнаружить статью, рисующую совершенно иначе положение «восточных немцев». Автор ее подробно рассказывает о своей поездке в Германскую Демократическую Республику и приходит к заключению, что, вернувшись в Западную Германию,

он очутился «в другом мире, внутреннюю пустоту которого я только сейчас понял». Сравнивая духовную жизнь ГДР, богатство и широта которой поразили его воображение, с духовной жизнью Западной Германии, автор писал, что ФРГ «находится в состоянии безнадежной отсталости». Что ж, можно не согласиться с этим! И можно было бы только радоваться, что еще один западногерманский литератор сумел преодолеть свои предубеждения и здраво оценить происшедшие в ГДР коренные социальные изменения. Но под этой статьей мы видим подпись... того же Ганса Вернера Рихтера.

Поистине с хамелеоновой быстротой меняет писатель свои взгляды! Неужели он рассчитывает на короткую память своих читателей?!

Пропагандистская шумиха, поднятая реакционной прессой, повлияла на умонастроения не одного только Рихтера. Западноберлинские писатели Вольфдитрих Шнурре и Гюнтер Грасс обратились с открытым письмом к писателям Германской Демократической Республики. Используя довольно примитивную демагогию, они пытались спровоцировать писателей ГДР выступить против законных и давно назревших мер, предпринятых их правительством. Письмо Шнурре и Грасса, разумеется, густо нашпиговано призывами к защите «свободы» и лицемерными сожалениями о «тяжелой доле» граждан Германской Демократической Республики.

Стефан Хермлин, к которому было обращено это письмо, в своем ответе убедительно разоблачает демагогический характер разглагольствований Шнурре и Грасса. «Если вы,— пишет Хермлин,— выступаете против Глобке и Шредера, которые вами правят, то мне совсем не обязательно выступать против своего правительства, которое ведет борьбу с Глобке и Шредером несколько действеннее, чем делаете это вы оба».

Впрочем, для ответа одному из авторов этого письма — Шнурре — можно было бы процитировать высказывания самого... Шнурре. «Уже снова начали говорить о половине Германии как о сердце Европы и оплоте против большевизма... Уже взяли на абордаж демократию фактически никогда не лишавшиеся власти нацисты, объявленные законом безобидными, и проникли... в общественные организации, в экономику, в политику и судопроизводство, в журналистику и медицину, в искусство и науку. Не выполнен долг лишить пособников убийц и приверженцев террора права пользоваться демократической свободой слова Упущен шанс объявить себя нейтральными и тем самым навсегда погасить тлеющие угли в очаге беспокойства в Европе... Отклонены гарантии неприкосновенности установленных по нашей собственной вине восточных границ Германии». Шнурре сам, как видите, предостерегал о преступных намерениях «нынешнего министра обороны и христианского канцлера» напасть «на народную армию Ульбрихта... и насильственно приблизить час объединения с помощью кованого солдатского сапога». Так писал Шнурре всего лишь несколько месяцев назад в статье, опубликованной в сборнике «Альтернатива» (издательство Ровольт, Гамбург, 1961).

Да, поистине нелегко сохранить свободные демократические убеждения в «свободном мире», апологетами которого выступают теперь Рихтер, Шнурре и Грасс. Политические пируэты этих господ — наглядное тому доказательство.

Духовная «свобода», за которую ратуют теперь эти писатели, означает немедленный разрыв культурных связей с Германской Демократической Республикой, как того потребовал западноберлинский сенатор Липшиц, выступая накануне выборов в бундестаге. Эта «свобода» означает снятие с репертуара западноберлинских и западногерманских театров пьес выдающегося немецкого драматурга Бертольта Брехта, запрещение книг писателей Германской Демократической Республики. Так, издательство Фишера, уступив давлению реакции, не выпустило в продажу готовый тираж романа Эрвина Штриттматтера «Чудодей», изданного уже на многих языках мира. Как справедливо отмечалось в литературном приложении к лондонской газете «Таймс» от 22 сентября 1961 года, «такого рода культурное возмездие сразу же снижает убедительность аргументации писателей, подобных гг. Грассу и Шнурре». Эта «свобода» означает непристойные нападки на таких широко известных деятелей немецкой культуры и искусства, как режиссер Вальтер Фельзенштейн, секретарь немецкой Академии искусств Герберт Иеринг, писатель Гюнтер Вайзенборн и многие другие. Фашиствующие молодчики «свободно» совершают нападения на их жилища, сжигают их автомобили, грозят им физической расправой.

На страницах той же «Ди культур» (август) о берлинских событиях высказывается и западногерманский писатель Михаэль Мансфельд, автор антифашистской пьесы «Один из нас». При всей предвзятости его отношения к Германской Демократической Республике Мансфельд решительно не согласен с лицемерными воплями западногерманских политиканов. Отметая лживые обвинения в адрес Советского Союза, он напоминает, что Советское правительство «еще несколько лет тому назад заявляло, что вступление Федеративной Республики в систему западных военных пактов делает невозможным воссоединение Германии». С едкой иронией пишет он о показном возмущении западногерманских милитаристов и попавшихся на их удочку обывателей законными действиями правительства ГДР. «Политика федеративного правительства,— приходит к выводу Мансфельд,— не могла привести к воссоединению. Это давно известно каждому... Какое лицемерие перекладывать ныне вину на русских».

«Мирные переговоры,— подчеркивает западногерманский писатель Петер Хамм,— необходимы сейчас больше, чем когда бы то ни было». Любая попытка насильственных действий со стороны западноберлинских или западногерманских властей, пишет он, чревата самыми гибельными последствиями.

В нынешней обстановке в стране выступления западногерманских приверженцев мира не могут найти путей к широким кругам населения. Хозяева большой прессы и радио делают все, чтобы заглушить голос честных немецких патриотов. Тот же Петер Хамм в своей статье, напечатанной в «Дейче вохе» (№ 35 за 1961 год), одной из немногих уцелевших в ФРГ демократических газет, рассказывает, что ни один из буржуазных органов печати не осмелился опубликовать его ответ западноберлинскому писателю Грассу. «Свобода мнений в Федеративной Республике,— пишет П. Хамм,— не заходит столь далеко, чтобы разрешить не то что защищать, но даже прокомментировать действия другой части Германии, разумеется с ее позиции».

И все же реалистическая точка зрения на проблемы, связанные с необходимостью заключения германского мирного договора и ликвидации шпионско-диверсионного очага в Западном Берлине, находит немало сторонников среди западногерманских писателей и деятелей культуры. «Мы предоставляем возможность всем немецким писателям, не предавшим идей гуманизма, обрести родину,— заявил от имени писателей ГДР член немецкой Академии искусств Петер Хакс.— Это значит, что мы даем им возможность получить общественный резонанс, печатаем и читаем их произведения... ведем с ними переговоры в любое время и в любом месте. Это значит, что мы поддерживаем их борьбу духовными и политическими средствами. Это значит, конечно, что они могут найти у нас защиту и безопасность, если дело дойдет до того, что возникнет угроза не только их репутации, но и самому существованию».

Как бы ни неистовствовала западногерманская правящая верхушка, пускающая в ход все средства провокации и террора, не приходится сомневаться, что ее потуги вызвать у интеллигенции ФРГ недоверие и вражду к Германской Демократической Республике тщетны. Все честные, действительно миролюбивые немецкие литераторы стремятся к консолидации, к общему труду на ниве национальной культуры. Заключение германского мирного договора поможет этой консолидации и устранит почву для разжигания реваншистской истерии, для деятельности политических хамелеонов.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



Литература и искусство

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

Елизар Мальцев. Войди в каждый дом. Роман. Книга первая. «Роман-газета», №№ 13, 14. 1961.

Что требует от каждого из нас строительство коммунизма?

Нет сейчас вопроса более общезначимого и важного, и когда в жизни или в литературе мы встречаемся с попыткой ответить на него серьезно и самостоятельно, это всегда вызывает интерес и уважение.

Новый роман Елизара Мальцева «Войди в каждый дом» мы прочли именно с таким чувством.

«Как ухватиться за основное звено, чтобы вытащить всю цепь?.. На что обратить главное внимание? Кадры? Материальная заинтересованность колхозников? Более интенсивная производительность труда? Инициатива и тесно связанное с нею широкое и свободное планирование, которое должно расковать неизвестные нам резервы и возможности? Или все это вместе взятое есть лишь производное от чего-то более важного, что я пока еще не в состоянии уловить?..» (Разрядка моя.— *Ю. Б.*)

Так размышляет в одной из первых глав романа секретарь обкома Пробатов. И хотя его мысли непосредственно связаны с сельским хозяйством и решениями только что закончившегося сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года, они имеют более широкий и современный смысл.

Раздумья Пробатова прямо вводят нас в проблематику романа, в тот горячий спор, который, то затихая, то разгораясь вновь, заполняет собой многие страницы книги. Этот спор захватывает всех основных героев, однако, пожалуй, наиболее четкое выражение получает в мыслях и словах самого Пробатова и секретаря райкома партии Коробина.

Они очень разные, эти два человека. Думающий и деловитый, внимательный к мелочам и умеющий видеть главное, занятый большими государственными проблемами и живо интересующийся каждой отдельной человеческой судьбой, всегда естественный и без наигрыша демократичный — таков Пробатов. Что касается Коробина, то су-

щественную черту его характера раскрывает следующее описание:

«Он был в своем неизменном защитного цвета кителе, удивительно шедшем к его плотной и стройной фигуре. Видимо, он любил этот китель, хотя в последний год надевал иногда темно-синий костюм, светлую рубашку и галстук. Но в костюме Коробин не выделялся среди окружающих его людей, становился похожим на всех остальных, а в кителе выглядел немного суровым и недоступным, каким, по его мнению, и должен быть на людях первый человек в районе».

Близость к людям и недоступность — в одной этой противоположности заложена неизбежность спора. И хотя развитое чувство субординации никогда не позволит Коробину прямо спорить с Пробатовым, тем не менее различие их высказываний и взглядов настолько резко, что остается в сознании читателя именно как спор.

Вот некоторые мнения и «установки» Коробина:

«...Наведем порядок, дадим нахлобучку председателю, уберем безвольного парторга, ...призовем к дисциплине...»

«Пока не пригрозишь, что можно расстаться с партийным билетом,— не прошибешь!»

«А недовольные не скоро исчезнут, на всех не угодишь! И наша с вами задача заключается не в том, чтобы слушать жалобщиков и недовольных...»

«...Нас сюда поставили не наблюдателями, а руководителями. Значит, мы не имеем никакого права все пускать на самотек и произвол, иначе там (в колхозе.— *Ю. Б.*) такую демократию могут развести, что нас и дня не станут держать в райкоме».

А вот как смотрит на дело Пробатов:

«Если мы решения партии будем выполнять старыми методами — мы далеко не двинемся!»

«Он (речь идет о крестьянине, за несколько лет перед тем ушедшем из деревни в город.— *Ю. Б.*) не глупее нас с вами, уверяю вас. Нам надо было почаще таких вот людей слушать...»

«Надо решительно увеличивать актив, а может быть, вообще нужно отказаться от этого слова, заранее определяющего некий узкий, избранный круг людей, и смелее привлекать к работе всех. Стучаться в каждую дверь, хорошо знать каждого человека, иначе нам не справиться со всем тем, что требует сегодня от нас партия! И любой руководитель, как бы он ни был одарен и прозорлив, не поняв этого главного, может оказаться в положении человека, пытающегося вычерпать море ложкой».

Две точки зрения, две линии в руководстве. Одна во главу ставит руководителя и, не высказывая этого прямо, лишь ему отводит активную роль; другая самого руководителя оценивает в зависимости от того, насколько высоко поднимет он инициативу и самодеятельность масс, насколько широко привлечет их к участию во всех делах общества и к управлению страной.

Вряд ли кто будет отрицать, что спор между этими двумя точками зрения взят писателем из жизни. Вряд ли кто будет отрицать, что основанный на нем конфликт есть конфликт реальный и современный.

В первой книге романа «Войди в каждый дом» с этим конфликтом прямо или косвенно связано почти все.

Действие протекает главным образом в деревне Черемшанке. Председатель колхоза карьерист и жулик Аникей Лузгин вкупе со своими прихлебателями развалил артельное хозяйство. Все руководящие должности в колхозе заняты его вороватыми родичами и дружками, из них же в большинстве состоит и колхозная парторганизация. Беспорядок, бесхозяйственность, произвол, приписки... Давно прогнали бы Лузгина колхозники, но его поддерживает Коробин и еще кое-кто из руководителей района. Да и как не поддерживать, если Лузгин — это тот же Коробин, только масштабом помельче: те же деспотические замашки, то же глубокое равнодушие ко всему, кроме собственной выгоды.

И взгляды и вкусы у них одинаковые, в чем мы убеждаемся всякий раз, как только среди безлично «правильных» речей мелькнет у них что-то искреннее, свое. Так, например, цинично-хвастливое лузгинское «Народ — что дышло: куда повернешь, туда и вышло!» заставляет вспомнить уже цитированные пренебрежительные слова Коробина: «Там такую демократию могут развести...» Ликвидация культа личности и его последствий пугает их обоих.

До последнего времени один человек в Черемшанке боролся с Лузгиным открыто

и неустанно — колхозный конюх Егор Дымшаков. Прямой, несгибаемо твердый, свято преданный партийной правде и страстно непримиримый к злу, он яростно разоблачает Лузгина, смело отстаивает колхозную демократию.

С Дымшаковым входит в роман мотив ответственности, права и долга советского человека. Рядовой колхозник Егор считает себя ответственным и правомочным во всех общественных делах и честно выполняет свой долг гражданина и коммуниста. Того же неуступчиво требует он и от других. Ему равно ненавистны как прямые враги колхоза, так и равнодушные, эти «чурки с глазами», те, кто отступает перед силой зла.

В образе Егора Дымшакова находит подтверждение мысль Пробатова об «активе», о необходимости «стучаться в каждую дверь». Вот стоят они рядом — секретарь обкома и рядовой коммунист, крупный государственный деятель и простой колхозник. Что отличает их друг от друга с общественной точки зрения? Пожалуй, только одно: опыт руководства.

К моменту, когда начинается действие книги, Егор давно стал поперек горла не только Лузгину, но и районным деятелям коробинского типа. «Это может кончиться для тебя плохо. Как бы билетом не поплатился»,— говорит ему Ксения Яранцева, инструктор райкома. Но Егора не просто запугать, особенно теперь, после сентябрьского Пленума ЦК. «Партия мою сторону держит, а не твою»,— заявляет он Ксении.

Действительно, читая роман, мы видим, как партия поддерживает Егора Дымшакова. На его сторону становятся и Пробатов, и старый партиец Бахолдин, и тридцатитысячник Мажаров, и сама Ксения. Постепенно вокруг Дымшакова объединяется и большинство колхозников Черемшанки.

Исключение составляет как будто Корней Яранцев, до конца книги не принявший открыто ни ту, ни другую сторону. Но это лишь видимый нейтралитет. Ведь вся судьба Корнея самым непосредственным образом связана с той борьбой, которая обозначена в романе именами Коробина и Лузгина, Дымшакова и Пробатова. В свое время этот пожилой, кровно связанный с землей крестьянин ушел из родной деревни, «решился на то, о чем прежде думал, как о самом страшном, что могло выпасть на его долю», а теперь, после решения сентябрьского Пленума ЦК, который разбудил угасшую в нем веру, Яранцев возвращается в колхоз. И сколько бы ни сердился он на колючую и резкую прямоту своего зятя Егора, но ведь это в большой мере благодаря ему «на душе у Корнея стало так ладно, так хорошо, как не бывало с давних пор». Уже сейчас видно, на чью сторону станет завтра Корней Яранцев!

Реальны ли, из жизни ли взяты образы нового романа Е. Мальцева? Такого вопроса, не в пример его прежним книгам, при чтении просто не возникает. Стремление автора к правдивости изображения ощущается во всем содержании романа — и в общем его смысле и в мелочах.

Но тут приходится зачастую различать замысел и исполнение, «идею» образа и его живую человеческую плоть. С этой — художественной — стороны персонажи романа явно неравноценны, и если п о н я т ь легко их всех, то живо п р е д с т а в и т ь можно лишь некоторых.

Хорошо написаны Егор Дымшаков, его жена Анисья, Яранцев. Но, к сожалению, то, что удалось автору в этих персонажах (портрет, жест, язык, характер), явно не получилось в обрисовке ряда других лиц. Им не хватает той психологической точности и тонкости, которая поднимает правдоподобие чувств и отношений на ступень высшей и единственной художественной правды. Портретные характеристики Мажарова, Лузгина, Анохина лишены таких убедительных черт, которые, глубоко гармонируя с внутренней сущностью персонажа, оставляли бы в памяти четкий зрительный образ характера. То же и с речью. Большинство героев романа говорит так, что их реплики и монологи разнятся, как правило, лишь своим содержанием, но не формой выражения; расслышать в них неповторимую человеческую индивидуальность бывает очень трудно. Это беда тем более ощутима, что говорят в книге Е. Мальцева чрезвычайно много и что этими-то разговорами и выражается в первую очередь смысл как отдельных образов и конфликтов, так и всего произведения в целом.

В том, что некоторые образы, по сути своей несущие значительную социальную нагрузку, получились в первой книге романа

бледными, известную роль сыграла также авторская непоследовательность. Пожалуй, наиболее наглядный пример такой непоследовательности — страницы, отданные Ксении Яранцевой.

Уже в самых первых главах нас смущает несоответствие ее внешности — «высокая, ладно скроенная, по-цыгански смуглая, с тонким энергичным лицом, на котором горели большие, черные, мятежного блеска глаза» (разрядка моя.— *Ю. Б.*) — и присущего ей бесстрастно-чиновнического отношения к жизни: «С меня вполне хватает и того, что мне поручают...» Стоя перед Дымшаковым в «дерзкой и смелой» позе, Ксения высказывает следующую, далеко не дерзкую «философию»: «Не ее дело сомневаться в разумности того, что исходит свыше! Придет время — скажут! Она слишком маленький человек, чтобы рассуждать о достоинствах и недостатках тех, кто доверием ЦК поставлен ею руководить...» Очевидно, намерение писателя провести Ксению по пути серьезной идейно-нравственной перестройки. Замысел интересный и злободневный: немало партийных, советских и хозяйственных руководителей в центре и на местах оказались в наше время поставленными перед необходимостью такой перестройки. К сожалению, важнейшие отрезки этого пути Ксении находятся где-то за сценой, поворот в ее поведении и мыслях для читателя недостаточно подготовлен, а потому малоубедителен.

Много необъяснимого и в личной жизни Ксении: в том, как «безропотно и равнодушно», уступая настойчивости нелюбимого ею человека, сходится она с Анохиным, и особенно в ее отношениях с Константином Мажаровым. Раненый лейтенант Костя Мажаров, которого Ксения полюбила в последний год войны, не ответил ей тогда столь же глубоким чувством. Небольшая размолвка привела к разрыву. Он уехал в Москву, окончил Тимирязевку, четыре года проработал в Министерстве сельского хозяйства, но теперь, после Пленума, жажда живого, практического дела снова приводит его в родные места. И совершенно непонятно, почему Ксения, которая незадолго до его приезда «впервые за многие годы думала о Константине Мажарове без привычного чувства обиды и душевной угнетенности», Ксения, которая в свое время была свидетельницей убежденности, принципиальности и мужества молодого офицера, вдруг ни с того ни с сего проникается к нему теперь «интуитивным недоверием», упрямо считает его «низким корыстолюбцем» и карьеристом. Эта «комедия неузнавания», очевидно, кажется автору нужной как дополнительная пружина действия. Но она настолько неестественна, что не может принести книге ничего, кроме вреда.

Вообще «любовная линия» представляется нам слабейшей частью произведения. Никак не связанная с основным его содержанием, она выглядит просто данью традиционной форме романа. Без большой художественной необходимости введены в книгу и весьма пространные экскурсы в прошлое.

Деревню Елизар Мальцев знает не с чужих слов. То тут, то там мелькнет характерная подробность, отчетливая пейзажная или бытовая зарисовка. Однако такие достоверные и точные детали, к сожалению, не всегда создают цельную картину.

Пример недостаточной конкретности изображения можно найти даже в той сцене, которая самому автору (судя по статье его в «Вопросах литературы», № 10, 1961), видимо, нравится больше других,— в сцене колхозного собрания. Вот как выглядит здесь масса колхозников: «...Народу набилось до отказа — плотно сидели на деревянных скамейках, на корточках у стен, на подоконниках, стояли по углам, толпились в тамбуре»; «...Скоро почти на всех лицах появилось равнодушное, отсутствующее выражение...»; «Зал гудел негромко, но слитно...»; «Слушали ее внимательно... но когда она кончила, зал ответил негромким, нарочитым покашливанием, словно людям было неловко за ее поведение»; «По залу, то стихая, то вновь нарастая, катились волны смеха...»; «Собрание угрожающе загудело...»; «Стоголосо взревело собрание, все повскакивали с мест, кто-то стучал ногами, кто-то свистел, заложив пальцы в рот...»; «Неожиданно, шквально обрушились аплодисменты...» Все это само по себе неплохо сказано, но уж слишком общо. «Зал», «собрание», «все», «все лица»... Как будто мы можем увидеть этот «зал», не видя хотя бы некоторых из сидящих в нем, увидеть «все лица», не видя отдельных лиц.

Над художественным строем своей книги Елизару Мальцеву следовало бы еще основательно поработать. Книга его заслуживает такой работы.

Весь роман проникнут духом наступления и победы. Дымшаков и Пробатов побежда-

ют. Всем своим содержанием книга отвечает на поставленный в начале ее вопрос об «основном звене», о том, где лежит ключ к успешному осуществлению нашей великой цели. Пробатову, победителю в споре, принадлежит и четкая итоговая формулировка этого ответа. Охотно отдадим ей последние строки нашей статьи:

«День ото дня жизнь здесь будет становиться лучше, но чтобы люди стали нравственнее, выше, им необходимо нечто большее, чем одна сытость. Им, если хотите, даже мало уверенности, что они завтра будут жить богаче. Человек должен чувствовать себя во всем человеком, чтобы никто не помыкал им, чтобы он чувствовал себя равным со всеми в труде, во всех своих правах. Это, и только это, даст нам возможность раскрыть в каждом те силы, которым пока, по-моему, нет даже названия, настолько они представляются мне необычными и прямо фантастическими!..»

г. Буй.

Ю. БУРТИН.

★

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Евгений Винокуров. Лицо человеческое. Стихи. Редактор Е. А. Исаев. «Советский писатель». М. 1960. 232 стр.

Неловко было бы сказать о начале поэтической судьбы Евгения Винокурова, что ему «повезло». Неловко потому, что это начало было связано с войной, когда он и его сверстники проходили первые классы жизненной школы «под началом у старшин», когда многие беды и тяжести легли на их мальчишеские плечи. И все-таки это была по-своему счастливая юность.

Да, она была лишена многого из того, что из века в век приписывается юности: и туманных мечтаний, и даже первой робкой любви; ничего не поделаешь — война. Что ж, все это было так, и потом, несколько лет спустя, Винокуров не один раз обратится к своей юности, припомнит, как была она нелегка и чего была лишена. Но это потом, а в первой его книге, куда вошли стихи, написанные сразу же после войны, вовсе нет сознания обделенности, да и вообще грусти, уныния. Напротив: стихи на редкость радостны, жизнеутверждающи. Поэт открывал тогда для себя несомненные, реальнейшие ценности: и приобщение к народу, и солдатскую дружбу, и многие простые радости. Это бросается в глаза, едва раскроешь на первых страницах книгу Винокурова «Лицо человеческое», объединившую четыре его сборника.

Вы умеете скручивать плотные скатки?—

спрашивал Винокуров когда-то. И удивлялся и с удовольствием разъяснял:

Почему? Это ж труд пустяковый!
Закатайте шинель, придавите складки
И согните
вот так — подковой...

Он со вкусом, со знанием дела живописал солдатский обед: «бушуют щи, гремит бачков железо». Он рассказывал, как

...изучал высокое искусство
Мытья простых, некрашеных полов.

И позже вспоминал увлеченно:

В работе не жалея сил,
Веселою весной
Я уголь блещущий грузил
На станции одной.

Может быть, мало у кого из поэтов *так* показана нелегкая радость труда. Мало у кого *так* прославлены простые, будничные, повседневные вещи.

Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо, потому что естественно. В этом по-своему выражалось полемическое неприятие чрезмерно поспешных обобщений — и в поэзии и в жизни. Неприятие того абстрактного взгляда на вещи, когда из поля зрения выпадает не кто иной, как простой человек с его обычной, рядовой судьбой, с его будничными радостями и горестями. Винокуров должен был пройти через эту полемику, чтобы окончательно прояснить свою поэтическую и человеческую позицию.

Правда, эта полемичность порой мешала поэту пробиться к пониманию единства простого и сложного в жизни, «низкого» и «высокого». Так было даже в одном из лучших стихотворений первой книги — в «Гамлете».

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.

Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал...

Бывало, выйдет, головой поникнет,
Как надо, руки скорбно сложит, но
Лишь только «быть или не быть?»
воскликнет,
Всем почему-то делалось смешно.

Я Гамлетов на сцене видел многих,
Из тьмы кулис входивших в светлый круг,—
Печальных, громогласных, тонконогих...
Промолвят слово — все притихнет вдруг,

Сердца замрут, и задрожат бинокли...
У тех — и страсть, и сила, и игра!
Но с нашим вместе мерзли мы, и мокли,
И запросто сидели у костра.

Здесь откровенное противопоставление простого, будничного высокому, праздничному. В самом деле: поэт готов предпочесть Качалову ротного Гамлета. Он так любит своих соседей по казарме, так сжился с ними, что готов признать лучшей и высшей правдой простую правду воинского быта.

Но все это вдруг оказывается сложнее. Потому так и обаятельно это стихотворение. По усмешке, которая, как малая трещинка, пробегает по добротно возведенному стихотворению, мы угадываем, что поэт вовсе не так прост, как кажется на первый взгляд. Оказывается, он и умен, и ироничен, и отлично чувствует цену подлинному искусству, то есть тому «высокому», к которому, было, отнесся со столь великолепным пренебрежением.

А потом Винокуров и прямо признается:

Скупой и тонкий дух березы
В те годы я не понимал.

И это, разумеется, не о березе сказано, а о тех сложных оттенках мира, которые были недоступны его юности. И в последующих стихах Винокуров все больше и больше постигает сложность мира, ищет и открывает те же несомненные, реальные ценности, но уже не только в будничном, приземленном их воплощении.

В сапогах огромного размера,
Я вошел на цыпочках в музей...
Грозная Милосская Венера
Поднялась в беспомощности всей.
...«Вот я вся —
что значу и что стою,

Вот я вся —
как будто ото сна,
Страшная своею простотою,
Как волна,
легко вознесена».

Не то чтобы эта красота отрицала будничную жизнь лирического героя. Совсем нет. Даже напротив. И все же к слову пришедшееся воспоминание о «тонких и сложных романах», которые герой заводил с лукавыми и румяными медсестрами, особенно подчеркивало целомудренную красоту Венеры, воплотившей не осуществленную еше его мечту о настоящей любви, о настоящей красоте. И как ни неожиданно, может быть, это сравнение, но в стихотворении происходит то же «выпрямление» души, что было у Тяпушкина, известного героя Глеба Успенского. В нем «высокая» красота уже не противопоставляется повседневному, а становится высшим его образцом и проявлением.

Вообще путь лирического героя Винокурова — это не только поиски, но и, если так можно сказать, созревание идеала. Мы, перечитывая «Лицо человеческое», вместе с поэтом открываем для себя простые и в то же время более и более сложные вещи. Ведь все это нужно постигать самому — и каждый делает это по-своему.

Скажем, что́ за открытие делает Винокуров вот в этом стихотворении:

Сосед мой, густо щи наперчив,
Сказал,
взяв стопку со стола:
— Ты, друг, наивен и доверчив.
Жизнь твоя будет тяжела.

Но не была мне жизнь тяжелой.
Мне жребий выдался иной:
Едва расстался я со школой,
Я тотчас принят был войной.

...Я ел — и хлеб казался сладок,
Был прост — и ротой был любим,
И оказался недостаток
Большим достоинством моим.

О чем это? Только ли о том, что вот, мол, как повезло человеку: к хорошим людям попал? Нет, конечно. Эти стихи не исчерпываются даже утверждением, что «люди — народ хороший», что надо просто и бесхитростно открывать им душу. В стихах этих — выстраданная «программность».

Это стихотворение Винокурова звучит вроде бы вполне «простодушно». Презрение к здравомыслящему соседу—это где-то там, между строк, а сами строки звучат по-детски радостно. Лирический герой словно бы и сам удивляется своему везению — тому, что «в грохоте, способном вытрясть из тела душу, на войне была совсем ненужной хит-

рость, была доверчивость в цене». Он как будто не идет дальше чуть удивленной «констатации факта», не претендует на противопоставление и обобщения. Однако мы-то видим за всем этим трудно доставшийся жизненный и душевный опыт.

Конечно, легко проповедовать доверчивость и ясность. Куда сложнее, куда мучительнее сохранить их, пронести через войну, через всю жизнь. Читая стихотворение Винокурова, ясно видишь, что оно не о счастливых чертах характера, а о позиции. О том, что самые надежные, не поддающиеся обесцениванию ценности — люди, а не какое-нибудь недвижимое имущество, способное обеспечить человеку разве что стопку водки да жирные щи.

Каждая нехитрая и бесспорная истина, получившая проверку жизненным опытом, становится не такой уж нехитрой и вовсе не бесспорной для всех. Она оказывается сложной, как сама жизнь.

То, что Винокуров шел от бесхитростного утверждения «простых вещей» к попыткам осмыслить и переосмыслить их философски, не могло не влиять и на его интонации, на его выразительные средства. Точнее будет сказать, что почерк его не менялся, а складывался — сквозь необязательное проступали главные, определяющие черты. Вот стихотворение, очень характерное для последней книги Винокурова:

Тоска по детству — ерунда!
Вот детство! Что на свете слаже?.
А я б не захотел туда
Вернуться на мгновенье даже.

Наморщь-ка лоб: чем одарит
Нас память?
Это ж всем знакомо:
В снежки играем, дифтерит
Да скука над законом Ома...

Зато — о юность! Как остры
Воспоминанья!
И чем старше,
Тем резче помню —
от жары
Свой первый обморок на марше...

Если разбирать это стихотворение по заданиям школьной хрестоматии, выписывая и подсчитывая «просторечные слова и обороты», то нельзя не подивиться их обилию в этом маленьком стихотворении. «Ерунда», «слаже», «наморщь-ка лоб»... — действительно, «лексика и фразеология» этих стихов весьма просторечны. Но — вот странно! — несмотря на это, стихотворение в целом звучит совсем не разговорно; напротив, его интонации скорее даже чуть торжественны. Но восклицательные знаки не могут нас обмануть, и «о юность!» вовсе не располагает к одическому повышению тона. Это «о» звучит совсем иначе — словно человек задумчиво прислушивается к собственному голосу, вспоминая вдруг нечто забытое.

О чем это стихотворение, пожалуй, не надо пояснять. Всем ясно значение самого первого, а потому самого значительного воспоминания далекого прошлого, с которого и начиналось становление характера. Для Винокурова это воспоминание о войне, о первой — не самой страшной, но самой первой — встрече с ней. Казалось бы, простой биографический факт становится фактом поэзии, обобщается, и значительность интонации особенно подчеркивает это.

А вот в другом стихотворении поэт не боится прямо поднимать свою биографию, свой путь до символа:

Я жил минутой.
В темноте военной
Глядел в огонь, не расцепляя рук.
И был моею маленькой вселенной
От тихого костра неяркий круг.
Я жил минутой.
Плохо жить минутой!
За медный грош приобретенный рай!..
Нельзя назад. Броди, скитайся, путай,
К бескрайней дали руки простирай!
Я жил минутой.
Так когда-то было!
Я счастлив был: табак, сухарь, тепло...
Назад нельзя. От берега отбило
Уже меня
и в море унесло...

В этих стихах — сложное чувство. «Плохо жить минутой!» — это так, но в радостном сознании пришедшей раскованности, свободы и тревожные нотки. Еще бы — в открытом море куда страшнее и опаснее, чем в «маленькой вселенной». Но в этой сложности чувства — его достоверность, и в этом опасном плавании — счастье.

По сути, это и есть поэтическая формула пути от правды факта к правде идеи, от правды дня к правде века. И этот путь, как всякий путь к совершенству, необратим.

...Итак, поэт издал избранное. Но, может быть, подводя итоги на этом рубеже, стоит сказать о том, что может помешать поэту в его новом, очередном броске.

Мне кажется, среди последних стихов Ви-

нокурова, в которых очень заметно стремление к афористичности, к значительности тона, есть и такие, что страдают от издержек манеры. Нельзя сказать, чтобы стихи эти были совсем плоскими, чтобы они кончались с последней строчкой. Нет. Но афористические концовки, бывает, словно бы перегораживают путь реке стиха, ибо претендуют на роль, бо́льшую, чем позволяет их смысл.

Тогда философия лучших стихов Винокурова, над которыми надолго задумываешься, уступает место довольно-таки прямолинейной философичности. Со стихотворением соглашаешься: да, действительно, есть люди, чей идеал — «на даче покопаться в огороде, да стопку тяпнуть, да всхрапнуть часок...» И есть иные, кем владеет «жажда грандиозных дел». Но на этом согласии твои раздумья над стихами и кончаются. «Значительность интонации», о которой мы говорили, оказывается обманчивой, и даже обаятельнейшее винокуровское лукавство уже не кажется искренним. Трудно поверить, что поэт так уж всерьез колеблется: «кто лучше, разберись-ка — те иль эти?»

Стремление к законченности, к совершенству — стремление похвальное. Но ведь эта законченность не должна проектироваться заранее. Стихотворение не дом. Чертеж здесь не поможет. Вся трудность задачи состоит в том, что так называемая «философская лирика» должна поражать глубиной и новизной мысли — но нет у нее большего врага, чем рассудочность.

Эти замечания могли бы показаться фарисейскими, если бы речь шла о литераторе средней руки, занятом шлифованием своих крохотных шедевров. С Винокуровым дело другое. Ему иначе и писать не стоило бы.

Ст. РАССАДИН.

★

РАССКАЗЫ О БЛАГОРОДНЫХ ЛЮДЯХ

Сергей Львов. Огонь Прометея. Редактор Г. Померанцева. «Молодая гвардия». М. 1960. 286 стр.

Книгу Сергея Львова можно упрекнуть в чем угодно, только не в отсутствии душевной горячности, это ясно с ее первых же страниц. Автор рассказывает здесь, как однажды, более двадцати лет назад, старый профессор, стоя перед доской в аудитории, пел студентам — не читал, а пел! — стихи «Илиады». И мы понимаем, что это было и не странно и не смешно, а, наоборот, очень хорошо и даже прекрасно. Так написана и вся (или почти вся) книга, в которой много живого чувства и нет равнодушного слова.

«Огонь Прометея» — научно-популярная книга и являет собой ряд небольших историко-литературных очерков, посвященных различным эпохам, странам и героям. Перед нами то Греция времен Эсхила, то Англия времен Байро́на, то пушкинский Петербург, то Париж времен Французской революции и Парижской коммуны. Иногда героем очерков является литературный персонаж, иногда великий художник, а иногда политический деятель.

Для того чтобы в маленьком очерке показать судьбу и характер героя, необходимо найти особый угол зрения. Это трудно, и здесь автор проявляет и искусство и фантазию. Иногда удача очерка определяется уже самим его построением.

Очерк «Встреча на дороге». Лондонская стоянка дилижансов и придорожный трактир, куда заходят пассажиры. Краснолицый джентльмен с азартом рассказывает, как он у себя на фабрике расправился с восставшими рабочими-луддитами (один из них, совсем мальчик, умирал у него в сарае), и сообщает «счастливые новости» — в парламент внесен билль о смертной казни для луддитов.

Луддиты, парламент, билль о смертной казни... Искушенный читатель уже догадывается, что сейчас должен появиться некий молодой человек, который будет прихрамывать. И этот человек действительно появляется — лорд Байрон едет в Лондон, чтобы произнести свою знаменитую речь в защиту рабочих. Но представьте себе, никакого разочарования при таком заранее предугаданном появлении героя у вас не возникает. Краснорожий фабрикант, за которым вы видите сотни других, и так уже ненавистен и страшен, а маленького луддита, умершего в сарае, так жаль, что нам не до усмешек, все внимание устрем-

лено туда, в парламент, где молодой лорд произнесет сейчас свою первую речь.

Читаем дальше. По лондонской дороге идут двое молодых рабочих, они несут деньги, собранные товарищами для того, чтобы защищать луддитов на суде. Их, обдав грязью, обгоняет байроновская карета с гербом, а они, выругавшись, бросают в нее камнем. Люди, делавшие одно дело, не узнали друг друга. Это грустно, и это правда.

Вот очерк о Гейне. В австрийских владениях на острове Корфу стоит памятник поэту. Истории этого памятника, собственно, и посвящен очерк, но чем далее он идет, тем яснее становится облик Гейне. Дело в том, что памятник совсем не похож на оригинал, и спор со скульптором позволяет Сергею Львову утвердить свое понимание великого немецкого поэта.

Совсем иначе построен очерк об Александре Ульянове. В революционных мемуарах автор прочел следующие строки: последняя книга, которую хотел прочесть Ульянов, последняя книга, которую он читал, были стихи Гейне. Эти строки взволновали автора, ему захотелось понять, почему именно этого поэта читал молодой революционер перед казнью, представить себе и жизнь его и самый этот последний час. Так возник очерк об Ульянове.

Задача очерка о Горьком, говорит автор,— помочь читателю «представить себе те дни, когда Буревестник впервые взмыл в воздух». Для этого С. Львов показывает нам сперва Россию сонную, обывательскую, Россию «Биржевых ведомостей» и сытных либеральных банкетов. На этом фоне особенно резко обозначаются трагические эпизоды революционной борьбы, в частности нападение казаков на демонстрацию у Казанского собора. В эти дни Горький завершает свои «Весенние мелодии», из которых цензура почему-то пропустила только «Песню о Буревестнике». Именно из противопоставления России революционной и России обывательской и родилась удача очерка.

Правда, бывают здесь и неудачи. Так, шекспировский «Глобус» показан глазами ученого Платтера, которому, однако, отведено столь много места, что на Шекспира его уже не хватило; если «Юлию Цезарю» отдана страница, то от принца Гамлета остался один «чернильный плащ». Но очерков, удачно построенных, в книге больше, чем неудачных.

За недостатком места мы не можем остановиться, хотя бы и кратко, на других главах этой книги; отметим только, что в основу каждой, как правило, положен интересный и свежий материал, каждая дает читателю много ценных сведений, любопытных подробностей.

Есть ли, однако, единство в этой книге?

Есть, но не то, которое приписывает ей автор. «...Героическим страницам истории литературы посвящена эта книга. Она рассказывает о подвиге»,— пишет он и потому называет книгу «Огонь Прометея».

Нам трудно здесь спорить о том, что такое подвиг и в чем следует видеть героическое. Однако в книге эти слова употребляются неточно. Нет сомнений, поступок Бруно, который отречению предпочел смерть — и какую! — является подвигом. Можно назвать подвигом и труд ученых, расшифровавших десятую главу «Евгения Онегина». Но объединить их в одной рубрике нельзя. И Гамлета, принца Датского, не так уж обязательно подгонять под Прометея — это герои различных категорий. Кажется, автор и сам чувствует здесь натяжку, поэтому он разделяет подвиг на сознательный и неосознанный, что не очень понятно. Сознает ли герой, что поступок его является подвигом, или считает, что так на его месте должен был бы поступить каждый,— это не меняет характера подвига. А если человек совершил его несознательно, как несмышленый младенец, ступивший на минное поле, это и вовсе не подвиг?

Когда летит на пламя мотылек,
Он о своем конце не помышляет.
Когда олень от жажды изнемог,
Спеша к ручью, он о стреле не знает.
Когда сквозь лес бредет единорог,
Петли аркана он не замечает.
Я ж в лес, к ручью, в огонь себя стремлю,
Хоть вижу стрелы, пламя и петлю.

Так писал о подвиге в своем сонете Джордано Бруно.

Автор неустанно убеждает читателя: смотрите, это тоже Прометей, это тоже Прометеев огонь. Однако у нас от этих настойчивых повторений возникает одно лишь смутное раздражение, а «Прометеева единства» все равно не получается.

Вообще говоря, подобного рода очерки по истории литературы имели бы право на существование, даже если бы они и не

были связаны единым сюжетом. Однако у этой книги есть свой цемент — чувство самого автора, его глубокая симпатия к тем, кто жил на благо людям, и ненависть к тем, кто их гнал и преследовал. Этого вполне достаточно, чтобы книга с достоинством вышла в свет.

Вопрос о том, какое место должно занимать воображение автора,— один из самых важных и сложных, когда речь идет о научно-популярной литературе. Трудно сказать с уверенностью, что здесь можно, а что нельзя, что являет собою прозрение истины, что — вполне возможное субъективное понимание, а что недопустимая отсебятина. По большей части в книге Львова в этом отношении дело обстоит благополучно, но не всегда.

«Слово о полку Игореве». Автор мысленно с певцом «Слова» в половецкой степи. Он хочет проникнуться его поэтическим настроением, старается уловить все оттенки душевного состояния людей, продвигающихся по чужой, враждебной им земле. Но вот, к сожалению, именно здесь, где надобно было только слушать, автор вдруг дает волю своему воображению.

«Вот она, степь половецкая — «земля незнаемая»! Уже не первый день до самого окоема...— степь, степь, ровная степь! И хотя весной степная трава еще полна зеленой свежестью и вспыхивают в ней пестрые огоньки маков, тюльпанов, белые брызги кашки и душист по весне молодой ковыль,— эта бескрайняя равнина, ее овраги, ее дубравы кажутся ему недобрыми. Он чутко вслушивается, как на дубах перекликаются хищные птицы... А по глубоким оврагам воют волки...» и так далее. Иными словами, до чего же хорошо в степи, а вот певец так расстроен, что даже этой благодати не замечает.

Как искажено здесь настроение! Как неудачны эти огоньки маков, как неуместен душистый по весне ковыль! Совсем не то в «Слове».

«Тогда ступил Игорь князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступало; ночь, стонущи ему грозою, птиц пробудила; свист звериный встал, взбился див — кличет на вершине дерева, велит прислушаться земле незнаемой... Игорь к Дону воинов ведет! Уже ведь беды его пасут птицы по дубам; волки грозу подымают по оврагам; орлы клектом зверей на кости зовут; лисицы брешут на червленые щиты. О Русская земля! Уже ты за холмом!»

Это не лирический и даже не тревожный — это трагический пейзаж. Это беда, и идет она по голой земле, без тюльпанов.

Нам кажется далее, что автор спешит. Он быстро переходит из страны в страну, из эпохи в эпоху — иногда даже в пределах одного очерка, как, например, в очерке «Загадка Шарля де Костера» сквозь девятнадцатый век все время просвечивает шестнадцатый. В заключительном же очерке автор набирает уже такой темп, что имена великих людей следуют друг за другом подчас в простом перечислении. Следовало бы подольше задержаться на каждом сюжете не только для того, чтобы читатель, особенно юный и неискушенный, успел бы привыкнуть к каждой новой для него эпохе, но и в интересах самого сюжета.

Только представив себе эпоху, когда родилось «Слово», и уровень тогдашних литературных произведений, можно понять редкий гений ее автора. Стоит взять какую-нибудь летопись, наполненную бесконечными описаниями княжеских усобиц и кровопролитных битв, или какой-нибудь рыцарский эпос, чтобы убедиться, каким чудом, почти необъяснимым, явилась эта поэма.

Можно, например, сравнить ее с «Песней о Роланде»: и то и другое — феодальный эпос, обе вещи посвящены истории трагического похода, обе гениальны. Но как различна их интонация! Певец «Роланда» весь захвачен азартом боя, весь в плену свирепой рыцарской романтики. Здесь не только льется потоками «ясная кровь» — здесь хрустят кости, вываливаются внутренности, «пучатся и текут мозги», труп валится на труп. Видно, что автору интересно вновь и вновь это описывать, а слушатели не устают слушать. «Граф налетел, разит копьем булатным... кости дробит, сквозь грудь пробил он рану, высадил вон весь позвоночник сразу». Так и видишь воинов, которые внимательно слушают певца. «Да, это удар,— говорят они,— да, это герой».

С поэтом «Слова» мы переносимся совсем в иной мир — печали и раздумья. «Черная земля под копытами костями была засеяна, а кровью полита: горем взошли они по Русской земле» — вот его лейтмотив. «А Игорева храброго полка не воскре-

сить!» — вот его рефрен. Нужно видеть, до какой степени автор «Роланда» погружен в интересы своей среды, чтобы понять, как удивительно непостижимо для своего времени поэт «Слова» возвышается над ней. Тогда еще лучше запомнятся его скорбные размышления над судьбой страны, которые, кстати сказать, хорошо показаны в книге Львова.

Популярная книга должна быть занимательной — это одна из очевидных ее задач. Но чем достигается эта занимательность?

В очерке о Фаусте автор хочет познакомить читателя с Европой XVI века. «Теперь с городской башни Франкфурта-на-Майне поглядим на север, на запад, на юг». Мы мысленно поднимаемся на указанную башню. Что же мы видим? Во Фландрии уже не горят костры инквизиции... Во Франции бушуют религиозные войны... В Англии только что казнили Марию Стюарт... В Лондоне живет Шекспир, ему 23 года... А в Италии, в Пизе,— Галилей, ему 25... Уж если мы поднялись на башню именно Франкфурта-на-Майне, то мы увидим его окрестности, изгиб Майна и его долину, а если нам предлагают бросить мысленный взгляд на Европу, для этого не нужно лезть на башню. Мы задержались на этом примере потому, что подобного рода приемы весьма распространены в нашей научно-популярной литературе, и они вряд ли удачны. А вот когда мы, признаться несколько разочарованные видом средневековой Европы, спускаемся вниз, здесь нас ждут действительно интересные вещи. С. Львов рассказывает нам, как неизвестный автор, борясь с самим собою и непрестанно отрекаясь от своего отважного героя, повествует о судьбе Фауста, ученого и чародея. Вот это на самом деле занимательно, ибо занимательность заложена в самом предмете.

В такого рода литературе стало принято искусственно взбадривать читателя всеми этими «давайте посмотрим», «давайте представим себе», «давайте вдумаемся». Там, где предмет интересен сам по себе, этого не требуется; не требуется этого чаше всего и С. Львову. Не нужен ему и излишне приподнятый тон, которым он нередко грешит. «Надо ли пересказывать «Плач Ярославны» прозой? Не пересказать его прозой!» Да и зачем же, боже мой!

Что же побудило писателя взяться за эту книгу? Давайте воспользуемся его собственным приемом и «представим себе», что он думал, когда собрался ее писать. Мне слышатся такие слова: «У меня нет сил читать учебники, сухие, как сено! Грустно, когда школьникам и студентам преподается безликая история и в высшей степени непоэтическая литература! Когда великих и благородных изображают всего-навсего какими-то типичными представителями чего-то, что-то отображающими!» Автор вправе возразить против такой интерпретации, однако нам кажется, что именно подобное чувство побудило его написать эту увлекательную книгу о мужественных и благородных людях.

О. ЧАЙКОВСКАЯ.

★

ТРИ КНИГИ ОБ ИЛЬФЕ И ПЕТРОВЕ

А. Эрлих. Нас учила жизнь. Литературные воспоминания. Редактор К. Иванова. «Советский писатель». М. 1960. 200 стр.
А. Вулис. И. Ильф, Е. Петров. Очерк творчества. Редактор А. Дмитриева. Гослитиздат. М. 1960. 376 стр.
Б. Галанов. Илья Ильф и Евгений Петров. Жизнь. Творчество. Редактор И. Вайнберг. «Советский писатель». М. 1961. 310 стр.

Три книги об Ильфе и Петрове! Это целое богатство, если вспомнить, что совсем недавно на счету была каждая статья об их творчестве, что некоторые интересные произведения наших замечательных сатириков читателям еще предстоит открыть для себя.

Три разные книги. Собственно, книга А. Эрлиха, имеющая подзаголовок «Литературные воспоминания», посвящена не только Ильфу и Петрову. Это рассказ о людях, с которыми автор встречался и работал на протяжении многих лет в «легендарном» «Гудке» и затем в «Правде»,— о «гудковцах» М. Булгакове, Ю. Олеше, В. Катаеве, о «правдинцах» — Н. Погодине, С. Ди-

ковском, А. Фадееве. Но И. Ильфу и Е. Петрову она посвящена в первую очередь.

Литературные воспоминания А. Эрлиха не просто живы и увлекательны (как принято писать о подобного рода книгах) — они точны, достоверны и благодаря драгоценной памяти автора на подробности живописны. А. Эрлих был близок с Ильфом и Петровым в самые ответственные моменты их биографии. Он помнит их приход в «Гудок», их появление в «Правде». Вместе с В. Катаевым он разбирал бумаги Е. Петрова в первые же после гибели писателя дни. Без воспоминаний А. Эрлиха трудно изучать биографии Ильфа и Петрова и радует, что автор не только собрал эти воспоминания, частично опубликованные прежде, но и превратил их в интересную книгу, передающую и атмосферу тех лет и облик литераторов, окружавших Ильфа и Петрова.

Можно пожалеть лишь о маловыразительном названии книги. Не сомневаюсь, что если б по обложке было видно, что это книга об И. Ильфе и Е. Петрове, написанная их современником и товарищем, она бы привлекла большее внимание читателей.

Две другие книги — это уже собственно литературоведческие работы, вышедшие одна за другой в короткий промежуток времени: «И. Ильф, Е. Петров» А. Вулиса — первая книга молодого автора и «Илья Ильф и Евгений Петров» Б. Галанова — работа опытного критика.

Книге А. Вулиса многое можно простить за то, что она явилась первой книгой об Ильфе и Петрове. Ее несколько претенциозный язык и недостаточная стройность композиции объясняются, вероятно, неопытностью молодого автора, так же как и то, что в некоторых вопросах он не отважился перешагнуть через устаревшие концепции (это прежде всего относится к неудачному, с делением на «плюсы» и «минусы» анализу образа Остапа Бендера — центральной и наиболее яркой фигуры сатирических романов Ильфа и Петрова). Но зато А. Вулис первый, привлекая большой архивный и литературный материал, раскрыл характер соавторства Ильфа и Петрова. Он разобрал рукописи «Золотого теленка», показав много нового и в истории создания этого романа. Факты, уточненные А. Вулисом, многие даты, им установленные, необходимы начинающемуся сейчас изучению творчества сатириков.

А. Вулис работал в архивах: рассматривал рукописи, разбирал письма. Б. Галанов, как это видно из его книги, архивом Ильфа и Петрова занимался меньше. Зато он с увлечением по крупинкам собирал те россыпи, которые еще хранит живая память людей, знавших Ильфа и Петрова. Волнуют живые штрихи жизни известной гудковской «четвертой полосы», которыми поделился с Галановым М. Л. Штих, один из гудковских литературных работников. Интересны привлеченные Галановым устные свидетельства В. Катаева, брата Ильфа В. А. Файнзильберга, С. Маршака, Б. Галина, воспоминания самого автора, еще мальчиком побывавшего однажды у Ильфа и Петрова. Б. Галановым изучена обширная мемуарная литература, и радует умение, с каким он добывает нужные ему свидетельства из литературы художественной, радует простой и живой язык, каким это все рассказано.

Особенно интересно и ново то, что пишет Б. Галанов о раннем творчестве Ильфа и Петрова, когда эти два писателя еще шли разными путями. Здесь и собранные автором сведения об одесском, наименее изученном, периоде в жизни Ильфа и увлекательный анализ ранних произведений писателя.

Правда, по поводу отдельных частностей можно высказать и пожелания и сомнения. Пожелание, чтобы об участии Ильфа в одесской газете «Моряк», в которой сотрудничал К. Паустовский, было рассказано если не подробнее, то хоть конкретнее (Б. Галанов пишет, что нашел в этой газете очерк Ильфа, подписанный псевдонимом, а каким псевдонимом — не указывает и не называет числа). Сомнение — по поводу того, что В. Катаев едва ли не за руку привел Е. Петрова в литературу. Будучи на шесть лет моложе В. Катаева, Е. Петров действительно восхищался своим старшим братом. Но трудно поверить, что литературный путь был выбран этим талантливейшим человеком под влиянием семейных обстоятельств. Да и не таким уж новичком в литературе был двадцатилетний Е. Петров, уже имевший опыт работы корреспондентом Украинского телеграфного агентства (о чем сообщает и Б. Галанов). Лиризм в прозе Ильфа, о чем хорошо говорит Б. Галанов, можно найти все же не только в его среднеазиатских очерках (1925), но значительно раньше, в 1923 году, в одном из самых первых произведений Ильфа — «Моск-

ва, Страстной бульвар, 7-ое ноября», где впервые прозвучал тот самый сдержанно-восхищенный тон, что позже, в третьей части «Золотого теленка», окрасил изображение пуска Восточной магистрали. Но ведь это частности, о которых даже приятно спорить, сознавая, что уже можно спорить о частностях, что картина творчества Ильфа и Петрова в общих чертах уже существует.

И действительно, собрав большое количество фактов и маленьких, но интереснейших подробностей, Б. Галанов преодолел дробность материала. Он представил Ильфа и Петрова живыми людьми, в непрерывной и напряженной газетной работе, в окружении товарищей. И сделал это, не вводя ни длинных цитат, ни искусственно притянутых исторических отступлений, которые так часто пропускаются читателями. Представляя все новые факты, автор стремится осмыслить их, найти их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Некоторые замечания и сопоставления критика могут стать толчком для новых исследований и обобщений.

Над некоторыми замечаниями Б. Галанова стоит поразмыслить, например над сопоставлением «Золотого теленка» Ильфа и Петрова и задуманной В. Маяковским в 1929 году комедии «Миллиардеры», которую поэт полагал посвятить «теме денег и похождениям человека, получившего колоссальное, не нужное ему наследство в СССР». Воспользовались ли Ильф и Петров идеей Маяковского? Или они исходили из какого-то общего, известного им факта? Этот вопрос, чрезвычайно интересный при любом его решении, еще ждет своего исследователя.

Но мне подробнее хотелось бы остановиться на вновь поднятой Б. Галановым теме — теме третьего романа Ильфа и Петрова, «Подлец», не законченного (или не написанного?) ими. И в этой связи вернуться к книге А. Вулиса «И. Ильф, Е. Петров», потому что спор о «Подлеце», занявший в книге Вулиса небольшое по объему место, является спором принципиальным, так как имеет отношение не только к творческой биографии Ильфа и Петрова, но к судьбам советского сатирического романа вообще.

Спор начался с того, что, сообщив впервые о романе «Подлец» (в журнале «Вопросы литературы», № 4, 1957), я назвала примерные даты возникновения замысла — январь — декабрь 1933 года, то есть период интенсивного сотрудничества Ильфа и Петрова в «Правде». А. Вулис уточнил первую дату. Он нашел факты, свидетельствующие, что «Подлец» был задуман полугодом раньше (в середине 1932 года Ильф и Петров обещали пьесу «Подлец» одному из ленинградских театров)'. Вторую дату А. Вулис отверг, не проверяя, заявив, что в сентябре 1933 года роман был окончательно отложен. Я же исходила из того, что и в декабре 1933 года Ильф и Петров еще рассчитывали закончить свой роман, о чем рассказывали тогда же литератору Петру Ставрову (письмо Ставрова с упоминанием этого факта хранится в фонде Ильфа и Петрова в ЦГАЛИ)'. При этом нельзя утверждать, что Ильф и Петров не возвращались к роману и позже — на протяжении 1934 года: 1934 год был единственным в их творчестве годом, не отмеченным ни одной другой крупной работой. Е. Петров о романе записал: «Идея была нам ясна, но сюжет почти не двигался». «Почти» — значит, все-таки немного двигался, значит, были сделаны наброски, может быть, даже написаны какие-то главы: ведь вся первая часть «Золотого теленка» была написана прежде, чем окончательно сложился сюжет романа. К сожалению, не удалось найти записных книжек Ильфа периода «Подлеца». За 1934 год не сохранилось ни одной записи.

Почему же Ильф и Петров не написали свой третий роман — ведь он занимал их не меньше полутора лет? Почему авторы двух блестящих, популярнейших романов, написанных ими в первое пятилетие их десятилетнего содружества, так и остались авторами только двух романов?

Объяснение, которое дает Б. Галанов, убедительно, но, думается, неполно. По его мнению, роман был «оттеснен» газетной работой Ильфа и Петрова. Он считает, что шло накопление материала, что через газету лежал путь к новому роману с сюжетом «Подлеца» или с каким-то другим сюжетом, путь, временно прерванный двумя большими путешествиями Ильфа и Петрова и затем оборванный смертью Ильфа. Может быть, Ильфу и Петрову действительно пришлось ждать, пока «вырастут подмостки» (не случайно это выражение Л. Толстого, характеризующее психологию творчества, как-то процитировал Е. Петров в одном из своих писем)'.

Но ведь с поставленным вопросом связан еще один: почему во второй половине твор-

чества сатириков заметно меняется характер их письма? Можно предположить, что веселый задор, страсть к шутке вытесняются серьезной зрелостью, и желание хохотать по поводу нелепостей сменяется стремлением добраться до корней этих нелепостей, чтобы с корнями же их вырвать. Отсюда гневный тон, и страстная публицистичность отступлений, и желание поговорить иногда серьезно, а не смешно, отличающие их фельетоны последних лет. Но почему исчезает гротеск, так успешно развернутый Ильфом и Петровым в ряде фельетонов 1932 года, в том числе в фельетонах, публиковавшихся в «Правде», таких, как «Веселящаяся единица» и «Как создавался Робинзон»? Почему и он вместе с юмористическим задором словно бы отходит в сторону?

Вот какое объяснение выдвигает А. Вулис.

«В 1932 году,— пишет он,— происходят большие внутренние преобразования в коллективном хозяйстве сатириков. Оно реконструируется, приспосабливается к выпуску новой продукции... Отказ писателей от их прежней манеры, надо думать, объясняется не столько субъективными моментами, сколько самой жизнью, ликвидацией в ходе второй пятилетки экономического фундамента, на который опирались стены стяжательских воздушных замков».

Вдумайтесь в смысл этих строк. «Прежняя» манера Ильфа и Петрова (манера «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», «Графа Средиземского», а отчасти и «Веселящейся единицы») устаревает уже в 1932 году, полагает А. Вулис. Пригодная в годы нэпа и первой пятилетки, она, по его мнению, оказывается бесплодной в дальнейшем. По А. Вулису, Ильф и Петров даже сами сознают это, они «реконструируют», «приспосабливают к выпуску новой продукции» свое «хозяйство». Они откладывают роман. И для подтверждения этой мысли А. Вулис, уличая в «хромоте» другую «концепцию», с таким пылом доказывает, что «Подлец» — не работа 1933 года, как это было на самом деле, а лишь замысел (мало ли было у Ильфа и Петрова неосуществленных замыслов!), относящийся к 1932, переломному, замыкающему первое пятилетие году.

Таким образом, Ильфу и Петрову приписывается мысль, что сатирический роман принадлежит прошлому и нашей героической эпохе не нужен. Ильфу и Петрову, которые спорили с подобными взглядами своим романом «Золотой теленок», которым взгляды эти мешали на протяжении всего их творческого пути!

Не плодотворнее ли, проникая в судьбу ненаписанного романа «Подлец», задуматься: только ли одной творческой потребностью были продиктованы поиски Ильфом и Петровым новых, не гротескных форм для газетного фельетона? Известно, что гротескный рассказ «Клооп» («Правда», декабрь 1932) был каким-то рубежом в творчестве Ильфа и Петрова, после которого для газеты чисто гротескных фельетонов они не писали.

Мне кажется заслуживающим внимания предположение А. Меньшутина («История русской советской литературы», АН СССР, т. 2, 1960): «Во второй половине 30-х годов намечается известный спад в развитии сатирической литературы. В это время испытывали, возможно, особые трудности в своем творчестве и Ильф и Петров».

Перечтите шутливую фразу в фельетоне «Веселящаяся единица» (ноябрь 1932): «Могут не поверить тому, что здесь было рассказано, могут посчитать это безумным враньем, потребовать подкрепленья фактами, может быть, даже попросят предъявить живого товарища Горилло...» Не таился ли уже за этой шуткой вздох досады?

В архиве Ильфа и Петрова сохранился любопытный документ, подтверждающий, что люди, способные потребовать предъявления «живого товарища Горилло», были на самом деле. Документ относится к фельетону «Необыкновенные страдания директора завода», замечательному по силе юмора, по художественности фельетону, опубликованному в «Правде» в марте 1933 года. Это письмо следователя, разбиравшего материалы, по которым написан фельетон.

В фельетоне рассказывалось, как донимали директора автозавода снабженцы, представители различных учреждений, норовя получить автомашину вне плана. Его соблазняли благами товарообмена, умоляли, упрашивали, за ним охотились. Самый ловкий из добытчиков готов был сыграть даже на лирических струнах директорской души: к директору летели записочки от «нежной Женевьевы», ждущей его у почтамта с розой в зубах, а когда он являлся к почтамту, то попадал в объятия все того

же добытчика, в перламутровых зубах которого была закушена красная роза.

В фельетоне нет фамилий директора и снабженца, а история с «Женевьевой» дана как веселая шутка, по-видимому в полной уверенности, что читатели как шутку ее и примут. Но... изучив факты и найдя, что многое в фельетоне соответствует истине, следователь отмечал с грустной дотошностью человека, наглухо лишенного чувства юмора: «Что же касается писем на имя директора т. Дьяконова, назначения встреч у почтамта и держания во рту роз, перламутровых зубов,— факты не подтвердились». Оказывается, в своем служебном рвении он попытался «проверить» гротескный, шутливый образ!

Встречи с глухими к художественному образу людьми не могли заставить Ильфа и Петрова полностью отказаться от их «прежней манеры». В том же 1933 году в «Крокодиле», в числе других комических рассказов Ильфа и Петрова, появляется их широко известный юмористический фельетон о футболе — «Честное сердце болельщика», и вслед за этим совместно с В. Катаевым они пишут комедию «Под куполом цирка». Здесь было столько юмора, веселой выдумки и самого настоящего гротеска, что ни о каком «кризисе старой манеры» не может быть и речи. А вот исполненная горечи запись Е. Петрова по этому поводу, процитированная и А. Вулисом: «Это было мучительно. Стоит ли шутить, писать смешные вещи. Это очень трудно, а встречается в штыки».

В этих-то условиях, когда недоверие к юмору усиливалось, а сатирики продолжали отстаивать свою так пренебрежительно отвергнутую А. Вулисом «прежнюю манеру», они работали над романом «Подлец».

Я не берусь утверждать, что только стечение обстоятельств помешало Ильфу и Петрову закончить роман «Подлец». Может быть, был в его замысле какой-то существенный просчет, из-за которого роман и не мог быть закончен, из-за которого Ильф и Петров не вернулись бы к нему и после приезда из Америки, даже если бы Ильф остался в живых.

Но где основание считать, что, продолжись хоть на время совместное творчество Ильфа и Петрова, сатирики не написали бы новый роман, который вобрал бы в себя их новый зрелый опыт, их страстную партийность, их американские впечатления и знание советской страны? Ведь в записях Ильфа сохранились наброски по крайней мере двух романов, отмеченных смелым гротеском, фантазией, романов сатирических и юмористических одновременно. Один из них должен был повествовать о том, как строили на Волге киногород в архаическом древнегреческом стиле, но со всеми усовершенствованиями американской техники и как ездили в связи с этим две экспедиции — в Афины и в Голливуд (конкретный бытовой материал Ильф и Петров имели: сами они побывали и в Афинах и в Голливуде). Другой роман должен был изобразить фантастическое вторжение древних римлян в нэповскую Одессу. По словам товарищей, Ильф был очень увлечен этим замыслом. По-видимому, к нему относится одна из последних записей Ильфа: «...стало жалко — столько времени прошло, а роман все еще даже не начат».

Даже рассказ «Тоня», последнее совместное произведение Ильфа и Петрова, во многом написанное по-новому, не говорит о намерении писателей окончательно проститься с сатирико-юмористической манерой, гротеском и сатирическим романом: даже в рассказе «Тоня» не ликвидированы ни сатиричность, ни юмор, они только зазвучали по-новому, и кто возьмется всерьез утверждать, что и этим рассказом Ильф и Петров не готовили себя к новому роману, который мог быть не только «смешным», но и «трогательным»? Ведь эпитетами «очень смешной» и «очень трогательный» Е. Петров отметил замысел «Подлеца». У нас нет текстов романа «Подлец», но нельзя верить, что такие вещи исчезают бесследно. Целый узел вопросов, связанных с творчеством Ильфа и Петрова, будет решен, когда удастся найти хоть несколько страниц этого произведения.

Несомненно, изучению творчества Ильфа и Петрова положено удачное начало. Их творческий путь в общих чертах и во многих узловых, поворотных моментах осветился убедительно и верно. И если остались в нем загадки и «белые пятна» — простор для увлекательных исследований и разысканий,— можно надеяться, что они просуществуют недолго.

Харьков. **Л. ЯНОВСКАЯ.**

★

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ДЖОНА РИДА

Наш друг, боец, коммунист. Публикация Ли Голда, предисловие Джемса Олдриджа, послесловие Е. Драбкиной. «Иностранная литература», № 10, 1961.

Опубликованы новые материалы о Джоне Риде. Новые не только для советского, но и для американского читателя. У нас до сих пор мало известна биография Рида. Но и в Америке, где о Риде писали и пишут, где есть обстоятельное исследование Грэнвила Хикса, посвященное жизни замечательного писателя, и там эти материалы, несомненно, будут прочитаны с интересом.

В 1913 году молодой начинающий журналист отправился из Нью-Йорка в Мексику, чтобы рассказать о борьбе восставших пеонов. Так началось сотрудничество Рида в популярном американском журнале «Метрополитен». Бóльшая часть опубликованных сейчас материалов — письма Рида редактору «Метрополитена» Карлу Хови, хранившиеся до недавнего времени в Париже, в семейном архиве Хови. Едва ли Рид предполагал, что эти письма будут когда-нибудь опубликованы. Они написаны второпях и несут на себе следы кочевой, беспокойной жизни любознательного репортера. И все-таки в этих стремительных и коротких, захлебывающихся скороговоркой письмах есть самое главное для нас—есть увлекающийся, непосредственный, пылкий, искренний, непримиримый, есть живой Рид.

«Мне кажется, что в неприкрашенном виде все будет звучать гораздо сильнее». Эту фразу из письма Рида в Нью-Йорк можно было бы поставить эпиграфом к его мексиканским очеркам. Здесь заключена программа, которой Джон Рид мужественно следовал и впоследствии, несмотря на всевозможное давление и попытки сбить его с избранного пути. Рид мог казаться легкомысленным, сентиментальным, взбалмошным — в этом не раз упрекали его друзья и, очевидно, не без оснований. Но все это не имело никакого отношения к его работе. Когда дело доходило до главного в жизни Рида, до работы, появлялся совсем другой — проницательный, твердый, непреклонный в защите своих взглядов и своего понимания истины Рид.

В письмах из воюющей Европы, осенью 1914 года, Рид нетерпеливо выкладывает новости — о политических интригах и парижских уличных песенках, о сердечных делах и популярных карикатурах. И вместе с тем в первом же письме начинается ожесточенная полемика с теми, кто навязывает Риду свои представления — далеко небескорыстные — о том, как надо писать о войне. Посылая Рида в Европу, журнал ожидал от него всяких романтических подробностей и батальных сцен. И вот вместо этого: «Не могу передать вам, как я страдал с тех пор, как приехал сюда, тщетно пытаясь объяснить, что представляет собой эта война... Кажется, никто не в состоянии понять того, что здесь происходит, и я чувствую, что именно я должен это сделать, иначе грош мне цена». И в этом же письме в заключение: «Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков».

Редакции «Метрополитена» не нравились материалы, посланные Ридом. Ему дают понять, что его «мальчишеские выходки» против войны никого не устраивают и что он не в состоянии «схватить главное». «Ну, что ж,— отвечает Рид,— вы хотели анализа, я тоже, но я не могу по-другому относиться к этой мрачной и непопулярной войне». И в посланном вслед письме еще более определенно: «Думаю, что я должен написать о немцах такую же статью, как и об англичанах, несмотря на то, что она вам не понравилась». Рид никогда не стремился нравиться тем, от кого зависел в то время его успех. Очень скоро перед ним захлопнулись двери редакций многотиражных американских журналов и больших газет. Но зато он добился того, чего хотел. Карл Хови впоследствии вспоминал, что репортажи Рида о войне поразили читателей «Метрополитена» как откровение. «Впервые они увидели с такой неизгладимой ясностью подлинные мучения солдат... Это был один из первых потрясающих обвинительных актов против войны».

Глубоко волнует письмо Луизы Брайант, жены Рида, рассказывающее о последних днях его жизни.

В 1919 году Рид снова выехал из Америки в Россию, на этот раз как делегат II конгресса Коминтерна. Это было последнее путешествие Рида через океан. Из Бергена он написал домой: «Это не увеселительное

путешествие, а довольно тяжелая обязанность». Через несколько месяцев Луиза Брайант последовала за ним.

Они встретились в Москве, где были уже вместе два года назад. О том, что она увидела тогда, Брайант рассказала в своей книге «Шесть красных месяцев в России». Как и Риду, ей пришлось давать показания в сенатской комиссии, отстаивать свои взгляды и отвечать на угрозы. И все-таки она снова приехала в Россию, чтобы снова работать вместе с Ридом и сопровождать его в поездках по стране.

«Мне показалось, что он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному,— пишет она о Риде.— Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он ничего не хотел для себя... Его снедало желание поскорее вернуться домой. Я видела, что он устал и болен, что у него наступает полный упадок сил, и пыталась уговорить его отдохнуть. Русские мне говорили, что иногда он работает по 20 часов в сутки. В самом начале болезни я попросила его обещать мне, что перед отъездом он отдохнет, так как возвращение домой означало снова тюрьму, а я чувствовала, что этого он уже не перенесет». Брайант вспоминает, что в ответ Рид сказал ей: «Я сделаю все, что только смогу для тебя, но не проси меня стать трусом».

Рид полюбил Россию. Многим его соотечественникам и даже друзьям казалось странным, что он принимает слишком близко к сердцу дела русских. Действительно, это не легко было сразу понять. Что могло так привязать Рида к России? Что снова и снова кидало его сюда? Для молодого американца Россия, вздыбленная революцией, могла быть только увлекательным зрелищем Но Рид не искал в России зрелищ. Чтобы убедиться в этом, достаточно было прочитать «Десять дней, которые потрясли мир». О том, что Рид нашел здесь, хорошо сказал его биограф Грэнвил Хикс: «Революция восстановила в нем надежду и мужество и стала центром его жизни... Это не было чудодейственное превращение. Это было просто созревание».

Рид ненамного пережил появление «Десяти дней». В то время как книга начинала свою жизнь в Америке, замечательный человек, создавший ее, умирал в России.

«После того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади,— пишет Луиза Брайант.— Я бывала там в будни, днем, когда вся Россия спешит, когда спешат лошади, запряженные в сани с колокольчиками, крестьяне со свертками и солдаты, с песнями идущие на фронт. Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...» Через минуту они вскинули винтовки на плечи и пошли своей дорогой».

И. КРАМОВ.

★

СУДЬБЫ ФИЗИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Д. Данин. Неизбежность странного мира. Редактор В. Федченко. «Молодая гвардия». М. 1961. 360 стр.

Эту книгу трудно достать, она быстро исчезла с прилавков магазинов, ее заглавие интригует и манит: «Неизбежность странного мира». Действующие лица книги Д. Данина — ученые-физики. «Неизбежность странного мира» — это трезвый и подробный, очень аргументированный рассказ о достижениях и проблемах современной физики. Это беседа об основных идеях теории относительности и квантовой механики, об изучении элементарных частиц, о трудностях, которые уже преодолены, и сложных вопросах, которые решаются сейчас в лабораториях, уставленных самыми современными приборами, и за столами теоретиков, где нет ничего, кроме перьев, книг и бесконечных листов бумаги, исчерченных вязью цифр и формул. Писатель должен очень любить свое дело, чтобы изпод непроницаемой для неподготовленного читателя математической оболочки выглянула интереснейшая на свете драма — «драма идей» (Эйнштейн).

Но как изложить для всех то, что сложно и для специалистов?

Конечно, писать непонятно — лучше не писать. Но понятно — не всегда значит коротко. О странностях мира относительно-

сти и квантов нельзя достаточно полно рассказать ни в двух словах, ни в хорошем очерке из сборника «Пути в незнаемое»; для этого как минимум нужно написать книгу.

Ее можно строить по-разному. Строгость предмета лучше всего может быть оттенена некоторой свободой изложения. Поэтому мы вместе с автором сначала заглянули в царство элементарных частиц — на Арагац, где их наблюдают, и в Дубну, где их изготовляют в прямом смысле этого слова; а затем выбрали себе в проводники две такие частицы: фотон и электрон. Первый повел нас к идеям теории относительности, другой — к квантам.

Открывшийся перед нами странный мир — «это сама природа, с теми ее законами и повадками, какие оставались неизвестными классической физике. А в школах все мы проходили начатки только этой старой физики. И до сих пор средняя, для всех обязательная, школа почему-то лишь с классическими представлениями и знакомит большинство человечества... Успев на школьной скамье стать современниками Ньютона, мы не успеваем стать современниками Эйнштейна»...

Надо заметить, что этот упрек относится не только к школе. В университете на физических факультетах вопросы общего характера, определяющие физическое мировоззрение студентов, должны, видимо, разбираться в курсе «истории физики», так как специальные курсы перегружены фактическим материалом. Между тем этот предмет является до сих пор историей в буквальном смысле слова. В лекциях, которые я не так давно прослушал, курс оканчивался примерно моментом открытия электрона. Эйнштейну уделялся один час(!), зато непомерно долго изучались тонкости споров ньютонианцев с картезианцами.

Видимо, в этом причина того, что «Неизбежность странного мира» имеет успех и у физиков.

Но значение художественного произведения никогда не бывает чисто утилитарным. Один из первых фильмов на свете назывался «Прибытие поезда». Содержание исчерпывалось заглавием. Когда фильм показывали в парижских кафе, уравновешенные французы падали в обморок. Когда впервые появился крупный план, зрители возмущенно свистели и кричали: «А где у нее ноги?» Сегодня нас не особенно удивляет и циркорама. И вот физик, для которого кванты и теория относительности стали если не уютом, то бытом, открывает книгу, и к нему возвращается изумление — то, без чего в наше время он не смог бы работать. «Творчество сложнее удивления, но наверняка удивление — одно из его начал».

Как сказал Блок,

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным.
Закутанным в цветной туман.

Насколько трудно удивить чем-нибудь физика, настолько легко поразить читателя-непрофессионала, которому в основном и адресована книга Д. Данина.

Вы узнаете, что предельная скорость делает беспредельными наши возможности проникновения во вселенную, узнаете о новом и глубоком смысле старой поговорки «Всему свое время», о том, что природа закономерна, но не точна, и о верном способе сделаться моложе собственной дочери, вам упадет на голову «старый классический затасканный кирпич» фатализма; словом, потребуются интеллектуальные усилия, не смертельные, но, безусловно, утомительные. Мы, конечно, склонны пойти по пути наименьшего сопротивления: «Все это слишком странно, чтобы быть верным». Это было бы очень удобно для нас, но автор настороже.

В книге есть главка под названием: «Сейчас вы сами придете к теории относительности!»

Это разговор между старым учителем, получившим образование в XIX веке, и современным физиком. Стоит ли им вообще разговаривать? Может ли один век убедить другой? Макс Планк, которому мы обязаны понятием «квант», как-то сказал, что новые идеи завоевывают всеобщее признание лишь со сменой поколений: сторонники прежних взглядов просто вымирают. Сказано довольно резко, но физикам недалеко ходить за примерами.

Однако у пожилого собеседника было качество, которое позволило ему принять самые передовые физические идеи XX века. «Не думайте, что я хочу вас любой ценой опровергнуть, я хочу вас только понять», — говорит он физику. Не опровергнуть, а понять!

Именно такой должна быть и ваша позиция, уважаемый читатель. Вещи, о которых

в книге идет речь, уже давно не являются предметом спора в науке.

Квантовая механика не только отразила законы микромира — она включила в свою систему и законы Ньютона как частный, сравнительно простой случай. Представления современной физики шире классических, ее принципы — глубже, они ближе к реальности. Книга Д. Данина заставляет почувствовать это. Вы замечаете, как в процессе чтения все чаще возникает мысль: а ведь так, пожалуй, яснее! За странностью новой физики проступает новая простота и ясность — результат кропотливого труда творцов и исполнителей физических идей.

Автор с равным интересом и вниманием знакомит нас с Эйнштейном, Бором, Иоффе, Ландау и молодыми, никому не известными советскими «космиками». Он не собирается подчеркнуть, что эти молодые люди еще не известны, что они необычайно талантливы и наверняка придумают формулы, которые назовут их именем. Возможно, ничего такого не произойдет, и это вовсе не плохо. У нас часто любят изображать героев обязательно, как говорится, растущих, причем прежде всего по служебной линии. А вот в моем родном городе все послевоенные годы на заводе радиальных станков в одной и той же должности работает токарь-скоростник, награжденный государственной премией; а вот мой школьный товарищ работает штампистом и собирается это делать всю жизнь. Значит ли это, что они не растут? И очень хорошо, что в книге Д. Данина так ненавязчиво и естественно, одинаково ярко изображены и корифеи и обыкновенные жители державы «физика».

Но в книге есть и еще одно действующее лицо, без которого произведение такого рода, видимо, вообще невозможно. В конце концов рассказ о творцах физических идей вовсе не является обязательной частью композиции; но, очевидно, ни одна книга такого рода не может обойтись без ярко выраженной индивидуальности автора.

Все данные науки достаточно полно и понятно изложены в учебниках, но ни один студент пока не может прожить без хорошего лектора. Примерно в такой же степени читатель научно-художественной книги нуждается в собеседнике. И здесь очень важна личность автора. Скажу без околичностей, что мне глубоко симпатичен мой собеседник. Меня не пугает, что он не совсем четко пишет о дифракции — ведь это не учебник; что он подчеркнуто произвольно переходит от темы к теме (хотя в каждом таком отклонении есть скрытая логика); мне нравится, что он вовремя подсказывает, когда нужно листать книгу не вперед, а назад, чтобы восстановить в памяти некоторые важные моменты. Но это все частности. Основное достоинство произведения в том, что оно написано свободно и непредвзято. Особенно эти качества отличают последние главы. Дело в том, что и сейчас, как и накануне физической революции, в науке идут глубокие споры.

Единство мира до сих пор не нашло отражения в единой физической теории. Какой она будет, не знает никто; но это не означает, что у нас с вами не может быть своей точки зрения. Есть она и у автора книги. «С уверенностью можно ожидать лишь одного: нового разрыва с прежним — и уже не только с классической механикой, но и с механикой квантовой. Можно ожидать лишь углубления революции в наших физических представлениях».

Читая «Неизбежность странного мира», думаешь о том, как абстрактнейшая из наук непосредственно вошла в нашу жизнь величественной надеждой и — одновременно — угрозой термоядерного кошмара; я думаю о мегатоннах тринитротолуола, защищающих мирный труд социалистических стран, думаю о нашей Земле, которую мы совсем недавно смогли увидеть с высоты двухсот пятидесяти километров.

Вот примерно что приходит в голову, когда листаешь эту книгу со строгими фотографиями, смягченными шутливыми зелеными шаржиками; как всякая хорошая книга, она написана сразу о многом.

Перевернув самую последнюю страницу, ту что после оглавления, можно прочесть: «Научно-художественная книга о физике и физиках». Каждое слово этого длинного названия завоевано трудом и талантом.

Т. НЕМЧУК.

★

Политика и наука

В БИБЛИОТЕКЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. Редакционная коллегия: Н. Н. Кухарков, Н. В. Матковский, Ю. П. Шарапов, Ю. И. Масанов. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1961. 764 стр.

Впервые мне довелось увидеть В. И. Ленина 3 апреля 1917 года, когда он возвратился в Петроград. Я оказалась рядом с Владимиром Ильичем. Но могла ли я подумать тогда, что в жизни мне выпадет счастье работать у Ленина? Случилось это так. Из его секретариата позвонили В. В. Воровскому, заведующему Государственным издательством, где я работала: «Владимиру Ильичу нужен библиотекарь, не можете ли вы отпустить Шушанику Никитичну Манучарьянц?»

Вацлав Вацлавович вызвал меня в кабинет, сообщил об этом и тут же добавил шутя: «Не очень-то зазнавайтесь».

В памятный для меня день, 14 марта 1920 года, ровно в четыре часа я с волнением поднималась в зал заседаний Совета Народных Комиссаров, где Владимир Ильич должен был со мною беседовать. Увидев меня, он так приветливо поздоровался, что все мое волнение сразу исчезло.

Усадив меня рядом с собой, он спросил: «Вы будете библиотекарша?»,— а затем начал расспрашивать, специалист ли я, знакома ли с библиотечным делом, смогу ли доставать нужную ему литературу своевременно. Я ответила, что постараюсь сделать все, что надо будет. После беседы Владимир Ильич предложил мне познакомиться с его библиотекой и приступить к работе.

Когда я вошла в кабинет Председателя Совета Народных Комиссаров, я была поражена скромностью и простотой обстановки. Меня поразило также небольшое количество книг; мне казалось, что у Председателя Совнаркома должна быть огромная библиотека. Позднее я поняла, что В. И. Ленин оставлял в кабинете только то, что ему было необходимо для работы и справок.

Когда количество книг возросло, для библиотеки была выделена специальная комната рядом с приемной Совнаркома. Часть книг находилась и в квартире Владимира Ильича в Кремле.

Занятый огромной государственной работой, Ленин всегда находил время для просмотра литературы, присылаемой из Книжной палаты (обязательный экземпляр). Получал Владимир Ильич не только то, что выходило в нашей стране, но и зарубежную литературу как на русском, так и на иностранных языках и сам отмечал, что надо выписать для библиотеки.

Какая же литература находилась в шкафах кабинета Ленина? Прежде всего произведения К. Маркса и Ф. Энгельса — на русском и на иностранных языках. Владимир Ильич очень интересовался перепиской Маркса и Энгельса (перевод ее на русский язык в то время подготовлял В. В. Адоратский).

Значительное место занимали сочинения революционных демократов: Белинского, Добролюбова, Герцена, а также сочинения Плеханова. Я предложила Владимиру Ильичу достать сочинения Чернышевского и переплести их. Он согласился и попросил переплести также сочинения Герцена.

В кабинете Ленина было две «вертушки». Это особые вертящиеся этажерки, названные так Владимиром Ильичем и стоявшие по обе стороны его письменного стола. Ленин очень оберегал правую вертушку и не сразу допустил меня к ней. На этой вертушке находился справочный материал, необходимый для повседневной работы. На ней стояли словари. Здесь же помещались протоколы съездов партии и материалы к ним; материалы по пересмотру партийной программы, под редакцией и с предисловием Ленина; протоколы съездов Советов; бюллетени конгрессов Коминтерна (II—IV) на русском, немецком, французском, английском языках; собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 1917—1922 годов; статистические справочники и журналы.

Все это живо припомнилось мне теперь, когда я взяла в руки «Каталог библиотеки В. И. Ленина в Кремле», изданный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Всесоюзной книжной палатой. Богатства библиотеки раскрываются в каталоге последовательно, по тематическим разделам. Основная его часть посвящена книжной продукции; периодические издания, карты и

атласы выделены в отдельный раздел. Каталог снабжен вспомогательными указателями — именным и перечнем заглавий.

В большой вступительной статье Л. К. Виноградова, Б. В. Панкова и А. Ф. Бессоновой дана всесторонняя характеристика библиотеки В. И. Ленина.

Ленин-читатель — тема еще мало изученная и по существу не разработанная. Читательские интересы Владимира Ильича были так широки, так разнообразны, что требуются соединенные усилия ученых, библиотекарей, публицистов, чтобы отразить их во всей полноте.

В. И. Ленина отличала высокая культура чтения. Владимир Ильич большое значение придавал библиографии. Основным источником, откуда он черпал сведения о новых книгах, были печатные библиотечные каталоги, библиографические указатели и «Книжная летопись». Владимир Ильич регулярно знакомился с ней и прочитывал ее выпуски с карандашом в руках. Известно, как высоко оценил В. И. Ленин труд Н. А. Рубакина «Среди книг».

«Можно со всей категоричностью и полной ответственностью утверждать,— писал выдающийся советский библиограф Н. В. Здобнов,— что Ленин для своих научных и публицистических работ, а также и в практике своей политической борьбы, в течение всей своей жизни, как культурнейший человек эпохи, широко пользовался всевозможными библиографическими источниками».

Настольными книгами В. И. Ленина были труды основоположников научного коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса. Владимир Ильич постоянно обращался к ним и глубоко их изучал. Об этом, в частности, говорят бумажные закладки, выписки, конспекты, подчеркивания текста.

«Для Ленина,— писала Н. К. Крупская в статье «Как Ленин работал над Марксом»,— учение Маркса было не догмой, а руководством к действию. У него раз сорвалось такое выражение: «Кто хочет посоветоваться с Марксом...» Выражение очень характерное. Сам он постоянно «советовался» с Марксом. В самые трудные, переломные моменты революции он брался вновь за перечитывание Маркса. Зайдешь к нему бывало в кабинет: кругом все волнуются, а Ильич читает Маркса и с трудом бывало отрывается от него».

Внимательно читал и конспектировал В. И. Ленин письма К. Маркса и Ф. Энгельса. Свидетельство этому недавно изданный ленинский «Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844—1883 гг.»

Небольшой, но особенно ценной частью библиотеки В. И. Ленина являются книги с его пометками. Владимир Ильич делал их на полях и в тексте, на обложках и на чистых листах, писал замечания к положениям автора, делал выписки, необходимые для использования в своих статьях, речах, для теоретической и практической деятельности. Таких книг насчитывается около девятисот. Если попытаться хотя бы кратко охарактеризовать тематику книг с пометками, относящимися к послеоктябрьскому периоду, то можно сказать, что она была самым тесным образом связана с теми животрепещущими вопросами, которые стояли перед партией и страной.

Круг вопросов, по которым В. И. Ленин использовал литературу, необозримо широк и многообразен.

Владимир Ильич огромное внимание уделял отечественной науке и радовался, когда виднейшие русские ученые находили свой путь к революции. В библиотеке В. И. Ленина имеются труды Вернадского, Тимирязева, Берга, Ферсмана, Павловского, Скрябина, Прянишникова и других, а также работы Дарвина, Карно, Рамзая, Эйнштейна, Нансена.

В библиотеке В. И. Ленина нашла место и атеистическая литература — книги И. И. Скворцова-Степанова, В. Д. Бонч-Бруевича.

«Моим любимейшим автором,— говорил Владимир Ильич,— был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса».

Руководя обороной Советской страны в годы гражданской войны, В. И. Ленин был в курсе новейшей военной литературы. В разделе каталога мы встречаем работу Ф. Меринга «Милиция и постоянное войско», труды видных советских военных деятелей — М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, Н. И. Подвойского и других.

Глубокую неостывающую любовь питал Владимир Ильич к классической русской художественной литературе. В редкие ча-

сы досуга он брал том Пушкина или Некрасова, Гоголя или Салтыкова-Щедрина. В библиотеке В. И. Ленина были произведения Гончарова, Горького, Лермонтова, Крылова, Короленко, Грибоедова, Достоевского, Л. Толстого, Чехова, Тургенева...

Как-то, зайдя в кабинет, я увидела на письменном столе Владимира Ильича том «Войны и мира», раскрытый на странице с описанием охоты.

В очерке «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» Н. К. Крупская вспоминает, что Владимир Ильич читал в ссылке гётевского «Фауста» в оригинале, Гейне, цикл стихов Виктора Гюго «Возмездие», в бессонные ночи зачитывался Верхарном, увлекался книгой Барбюса «Огонь».

От Аристофана до Уэллса, от Гофмана до Нексе — таков был диапазон читательских интересов В. И. Ленина в области иностранной художественной литературы. В библиотеке представлены поэты и драматурги античности, китайские поэты VII—IX веков до н. э.

В личной библиотеке В. И. Ленина было немало произведений нарождавшейся советской литературы. Среди авторов этих книг — Д. Бедный, Н. Тихонов, В. Маяковский, И. Эренбург. Советские писатели считали за честь подарить В. И. Ленину свои книги. Немало горячих, идущих от сердца слов, дарственных надписей можно прочесть на этих книгах. «Родному Ильичу. Бедный. I. V. 1919 г.» — надписал на одном из своих сборников Демьян Бедный.

Иногда Владимир Ильич дарил свои книги. «Дорогому Алексею Максимовичу Горькому 18. XI. 1920 от автора» — такую надпись сделал В. И. Ленин на своей книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

Владимир Ильич был страстным книголюбом. Но книга никогда не была для него фетишем, самоцелью. Книга — оружие в борьбе за коммунизм, вот как подходил В. И. Ленин к политической и научной литературе.

Мне было легко работать с В. И. Лениным. Задания и просьбы его всегда были ясны и лаконичны. Владимир Ильич не раз справлялся, не надо ли мне помочь достать ему ту или иную книгу, вместе со мной радовался, когда удавалось быстро получить интересовавшую его новинку. А я была счастлива, что вношу свой маленький, скромный вклад в то огромное дело, которое делал Владимир Ильич.

Личная библиотека В. И. Ленина... Одно это название вызывает большой интерес не только у нас, советских людей, но и у всего прогрессивного человечества. Интерес этот в значительной мере удовлетворяет только что вышедшая книга.

«Каталог библиотеки В. И. Ленина в Кремле» дает представление о круге читательских интересов Владимира Ильича, о его активном и плодотворном методе чтения, о Ленине-читателе.

Книга оформлена превосходно. Чувствуется не только высокая издательская культура, но и любовное отношение к книге редакционных работников, в частности художника М. И. Эльцуфена, и коллектива типографии «Печатный двор», где отпечатано издание. Советские читатели получили отличный подарок.

Ш. МАНУЧАРЬЯНЦ.

★

ДИПЛОМАТ ЛЕНИНСКОЙ ШКОЛЫ

Г. В. Чичерин. Статьи и речи по вопросам международной политики. Составитель Л. И. Трофимова. Редактор А. Белявский. Соцэкгиз. М. 1961. 516 стр.

Если вы хотите, дорогой читатель, провести несколько часов в обществе человека блестящего ума, глубокой, разносторонней эрудиции и вдохновенной убежденности в неизбежном торжестве коммунизма, прочитайте эту книгу.

Георгий Васильевич Чичерин был, несомненно, одним из наиболее выдающихся дипломатов нашего времени. Он принадлежал также к числу просвещеннейших и образованнейших людей современной эпохи. Тонкий ценитель искусства, особенно музыки, знаток языков различных народов, энциклопедически начитанный, он еще в юношеские годы примкнул к революционному движению, вступил в ряды социал-демократов и всецело отдался борьбе с царизмом. Он не сразу сделался большевиком, но, принадлежа формально к меньшевистскому крылу российской социал-демократии, никогда не

опускался до такого забвения революционного духа марксизма, до которого докатились лидеры меньшевизма. Впоследствии Ленин писал о Чичерине (это было в годы первой мировой войны и разгула социал-шовинизма), что он снискал себе «большую заслугу интернационалистской работой в Англии». Именно работа, революционная работа поглощала его целиком.

В январе 1918 года после многих злоключений Чичерин прибыл в Москву, был принят в ряды большевистской партии и назначен заместителем народного комиссара, а с 30 мая — народным комиссаром иностранных дел Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Этот пост Георгий Васильевич занимал двенадцать лет, до 1930 года. Он оставил свой боевой пост уже тяжело больным и через шесть лет скончался в возрасте шестидесяти четырех лет.

Дипломатия не была неведомой областью для Чичерина. Отец его был дипломатом. Он и сам собирался пойти по стопам отца и после окончания историко-филологического факультета Петербургского университета поступил в министерство иностранных дел. Несколько лет он работал в архиве министерства и основательно ознакомился по документам с историей внешней политики царизма.

Работа в архиве дала реальные знания. Благодаря своей необыкновенной памяти и прилежанию молодой Чичерин накопил огромную массу важных исторических и притом ценнейших, можно сказать из первых рук, данных о различных политических событиях, отношениях, кризисах, столкновениях и о тогдашних дипломатах. Читая и перечитывая документы из пыльных фолиантов, Чичерин постигал приемы и традиции основных дипломатических школ почти всего мира.

Ему самому предстояло стать дипломатом новой школы — ленинской, пролетарской — и возглавить дипломатический аппарат первого в истории государства рабочих и крестьян.

Сразу по прибытии в Советскую Россию из Лондона Г. В. Чичерин окунулся в тревожную атмосферу начавшейся борьбы между только что родившимся советским строем и германским империалистическим хищником, полагавшим, что теперь-то настало время ограбить революционную Россию и задушить новую власть. Положение еще осложнялось тем, что одновременно начал ощущаться растущий нажим антантовского империализма на молодую Советскую республику. Советская страна очутилась в огненном кольце. Вот когда требовалась точнейшая, выверенная, дальновидная ориентация, умение использовать малейшую оплошность врага, противоречия между хищниками, любую трещину в их лагере! Необходимо было твердо держать руль государственного корабля и уверенно вести его сквозь бури, избегая рифов и внезапных опасностей.

У руля стоял великий Ленин. Курс был проложен генеральный — точный. И если продолжать эту аналогию, сигнальщики и марсовые были начеку и зорко глядели вперед: советские дипломаты умело и внимательно следили за всеми изменениями в мире.

В статье «Ленин и внешняя политика», написанной в 1924 году, Георгий Васильевич рассказывал:

«В тот период, когда Владимир Ильич принимал активнейшее участие во всех деталях государственной жизни, я в области своей работы находился с ним в почти непрерывном контакте. В первые годы существования нашей республики я по нескольку раз в день разговаривал с ним по телефону, имея с ним иногда весьма продолжительные телефонные разговоры, кроме частных непосредственных бесед, и нередко обсуждал с ним все детали сколько-нибудь важных текущих дипломатических дел. Сразу схватывая существо каждого вопроса и сразу давая ему самое широкое политическое освещение, Владимир Ильич всегда в своих разговорах делал самый блестящий анализ дипломатического положения, и его советы (нередко он предлагал сразу), самый текст ответа другому правительству могли служить образцами дипломатического искусства и гибкости».

Г. В. Чичерин отмечает «неподражаемый политический реализм», твердость, а в необходимых случаях — выдержку, способность выжидать, терпеливость и глубокую уверенность Ленина в конечной победе мирной политики Советского государства над политикой войны империалистов.

Предвидение Ленина, основанное на внимательнейшем и подробном изучении фактического положения, полностью оправдалось. Политика интервенции и голодной блокады, политика бешеных ненавистников

советского строя провалилась, а мирная политика Советского правительства увенчалась большими успехами.

Империалистические деятели, в частности дипломаты антантовских стран, задавались несбыточными планами. Французский министр иностранных дел надменно провозглашал в парламентской комиссии: «Цель союзников — изгнать из России дух большевизма». Что же, преуспели «союзники» в достижении своей цели? Где теперь господин Пишон и прочие господа «союзники»? Полным крахом завершились их преступные авантюры против Советской страны. На дипломатической арене начался поединок двух миров. «В этом мировом поединке,— говорил Георгий Васильевич,— победит тот, кто победит на строительной работе». Глубокая и верная мысль!

На сессии ВЦИКа в июне 1920 года Чичерин сделал блестящий по форме и содержанию доклад о принципах советской внешней политики. Это выдающееся научное исследование мирной политики социалистической страны.

«Наша политика есть по-прежнему политика мира, и это знают все. Мы хотим одного. Мы хотим, чтобы нам не мешали развиваться так, как мы желаем, строить в мире наше новое социалистическое общество. Мы не несем ни своего строя, ни своей власти на штыках, и это знают все, и тем не менее на нас натравливают все новых и новых врагов. Наша политика есть политика мира, но она не есть политика капитуляции».

Таков один из принципов ленинской дипломатии Советского государства, как его изложил Чичерин.

Далее он говорил:

«Наш лозунг был и остается один и тот же: мирное сосуществование с другими правительствами, каковы бы они ни были. Сама действительность привела нас и другие государства к необходимости создания длительных отношений между рабоче-крестьянским правительством и капиталистическими правительствами. Эти длительные отношения нам повелительно навязываются экономической действительностью. Экономическая действительность требует обмена товаров, вступления в постоянные урегулированные отношения со всем миром, и та же экономическая действительность требует того же от других правительств, с какой бы ненавистью они ни относились к нашему строю».

Вспомним, в какое время это говорилось. На Западном фронте гремит сражение, борьба идет за самую жизнь советского строя. На юге, в Крыму, еще сидит Врангель. Капиталистические государства и их ответственные деятели не видят ничего впереди, кроме могильной ямы для «красных»; на сей раз нож вложен в руки польских панов. А большевики, эти «разрушители мира», говорят о мирном сосуществовании, о длительных мирных отношениях двух миров, об обмене товаров, об экономической необходимости! История подтвердила, что самые умные капиталистические политические деятели и дипломаты, люди с громкими именами, господа с громкими титулами, назойливо пролезавшие на авансцену мировых событий, эти люди оказались в конечном счете пошлыми глупцами, а «безвестные» большевистские вожди и дипломаты выступили перед всем человечеством как самые умные, дальновидные, прозорливые деятели эпохи. Да, это было так, ибо во главе большевиков стоял гений эпохи — Ленин.

Принципы советской политики мира, советской дипломатии были провозглашены на весь мир от имени Советского правительства Г. В. Чичериным на Генуэзской конференции, открывшейся в апреле 1922 года.

В своей речи руководитель советской дипломатии заявил, что представители Советской республики остаются на точке зрения принципов коммунизма и в то же время сознают, что возможны параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя и экономическое сотрудничество между ними. Более того, такое сотрудничество совершенно необходимо для всеобщего экономического восстановления. И на этом же заседании Чичерин заявил, что советская делегация вносит предложение о разоружении с тем, чтобы облегчить бремя милитаризма и запретить применение ядовитых газов, авиации, «в особенности же применение средств разрушения, направленных против мирного населения».

С тех пор борьба за разоружение и безопасность мирного населения всех стран стала благороднейшей задачей советской внешней политики, завещанной Лениным. Ленинский лозунг мирного сосуществования на основе разоружения и обеспечения безопасности всех народов перекликается с современным лозунгом нашей партии «Мир без оружия — мир без войн!», выдвинутым

товарищем Н. С. Хрущевым в новой исторической обстановке.

Как современно и актуально звучат слова Чичерина, сказанные им в августе 1928 года: «Положить конец войнам — это одна из основных целей политики Советского Союза. Наше правительство стремится в своей политике к тому, чтобы устранить возможность каких бы то ни было войн».

Такая великая задача могла быть выдвинута и была поставлена только Советским правительством, проводившим в жизнь учение Ленина о мирном сосуществовании. Советское правительство добивалось, чтобы все государства на деле отказались от использования силы и насилия, то есть войны как орудия внешней политики, как средства решения международных споров.

С истинно большевистской, ленинской глубиной и научным пониманием сложных проблем послевоенной Европы изучал Георгий Васильевич вопрос об обмане масс поджигателями войны — реакционными группировками буржуазии в различные эпохи, особенно в конце двадцатых годов нашего столетия, когда уже явственно обозначился встречный агрессивный курс английских и германских империалистов на развязывание новой войны.

Георгий Васильевич рано, еще в двадцатых годах, посвятил этой теме несколько прекрасных, ярких по стилю и глубоких по содержанию памфлетов-исследований, сохранивших свежесть и научную ценность до сих пор. Одно из таких произведений названо им «Четыре конгресса». Писались они в голодной, холодной, плохо освещенной Москве. Но горячи, пламенны слова автора, разящи метафоры его, и сверкает в них блеск таланта публициста. Исходная мысль его проста и глубока: буржуазия всегда пыталась, и часто небезуспешно, использовать гнев масс в своих корыстных интересах.

Экскурс в прошлое предпринят Чичериным для того, чтобы показать, как создавалась империалистическая, насквозь реакционная и враждебная народным массам механика и тактика использования этих масс господствующими классами в своих интересах. В этой «тонкой механике», в этой тактике главное место занимали и обман, одурачивание, ложь. Основной рычаг всей машины обмана, ее двигатель — грубый национализм, шовинизм, расизм. Как раз эпоха крушения империализма и выдвинула на передний план наиболее оголтелых политических авантюристов и проходимцев в лице фашистских вожаков. И этих-то по сути дела уголовных преступников взяли на службу как «свои» собственные капиталисты в Италии, в Германии и других странах, так и империализм международный в лице главных капиталистических держав. В двадцатых годах это был прежде всего английский империализм, самый могущественный, самый опытный, самый «демократически»-парламентски замаскированный, но самый лукавый, хитрый и беспардонный по части обмана масс и самый злобный и непримиримый по отношению к социализму и его твердыне — Советскому Союзу.

С ним, с английским империализмом, прежде всего искали «контактов» и «взаимопонимания» побитые в первой мировой войне немецкие империалисты. На какой базе? На базе совместной борьбы против Советского Союза. Со своей стороны английский империализм поставил в своей европейской политике как главную цель отрыв Германии от Советского Союза, уничтожение «линии Рапалло», чтобы тем самым расчистить путь войне в Европе. Эта война мыслилась английскими империалистами как война против СССР, в которой главная роль отводилась германским милитаристам и реваншистам. Английские империалисты знали, что в Германии, задавленной Версальским договором, имеется более чем достаточно воинствующего сброда, готового возобновить «дранг нах остен».

С тревогой следил Чичерин за активностью предшественников Гитлера.

«Мы не должны забывать,— говорил он,— что захват власти крайней реакцией в Германии, который найдет себе поддержку в мировой реакции, является для нас новой угрозой и что мы должны готовиться к новым опасностям».

Вполне обоснованным был вывод, который сделал Георгий Васильевич из анализа политики Англии в германском вопросе: «Стремление английского правительства оторвать Германию от СССР и направить ее против последнего является одним из основных факторов международной политики настоящего момента. Это есть ключ к очень многим сложным и запутанным явлениям нынешних дипломатических отношений». И далее он констатировал: «Британской дипломатии постепенно удается вовлечь Германию

в опаснейшую для последней ловушку, подготовляя отрыв Германии от СССР».

Обо всем здесь сказанном следует задумываться и сегодня. Ведь политика натравливания Германии на СССР была одним из главных факторов, приведших ко второй мировой войне. А кроме того, эта «традиция» натравливания германских империалистов против народов Восточной Европы действует и ныне, только она находится на вооружении США, главного дирижера всего империалистического оркестра. Это гибельные «традиции», гибельные прежде всего для самого немецкого народа в Федеративной Республике Германии, которую западный, особенно американский, империализм старается использовать как силу для борьбы против стран социализма, разжигая и распаляя вожделения гитлеровских последышей и тех, кто их содержал и содержит.

Со страниц книги веет духом ленинской заботы о будущем всех народов, о судьбах всего человечества. Этим чувством подлинного и действенного гуманизма была проникнута вся деятельность Г. В. Чичерина на ответственном посту руководителя советской дипломатии. И, читая его прекрасные произведения, мы живо и ясно можем представить себе умственный мир и духовный облик одного из замечательных сподвижников Ленина, дипломата ленинской школы.

И. ЕРМАШЕВ.

★

ДВЕ КНИГИ — ОДНА ТЕМА

Китайские добровольцы в боях за Советскую власть (1918—1922 гг.). Ответственный редактор и составитель Лю Юн-ань. Издательство восточной литературы. М. 1961. 180 стр.
Советские добровольцы о первой гражданской революционной войне в Китае. Воспоминания. Ответственный редактор А. С. Перевертайло. Издательство восточной литературы. М. 1961. 164 стр.

Есть на Каме село Елово. Обычное, ничем не примечательное. На берегу у самой реки стоит скромный обелиск с надписью: «Здесь похоронены партизаны, матросы парохода «Русло», бойцы китайского интернационального батальона, погибшие за власть Советов в 1918 году».

О том, что произошло здесь сорок три года назад, рассказывает книга «Китайские добровольцы в боях за Советскую власть».

Тревожной весной восемнадцатого года в Перми организовался отряд добровольцев из китайских рабочих. В июльскую ночь его бойцы вместе с русскими красноармейцами ушли вниз по Каме на подавление мятежей белогвардейцев и эсеров.

В окрестностях села Елово матросы плечом к плечу с китайцами долго удерживали фронт против наступавших белых банд. Много защитников революции полегло на берегу Камы.

Такова простая и в то же время героическая история еловского обелиска. А сколько таких обелисков стоит на просторах нашей земли! У каждого своя судьба, своя история, не всегда еще изученная.

За последние годы у нас опубликовано немало книг и статей, воспоминаний и документов о китайцах — участниках гражданской войны в России. Но полная история боевой дружбы двух великих народов еще не написана. Поэтому-то радует появление новой книги о китайских добровольцах, хотя часть ее материалов публиковалась ранее. Книга эта вышла из печати почти одновременно со сборником «Советские добровольцы о первой гражданской революционной войне в Китае» [1]. Надо ли доказывать, что обе эти книги объединяет единая тема — тема дружбы советского и китайского народов, а если брать шире — тема пролетарского интернационализма.

...Нелегким был хлеб китайского рабочего в царской России. Но, живя бок о бок с русскими пролетариями, китайцы проходили школу борьбы, изучали азбуку классовых боев.

Когда наступил октябрь 1917 года, китайцы радостно приветствовали социали-

[1] Кстати, следует заметить, что у читателя неизбежно возникнет недоуменный вопрос. Почему названия обеих рецензируемых книг, помещенные на обложках, отличаются от названий, обозначенных на титульных листах: «Китайские добровольцы в боях за Советскую Россию» — и «Китайские добровольцы в боях за Советскую власть (1918—1922 гг.)»; «Советские добровольцы в Китае в 1923—1927 гг.» — и «Советские добровольцы о первой гражданской революционной войне в Китае». Досадная небрежность!

стическую революцию, сразу же восприняв ее как свое кровное дело.

В Москве, Петрограде, других городах возникали организации, которые позднее вошли в Союз китайских рабочих, созданный в 1918 году китайцами — членами большевистской партии. В июне 1920 года было сформировано Центральное Организационное бюро китайских коммунистов. В письме В. И. Ленину инициаторы создания бюро писали: «Российская социалистическая республика — это наша крепость и надежда. Мы добьемся освобождения китайских рабочих и крестьян, и тогда 500 миллионов трудящихся Китая протянут руку пролетариату России».

Кто не помнит китайца Син Бин-у из «Бронепоезда» Вс. Иванова! Но все ли знают, что таких китайцев были сотни и тысячи?

В сборнике «Китайские добровольцы в боях за Советскую власть» ветераны гражданской войны вспоминают о своих соратниках-китайцах. Бывший командир сформированного по указанию В. И. Ленина 1-го Московского красногвардейского отряда С. Г. Дольский-Лизгунов рассказывает о том, как был организован из китайцев отдельный батальон, мужественно и стойко сражавшийся против чехословацких мятежников и белых.

Участник гражданской войны В. С. Сокол описывает, как в начале 1918 года в Замоскворецком районе столицы создавался отдельный китайский отряд. «Идеи социалистической революции сплотили трудящихся многих наций. Мы преисполнены духом братской солидарности, просим принять нас в ряды Красной Армии», — с таким заявлением пришла в районный Совет группа китайских товарищей. А уже в июле Владимир Ильич провожал на фронт бригаду, в состав которой входил 4-й Московский советский полк с китайским отрядом.

Китайские добровольцы вписали немало славных страниц в историю гражданской войны. В России они приобрели замечательную революционную закалку, бесценный опыт, который вскоре с успехом применили у себя на родине.

В 1918 году во Владикавказе С. М. Киров, вручая красное знамя китайскому отряду, сказал: «Борясь за торжество революции в России, вы боретесь за свободу угнетенного Китая. Придет время, когда русские рабочие протянут свою братскую руку китайскому народу, который сбросит угнетателей со своих богатырских плеч». Эти слова оказались пророческими.

Кончилась гражданская война в России, а в это время над Китаем уже блистали зарницы надвигающейся бури, которая, по словам Мао Цзэ-дуна, родилась «в ответ на призыв мировой революции, русской революции, призыв Ленина». В 1924 году в Китае началась первая гражданская революционная война. Советские люди с горячей симпатией следили за освободительной борьбой китайского народа, оказали ему огромную помощь В нашей стране родился могучий призыв — «Руки прочь от Китая!»

Помните Маяковского?

— Пираты мира,
прочь
руки от Китая!..
Мы с вами, китайцы!

В книге «Советские добровольцы о первой гражданской революционной войне в Китае» С. Н. Наумов пишет: «Меня воодушевляло стремление помочь революционной армии Китая, китайскому народу, боровшемуся против гнета помещиков, компрадорской буржуазии и иностранных империалистов». Эти слова выражают мысли и чувства и других советских добровольцев, авторов воспоминаний о революционных боях 1924—1927 годов.

Советские добровольцы прибыли в Китай, когда там все пришло в движение. То было время жестоких классовых битв. Бастовали рабочие, бойкотировали иностранные товары, крестьяне поднимались против помещиков, но реакция не сдавалась. Милитаристы грабили и кровью заливали страну.

На юге Сунь Ят-сен с помощью коммунистов укреплял революционную базу и создавал новую армию; ей суждено было совершить большие дела. А на остальной территории бесчинствовали милитаристы. Людей казнили прямо на улицах. Как в прошлом веке, как много веков назад, полицейские палашами отсекали головы за один значок с портретом Сунь Ят-сена, за одну революционную прокламацию. Запад демонстрировал свою мощь и наглость завоевателей, устраивал «парады наций», пускал в ход пушки и морскую пехоту.

Для советского человека простая поездка в Китай была сопряжена с немалыми опа-

сностями, а пробраться на Юг, к Сунь Ятсену, значило рисковать жизнью едва ли не всюду — на иностранных пароходах, на улицах Шанхая, кишевших белогвардейским отребьем, в Сянгане (Гонконге), забитом английскими полицейскими и военными.

В Гуанчжоу (Кантоне) наши советники начали с подготовки новых командиров, которые знали бы современную военную науку и разбирались в политике. Едва ли не первым шагом явилось открытие в 1924 году военной школы на острове Вампу (близ Гуанчжоу), которая стала кузницей офицерских кадров.

Читая сборник, мы видим неопытность первых командиров суньятсеновской армии, беспечность и легкомыслие самоуверенных генералов, усвоивших лишь революционную фразеологию, разброд и шатания случайных попутчиков революции, карьеристов из окружения Чан Кай-ши, этого узколобого предателя, тогда еще маскировавшего свои замыслы.

Ни один из волонтеров не умалчивает о поражениях и трудностях. В их рассказах— правда без прикрас.

И тем величественнее образ героического китайского народа — солдат и командиров, кули и рабочих, крестьян и ремесленников, их вожаков-коммунистов, которые удесятеряли силы революции.

Очень интересен походный дневник Н. И. Кончица, который охватывает октябрь 1925 — апрель 1926 года. Изо дня в день заносил в свой блокнот несколько строк этот командир Красной Армии, впервые попавший в Китай в сентябре 1925 года.

Живые зарисовки, меткие характеристики событий и выразительные портреты людей — все это делает записи Н. И. Кончица интересными не только для исследователя, но для каждого, кто хочет больше узнать о героической борьбе китайского народа.

В конце мая 1925 года прибыл в Китай и другой автор воспоминаний — волонтер Е. В. Тесленко, свидетель важнейших операций первой гражданской революционной войны, некоторое время работавший советником у генерала Е Тина — замечательного командира легендарного «железного» полка. И в воспоминаниях Е. В. Тесленко, написанных уже в наши дни, подкупает прежде всего яркость впечатлений, достоверность и теплота.

Пожалуй, обо всех авторах сборника можно сказать, что ни в одном случае у них частное не заслоняет главного. Множество ценных деталей (то, чем всегда привлекает мемуарная литература) не вытесняет больших событий. Поэтому и складывается у читателя общее правильное представление о Восточном и Северном походах Национально-революционной армии — главных боевых операциях 1924—1927 годов. И еще одно. Авторы книги всего меньше говорят о себе, они пишут о своих товарищах, многие из которых не дожили до наших дней. Из их рассказов читатель узнает и о деятельности в Китае выдающегося советского полководца В. К. Блюхера, который отдавал много сил китайской революции, разрабатывая планы наступательных действий НРА.

М. Ф. Куманин (бывший советником в 20-м корпусе коммуниста Хэ Луна) вообще не ведет изложения от первого лица. Его несколько суховатый, но зато насыщенный ценными фактами рассказ о Наньчанском восстании 1 августа 1927 года посвящен одной из славных страниц многолетней борьбы китайского народа.

Много лет прошло с той поры. Неузнаваемо переменилась жизнь наших народов. Но неизменной осталась одна черта в характере советских людей — пролетарский интернационализм, наша готовность прийти на помощь друзьям по первому зову.

Осенью 1958 года американские империалисты и их гоминдановские пособники усилили провокации в Тайваньском проливе. Н. С. Хрущев твердо заявил любителям военных авантюр о том, что СССР будет рассматривать вооруженное нападение на Китай как акт агрессии против Советского Союза. А когда готовилось вторжение на Кубу, Н. С. Хрущев предупредил агрессоров о том, что́ их ждет в случае нападения на героический остров. Это было предупреждение от имени всего советского народа.

Такими мы были всегда. И в те годы в Китае, и в боях за Мадрид, и позднее, когда советские летчики-добровольцы сражались в небе Китая с японскими захватчиками, и в наши дни, когда тысячи советских специалистов помогали строить новый Китай, преобразуя и создавая заводы, фабрики, электростанции. Но как бы давно ни отгремели первые революционные бои, люди

помнят и чтят тех, кто боролся во имя их будущего.

В письме маршала Не Жун-чжэня, переданном бывшим советским советникам НРА, говорится: «30 лет назад вы, покинув свою Родину и прибыв в Китай, делили радость и горе вместе с китайским народом, оказывая помощь в революционной борьбе страны, и внесли большой вклад в дело революционного движения в нашей стране. Китайский народ никогда не забудет обо всем этом. Победа социалистической революции, одержанная китайским народом в настоящее время, неотделима от вклада, который вы внесли в дело китайской революции в то время».

В Ухане на интернациональном кладбище сооружен памятник погибшим советским летчикам — свидетельство скрепленной кровью вечной дружбы двух великих народов.

Л. КЮЗАДЖЯН.

★

ЧИТАЯ БАПТИСТСКИЙ ЖУРНАЛ

«Братский вестник». Орган Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. М. 1960. №№ 1—6. 1961. №№ 1—4.

Успешно бороться с религиозными пережитками можно, только хорошо зная новейшие взгляды современных богословов, их попытки приспособиться к условиям социалистического общества. Особой активностью и изощренностью отличаются баптисты — одна из самых крупных и наиболее энергичных сект. Они имеют свой печатный орган — журнал «Братский вестник». О чем же сейчас пишут баптисты? Познакомимся с номерами журнала за последние два года.

В первом номере за 1960 год внимание привлекает статья А. И. Мицкевича «Держись образца здравого учения». Она призывает верующих «осваивать все современные достижения техники и науки», быть «высокоразвитыми и образованными людьми» и осуждает тех, «которым чуждо все новое и полезное в области культуры». Автор убеждает верующих не считать все земное грехом, рекомендует молодым людям заботиться о состоянии своего здоровья и заниматься физкультурой. К исполнению религиозных обрядов, по мнению А. Мицкевича, также следует относиться разумно — не поститься до изнурения и не лишать себя этим «драгоценного дара — здоровья». «Здравое учение,— пишет автор,— может быть только полезным учением» и осуждает тех верующих, «которые руководствуются различными суеверными приметами, когда говорят: понедельник тяжелый день, число 13 — особое несчастное число и т. п.». Заканчивается статья словами: «...Здравое учение евангелия гласит: «Все испытывайте, хорошего держитесь».

У человека, не искушенного в вопросах религии, невольно возникают недоумения: что это за странная религия, которая говорит не о слепой вере, а о необходимости здравого подхода (так и хочется сказать — здравого смысла) к проблемам религиозной и общественной жизни, требует овладевать достижениями науки и культуры и осуждает религиозный фанатизм и суеверия? Неужели современный баптизм стал религией лишь по названию, отбросил все реакционное и консервативное, что присуще всякому религиозному мировоззрению?

Но вот через несколько страниц помещена другая важная для баптистов статья И. Моторина «Учение Библии о боге». И здесь мы встречаемся уже с совершенно иной тенденцией: «Учение о святой троице есть одна из божественных тайн... Многие задают вопрос: «Как же единый бог есть в трех лицах?» На этот вопрос отвечаем: мы не постигаем сей внутренней тайны божества, но веруем ей согласно слова божия... «божьего никто не знает, кроме духа божьего». Тот же автор по поводу праздника пасхи утверждает, что «Воскресение Христа есть, несомненно, дело божие, событие сверхъестественное, и потому оно непостижимо для человеческого разума. Оно так же не может быть предметом исторического описания или научного исследования».

Что же получается? Человек, который должен держаться «здравого» учения и в религии и в повседневной жизни, «все испытывать» (другими словами, проверять, сравнивать, анализировать) и осваивать все достижения науки и техники, в то же время должен принимать на веру, без всяких раздумий и доказательств основные догматы

христианства — о единстве и троичности бога, воскресении Христа.

И. Моторин противоречит не только А. Мицкевичу, но и другому автору — А. Кареву, на этот раз по такому кардинальному вопросу религии, как вопрос о всемогуществе бога. По Моторину, бог всемогущ и может сделать все то, что захочет, достаточно лишь сказать соответствующее слово, а по Кареву — люди настолько сильнее всемогущего бога, что (цитирую): «...мы можем мешать проявлению силы духа святого в нашей жизни», «апостол Павел говорит о страшной силе нашей плоти, противоборствующей всем благодатным действиям духа святого в нас».

Объясняя различные места библии, журнал настойчиво подчеркивает рациональность «учения» баптистов. Вот один пример. Для чего совершилось вознесение Христа на небо? Оказывается, причина вот в чем: «Пребывание Христа в физическом теле ограничило бы его действия. Представим себе Христа, живущего телесно в Иерусалиме. Сколько паломников направилось бы в этот город, чтобы встретиться с ним! Корабли, поезда, самолеты были бы переполнены направляющимися туда людьми. Многие месяцами и даже годами ожидали бы его святого благословения. Теперь же, когда Христос вознесся, каждый человек может свободно приходить к нему, иметь общение с ним. Каждый может получить его благословение на любом месте...» И далее разумность вознесения доказывается еще и тем, что в случае пребывания Христа на земле ему пришлось бы иметь, как пишет журнал, большую канцелярию для принятия и рассмотрения прошений. И даже при этом условии Христу «недоставало бы времени даже подписывать письма, а не только отвечать на них».

Автору и невдомек, что такие до пародийности смешные объяснения лучше всякой атеистической пропаганды могут поколебать убеждение верующего в существовании бога и его всемогуществе.

До каких нелепостей может дойти баптистское толкование библии показывает и следующий пример. В упоминавшейся уже статье «Учение Библии о боге» говорится, что многие места библии, в которых бог изображен в образе человека, надо понимать иносказательно, ибо, «как мать в разговоре со своим ребенком употребляет детский лепет, так пророки и праведники передавали народу волю божию на языке, понятном для них». Как же при этом условии надо воспринимать слова библии о том, что бог имеет голову, сердце, руку? Оказывается, вот так: голова означает величие, глаз — провидение, лицо — милость, уши — внимание, рука — могущество, сердце — познание, нога — покорение, завоевание. Но «все эти слова,— пишет Моторин,— как правило, надо понимать не в прямом смысле, а в переносном, вследствие чего приведенные выражения значат: причина, разум, воля, попечение, знание и понимание». Таким образом, получается, что если в библии, например, упоминается голова бога, то это надо понимать как величие, означающее в свою очередь причину... Это уже не «детский лепет», а сущая тарабарщина.

На страницах «Братского вестника» о многих предметах, хорошо известных науке и успешно ею исследуемых, нередко пишется как о сфере таинственного и непознаваемого. Автор статьи «Евангелие от Марка» убеждает читателей, что «внутренний процесс произрастания остается необъяснимым. Семя вещественное дает росток, стебель, цвет, плод, и простой наблюдатель видит это и знает; ученый наблюдатель знает и условия и законы прозябания и оплодотворения, но — и только Как растет — никто не знает». Это категорическое утверждение, конечно, противоречит современному уровню знаний, достигнутому человечеством.

Не бо́льшую добросовестность проявляет «Братский вестник» и в таких, казалось бы, актуальных для него вопросах, как научная критика библии В последнее время много проблем возникло в связи с находками древних рукописей в районе Хирбет-Кумрана на побережье Мертвого моря, изучением которых специально занимается новая научная дисциплина — кумрановедение. Вновь и чрезвычайно остро встал вопрос об историчности Христа. Некоторые рукописи, датируемые I веком до н. э., упоминают «праведного учителя», пострадавшего от происков «нечестивого жреца». При этом имена их не названы. Богословы и буржуазная печать подняли большой шум и заявили, что найдены наконец доказательства реального существования Иисуса Христа. Советские и ряд западных ученых опровергли доводы богословов и показали, что кумранские находки не только не делают более достоверными евангельские притчи о Христе,

но, наоборот, дают новые аргументы для признания Христа мифической личностью. Дело в том, что о «праведном учителе» говорится в документах, на целое столетие предшествовавших датам мифической жизни Христа, следовательно евангельские рассказы о нем никак не могут быть оригинальными, «боговдохновенными» и истинными, а являются заимствованием из более древних легенд и сказаний.

Как же на эту дискуссию откликнулся «Братский вестник»? Он поместил статью «Библейские манускрипты-рукописи», в которой сообщил о различных вновь открытых рукописях начиная с конца XIX века. Кумранские находки приведены в качестве примера того, как простая случайность приводит к новым открытиям библейских текстов. В этой статье говорится о многом, даже о явлении радиоактивного распада и его использовании для датировки рукописей. Нет, однако, самого главного — в какой связи стоят кумранские находки с проблемой происхождения христианства.

Таким образом, внимательное чтение журнала «Братский вестник» показывает, что когда дело доходит до разбора и пояснения тех или иных религиозных догм и положений, все оказывается на своем месте — нет никакого здравого учения, а по-прежнему остается слепая вера в тайное и недоказуемое, искажение научных данных в угоду религии. А все хорошие слова о пользе науки, слова осуждения религиозного фанатизма и суеверий на деле находятся в вопиющем противоречии с антинаучной сущностью баптизма и теряют таким образом всякий практический смысл и значение.

Когда знакомишься с «Братским вестником», так и хочется сказать: «Читайте, баптисты, свой журнал, но читайте внимательно, думайте над прочитанным, анализируйте его и... вы придете к атеизму». Настоящее здравое учение может быть только научным учением, отрицающим существование всякого бога, в том числе и баптистского. А лавирование баптистских проповедников, их подкрашивание баптизма под свободомыслие и разум есть, говоря словами Ленина, «культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины».

Э. БАКСТ.

★

АМЕРИКАНЦЫ НЕ СМЕЮТ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ

Herbert Aptheker. Dare we be free? New Century publishers. New-York. 1961. Герберт Аптекер. Смеем ли мы быть свободными? Нью Сенчери паблишерс. Нью-Йорк. 1961.

Новая книга Герберта Аптекера, видного ученого-марксиста, вышла в свет в США в августе 1961 года в разгар борьбы прогрессивных сил против закона Маккарэна. Она рассказывает о том, в каких невыносимых условиях приходится жить и работать американским коммунистам, разоблачает цели реакции, стремящейся загнать в подполье, поставить вне закона славную партию рабочего класса.

Закон Маккарэна был принят конгрессом еще в 1950 году, во время разгула маккартистского террора, вскоре после начала американской интервенции в Корее. Смысл закона поистине чудовищен: лидерам Коммунистической партии США предлагается зарегистрировать свою партию и себя как «агентов иностранной державы, занимающихся подрывной деятельностью». Им надлежит перечислить руководящих работников и рядовых членов партии, представить подробный отчет о финансах, а также «ряд других сведений различного рода».

Иными словами, американским коммунистам предложено стать доносчиками, предать свою партию и облегчить реакции возможность расправиться с лучшими представителями рабочего класса, с мужественными борцами за интересы своего народа. Отказ выполнить это позорное требование влечет за собой штраф в десять тысяч долларов и пять лет тюремного заключения за каждый просроченный день. Та же участь грозит и рядовым членам партии; если руководители не сообщат о них, они сами должны в течение двух месяцев явиться для регистрации.

Одиннадцать лет длится борьба прогрессивных сил США против закона Маккарэна. В ней участвуют не только коммунисты, но и все честные американцы, и среди них общественные деятели, ученые, преподаватели крупных университетов, губернаторы некоторых штатов, редакторы влиятельных буржуазных газет.

Дважды, начиная с 1950 года, Коммуни-

стическая партия апеллировала в верховный суд США с просьбой признать неконституционным закон Маккарэна, который противоречит «биллю о правах», поправке к первому пункту конституции США, а также идет вразрез с обещаниями президента Кеннеди не нарушать конституционные права.

Девятого октября нынешнего года верховный суд США отклонил апелляцию компартии. Более того, правящие круги решили вопреки протестам применить закон Маккарэна: был назначен срок официальной регистрации — 20 ноября 1961 года. Конечно, ни один коммунист не согласился стать предателем интересов своей партии. «Мы предпочитаем провести остаток своих дней в тюрьме, нежели предать кого бы то ни было»,— сообщил министру юстиции Роберту Кеннеди генеральный секретарь компартии Гэс Холл.

Министр в бешенстве закричал: «Мы отдадим их под суд!» В историю Соединенных Штатов вписана новая позорная страница.

«Поход против марксизма и коммунизма,— пишет Герберт Аптекер,— всегда означает поход против рационализма, гуманизма, против составных элементов джефферсонианизма. Совершенно ясно, и это показывает весь опыт человечества,— так было в Германии, Италии, Испании, Японии и в нашей собственной стране после второй мировой войны,— что если закон Смита[1] и Маккарэна вступит в силу... первыми жертвами будут коммунисты. Они будут первыми, но не последними жертвами. В конечном счете, если этот процесс не будет приостановлен, в жертву будут принесены все демократические завоевания прошлого, катастрофа обрушится на всю нашу нацию, как это было с другими нациями, которые пошли по такому же пути и вовремя не остановились».

В черные дни произвола германского фашизма события развивались именно так. И теперь, пытаясь подавить коммунистическую партию, терроризировать все прогрессивные силы, задушить свободную мысль, американская реакция становится на путь фашизации страны.

Герберт Аптекер приводит факты, свидетельствующие об углублении этого опасного процесса. В республиканской партии США победило реакционное крыло, возглавляемое сенаторами Мундом, Голдуотером и Никсоном, тесно связанное с мощной группой диксикратов[1] из демократической партии. Крупные монополисты, национальная ассоциация промышленников, торговая палата США открыто поддерживают такие погромные, фашистские организации, как общество Берча.

В правительстве заметно усилилось влияние военных. Вместе с мультимиллионерами, владельцами монополий они определяют политический курс США. Федеральное бюро расследования, Пентагон, комиссия по атомной энергии, Национальный совет безопасности все чаще подменяют собой выборные органы и не подчиняются никакому контролю.

В обществе Берча и других реакционных профашистских организациях активно действуют видные генералы, адмиралы, полковники, занимающие крупные посты в вооруженных силах США. Среди сенаторов и конгрессменов также немало деятелей подобных обществ. Они не скрывают своих симпатий к фашизму, открыто призывают к расправе со всеми прогрессивными силами, к войне против социалистических стран.

В книге Герберта Аптекера рассказано о том, что группа американских сенаторов-реакционеров недавно послала приветствия реваншистскому слету судетских немцев — матерых нацистов, выступающих за присоединение к Федеративной Республике Германии чешских и польских земель. «Дух, которым проникнут День судетских немцев,— величайшая надежда свободного мира»,— писал член палаты представителей США Губсер. «Наша страна поддерживает вашу борьбу за возвращение потерянных территорий на сто процентов»,— подбадривают бывших эсэсовцев сенаторы Толмэдж, Мундт и Додд. Четыре члена палаты представителей США прониклись такой любовью к западногерманским любителям чужих земель, что приехали на митинг в ФРГ. Среди них был Шерер — один из

[1] Закон Смита о «действиях против правительства» был принят в 1940 году. Он тесно связан с законом Маккарэна. Если коммунисты согласились бы зарегистрироваться и тем самым оклеветали себя, они немедленно подпали бы под действие закона Смита.

[1] Диксикратами называют группу реакционеров и расистов, преимущественно из южных штатов, именующихся «Диксилэндом».

руководителей Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Он заявил на митинге: «У нас общая цель. Следовало бы ассигновать побольше денег на нужды антикоммунистических организаций, подобных вашей и таких же в США».

В свое время в гитлеровской Германии нацистов финансировали Тиссен и Крупп, Флик и Маннесман. Нечто подобное повторяется теперь в США. Основатель общества Берча, пишет Герберт Аптекер, крупный миллионер. Среди членов общества видные монополисты, американские магнаты, владельцы текстильных фабрик Юга, страховых компаний, банков...

Теперь в США действуют уже не отдельные, маленькие погромные группки; деятельность мракобесов финансируют и направляют влиятельные люди. «Неужели мы не усвоили уроков прошлого, стоивших жизни миллионам людей,— пишет автор.— Ведь общество Берча и его покровители — среди них авторы законов Смита и Маккарэна — ведут наступление на все прогрессивное. Законы Смита и Маккарэна пытаются узаконить берчеизм. Они хотят создать Америку, угодную куклуксклановцам и Черному легиону».

Коммунистическая партия ненавистна американской реакции, потому что она борется против войны, защищает интересы трудящихся. Попросту запретить ее правящие круги США не решаются: это значило бы развеять в дым все демагогические утверждения, будто Америка — страна демократии и свободы. Изобретается самая чудовищная ложь, плетутся провокационные измышления. Закон Маккарэна утверждает, что американские коммунисты организованы путем «тайного заговора» и добиваются своих целей «при помощи обмана, интриг, шпионажа, вредительства, террора и тому подобных методов».

Герберт Аптекер высмеивает это и напоминает, что такие же обвинения выдвигались мракобесами Маккарти, Дженнером, Истлэндом в разгар войны в Корее. Тогда прогрессивные силы были помехой для агрессии. Теперь закон Маккарэна используется для подавления организаций, протестующих против наступления на права трудящихся, против гонки вооружений и ядерного психоза, против подготовки военных авантюр.

Американские коммунисты исполнены решимости отстоять свои права от посягательств «охотников за ведьмами». Они не дают запугать себя, не поддаются шантажу и провокациям. И это вызывает глубокое уважение у честных людей всего мира, в том числе и США. Решение верховного суда, отклонившего апелляцию компартии США, вызвало взрыв возмущения в стране. Президенту Кеннеди вручена петиция с протестом против этих незаконных действий: ее подписали триста двадцать видных общественных деятелей США. Глубоко символично, что именно в тяжкие для американской компартии дни в нее вступил доктор Уильям Дюбуа, девяностотрехлетний ученый, мужественный борец за права негров, сторонник мира, награжденный Ленинской премией «За укрепление мира между народами». В своем письме генеральному секретарю компартии США Гэсу Холлу Уильям Дюбуа пишет:

«Коммунизм — стремление дать всем людям то, что им нужно, и просить у них взамен лучшее, что они могут дать,— единственный правильный образ жизни для человечества... В конце концов коммунизм победит. Я хочу помочь приблизить этот день». Эти проникновенные слова — убедительный ответ американским «охотникам за ведьмами». Идеи нельзя запретить, нельзя поставить вне закона.

Книга Герберта Аптекера помогает понять сущность так называемой американской «демократии» и показывает, как глубоко зашел в США процесс фашизации.

А. БЕЛЬСКАЯ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СССР. Хроника событий и фактов. 1917—1959. Государственное научное издательство «Советская энциклопедия». М. 1961. 780 стр. Цена 3 р.

Появления этой книги давно ждали экономисты. Но когда она вышла, оказалось, что она представляет немалый интерес и для широкого круга советских читателей. В предисловии, написанном академиком С. Г. Струмилиным (он же главный редактор издания), указывается, что книга — «хроника событий за сорок три года — представляет как по объему сосредоточенной в ней информации, так и по содержанию оригинальный коллективный труд, впервые появляющийся в советской печати». Читатель получает наглядное представление, как изо дня в день осуществлялась в нашей стране генеральная линия партии в борьбе за победу социализма, за развертывание коммунистического строительства.

В книге сорок три главы. Каждой из них предшествует краткое вступление, характеризующее год, которому посвящена глава.

Каждый факт этой своеобразной экономической хроники содержит указание на источник. Многие факты приводятся в книге впервые. Это относится, например, к материалам, полученным непосредственно с предприятий.

Редакция предварительно ознакомила с макетом этой книги многие научные и хозяйственные учреждения, организации, отдельных специалистов. Свыше полутора тысяч полученных откликов способствовали дополнению и уточнению сведений.

Для облегчения пользования изданием в конце его помещен подробный алфавитный предметно-именной указатель.

А. И.

★

25 ЧАСОВ В КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЕТЕ. Издательство «Правда». М. 1961. 384 стр. Цена 47 к.

Беспримерный космический полет Германа Степановича Титова вызвал такой жгучий интерес, сообщения о нем проглатывались с такой жадностью, что, казалось, их печатается слишком мало. Теперь все опубликованные в «Правде» материалы собраны воедино и снова потрясают воображение самого хладнокровного читателя.

Семьсот тысяч километров пролетел «Восток-2», управляемый Г. С. Титовым. Это означает, что корабль мог бы долететь до Луны и вернуться обратно. Колоссальное расстояние преодолел и «Восток-1» со своим командиром Ю. А. Гагариным.

Путешествие космонавтов продолжается теперь на земле: «небесных братьев» приглашает к себе множество стран. Люди всего мира хотят воочию увидеть героев, имена которых открывают новую страницу величественной летописи «звездных часов» человечества».

Большое место в книге занимают приветствия Советскому Союзу от братских компартий, а также от правительств различных зарубежных государств. В приветствиях звучит восхищение огромными достижениями советской науки и техники. Социализм, говорил Н. С. Хрущев, это и есть та надежная стартовая площадка, с которой Советский Союз запускает свои космические корабли.

И невольно вспоминаются «достижения» другой, капиталистической, науки в покорении космоса. Не будучи в состоянии даже приблизиться к успехам Советского Союза (об этом свидетельствуют баллистические прыжки двух американских космонавтов), правительство США форсирует усовершенствование системы космической военной разведки. «Бюллетень ученых-атомников», выходящий в США, прямо указывает, например, на то, что главной целью политики США и их технических усилий должен стать... захват базы на Луне.

Книга «25 часов в космическом полете» иллюстрирована снимками, сделанными космонавтом. Подробный рассказ о подвиге Германа Титова и его жизненном пути заканчивается строками из австралийской газеты «Сидней морнинг геральд»: «Новый успех Советского Союза открывает еще одну фантастическую страницу в истории человечества».

А. Орлов.

★

Н. РЯБОВ. Мы — с Выборгской стороны (Воспоминания). Соцэкгиз. М. 1961. 112 стр. Цена 11 к.

Автор воспоминаний прошел большой путь — от рабочего-токаря до генерал-лейтенанта Советской Армии. Участник рево-

люционных событий 1917 года, Н. Рябов приводит в своей книге интересные детали, которые дополняют известные исторические материалы.

В Выборгском районе Петрограда заводов и фабрик было больше, чем в любом другом районе города. Работая на Металлическом заводе, Н. Рябов постепенно впитывал революционные традиции питерских рабочих. Он подробно рассказывает о февральских днях 1917 года, о том, как создавались вооруженные организации рабочего класса, как разоблачали меньшевиков, эсеров и анархистов, как рабочие разоружали полицию.

Н. Рябову посчастливилось быть в числе тех, кто 3 апреля встречал на Финляндском вокзале В. И. Ленина, а затем слышал выступления великого вождя с балкона дворца Кшесинской. Подробнейшее описание этого события, проникнутое горячим чувством советского патриота, представляет большой интерес для широкого круга читателей. Столь же подробно излагается и ход штурма Зимнего дворца, непосредственное участие в котором принимал автор.

В последней части книги описывается разгром казачьего корпуса генерала Краснова, посланного Керенским для подавления революции в Петрограде. Здесь, на Пулковских высотах, Н. Рябов начал боевой путь в гражданской войне. Автор не только называет имена многих рабочих, руководителей партийных организаций, командиров воинских частей, но и прослеживает их дальнейший послевоенный жизненный путь.

В. Я.

★

К. М. МАЛИН. *Жизненные ресурсы человечества.* Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 136 стр. Цена 20 к.

Население земного шара составляет примерно три миллиарда человек, а через столетие, по расчетам экономистов, достигнет восьми—десяти миллиардов. Сможет ли наша планета прокормить человечество в XXI веке и удовлетворить его все растущие потребности? Неомальтузианцы отвечают на этот вопрос отрицательно и предлагают с помощью атомной бомбы сократить население Земли до миллиарда или даже до пятисот миллионов человек. В первую очередь они планируют уничтожение народов колониальных и зависимых стран и стран социалистического лагеря.

Достойную отповедь буржуазным экономистам, бьющим тревогу и обосновывающим человеконенавистнические планы современных последователей Мальтуса, дал Н. С. Хрущев на Пленуме ЦК КПСС в январе 1961 года: «Такие люди не понимают или умышленно извращают, принижают имеющиеся возможности обеспечения людей питанием. Если правильно использовать достижения науки и техники, то возможности производства продуктов питания просто безграничны».

Эту мысль убедительно подтверждает книга К. Малина, в которой собрано множество интересных примеров и статистических данных. Далеко не все знают, например, что урожай с одного гектара в среднем может обеспечить продовольствие для семи человек. Поскольку обрабатываемая площадь Земли составляет сейчас 1,37 миллиарда гектаров, то уже сегодня можно обеспечить питанием девять миллиардов человек. Если же применить последние достижения науки, урожайность повысится в четыре-пять раз. Но уже сейчас, по данным Дж. Бернала, под земледелие можно отвести площадь вдвое большую.

Перед человечеством открыты огромные возможности коренной реконструкции органического мира. Достаточно сказать, что из пятисот тысяч видов растений люди используют лишь двадцать три тысячи, а в сельском хозяйстве — всего около шестисот видов.

Неисчерпаемые богатства таят моря и океаны. Английский ихтиолог Люкас считает, что при рациональном ведении рыбного хозяйства можно с одного гектара моря получить рыбы вдвое больше, чем мяса с одного гектара лучшего пастбища.

Одна из глав книги посвящена энергетике будущего.

Использование всех жизненных ресурсов человечества станет возможным только тогда, когда усилия всех людей будут объединены для достижения высокой цели — построения коммунистического общества.

Э. С.

★

НАРОД О РЕЛИГИИ. Госполитиздат. М. 1961. 312 стр. Цена 48 к.

Русские, украинские и белорусские антирелигиозные сказки, сказы, пословицы, поговорки, частушки, песни, остроты — много произведений устного народного творчества вошло в эту книгу.

Материалы сборника со всей очевидностью опровергают буржуазно-либеральную версию о «природной» религиозности восточных славян. Об отношении к церкви красноречиво говорят народные поговорки: русские — «Родись, крестись, умирай — за все деньги подавай», «Кому мертвец, а попу товарец»; украинские — «Один звон — что кандальный, что церковный», «Без попа и бога широка к счастью дорога»; белорусские — «Если бы в монастыре работать заставляли, туда б не убегали», «Мы и без бога так устроим, что урожай утроим»...

В зависимости от социальной направленности материалы книги сгруппированы по тематическим разделам: «Бог и святые», «Рай и ад», «Церковь и богослужение», «Попы и монахи» и другие.

В сборнике напечатана статья составителя С. И. Василенка, анализирующая антирелигиозное устное творчество народных масс, а также помещена обширная библиографическая справка.

В. С.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Избранное. Гослитиздат. М. 1961. 304 стр. Цена 52 к.

Издание «Избранного» Марины Цветаевой является подарком читателю — любителю поэзии. Не следует, конечно, рассчитывать на читателя вообще, массового читателя в отношении этой книги — своеобразной и сильной, но не вдруг доступной. Но М. Цветаевой принадлежит в развитии русского стиха такая несомненная и значительная роль, что так или иначе с ее творчеством должен быть знаком всякий интересующийся поэзией человек.

В книге много боли сердца, горестных раздумий, мучительных усилий выразить мир, представляющийся автору часто темным и жестоким (здесь — отражение особенностей его трудной судьбы), но в ней же столько ясной и жаркой любви к жизни, к поэзии, к России, и к России советской; столько ненависти к буржуазному миру «богатых» и пафоса антифашистской направленности.

Со стороны собственно стиха, слова, звука, интонации это вообще редкое и удивительное явление русской поэзии. Затрудненная, местами как бы пунктирная, где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, стихотворная речь Цветаевой обладает чертами глубокой эмоциональной силы — она, как дыхание, прерывистое, неровное, но и живое, а не искусственное.

Кстати, когда некоторые особенности стиха Цветаевой (рифмы, ритмы, звукопись) станут общим достоянием (Цветаева у нас не издавалась, кажется, с 1922 года), полезно будет уже и то, что откроется один из источников завлекающего простаков «новаторства» некоторых молодых поэтов наших дней. Окажется, что то, чем они щеголяют сегодня, уже давно есть, было на свете, и было в первый раз и много лучше.

Статья В. Орлова хороша; в сущности, это почти первое наше слово о М. Цветаевой.

А. Твардовский.

★

С. ТХОРЖЕВСКИЙ. Четверо на Нижней Тунгуске. Повесть и рассказы. «Советский писатель». Л. 1961. 170 стр. Цена 22 к.

В этой книжке — мир обыкновенных житейских происшествий, поданный в небрежной, сдержанной манере. Не отмеченные, казалось бы, ничем особенным, события и характеры обретают под пером Сергея Тхоржевского подчас большой смысл.

Его герои стремятся к счастью, к полноте существования, хотя нередко терпят и неудачи на этом пути. Порой им не хватает мужества («Через год»). Порой они заблуждаются («Путешествие за сеном»). А вот геологу Валерию Кудряшову из повести «Четверо на Нижней Тунгуске» недостает искренности и прямоты. Свойственное многим героям Тхоржевского стремление к совершенству принимает у Валерия искаженные формы. «Казаться, а не быть»,— говорят о житейской философии таких людей. Валерий то прикидывается многоопытным таежником, то изображает влюбленного и смелого. Пристрастие к позе и рисовке привело к трагедии: он тонет при переправе через пороги.

Симпатии читателя будут, конечно, на стороне других героев, таких, как геолог Саша Николаев, старшина катера Самохин, мастер-камнерез Арсений Арсеньевич, художник Гречихин. Честное, серьезное отношение к себе и к жизни — самая привлекательная черта этих обыкновенных советских людей.

Книга Тхоржевского учит тому же читателя. И делает это ненавязчиво, проникновенно и сердечно. Искренность и строгая простота — основные черты стиля Тхоржевского. Читатель, знакомый с его первой книгой — «Ожидание», не будет разочарован и второй встречей с писателем.

М. Хейфец.

★

Д. ЦИРУЛИК. Начало биографии. Стихи. Амурское книжное издательство. Благовещенск. 1961. 64 стр. Цена 10 к.

Барабанит дождик в окна,
Заливаясь звонким смехом.
Он и сам успел намокнуть
И запыхаться от бега.

Он молоденький и дерзкий,
Он находит в раме щели,
И уже на занавесках
Брызги, брызги заблестели.

Кто написал эти веселые строки? Человек, бездумно восторгающийся всем, что ему попадается на пути,— дождь так дождь, солнце так солнце? Нет. Эти стихи взяты из книги, которой чужд наигранный оптимизм. Ее автору Дмитрию Цирулику тридцать семь лет, а он, как сообщается в короткой биографической справке, уже «пенсионер по состоянию здоровья». Но личные невзгоды не ослабили — и это одна из самых привлекательных черт облика поэта — его любви к жизни. Лирический герой книги чувствует свою кровную причастность к судьбе своего поколения, поколения, которое двадцать лет назад вышло на бой с фашизмом. Он знает, какой безмерно дорогой ценой куплено право на жизнь, и поэтому преисполнен чувства ответственности.

Право жить оплачено тобою,
Этой платы в мире нет ценней.
Значит, я обязан быть достойным
Скромной биографии твоей.
И во имя павших до победы,
Верность нашей юности храня,
Не имею права жить на свете
Без борьбы, без страсти, без огня!

И поэтому лирическому герою этого сборника дорога каждая подробность жизни — и ночь, которая смотрит «внимательным взглядом звезд», и дремлющие на небе облака, и набирающие рост травы, и — главное — советские люди, его современники.

Л. Александров.

А. ГЕССЕН. Набережная Мойки, 12. Детгиз. М. 1960. 254 стр. Цена 74 к.

Книга А. Гессена вышла в детском издательстве в популярной серии «По дорогим местам». Перед автором не стояли исследовательские задачи, и все-таки при чтении книги создается ощущение свежести.

«Отличительной чертой Пушкина была вообще память сердца,— пишет А. Гессен.— Он любил старых друзей и знакомых и был особенно благодарен тем, кто любил в нем его самого, а не сопровождавшую его громкую славу поэта». А. Гессен знакомит нас с теми, «кто любил в нем его самого»,— с Жуковским, Нащокиным, Вяземским, Виельгорским, Денисом Давыдовым, Одоевским, А. И. Тургеневым, Брюлловым. Многие страницы книги посвящены любимому детищу Пушкина — журналу «Современник». Автор говорит и о последних поездках Пушкина в село Михайловское и в Москву, рассказывает о создании «Медного всадника», «Капитанской дочки», «Истории Петра», написанных Пушкиным незадолго до гибели, характеризует ту драму, которая привела его к смерти. С горечью передает А. Гессен подробности последних дней, часов и минут жизни Пушкина.

Интересу, который вызывает книга, способствует, вероятно, то, что А. Гессен использует новые открытия пушкиноведения (например, письма Карамзиных, найденные в Нижнем Тагиле в 1955 году).

Важнее отметить, впрочем, другое. За фактами биографии и открытиями ученых, за письмами друзей, донесениями и документами автор книги сумел увидеть живую душу поэта. В последние месяцы своей жизни — в доме двенадцать на Мойке — Пушкин все тот же страстный, порывистый, всегда готовый к борьбе, любимый Россией, но уже уставший от постоянной вражды с придворными и светскими кругами, от лишений и клеветы.

С волнением и горячей любовью к поэту пишет А. Гессен. Этим волнением он заражает и читателей. «Мы точно перенеслись в прошлый век, побывав в последней квартире Пушкина»,— пишет он. Это чувство испытываем и мы.

Г. Койранская.

★

П. АНТОКОЛЬСКИЙ. О Пушкине. «Советский писатель». М. 1960. 136 стр. Цена 18 к.

«Даже и найдя свой голос, мы оставались верны Пушкину — не только как первой своей любви, но и как непрестанно звучащему в сердце голосу художнической совести. Вот почему каждый из нас может и должен сказать свою правду о нем, пусть невольно ограниченную личным пристрастием»,— пишет Павел Антокольский в книге «О Пушкине».

«Свой» Пушкин есть у каждого любящего поэзию человека, но живых литературно-критических статей о Пушкине в современности, к сожалению, почти нет.

Поэтому книга Павла Антокольского — книга о Пушкине, живом сегодня,— нам особенно интересна.

«...Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» — писал поэт. Годы спустя он мечтает о «покое и воле», чтобы отдаться творчеству. Но творить — это и значит «мыслить и страдать». Пушкин искал для себя покоя в творческом волнении, в беспокойстве, как одинокий парус у Лермонтова искал себе покоя в бурях.

«Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?» — писал Лермонтов.

П. Антокольский чутко уловил перекличку двух великих поэтов. И не только их: ведь строки пушкинской «Элегии» освещают глубочайшие проблемы человеческой жизни, они самым непосредственным образом связаны с мыслью Блока, что счастье — это «творческий восторг», ощущение «утвердившейся связи с миром».

Автор книги, не ограничиваясь анализом стихов, старается показать нам Пушкина в живой, будничной обстановке его времени. Особенно интересна в этом отношении глава «Анна Петровна Керн». П. Антокольский мастерски вплетает в ткань живого рассказа о поэте пушкинские стихи.

Не все наблюдения Антокольского бесспорны. В главе о «Медном всаднике» автор старается доказать, что мятеж Евгения был только его «личным делом», фактом неисторическим. В своем стихотворении 1924 года, помещенном в этой книге, Антокольский гораздо правильнее пишет о бунте «маленького человека» против Медного всадника. «Маленький человек», наследник Евгения, сделался выше бронзового кумира. Прошлое может помочь ему или помешать, но не может подавить своей мощью. В этом смысле стихотворение историчнее, точнее прозаического анализа. В книге вообще много стихов самого Антокольского. И задача не столько завершить или подытожить рассуждения, сколько лишний раз подчеркнуть, что Пушкин — «это юность сама», «это жизнь, не застывшая бронзой».

Ю. Айхенвальд.

★

М. РАБИНОВИЧ, Г. ЛАТЫШЕВА. Из жизни древней Москвы. «Московский рабочий». М. 1961. 200 стр. Цена 87 к.

Когда ученый берется популяризировать достижения своей науки, это всегда приятно, ибо гарантирует читателю абсолютную добротность материала. Но если ученый при этом не утратил также способности ощущать, что доступно неискушенному читателю, а какими частностями надо поступиться, чтобы работа осталась популярной, это приятно вдвойне.

М. Г. Рабинович — исследователь прошлого Москвы. Под его руководством или при его ближайшем участии велись в последние годы археологические раскопки в Зарядье, существенно уточнившие возраст нашей столицы, раскопки в Кремле, также давшие много нового археологического материала, раскопки Андреевского городища

близ Нескучного сада, относящегося к раннему железному веку — к середине первого тысячелетия до н. э.

Начиная с каменного века и прослеживает М. Г. Рабинович в книге «Из жизни древней Москвы», написанной им в соавторстве со своей постоянной сотрудницей Г. П. Латышевой, историю жизни человека на месте, где расположена ныне наша столица.

Книга очень содержательна, она добавляет немало новых сведений к нашим знаниям о Москве. Да и не только о Москве, но и о нашем родном языке, об истории родины.

Археология, опирающаяся на материалы раскопок, на остатки материальной культуры народа, способна рассказать о быте города и горожан, пожалуй, больше, чем любая летопись, любой древний письменный документ. Прелесть книги Рабиновича и Латышевой в том, что они заставляют говорить материалы московских раскопок полным голосом. И оживает Таганка — площадь, вокруг которой шумела Гончарная слобода (Гончарный переулок и до сих пор в том районе сохранился). Гончары изготовляли у себя в слободе таганы, то есть металлические котлы, в горнах (а от «горна» и сам «гончар» — горънчар; и «горшок» — горънец). И Кузнецкий мост — мост через реку Неглинную; кузнецы селились всегда на окраине, чтобы искры от кузниц не подпалили деревянных домов, и близ воды, чтобы было чем быстро потушить пожар.

Словно в лупу времени, смотришь вместе с авторами на древнюю Москву. Книга Рабиновича и Латышевой читается с большим интересом. И с пользой!

Р. Б.

★

ВНИМАНИЕ! ЗАПАДНЯ! Перевод с немецкого. Воениздат. М. 1961. 164 стр. Цена 52 к.

В аристократическом районе Западного Берлина Целендорфе среди десятков шикарных вилл есть одна, на двери которой висит табличка: «Юридическая консультация». Но почему так тщательно она охраняется? Да потому, что под этой скромной вывеской скрывается шпионско-диверсионная организация. А им здесь несть числа. Но эта организация — особого рода. Ее официальное полное название: «Следственный комитет свободных юристов».

Под маской бескорыстия и гуманности, всегда готовая «помочь» попавшим в беду, эта организация завлекла и продолжает завлекать в свои сети немало простодушных людей — жителей демократического Берлина, да и не только их. Ее «сотрудники» провоцируют и шантажируют своих клиентов до тех пор, пока те не становятся на путь шпионажа и диверсий.

«Западный Берлин стал таким местом скопления тайных агентов различных видов, какого больше не сыщешь на всем свете»,— признавалась как-то даже западногерманская газета «Швабише тагеблатт». Положить конец этому требует и сам немецкий народ и Советское правительство, глубоко заинтересованное в ликвидации остатков второй мировой войны и в оздоровлении обстановки в Европе. Подрывная шпионско-диверсионная деятельность «Следственного комитета свободных юристов», как и почти всех остальных организаций такого же толка, направлена прежде всего против ГДР и Советского Союза.

Об истории создания этой организации, о ее структуре, резидентах, главарях и совершенных ею преступлениях, о ее закулисном хозяйстве и источниках финансирования рассказывает книга «Внимание! Западня!». Ее подготовил коллектив авторов ГДР на основании подлинных документов и неопровержимых фактов.

Л. Лерер.

★

ФРЕД КУК И ДЖИН ГЛИСОН. Репортаж из Нью-Йорка. Перевод с английского. Профиздат. М. 1961. 214 стр. Цена 39 к.

Неизвестно, читали ли авторы этой книги — американские журналисты Кук и Глисон, в недавнем прошлом сотрудники газеты «Уорлд телеграм энд Сан» — очерк М. Горького «Город Желтого Дьявола». Но концовка их репортажа, гневного и искреннего, удивительно напоминает этот очерк.

«Нью-Йорк — это город очень богатых и очень бедных, где людей со средним достатком и мелких бизнесменов постоянно притесняют и заставляют терпеть лишения. Это город, в котором укоренилась коррупция, царит апатия и равнодушие, человеческая судьба здесь никого не интересует... Это город, потерявший душу».

Листая страницы книги, мы как бы заглядываем за кулисы самого большого города США, где за фасадами небоскребов делового центра и за ослепительными рекламами Бродвея раскрывается отвратительная картина продажности и злоупотреблений в муниципальной администрации.

Моральный и нравственный маразм «отцов города» ярче всего проявляется в их деловых связях с представителями уголовного мира. Некоронованными властителями Нью-Йорка являются матерый гангстер и рэкетир Фрэнк Костелло и его сподвижники. Они вершат делами муниципалитета, оплачивают полицию, финансируют выборные кампании, подкупают профсоюзных вожаков, а тех, кого не удается подкупить, убивают.

Авторы подробно описывают подноготную «плана по очищению Нью-Йорка от трущоб», при реализации которого тысячи средних американцев остались без крова, а хозяева этих трущоб («наиболее доходного недвижимого имущества в мире») обогатились.

Очень показательна для нравов американской полиции глава «Он не мог совершить преступления». В ней рассказывается, как полиция, желая укрыть истинного убийцу мужа и жены, обвинила в убийстве... их восьмилетнего сына, также едва не задушенного гангстерами.

Представители муниципалитета предлагали Куку и Глисону взятку за молчание. После того как «Репортаж из Нью-Йорка» все же вышел в свет, репортеры были уволены.

Так расправляются в США с сотрудниками «свободной» печати, осмелившимися рассказать правду об американском образе жизни.

С. Л.

★

СОВЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. Биобиблиографический словарь (1917—1957). Составители А. М. Витман и Л. Г. Оськина. Детгиз. М. 1961. 432 стр. Цена 1 р. 72 к.

Советская детская литература — явление небывалое по своему характеру и размаху. Лучшие ее представители широко известны, но естественно, что она не может быть представлена только десятью—пятнадцатью писателями.

Словарь «Советские детские писатели» называет свыше тысячи ста имен. Это авторы, писавшие для детей в период с 1917 по 1957 год и выпустившие не меньше двух детских книг. Каждая заметка упоминает и основные факты биографии, называет первую публикацию, первую детскую книгу, перечисляет темы книг или ведущую тему творчества автора. Затем следует библиографическая справка: все детские книги автора и литература о нем и его книгах для детей. В словаре не забыты и авторы технических, публицистических и других книжек, которые включает энциклопедическая по своему содержанию детская литература.

Достоинства этого первого словаря неоспоримы. Но есть, к сожалению, и недостатки.

Много ли можно узнать о писателе И. Валентинове из такой, например, заметки: «...род в Москве. Член КПСС. Инженер-электрик (окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева)»? Такую же скупость проявили составители и в заметках о других авторах (Ю. Владимирове, Н. Заболоцком, Л. Зилове, В. Рюмине, Е. Тарле, С. Федорченко, Д. Хармсе). Сообщить о них подробнее не представляло труда.

Сведения в словаре кончаются 1957 годом, а вернее, 1956-м. Почему это так, если справочник появился в 1961 году, непонятно.

Очень часто случайна библиография литературы о писателе, о его книгах. В ней много серьезных пропусков. Есть ошибки, искажения в датах, именах, названиях.

Писать кратко трудно. Однако в литературном словаре непростителен плохой стиль. «Посвященный теме борьбы за мир», «На темы войны написаны», «Повести на тему борьбы с иностранной разведкой» вместо простого — о борьбе, о войне. Кстати, с определением тем связаны в словаре упрощения. «Сборник стихов... на колхозную тему», «пишет стихи на темы трудового воспитания», тогда как содержание отдельных книг и творчества писателя в целом значительно шире любой из называемых тем. Иногда это тут же подтверждает библиография.

Наконец, хотя это и первый опыт подобного словаря, нельзя не упомянуть о многочисленных и неоправданных пропусках целого ряда имен (С. Безбородов, Т. Одулок, Б. Скубенко-Яблоновский, Н. Костарев и многие другие). И последнее. Если составители включили в словарь малоизвестные имена исследователей детской литературы, то забывать А. Бабушкину, И. Халгурина, И. Желобовского не следовало.

Н. Ломов.

★

БОЖЕНА НЕМЦОВА. Сказки, повести, рассказы. Перевод с чешского. Гослитиздат. М.— Л. 1961. 644 стр. Цена 1 р.

21 января 1962 года народы Чехословакии отмечают 100-летие со дня смерти великой писательницы Божены Немцовой. К этой дате Гослитиздатом выпушен сборник ее произведений на русском языке.

Развивая народно-поэтические традиции и литературный опыт родного народа, Б. Немцова вместе со своими современниками Карелом Гавличеком-Боровским и Иозефом Тылом явилась основательницей чешской реалистической литературы. Она первой ввела в чешскую литературу такие жанры, как роман, повесть, рассказ и очерк. Широко черпая слова, выражения и образы из устного народного творчества, Немцова использовала их в своих замечательных произведениях. Ее по праву называют основоположницей современного литературного чешского языка.

В своих произведениях писательница талантливо отобразила многие стороны народной жизни середины XIX столетия, затронула наболевшие вопросы современности.

Впечатления детства послужили основой для первого в чешской литературе романа из народной жизни — «Бабушка». Подлинной энциклопедией национальной народной жизни является и другой роман писательницы — «Горная деревня». Б. Немцова ярко вскрыла противоречия современного ей общества, правдиво описала тяжелое положение крестьянства и роскошь помещиков, равнодушных к судьбе народа. Однако освобождение родного народа писательница видит в просветительстве. Отсюда типичный конец в ее произведениях: неожиданное перерождение злодея, милость господ, встреча бедняка крестьянина с благодетелем...

В аннотируемом сборнике представлены чешские и словацкие сказки, обработанные Немцовой.

Божена Немцова прожила недолгую и очень трудную жизнь. Дочь конюха и ключницы, она получила всего лишь начальное образование. С молодых лет она вступила в открытую борьбу с воинствующим мещанством, смело разоблачая его пороки. Этого Б. Немцовой не могли простить. Она подвергалась преследованиям властей, за писательницей был установлен тайный надзор полиции.

Перечитываешь произведения Б. Немцовой, и снова вспоминаются слова Юлиуса Фучика: «Божена Немцова — это не только очарованная душа с вечно жаждущим сердцем, это не только мученица, достойная запоздалого и ненужного сожаления, но и отважная душа — женщина с прекрасным человеческим сердцем мятежника и судьбою борца».

В. Маргвелашвили.

★

Е. ЭТКИНД. Семинарий по французской стилистике. Часть I. Проза. 1960. 274 стр. Цена 57 к. Часть II. Поэзия. 1961. 224 стр. Цена 43 к. Учпедгиз. Л.

Эти два изящно изданных томика могут ввести в заблуждение несведущего читателя. Труд Е. Эткинда носит подзаголовок «Пособие для студентов педагогических институтов»; в нем чередуются французские тексты — избранные отрывки поэзии и прозы от XVII века до наших дней — и комментарии составителя. Однако эта работа представляет интерес далеко не только для педагогов-лингвистов: ее значение несравненно шире. Е. Эткинд исходит из принципа, сформулированного им в предисловии: «Художественный текст, предлагаемый для анализа,— это всегда фрагмент произведения искусства. Искусство же отличается от всякой, даже очень умелой подделки тем, что в нем все взаимосвязано и взаимообусловлено, все проникнуто организующей, синтезирующей идеей, все — буквально до последней запятой, до какой-нибудь флексии или даже грамматической неправильности — закономерно». В анализе Е. Эткинда всякий элемент текста рассматривается не в отрыве от произведения, а как часть целостной стилистической системы. Такой подход к изучаемым текстам позволяет Е. Эткинду представить историю новой и новейшей французской литературы в ее самых характерных моментах. Мы прослеживаем на конкретных примерах смену художественных направлений и методов от классицизма Мари де Лафайет до социалистического реализма Арагона. В каждом из своих комментариев Е. Эткинд дает сжатую, выразительную и ясную характеристику художника и тут же показывает путем разбора текста особенности его стиля. Почему, например, такой мастер реалистического стиля, как Стендаль, не боялся лексических повторений, которых так тщательно избегали его современники романтики? Повторения у Стендаля не значат, что он был плохим стилистом. Благозвучие и словарное богатство мало интересовало его. Он хотел быть прежде всего деловитым и ясным. Он не часто прибегал к синонимам, так как они могли бы ослабить точность выражения, а тем более к парафразам, которые пошли бы в ущерб краткости...

Труд Е. Эткинда дает познания не только в области французской стилистики. Он учит и хорошему вкусу, прививает любовь к художественному слову и понимание его законов. Поневоле пожалеешь, что у нас нет подобного же пособия по анализу русских художественных текстов. Оно принесло бы пользу.

Т. Мотылева.

★

Д. ГРИФФИН. Эхо в жизни людей и животных. Перевод с английского. Физматгиз. М. 1961. 108 стр. Цена 18 к.

Такое неожиданное название сразу же привлекает внимание. Мы, конечно, слышали кое-что о летучих мышах... Но эхо в жизни человека? Разве что для развлечения в лесу.

Однако, познакомившись с поразительными фактами из книги Д. Гриффина, убеждаешься, что это далеко не так. Эхо служит многим животным не только для ориентировки, но и для добывания пищи. Из таких животных наиболее известны киты и дельфины. Книга и посвящена в основном изучению способности животных различать слабое эхо.

Автор рассказывает далее об успехах в конструировании эхолокационных приборов и ставит, в частности, такой интереснейший вопрос: как увеличить способность слепых людей распознавать эхо, чтобы помочь им ориентироваться? В книге много любопытных фактов, в том числе и таких, которые обнаружены и исследованы самим автором.

Прав редактор перевода М. А. Исакович, справедливо замечая, что «Гриффин — не только крупный исследователь в своей области, он еще увлеченный натуралист и прекрасный популяризатор. Это счастливое сочетание и делает чтение его книги таким захватывающим».

А. Глухов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. Все силы — на успешное осуществление исторических решений XXII съезда КПСС. Речь на совещании работников сельского хозяйства Узбекистана, южных областей Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Азербайджана в городе Ташкенте 16 ноября 1961 года. 48 стр. Цена 5 к.

Н. С. Хрущев. Важная роль целинных земель в осуществлении программы строительства коммунизма. Речь на совещании работников сельского хозяйства в городе Целинограде 22 ноября 1961 года. 48 стр. Цена 6 к.

Н. С. Хрущев. Самоотверженный труд во имя торжества коммунизма — долг каждого советского человека. Речь на совещании работников сельского хозяйства Сибири 26 ноября 1961 года в городе Новосибирске. 48 стр. Цена 5 к.

Н. С. Хрущев. Речь на V Всемирном конгрессе профсоюзов 9 декабря 1961 года. 24 стр. Цена 2 к.

Н. С. Хрущев. Правильное использование земли — важнейшее условие быстрого увеличения производства зерна, мяса, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Речь на совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик нечерноземной зоны РСФСР в Москве 14 декабря 1961 года. 48 стр. Цена 5 к.

Н. С. Хрущев. Увеличение производства сельскохозяйственных продуктов — важнейшая задача коммунистического строительства. Речь на совещании работников сельского хозяйства Украинской ССР 22 декабря 1961 года в городе Киеве. 48 стр. Цена 5 к.

Л. И. Брежнев. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 20 стр. Цена 2 к.

Г. И. Воронов. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 20 стр. Цена 2 к.

В. В. Гришин. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

П. Н. Демичев. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

Л. Ф. Ильичев. Речь на XXII съезде КПСС. 24 октября 1961 года. 20 стр. Цена 2 к.

А. Н. Косыгин. Речь на XXII съезде КПСС. 21 октября 1961 года. 24 стр. Цена 2 к.

О. В. Куусинен. Речь на XXII съезде КПСС. 26 октября 1961 года. 20 стр. Цена 2 к.

К. Т. Мазуров. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 24 стр. Цена 2 к.

В. П. Мжаванадзе. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

А. И. Микоян. Речь на XXII съезде КПСС. 20 октября 1961 года. 32 стр. Цена 2 к.

Н. В. Подгорный. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 32 стр. Цена 2 к.

Д. С. Полянский. Речь на XXII съезде КПСС. 23 октября 1961 года. 20 стр. Цена 2 к.

Б. Н. Пономарев. Речь на XXII съезде КПСС. 24 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

Ш. Р. Рашидов. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

И. В. Спиридонов. Речь на XXII съезде КПСС. 19 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

М. А. Суслов. Речь на XXII съезде КПСС. 21 октября 1961 года. 24 стр. Цена 2 к.

Н. М. Шверник. Речь на XXII съезде КПСС. 24 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

А. Н. Шелепин. Речь на XXII съезде КПСС. 26 октября 1961 года. 16 стр. Цена 2 к.

Приветствия XXII съезду КПСС. 416 стр. Цена 65 к.

А. Гребнев. Газета. Редакция, авторы, читатели. 120 стр. Цена 14 к.

Элиас Лаферте. Жизнь коммуниста. 320 стр. Цена 52 к.

Менелаос Лудемис. Родина в плену. Греция под иностранным господством. 64 стр. Цена 7 к.

Д. Петров. Рабочее и демократическое движение в Японии. 192 стр. Цена 24 к.

Свободу Анголе. Перевод с французского. 88 стр. Цена 10 к.

А. Суконцев. Твоя записная книжка. (Серия «Библиотечка журналиста»). 64 стр. Цена 7 к.

Л. Н. Чернов. Международное коммунистическое и рабочее движение на современном этапе. 104 стр. Цена 12 к.

СОЦЭКГИЗ

К. П. Аврамов. Это не повторится. Из истории захвата Австрии гитлеровской Германией в 1938 году. 128 стр. Цена 15 к.

Анри Клод. Голлизм и крупный капитал. 175 стр. Цена 35 к.

Г. Зотов. Розничная торговля в США. 166 стр. Цена 36 к.

Крестьянское движение в России в 1796—1825 гг. Сборник документов. 1048 стр. Цена 1 р. 72 к.

И. Т. Назаренко. Производственный травматизм и жизненный уровень трудящихся США. 218 стр. Цена 27 к.

Е. В. Шорохова. Проблема сознания в философии и естествознании. 363 стр. Цена 38 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Асанов. Неожиданные повести. 656 стр. Цена 1 р. 12 к.

Р. Балясная. Снег и тишина. Стихи. Перевод с еврейского. 72 стр. Цена 8 к.

В. Бершадский. Песня о парусе. Стихи и поэмы. 124 стр. Цена 15 к.

Д. Благой. Поэзия действительности. О своеобразии и мировом значении русского реализма XIX века. 168 стр. Цена 47 к.

В. Быков. Журавлиный крик. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 232 стр. Цена 43 к.

Б. Влэстару. Тысячеструнная арфа. Повести и рассказы. Перевод с молдавского. 248 стр. Цена 32 к.

Л. Волынский. Дом на солнцепеке. 184 стр. Цена 27 к.

Н. Гасан-заде. Я с вами. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 84 стр. Цена 11 к.

Ч. Джонуа. У подножья горы. Стихи. Перевод с абхазского. 80 стр. Цена 10 к.

А. Зуев. Золотые искры. Рассказы. 156 стр. Цена 32 к.
В. Карпов. Весенние ливни. Роман. Перевод с белорусского. 440 стр. Цена 74 к.
А. Крон. На ходу и на якоре. Впечатления. 140 стр. Цена 16 к.
С. Кудаш. Золотая осень. Стихи. Перевод с башкирского. 108 стр. Цена 12 к.
Л. Куклин. Необходимость. Стихи. 88 стр. Цена 10 к.
А. Куторкин. Яблоня у большой дороги. Повесть в стихах. Перевод с эрзя-мордовского. 272 стр. Цена 55 к.
А. Кюрчайлы. С твоей любовью. Стихи. Перевод с азербайджанского. 92 стр. Цена 12 к.
А. Ладинский. Анна Ярославна — королева Франции. Исторический роман. 424 стр. Цена 76 к.
О. Неклюдова. Мой родной дом. Повесть. 160 стр. Цена 33 к.
Г. Некрасов. Заставские огни. Стихи. 192 стр. Цена 19 к.
Л. Никулин. Трус. Роман в 5-ти тетрадях. 360 стр. Цена 49 к.
К. Паустовский. Бросок на юг. Повесть. 204 стр. Цена 41 к.
М. Прилежаева. Пушкинский вальс. Повесть. 196 стр. Цена 26 к.
А. Тагиров. Красногвардейцы. Красноармейцы. Романы. Перевод с башкирского. 376 стр. Цена 74 к.
Н. Тарба. Сердце весны. Стихи. Перевод с абхазского. 60 стр. Цена 6 к.
В. Тендряков. Суд. Повесть. 116 стр. Цена 13 к.
О. Тооминг. Дорога через лес. Повесть. Перевод с эстонского. 176 стр. Цена 27 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Шандор Гергей. Бьет барабан. Роман. Перевод с венгерского. 295 стр. Цена 71 к.
Борис Гринченко. В темную ночь. Под тихими вербами. Повести. Перевод с украинского. 399 стр. Цена 66 к.
Энрике Ларрета. Слава дона Рамиро. Исторический роман. Перевод с испанского. 280 стр. Цена 77 к.
Хосе Мармоль. Амалия. Исторический роман. Перевод с испанского. 648 стр. Цена 1 р. 3 к.
Леонид Мартынов. Стихотворения. 238 стр. Цена 40 к.
Менделе Мойхер Сфорим. Маленький человечек. Путешествие Вениамина Третьего. Фишка Хромой. Перевод с еврейского. 518 стр. Цена 67 к.
Карло Монтелла. Пожар в земельной управе. Роман. Перевод с итальянского. 272 стр. Цена 72 к.
Неизвестный богатырь. Рассказы афганских писателей. Переводы с языков пушту и фарси. 200 стр. Цена 31 к.
Бенито Перес Гальдос. Трафальгар. Роман. Перевод с испанского. 184 стр. Цена 41 к.
Премчанд. Растрата. Роман. Перевод с хинди. 304 стр. Цена 65 к.
Рассказы иракских писателей. Перевод с арабского. 224 стр. Цена 42 к.
Иван Цанкар. На улице бедняков. Роман. Перевод со словенского. 240 стр. Цена 33 к.
Марко Черемшина. Избранное. Перевод с украинского. 271 стр. Цена 46 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Богачук. Мы оптимисты (Комсомольцы на строительстве Иркутского алюминиевого завода). 114 стр. Цена 22 к.
Игорь Васильков. Тайна двух сфинксов. 174 стр. Цена 15 к.
Вл. Канивец. Александр Ульянов. 280 стр. Цена 59 к.
Н. Муравьева. Гюго. 384 стр. Цена 74 к.
Виктор Полторацкий. Киношники. Повесть и рассказы. 110 стр. Цена 16 к.
Алексей Смольников. Подорожник. Стихи. 104 стр. Цена 13 к.
Владимир Солоухин. Открытки из Вьетнама. Очерк. 128 стр. Цена 23 к.
Ф. Сухов. Дождь сквозь солнце. Стихи. Поэмы. 111 стр. Цена 32 к.
Николай Тихонов. Майское утро. Стихи и рассказы. 208 стр. Цена 38 к.
Елена Успенская, Лев Ошанин. Енисейские раздумья. Очерки и стихи. 94 стр. Цена 15 к.
Владимир Фирсов. Вдали от тебя. Стихи. 96 стр. Цена 31 к.
Н. Чуковский. Беринг. 128 стр. Цена 37 к.
Николай Шундик. Родник у березы. Роман. 360 стр. Цена 90 к.
Степан Щипачев. В добрый путь! Сборник стихов. 96 стр. Цена 25 к.
Юан Цзинь. Особое задание. Повесть. Перевод с китайского. 264 стр. Цена 67 к.

ДЕТГИЗ

П. Бабабанский. Кто живет в нашем доме? Рассказы. Перевод с украинского. 64 стр. Цена 13 к.
И. Багмут. Против ветра. Повесть. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 23 к.
С. Бытовой. Зимняя радуга. Повесть. 144 стр. Цена 47 к.
Е. Васютина. Кашмирский камень. Рассказы. 120 стр. Цена 34 к.
К. Досанов. Неутомимый Шамурат. Повесть. Перевод с каракалпакского. 102 стр. Цена 27 к.
М. Ивин. У порога великой тайны. 224 стр. Цена 45 к.
М. Ильин, Г. Кублицкий. Твоя Россия. 89 стр. Цена 1 р. 45 к.
Д. Красицкий. Детство Тараса. Короткие рассказы о детстве Т. Г. Шевченко. Перевод с украинского. 224 стр. Цена 54 к.
Ж. Оливье. Колен Лантье. Историческая повесть. Перевод с французского. 160 стр. Цена 34 к.
Б. Полевой, Н. Жуков. Наш Ленин. 120 стр. Цена 46 к.
А. Прокофьев. Родина. Стихи. 40 стр. Цена 47 к.
Россия. Книга о Родине. Сборник. 608 стр. Цена 1 р. 96 к.
Г. Скребицкий. Что когда бывает. 224 стр. Цена 85 к.
Н. Хохлов. Ямбо. Конго! Очерки и рассказы. 96 стр. Цена 25 к.
В. Чичков. Пепе — маленький кубинец. Повесть. 96 стр Цена 24 к.
Ю. Шесталов. Мы живем на Севере. Стихи. 20 стр. Цена 24 к.

ГЕОГРАФГИЗ

Л. А. Ельницкий. Знания древних о северных странах. 224 стр. Цена 57 к.
Арчи Карр. Наветренная дорога. 238 стр. Цена 37 к.
А. Фидлер. Канада, пахнущая смолой. 238 стр. Цена 67 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. К. Аркадьев. Избранные труды. 332 стр. Цена 1 р. 57 к.
А. Б. Вакар. Клейковина пшеницы. 252 стр. Цена 1 р. 18 к.
Ан. Вартанов. Образы литературы в графике и кино. 312 стр. Цена 1 р. 65 к.
А. Вебер. Классовая структура общества в Западной Германии. 276 стр. Цена 97 к.
Вопросы составления описательных грамматик. Сборник статей. 280 стр. Цена 1 р. 52 к.
Государственная собственность в странах Западной Европы. 464 стр. Цена 1 р. 65 к.
Из истории эстетической мысли древности и средневековья. 344 стр. Цена 1 р. 27 к.
В. Л. Комаров. Происхождение растений. 191 стр. Цена 80 к.
Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья (Авторский конспект и записи слушателей). 240 стр. Цена 1 р.
М. В. Ломоносов. Избранные труды по химии и физике (к 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова). 560 стр. Цена 2 р. 23 к.

М. Б. Нейман. Атомная энергия и ее применение. 144 стр. Цена 21 к.
С. Ованесьян. Подъем рабочего движения в США в 1919—1921 гг. 324 стр. Цена 1 р. 20 к.
З. Паперный. Поэтический образ у Маяковского. 444 стр. Цена 1 р. 70 к.
В. Е. Полетаев. На путях к новой Москве. Начало реконструкции столицы (1917—1935). 171 стр. Цена 53 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тим Бак. Наша борьба за Канаду. Избранные произведения. 1923—1959. Перевод с английского. 431 стр. Цена 1 р.
Б. Бржезовский. Железный потолок. Роман. Перевод с чешского. 488 стр. Цена 1 р. 47 к.
Морис Дрюон. Яд и корона (Из серии «Проклятые короли»). Роман. Перевод с французского. 206 стр. Цена 55 к.
Корлисс Ламонт. Иллюзия бессмертия. Перевод с английского. 290 стр. Цена 60 к.
Джеймс М. Минифи. Миротворец или подносчик пороха. Роль Канады в охваченном революцией мире. Перевод с английского. 216 стр. Цена 50 к.
Михал Русинек. Королевство спеси. Исторический роман. Перевод с польского. 582 стр. Цена 1 р. 77 к.
Семь спичек. Рассказы. Перевод с китайского. 292 стр. Цена 91 к.
Марио Хиль. Куба — да! Янки — нет! Перевод с испанского. 283 стр. Цена 71 к.
Филипп Эриа. Семья Буссардель. Роман. Перевод с французского. 552 стр. Цена 1 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Африка 1956—1961 гг. 254 стр. Цена 45 к.
М. М. Дьяконов. Очерк истории древнего Ирана. 444 стр. Цена 1 р. 90 к.
М. Н. Иванова. Национально-освободительное движение в Иране 1918—1922 гг. 182 стр. Цена 70 к.
О. С. Меликов. Установление диктатуры Реза-шаха в Иране. 124 стр. Цена 35 к.
Монгольская Народная Республика 1921—1961 гг. Сборник статей. 248 стр. Цена 1 р.
Е. Д. Модржинская. Идеология современного колониализма. 270 стр. Цена 1 р.
Персидские пословицы и поговорки. 363 стр. Цена 90 к.
Политика США в странах Южной Азии. 252 стр. Цена 1 р. 10 к.
СССР и страны Востока. Экономическое и культурное сотрудничество. 140 стр. Цена 37 к.
Мустафа аль-Халиди, Омар Фаррух. Миссионеры и империализм в арабских странах. 174 стр. Цена 55 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Беркеши. После бури. Роман. Перевод с венгерского. 335 стр. Цена 98 к.
Два солдата. Рассказы. Перевод с чешского 150 стр. Цена 47 к.
В. Кардин. Сегодня о вчерашнем. Мемуары и современность. 191 стр. Цена 30 к.
М. Колесников. Большие расстояния. Рассказы. 144 стр. Цена 24 к.
А. А. Лавников. Авиационная медицина. 275 стр. Цена 62 к.
П. Лукницкий. На берегах Невы. 263 стр. Цена 53 к.
М. С. Прудников. Неуловимые. 207 стр. Цена 54 к.
М. Тейлор. Ненадежная стратегия. Перевод с английского. 192 стр. Цена 39 к.
И. Чернышев. На «морском охотнике». Записки офицера. 359 стр. Цена 72 к.
Н. Чуковский. Талисман. Аэродромные рассказы. 214 стр. Цена 29 к.
Р. Эйдеман. С поднятой головой. Избранное. 231 стр. Цена 58 к.

ГОСИЗДАТ БССР (Минск)

И. И. Громович. Жаворонок. Рассказы. Перевод с белорусского. 393 стр. Цена 70 к.
В. С. Казаченок. Когда Родина в опасности. Записки о минском подполье. 282 стр. Цена 51 к.

КАЗГОСЛИТИЗДАТ (Алма-Ата)

А. Галиев. Капля. Повесть. 94 стр. Цена 15 к.
С. И. Никитин. Люди с оружием. Рассказы. 144 стр. Цена 39 к.

ОМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Герои наших дней. Очерки и стихи. 192 стр. Цена 37 к.
Т. А. Гончарова. Люди, которых мы любим. Очерки. 131 стр. Цена 21 к.

Поправка

В журнале «Новый мир» (№ 12 за 1961 год) закончена публикация первой книги романа «Костер». В номере было ошибочно обозначено: «Конец третьего тома трилогии».

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес). Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.
Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 27/XI 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/I 1962 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90 000.
А 02001. Зак. 2050.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.